Юрий Бондарев

4

Юрий Бондарев

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

БЕРЕГ

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р 2
Б 81

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

Б $\frac{4702010200\text{-}129}{028(01)\text{-}85}$ подписное

БЕРЕГ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПО ТУ СТОРОНУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте девяти тысяч метров, и здесь, в солнечном арктическом холоде, за толстыми стеклами иллюминаторов сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно сахарные айсберги, а где-то в белой глубине, ниже их, закрытая сплошной льдистой грядой облаков, оставалась как бы потерянная земля.

И хотя сознанием измерялась страшная глубина под чуть-чуть вибрирующим, неуклонно летящим в поднебесье полом, в теплых салонах стало оживленно, уютно от солнца, от наконец начатого удачно полета после ожидания на аэродроме. Везде потянулись, заслоились по салону в плоских сверкающих лучах легкие, особенно душистые сейчас дымки сигарет, пассажиры расстегивали привязные ремни, откидывали поудобнее спинки мягких кресел; везде зашуршали разворачиваемые газеты, розданные двумя очаровательными своей молодой стройностью и нежными, приглашающими улыбками стюардессами (будто сказочно сошедшими с реклам международных рейсовых расписаний); досасывались взлетные карамельки, которые несколько минут назад они с теми же пленительными улыбками разносили на подносиках; потом уже в разных концах салона зазвучала русская и немецкая речь — мирно обволакивала общая дорожная успокоенность, безмятежное ощущение дорожного комфорта, надежда, что все обещает быть незатруднительным, удобным.

Это освобожденное чувство оторванности от всего домашнего, будничного, первоначально возникшее на аэро-

дроме и теперь раскованно-приятное в самолете, среди открывшейся солнечной высоты за иллюминаторами, приглушенного рева мощных двигателей, услышанной чужой речи, среди благостного салонного рая, ритуально освященного ласковыми улыбками длинноногих стюардесс, этих непорочных ангелов-хранителей душевного покоя в небе,— чувство не отягощенного заботами полета было знакомо Никитину, и он сбоку вопросительно взглянул на Самсонова — вместе им летать не приходилось ни разу.

Самсонов, еще опоясанный по круглому животу застегнутым ремнем, с рассеянным любопытством поворачивал голову к соседним через проход креслам — там, перелистывая на коленях журналы, громко разговаривали три пожилые, туристского вида немки, указывали дымящимися сигаретами на занавеску впереди салона, куда ушли стюардессы. Сквозь звон двигателей Никитин разобрал слова «эссен», «фрюштюк» и сказал весело — хотелось говорить о пустяках:

— Платоша, не прислушивайся к чужому разговору. О чем они? О завтраке, как я догадливо сообразил, который сейчас неизбежен? Неплохо было бы закусить холодной курицей и выпить минеральной.

— Немочки умирают от голода,— ответил, вздыхая, Самсонов.— Говорят о том, что давно позавтракали в гостинице «Метрополь» и не мешало бы подкрепиться. Они из Кёльна. Милые создания... Только услышу эту речь, и срабатывает рефлекс. Интоксикация. В войну я с ними наговорился — сыт на всю жизнь...

— Нет, Платон, холодная курица после коньяка — это вещь в самолете незаменимая.

Самсонов отпустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла, неуклюже откинулся, долго сопел, обратив к Никитину широкоскулое свое лицо, вглядываясь усталыми, иконными глазами — обычной колючести не было в них, а была грустная подозрительность интереса узнать причину вот этой шутливой фразы Никитина, словно бы исповедующего сейчас этакую философию бездумного туриста, беспечно полулежащего в кресле и занятого лишь мыслью о холодной курице и минеральной воде.

— Я вижу, Вадим, что ты доволен началом нашей одиссеи. Н-да, что-то будет...

— А знаешь, я рад, что лечу к немцам именно с тобой, Платоша,— сказал Никитин.

— Взаимно,— пробормотал Самсонов.— Это чувство имеет место.

Они были знакомы лет пятнадцать — семнадцать. В течение этих лет их пути нередко перекрещивались и почасту соединялись, книги обоих выходили почти одновременно. При всей разительной несхожести манер — жесткой эмоциональности, нервной обнаженности Никитина и спокойной, выверенной прозы Самсонова, что непостижимо противоречило их внешним проявлениям,— обоих довольно прочно упоминали рядом в одних и тех же критических статьях о послевоенном поколении, и хотя оба они понимали ни в чем не совпадающую разность, их постоянно тянуло друг к другу — это объединенная одним опытом судьба поколения военных лет и что-то еще, за долгие годы знакомства не угаданное в общении, порой скрытое иронической полушуткой, даже в вечерних телефонных разговорах, приблизительно таких: «Загордился, Вадимушка? Не звонишь? Лежишь на диване, покуриваешь и пожинаешь лавры? Когда ты успеваешь повести строгать, классик? Негров нанял? Прочитал, прочитал. Профессор твой — ничего, девка на переправе с узкими глазками тоже ничего, а генерал — совсем не в дугу, интеллигентик он у тебя, таких не было. Вот подожди, закончу свой опус — младенцами вы все окажетесь».— «Не сомневаюсь, Платоша, и жду потрясения».— «Подожди, Никитин, подожди, еще будешь проливать горючие слезы над моими страницами,— смеялся по телефону Самсонов, после чего на память говорил короткую мускулистую, прекрасную фразу, нагруженную настроением и смыслом.— Ну, позавидовал? Рвешь волосы? Вот так, ребятушки мои, писать надо. Три года обдумывал конец. Эх, какие вы ребенки еще!»

Самсонов работал чрезвычайно медленно, по строчкам, по абзацу в день, в сомнениях выдавливал слова с трудолюбивой мукой, веря и не веря в их силу, ненавидя эпитеты и все же густо насыщая ими фразу, до предельной тесноты, но при этом был всегда тонок, особо прелестен конец вещи, последние главы. Однако, когда говорили ему о некоторой стилевой перегруженности, он держался за каждое слово, защищал его сопротивлением бычьим, багровел, загорался гневом, устраивая затяжные скандалы с редакторами издательств, и иные критики побаивались его неудержимых взрывов, ударов «под дых», иные считали его неудобоваримым крикуном, не стесняющимся грубых «кавалерийских наскоков» на собратьев по перу,

ибо иногда, по случаю, встретив в кулуарах клуба какого-нибудь неосторожного критика, он кричал ему вспыльчиво:

— Артельные сократы вы, домашние правдолюбцы, жуете и пережевываете оскоминные аксиомы за рюмкой водки! Вам нравится косноязычный телеграфный стиль? Я не телеграфист! Я слишком подробен. И останусь таким! Мне наплевать и позабыть все, что вы пролепетали здесь! У меня диспепсия от вашего модного словотечения, от вашей менструации мысли. Я вас нежно люблю и обнимаю. Я иду в аптеку и покупаю касторовое масло для очищения желудка!

Эта раздражавшая многих упорная неподдаваемость Самсонова, наживавшая ему недоброжелателей и вместе почитателей (твердость уважают), более всего приближала к нему Никитина — в этом была военная косточка прошлого, та самонадеянная уверенность, что так необходима была тогда... После первой книги он привык к тому, что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его, скупо хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное суждение, причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными, грустными, горячечными. И в те минуты представлялся почему-то Никитину его кабинет, неуютный, сумрачно темный от громоздких книжных шкафов, от старинного, с чудовищно массивным чернильным прибором письменного стола, заваленного безалаберно рукописями, книгами, кругло и мелко исписанными листками бумаги, на них виднелись кольцеобразные следы, оставленные чашками кофе, который он беспрерывно пил во время работы, представлялась широкая тахта в углу и его руки за этим столом и на этой тахте, где он, обессиленный, лежал, уткнувшись лбом в подушку, мыча, бормоча что-то в поисках слова, фразы,— так Никитин застал его однажды, зайдя утром в часы работы.

И стоило лишь вообразить страдания Самсонова перед чистым листом бумаги, его пытку неуловимым словом, как Никитин ощущал почти стыдливое чувство — он заставлял себя сидеть за столом часов по девять, но писал легче, быстрее, независимо от нескончаемой правки, и если процесс работы Самсонова можно было назвать мучительной каторгой (четыре часа в день), то его работа была каторгой двойной по протяженности, но все же сладкой. Поэтому, когда речь заходила о книгах Самсонова,

он был чересчур мягок и полушутя говорил в таких случаях, что принимает и закономерность усложненной фразы, так как упрекать, пожалуй, следует только писателей-скворцов, беззастенчивых имитаторов чужих звуков, выдаваемых за найденные истины. Он, не желая обидеть Самсонова, не переступал порог полной искренности.

— ...Черт с ними, с немками и завтраками,— сказал Никитин, шире раздвинув шторку на окне.— Посмотри-ка на солнце, Платон, и к вечности прикоснись, земные заботы забыв... Ничего себе, дую гекзаметром, кажется, отбиваю хлеб у поэтов?

— Боюсь, начнешь сейчас рявкать арии из оперетт на весь салон,— бормотнул Самсонов.— Чему восторгнулся?

— На земле осень, туман, а тут — чистота, голубизна, никакой осени — вот что прекрасно, Платоша!

За иллюминатором слепил в холодном пространстве металлический блеск высотного солнца, рафинадные торосы, курчавясь, неподвижно сверкали краями остропиковых вершин на бесконечной белой равнине застывших внизу облаков. В воздухе отовсюду излучался неограниченный снежный свет, этот свет ходил вместе с солнцем по салону самолета, пронизывая дымки сигарет над спинками откидных кресел.

Самсонов нарочито равнодушно скосился на ослепляющее стекло иллюминатора, проговорил:

— Лучше скажи вот что... Литературное общество в Гамбурге, что за фрукт, что за штука? Какой ориентации? Задвинь занавеску, глаза режет...

Никитин наполовину задернул скрипнувшую шторку, спросил:

— Что именно тебя беспокоит?

— Хотел бы я знать, в какие западногерманские руки мы попадем. Тебя это не беспокоит?

— Насколько мне известно из писем некой фрау Герберт, они обычно приглашают для встреч прогрессивных писателей мира. В том числе из Восточной Европы. Были поляки — мы приглашены вторыми. Но ты это знаешь.

— Положим. В общих чертах. А кто такая фрау Герберт?

— Не имею понятия,— ответил Никитин и написал пальцем на стекле невидимую фамилию «Герберт».— Судя по написанию фамилии, старушенция в белом кру-

жевном воротничке, благородного, аристократического воспитания, влюбленная в русскую литературу,— Достоевский, Чехов, Толстой,— ну да вот прочитай ее последнее письмо...

Он достал записную книжку, вытянул из середины сложенное вчетверо письмо, и Самсонов развернул глянцевито-белую бумагу, плотно заполненную машинописным текстом, пошевелил бровями, стал читать, переводить, комментировать вслух:

— «Глубокоуважаемый господин Никитин! (Ах, ты, оказывается, господин. Ну, тогда все ясно... Как это тебя раньше не разглядели, при папе, не вывели на чистую воду?) Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом (как модны стали эти круглые столы, нет, не за столом, а на́ тебе — за круглым... по темноте своей понял: значит, без острых углов)... с писателями стран Европы, обмениваться мнениями о современной культуре, проводить дискуссии на тему «Писатель и современная цивилизация» в атмосфере дружелюбия, независимо от того, в какой стране живет писатель — в системе западного капитализма или восточного коммунизма. Три ваших романа, господин Никитин, переведены в Западной Германии издательством «Вебер», о вас писали в журналах «Штерн», «Шпигель» как о восходящей звезде на Востоке, и ваш последний роман «Дорога назад» тоже пользуется у нас большим успехом...» (Ты смотри, что делается, стал любимцем западной публики. Покорил Запад, посшибал всех с ног своей «Дорогой...» и еще сидит со скромным видом, как простой смертный!)

— Ерничай, ерничай, но мотай на ус.

— «...в среде интеллигенции и молодежи, и мне приятно сообщить вам, что в моих книжных магазинах за две недели были распроданы все экземпляры...» (Ого! Готовь чемоданы для гонорара. Хоть шерсти клок... Разоряй капитализм дотла, пускай их по миру с протянутой рукой.)

— Читай, читай.

— «Известный профессор литературы и критик из издательства «Родволь» доктор Кунц определил ваш талант как трагический, он писал, что у вас два кровных отца — Достоевский и Толстой, а между тем я думаю, что вам гораздо ближе Чехов, хотя конец последней новеллы очень тяжелый, вы так омрачаете сердце! Вы так безжалостно погубили в начале войны своих героев, что слезы выступают на глазах и с печалью долго не расста-

ешься. Это так грустно». (Вот тебе и фрау, выдала по первое число, как какой-нибудь бодренький критик. Пессимист ты, оказывается, певец трагических сторон!)

— Как видишь.

— «...Простите, господин Никитин, за очень смелое с моей стороны замечание, но оно ведь высказано в личном письме, и если оно вас сколько-нибудь обидело, не обращайте внимания. Писатель не должен никого слушать, кроме себя...» (О, эта фрау, оказывается, с хитрецой, ввинтила мысль о независимости писателя! Уже начала дискуссию — и все тут.)

— Читай дальше.

— «Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас, и послал вам приглашение двадцатого августа, но ответа до сих пор не получил. Очень прошу ответить, как скоро можете вы быть в Гамбурге. Если у вас есть возможность посетить наш город в срок между десятым и двадцатым ноября, то мы сделали бы все, чтобы это пребывание было приятным. Если вы не разговариваете на немецком языке, то будем рады вашему приезду с переводчиком. Примите с уважением и признательностью привет от вашего издателя, господина Вебера. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием. Эмма Герберт, член Литературного клуба. Пэ-Эс. Сообщите перед вылетом рейс самолета, и на аэродроме в Гамбурге я буду встречать. Надеюсь, узнаю вас по фотографии, помещенной в вашей книге, в том случае, если вы, конечно, сильно не изменились».

— Любо-пытно и занят-но,— сказал Самсонов, возвращая письмо Никитину, и, потянув воздух носом, возвел грустные, иконные глаза к потолку салона.— Будут рады и переводчику. В качестве инкогнито из Иностранной комиссии. Красиво! Я — переводчик. Вдвойне красиво! Бросил собственный роман на сто двадцатой странице, лечу в Гамбург, страдаю из-за тебя, как дурошлеп. Во имя каких благ? Не хватит коньячку, чтобы расплатиться со мной. Так-то! Но зачем я тебе как переводчик? Ты сам способен лезен унд шпрехен дойч! [1] Для свиты, что ли, предложил меня?

— Мои знания в немецком языке по сравнению с твоими — горькие рыдания,— ответил Никитин.— Я хотел, Платон, чтобы именно ты поехал со мной. И не в качест-

[1] Читать и говорить по-немецки! (Здесь и далее — переводы с немецкого языка. — *Ред.*)

ве переводчика. Это проформа для Иностранной комиссии. Вдвоем нам будет легче во всех смыслах.

Самсонов снял очки и, кулаками протирая глаза, шумно зевая, заговорил фальшивым, сквозь зевоту, голосом:

— Жалко мне тебя, господин Никитин, что-то подозрительно шибко начали ласкать тебя на Западе. Смотри — головка не закружилась бы. Не вознесись в гордыне, не выпрыгни из штанов. Это я по поводу письма и прочая... Опасаюсь — кино тебя развратит, легкие деньги и всякие западные поклонницы типа госпожи Герберт. Паришь как ангел, не приземлись как черт.

Он снова зевнул, широко, по-сомовьи распахивая рот, отчего получилось растянутое завывание «аха-ха-ха-а», и Никитин засмеялся, сказал:

— Постараюсь следовать твоим руководящим указаниям, Платоша. Зеваешь же ты в высшей степени заразительно. Неужели спать?

— Так вот, звезда Востока, вникни во все, рассчитай, подумай, сообрази, как жить дальше, а я минут пять шляфен, шляфен...

Самсонов скрестил руки на груди, прикрыл веки, глубоко дыша носом, лицо стало отрешенным, страдальчески сердитым, какое бывает в моменты отдыха у переобремененных постоянными заботами людей. Он задремал или хотел задремать после усталости суетных волнений, аэродромного ожидания, долгих разговоров, и толстоватые руки его, скрещенные на груди, его поза выражали покойное достоинство знающего себе цену человека.

«За кого сейчас его можно принять? — подумал Никитин, веселея, представив чужой взгляд на Самсонове.— Состоятельный отец семейства. Благополучен, обаятелен в своей полноте, дела идут хорошо. Чем-то озабочен, хотя все стабильно. Что еще? Благоразумен, аккуратен, любит порядок в своем доме. Портрет не сомневающегося в истинах человека. Литературные реминисценции. Но почему я подумал об этом? Да потому, что отлично,— мне будет легче с ним...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета, еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке, поэтому, когда вместе с груп-

пой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянное здание гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них:

— Господин Никитин?..

Довольно высокая, в темном костюме женщина лет сорока, с прядями чистой, аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала, и Никитин, тоже улыбаясь, поставил тяжелый от четырех бутылок коньяка портфель, не вполне твердо проговорил на немецком языке:

— Госпожа Герберт! По-моему, я не ошибся? Здравствуйте! Да, я Никитин. А это мой друг — писатель Самсонов. (Самсонов, чрезмерно корректный, сдержанно кивнул фрау Герберт.) Значит, вы все же узнали меня? По фотографии? Неужели?

— Да, да, господин Никитин. Я очень рада, что вы приехали! Мы так долго ждали вашего приезда! Мы уже потеряли всякую надежду...

Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие, она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, не соответствующих седине, возбужденно-радостных синих глазах мелькало подавленное улыбкой выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторила:

— Да, да, господин Никитин... Я прошу вас к машине. Она здесь недалеко. Нет, сначала мы получим вещи. Как вы чувствуете себя после самолета?

— Терпимо,— ответил Никитин.— Спасибо. Кажется, живы оба.

И когда, получив вещи в зале багажа, вышли из здания аэропорта и фрау Герберт, не расслабляя на губах улыбки, незамедлительно повела их к стоянке машин, Никитин заметил, как на ходу она слишком торопливо принялась дергать, расстегивать сумочку, доставая, по-видимому, ключ от зажигания.

— Господа, только одну минуту... Мы сейчас поедем в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной. Так будет лучше разговаривать..

Машина госпожи Герберт, новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый «мерседес», была удобна, вместительна — погруженные два чемодана поглотил огромный багажник, и здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленный горьковатой хи-

мией синтетической обивки, запахи чужой жизни, чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома, и подумал томительно: «Вот я и опять за границей».

— Сигарету? — спросила фрау Герберт.—Господин Никитин? Господин Самсонов?

— Спасибо, я до чертиков накурился в самолете. Подожду.

— Аналогично, — ответил Самсонов. — Воздержусь.

А она, снова торопясь, подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветровое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой кожей.

— Простите, одну минуту...— проговорила она.— Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин?

— Вы спросили, первый ли я раз? Да. Я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно. Иначе не пойму с непривычки.

Она виновато поморщилась, на левую руку ее тугая и узкая, как змея, перчатка полностью не натягивалась, никак не поддавалась — тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на сиденье, к сумочке, и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой:

— Но хоть раз... когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?

— Был в войну. Сорок пятый год, фрау Герберт.

— В Берлине?

— Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кёнигсдорф. Однако Кёнигсдорф — это дачный, маленький городок, вы можете его и не знать,— сказал Никитин.

— О боже мой, вы были в Германии! — одними губами выговорила она и, неутоленно затягиваясь сигаретой, спросила, выделяя каждое слово: — Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?

— К сожалению, фрау Герберт.

Он отвечал ей так же замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею точно на домашнем уроке фразы, и, отвечая, не без интереса глядел по сторонам на сумрачно-серый, ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатый низко огрузшим над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуа-

рам, на их густое скопление на переходах под светофорами.

Он смотрел на обмытую, еще не по-осеннему зеленую траву тщательно подстриженных газонов, по которым ходили нахохлившиеся чайки, и подсознание привычно пыталось задержать и ту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в туманце дождя, и механическое мигание на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпускающих в ущелья улиц одержимые скопища машин. Непроизвольное запоминание, эгоистическая работа подсознания были второй сущностью Никитина, хотя он и знал, что многое, к сожалению, забудется позже, останутся лишь размытые временем детали или первые запахи, как запах химии и духов в машине, или вот этот быстрый жест, каким сорвала тесную перчатку фрау Герберт после того, как попыталась и не хватило терпения натянуть ее до конца, или как жадно прикурила она от крошечной золоченой зажигалки, дрожавшей в руке.

Он поглядел на нее вопросительно. Она нервным жестом стряхивала пепел с сигареты в выдвинутую пепельницу, невнимательно остановив взгляд на водяной пыли, лужицами оседающей на капоте, и Никитин, разом ощутив промозглую влагу гамбургских улиц, постукивание капель по зонтам, запах синтетических плащей в теплоте магазинов, где уже бледно горел внутри неоновый свет, сказал по-русски:

— Как осенний день на Невском. А, Платон?

— Кисель,— отозвался Самсонов, завозившись за спиной.— Гамбургские прелести. Дождя нам еще здесь не хватало. Не могу, знаешь ли, с некоторых пор относиться к чертовой мокряди с равнодушием утки. Опасаюсь закряхтеть от радикулита.

— Простите, пожалуйста, за интермедию на русском языке,— сказал Никитин, обращаясь к госпоже Герберт, и пощелкал пальцами, подбирая фразу: — Мы говорим о том, что старые солдаты не любят осень. Потому что осенью начинают болеть раны. Грустная пора...— добавил он полушутливо.— Вы понимаете?

Было похоже, она поняла его, даже уловила нечто большее, чем он вкладывал в свою фразу. Она взглянула пристально, дрогнула мягкими линиями бровей, четко темными по сравнению с белыми прядями волос, сказала пресекающимся от затяжки сигаретой голосом:

— Наверно, господин Никитин, мы все переживаем грустный возраст осени, когда ушло лето. Но после осени наступает зима. И тогда еще хуже. Зимой всем людям бывает так холодно... И даже у вас в России. Ведь возраст человека не имеет государственных границ.

— Вероятно,— усмехнулся Никитин. — Здесь никакие русские валенки не спасут.

«Дворники» с однотонным трущимся звуком махали по стеклу, равномерно растирали мелкую, почти невидимую пыль нудного дождя; обдавая влажным шелестом, мимо запотелых окон справа и слева настигал, обгонял, проносился, гудел моторами соединенный металлический поток машин, нетерпеливо выбрасывая бензиновые клочья тумана на чернильный асфальт, устланный прилипшими листьями; и все так же скапливались, скользко блестели, толпились, бежали намокшие зонтики через переходы на перекрестках. Эти ноябрьские улицы Гамбурга, затянутые ненастными сумерками, с неурочным светом в магазинах и барах, вдруг показались Никитину совершенно промозглыми, тусклыми, обволакивающими машину знобкой сыростью — и захотелось скорей в отель, в теплый номер, уютный своей чистотой, тишиной, свежей постелью, захотелось переодеться, побриться, как обычно на новом месте, и сойти потом в ресторан, посидеть за чашечкой горячего, душистого кофе и тут обстоятельно расспросить фрау Герберт о дальнейшей программе, связанной с их приездом. Но при выговоренном ею слове «Россия», как это часто бывало за границей, он вообразил где-то очень далеко в скромном блеске московских фонарей вечерние переулки Арбата, оставленное им позади неизмеримое пространство, отделившее его на некий срок от забот, обязанностей, ежедневной работы за столом, к которому вернется, уже мучимый угрызением совести, уже невыносимо соскучась по дому, по кабинету, по притягательному и страшному в ожидающей непорочной тайне приготовленному листу бумаги,— и, вмиг представив сладкое удовольствие своего возвращения и пытаясь вновь настроиться на волну разговора, сказал, скрупулезно соблюдая грамматическое построение:

— Если говорить о моем поколении, фрау Герберт, то молодыми, неунывающими и особенно счастливыми мы были весной сорок пятого года. Война кончилась. Все начиналось. А нам было чуть больше двадцати. Вот это было прекрасно. Я почему-то об этом подумал, фрау Герберт.

— Мальчишка,— басовито подал голос Самсонов.— Мне уже в ту пору стукнуло двадцать четыре. Экое ты дите был. Интересуюсь: детские пеленочки не возил в передке орудия?

— Больше того, патриарх, пеленки сушили на орудийных стволах после каждого боя... Извините, фрау Герберт, мы опять обменялись со своим другом любезностями на русском языке. Любезностями солдатского толка.

Она промолчала, струей выпуская дым в ветровое стекло.

— Но... можно надеяться, вы и сейчас не унываете, господин Никитин,— осторожно проговорила фрау Герберт.— Вы, я думаю, счастливы, здоровы. У вас ровное, хорошее настроение...

Никитин не совсем точно поймал оттенок смысла последней фразы и пощелкал пальцами, попросил помощи у Самсонова:

— Платон, будь добр, последнюю фразу переведи на язык родных осин. У меня всегда хорошее... и какое настроение?

— Ровное настроение, счастливый господин Никитин,— уточняя, перевел Самсонов и испустил носом протяжный звук: — М-м... Добавлю: производишь впечатление легкомысленного человека, учти на будущее. Если от желчи болтаю пошлости я — мне начхать, тебе не позволено. Неси на себе печать счастливой солидности, классик. Так-то!

— Благодарю, ясно. Теперь переведи-ка мой ответ, я могу напутать, сложный оборот, черт его дери,— сказал полусерьезно Никитин.— Простите за грубость, госпожа Герберт. Но кажется мне, что в моем возрасте ежесекундно и непробиваемо счастливыми могут быть лишь самодовольные дураки. Ровное же настроение спасает от многого. В том числе и от самого себя. Правда, не всегда удается.

— Я не хотела, господин Никитин...

Она обвела его лицо удивленно расширенной синевой глаз и, не закончив фразу, поспешно заговорила о другом:

— Господа, мы скоро подъезжаем. Вы будете жить в старинном и уютном отеле «Регина», который вам должен понравиться. Это за углом, господа.

Она остановила машину перед стеклянным подъездом отеля в узкой, заросшей деревьями улице, сравнительно отдаленной от непрерывно шелестящего шума, от реву-

щего потока машин, в котором все время двигались по городу, и здесь, взяв чемоданы из багажника, они вошли в просторный пустынный вестибюль, застланный коврами, по-особенному тихий, где не слышен был даже бегущий по асфальту стук дождя. Отовсюду веяло домашними запахами старой мебели, устоявшимся покоем, и, выражая услужливую приветливость на упитанном вежливом лице, вышел навстречу из-за стойки человек («Гутен та-аг!»), тоже по-домашнему спокойный, размеренный в каждом жесте. Он шепотом сказал что-то утвердительное фрау Герберт, воспитанным кивком пригласил Никитина и Самсонова к стойке, попросил паспорта и после минутной процедуры заполнения регистрационных бланков уважительно вынул из круглых гнезд ключи номеров с прикрепленными к ним маленькими деревянными грушами, подхватил чемоданы и, отражаясь в зеркальной стене, пошел к лифту в глубине вестибюля.

— Большое спасибо. Вы нас прекрасно довезли, фрау Герберт,— сказал Никитин.— Каково теперь дальнейшее?

— Говорить медленно, господин Никитин?

— Пока да, мне надо еще привыкнуть. Иначе замучаем переводом господина Самсонова.

Она улыбнулась.

— Я думаю, вы устали после самолета и вам нужно отдохнуть. Но вечером я буду очень рада видеть вас у себя дома. Я заеду в семь часов. Теперь... пожалуйста, посмотрите свои комнаты, если хотите, переоденьтесь и спускайтесь вниз минут через десять. Я буду ждать вас в ресторане. Разрешите мне немножечко выпить с вами. Как это? На ваше здо-ровь-вье-е? — по-русски добавила она протяжно и с некоторым смущением щелкнула пальцами, как это делал Никитин, отыскивая немецкие слова.— Так по-русски? Или я ужасно сказала?

— У вас прекрасное произношение, фрау Герберт. Через десять минут мы внизу.

В скоростном лифте они поднялись на пятый этаж и, выйдя в напоенный теплом длинный коридор, зеленеющий пушистой синтетической дорожкой, быстро нашли номера своих комнат, расположенных рядом: двери предупредительно полуоткрыты, ключи в замках, чемоданы внесены.

В номере Никитина было по-осеннему сумеречно, и легонько, вкрадчиво царапали капли дождя по стеклу. Никитин снял плащ, нашел выключатель, зажег свет — и тут же пленительно засверкали свежестью, чистотой

два белоснежных конверта-постели на широкой двуспальной кровати, выделились стерильной белизной подушки, казавшиеся даже на вид успокоительно-нежными, манящими покоем под кокетливыми в изголовье абажурчиками наподобие юбочек; полированно засияли деревом большой бельевой шкаф, полуписьменный, с конторками и приемником стол на тонких ножках, журнальный столик, осененный розовым куполом торшера, в окружении трех мягких кресел.

«Все педантично начищено и прибрано по-немецки»,— подумал Никитин, развязывая галстук, и прошел в ванную, чуть пахнущую озонатором, ярко залитую люминесцентным светом прямоугольных плафонов, чистоплотно блещущую зеркалами, кафелем, никелем вешалок, где над безупречной голубизной умывальника, заклеенного бумажной ленточкой «стериль», приятно белели разглаженные личные и мохнатые полотенца; затем он вошел опять в комнату, повалился в благодатно вобравшую его глубину кресла, вытянул ноги, наслаждаясь тишиной, удобствами, подумал:

«Что ж, вот отсюда начинается отельно-ресторанная жизнь вперемежку с дискуссиями, приемами, аперитивами и разговорами. И десять дней, глубокоуважаемый Вадим Николаевич, покажутся вам вечностью, несмотря на заграничные апартаменты и радостный прием, оказанный какой-то не очень ясной фрау Герберт. Устанете, как черт в преисподней. Что ж, если уж приехали, то пусть жизнь идет так, как она идет, не торопить ее, не ускорять...»

Он не хотел в эту минуту думать о том, что осталось позади, далеко отсюда, за дождливым тысячекилометровым пространством, он не хотел думать о доме, потому что знал: через неделю начнется сумасшествие — неистребимая тоска по своему кабинету, по жене, по предзимнему ноябрьскому холодку московского воздуха.

«Все пока отлично»,— подумал Никитин и живо достал из чемодана галстук, купленный в Париже, свежую, тоже парижскую рубашку и, уже с удовольствием переодеваясь, чувствуя начало новой, праздной жизни, услышал стук в дверь, басок Самсонова:

— Готов? Не забывай, классик, нас ждет женщина.

— Заходи, рюмочку по-мужски не хочешь? В честь приезда,— сказал Никитин, продевая в манжеты запонки, и показал глазами в сторону расстегнутого портфеля.—

Пока я тут, как видишь, занимаюсь экстерьером, достань, раскупорь и разлей по стаканам граммов по пятьдесят.

— Гляди-ка, тебе — приемник, а мне — транзистор, фитюльку, номера рядом, а классовое неравенство явное,— басил, скептически озирая комнату, Самсонов, при помощи зубов и дверного ключа раскупорил вынутую из запасов Никитина бутылку и, зазвенев стаканами на столе, разлил коньяк.— Ну, давай за мягкое приземление на земле гамбургской. Доложу тебе, что ты очаровал фрау Герберт. Заметил, как она на тебя смотрит? — Он понюхал коньяк.— Ах, аромат!..

Никитин надел облегавшую тело прохладную полотняную рубашку, надел пиджак и с тем же удовольствием обретенной чистоты и с тем же ощущением беззаботности взял стакан, коричнево блеснувший сквозь стекло коньяком, стоя чокнулся с Самсоновым, выпил эту крепкую, пахучую жидкость, разлившую веселое тепло в груди, крякнул, сказал:

— Хорошо пошло, прекрасно! Что касается твоей наблюдательности, то она у тебя, Платоша, шерлок-холмсовская.

— Прошу под коньяк.— Самсонов извлек из кармана две карамельки, одну протянул, как подарок, Никитину.— Закуси. Запасся в самолете. И двинем вниз, к фрау Герберт.

Посасывая карамельки, они спустились на лифте в вестибюль и тут, среди ковров, впитывающих шаги, среди зеркал и полумрака, сверху подсвеченного матовыми плафонами, заметив приветливый кивок из-за стойки знакомого портье, уже расположенно сказали ему «данке» и вошли в ресторан, странно пустой, притемненный, на стенах неярко горели бра, за огромными окнами серел водянистый сумрак, липли к стеклам дождевые капли.

Госпожа Герберт, гладко причесанная, приведшая себя в порядок, губы подведены, вся опрятная в своем темном костюме, сидела за столиком подле окна, закинув ногу на ногу; она оторвалась от карты меню, встретила их улыбающимся взглядом.

— Господа, мы должны решить: что мы будем пить и есть?

— Что-нибудь легкое. Чуть-чуть нежирной ветчины, сыр, кофе, что-то вроде завтрака,— ответил Никитин и положил на скатерть сигареты, предложил фрау Герберт: — Попробуйте советские. Крепковаты, но ничего.

Она аккуратно отшлифованными ногтями вытянула

сигарету из пачки, попыталась прочитать название, но не прочитала и засмеялась.

— О, русские!.. Я не люблю легкие, и вы, пожалуйста, попробуйте.—И пододвинула к нему немецкие сигареты.— Но главное — что же пить? Коньяк? Виски? Немецкую или русскую водку?

— Русскую водку полагается пить в Москве,— отозвался Самсонов тоном притворного глубокомыслия.— В Германии, надо полагать,— немецкую. Я не совершил ошибку, господин Никитин?

— Если ты и ошибся, то ошибся гениально,— сказал по-русски Никитин и смело перешел на немецкий: — Немного вашей водки, фрау Герберт. Вкус шнапса со времен войны я уже совсем забыл.

— О нет! Теперь это другая водка, с войны прошло так много лет, все изменилось,— возразила госпожа Герберт, виновато взглядывая на Никитина, и сейчас же обернулась в затемненный зал.—Герр обер!..

Метрдотель, неслышно возившийся неподалеку, занятый сервировкой столика, подошел мягкой походкой, принимая такое же неподобострастное выражение, что было давеча и на лице старшего портье, вопрошающе наклонил к фрау Герберт лысую, в обводе седых волос голову; его накрахмаленная грудь, черный галстук-бабочка подчеркивали выработанный аристократизм солидного ресторана, его белая холеная рука, синхронно повторяя каждое слово фрау Герберт, автоматическим карандашом заскользила по блокнотику. Потом опять благородный наклон головы, и опять бесшумной походкой незаметно удалился он в ровную полутемноту безлюдного в этот необеденный час зала.

— Господин Никитин, ваш гамбургский издатель, о котором я писала вам в письме, надеется сегодня встретиться с вами у меня,— заговорила госпожа Герберт и поставила сумочку на колено.— Он просил меня заранее передать вам благодарность и... гонорар за последнюю вашу книгу. Три с половиной тысячи марок. Он, несомненно, мог бы заплатить гораздо больше. Но, к сожалению, между нашими странами не существует авторской конвенции. Господин Вебер богатый человек и не из тех, кто легко расстается с деньгами.— Она смущенно улыбнулась и передала Никитину довольно толстый конверт, украшенный типографским готическим оттиском издательства «Вебер-ферлаг», следом вытянула из сумочки еще два конверта потоньше, договорила: — И здесь от нашего

Литературного клуба карманные деньги, по восемьсот пятьдесят марок, вам, господин Никитин, и вам, господин Самсонов.

— Спасибо вам и моему издателю,— сказал Никитин.— Не было ни гроша, да вдруг алтын. Это успокоительно.

— Миллионер, Рокфеллер, увезешь из Гамбурга запакованный в целлофане «мерседес».— Самсонов переложил деньги во вместительный бумажник, подумал и прицелился очками на фрау Герберт: — Интересно, а как же расходилась, то есть как раскупалась, последняя книга моего уважаемого коллеги?

— Была реклама, и книга разошлась как роман о советской интеллигенции в годы десталинизации. Господин Вебер хорошо знает, как можно вызвать интерес к восточному писателю, и умеет нажиться,— отвотила фрау Герберт, в то же время наблюдая за Никитиным, который небрежно затискивал конверты во внутренние карманы, и внезапно спросила с растерянной заминкой:— Вы никогда не считаете деньги? Разве считать не принято в России?

— Принято, и считаю,— сказал Никитин.— Но, кажется, мировой известностью пользуется немецкая аккуратность.

— О, это постепенно исчезает, господин Никитин.

— Даже в Германии?

— В России, наверно, плохо знают новую Германию.

Усталости сейчас не чувствовалось, как это было в машине на пути из аэропорта; после выпитой в номере рюмки коньяка было ощущение начатого движения по течению, без насилия над волей, без напряжения, потому что все шло отлично, может быть, лучше, чем ожидал: и приезд, и отель, и эти дурные деньги, присланные издателем, и деньги Литературного клуба безоглядно освобождали его и Самсонова от унижающей бытовой стесненности. Кроме того, он теперь яснее понимал манеру речи фрау Герберт, милую медлительность ее интонации, увереннее справлялся с немецкими фразами — и появилось благодатное ощущение заграничного отдыха, заслуженного перерыва в работе, и не мучило разъедающее угрызение совести, что бывало дома в пустые дни, когда не находились точные фразы на измаранном листе бумаги.

Между тем официант ловко и быстро расставил на столе крошечные рюмки, на одну треть наполненные вод-

кой, серебряные кофейники с изогнутыми по-восточному носиками, распространявшие горьковатый аромат кофе, маленькие фарфоровые молочники с горячим молоком, белые свежие булочки в корзинке, застеленной салфеткой, тонкие ломтики черного хлеба и на розетке квадратики масла, замороженные в холодильнике, покрытые капельками влаги.

И все это: ледяная, лишенная запаха водка («Ваше здоровье, госпожа Герберт»), и хрустящие булочки, намазанные маслом, и ветчина на пряно-сладковатом черном хлебе, и ароматный турецкий кофе, и пахучие пластинки сыра — показалось Никитину вкуснейшим; и он почти наслаждался какой-то бездумной физической своей легкостью, этим поздним завтраком, и этой тишиной пустого ресторана, и беспрерывно моросящим ноябрьским дождем на гамбургской улице за окнами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Гамбург брали, если не ошибаюсь, англичане? Но любопытно — развалин нигде нет.

— Не брали, Платон, а вошли в сорок пятом. Предварительно разбомбили несколько кварталов и вошли весело и нетрудно. Бомбили — и потом заняли город, хотя тут им не сильно сопротивлялись. Разрушенные кварталы немцы, конечно, восстановили.

Дождь не переставал, нудно сеял над Гамбургом водяной пылью, серая мгла висела в воздухе. Скользкий тротуар сально блестел, мимо проносились, шелестели, отражались в асфальте отлакированные дождем железные стада машин; загорались то зеленым, то красным светом силуэты шагающих человечков на указателях светофоров, магически дисциплинируя скопления мокрых зонтиков и непромокаемых плащей перед границами переходов; неоновую бледность источало кренделеобразное «U» над спусками в метро; тускло зеленела трава бульваров, мокли в лужах ржавые листья, а по желтым островам листьев бродили на газонах чайки, взъерошенные, озябшие,— пахло поздней осенью, было слякотно, промозгло, дышало сырой тяжестью близкого моря.

— Есть чему удивляться,— вполголоса говорил Никитин, мимолетно всматриваясь в буднично-спокойные лица прохожих.— Ходим мы с тобой по земле немецкой, откуда все началось, и, ей-богу, не верится, чтобы вот

этот, например, добропорядочный дядя...— он взглянул на пожилого утомленного человека в клетчатом плаще, равнодушно покуривающего у дверей бара тоненькую, дешевую сигарку,— чтобы этот вот дядя во всю глотку орал «хайль» и стрелял в тебя или в меня под Сталинградом... Или вот этот? — И он опять перевел глаза на маленького, благодушного вида немца, приметного оттопыривающим пальто брюшком, который, выйдя из магазина, в одной руке держал зонтик над головой, а другой открывал ключом дверцу обляпанного грязью «фольксвагена» близ кромки тротуара.— Не похоже? Отец семейства, любитель пива, балагур, по вечерам усаживает детей на колени... Само добродушие. Мог он стрелять? Или расстреливать? Вешать? Вот штука, Платон, вот дебри...

— Кто же в конце концов орал «хайль» и стрелял? — заворчал Самсонов.— Все, оказывается, милые, добрые, прекрасные люди... Кто же стрелял?

— Не «кто», наверно, а «почему» и «зачем» — в этом суть.

— Вряд ли физиономии что-либо объяснят, Вадим. Наоборот, запутают.

— Посмотрим, посмотрим...

Возле каменно-прочного, дочерна закопченного вокзала с зажженной вверху синеватой буквой «S», с освещенными в утробе его огромными залами, похожими на магазины, Никитин задержался перед стеклянным газетным киоском, долго искал в пестро заваленной и завешенной иллюстрированными журналами витрине красочные суперобложки книг, поочередно читая заглавия вслух:

— «Кэнди». Роман о молоденькой девушке. «Убийство в Мадриде». Ясно. Что же у них в моде? Поправляй, Платон, если не так переведу. Франц Кафка уценен. Видишь? С двадцати шести марок на семнадцать. Чем объяснить? Недавний кумир Запада. Дальше—новинка в углу. «Письма Петэна жене из тюрьмы». Так, любопытно. Что этот субъект писал ей? «Тропик Рака» Генри Миллера. Эротический роман. Понятно. А это что? «Вторая мировая война». Уже интересно. Вот эту бы книжицу надо все-таки перед отъездом приобрести.

— Погляди в правый угол, на красный переплет,— сказал Самсонов, прислоняясь очками к стеклу витрины.—Цитатник Мао. Хо-хо! Рядом — «Умер ли Гитлер?». Интересно, кто покупает?

— Об этом надо спросить фрау Герберт. «Умер ли Гитлер?» тоже надо бы купить.

— Уверен? А таможня? Случайный осмотр? «Есть ли зарубежная литература?» И пошла писать губерния.

— Обойдется. Эти книги покупаются для личного пользования, а не для публичных библиотек. Все надо знать, абсолютно все.

— А что знать? Что не ясно? Кто стрелял, объясню. Все, Вадим, все, кому сейчас больше сорока двух. То, что некогда у нас писали о Гитлере: «сумасшедший», «бесноватый ефрейтор», «паралитик»,— объяснения неточные. Это была дьявольская личность, обладавшая силой внушения. Когда он произносил речи, немцы, в особенности женщины, рыдали от восторга. Известно тебе?

— Ясно, ясно, да не совсем. Детали, существенные детали туманны, Платон. Кто они, эти западные немцы сейчас? Что они? Те ли они? До сих пор не могу забыть «бефель» [1] о трех солдатских добродетелях: «Верь в фюрера, повинуйся, сражайся...» Ладно, посмотрим. Ни в какие музеи мы, конечно, не пойдем. Музеи затуманивают все к черту. Сделаем одно исключение. Посмотрим памятник погибшим и порт. Главное — лица, лица на улицах и глаза... Согласен?

— Принимаю.

— Тогда — айн момент, уточним, где памятник.

Никитин расстегнул зашелестевший плащ, достал из бокового кармана план города, взятый в отеле, посмотрел на сеть улиц, сразу обсыпанную мелкими каплями дождя по глянцу бумаги, сказал, пряча план:

— Далековато отсюда. Но потопаем пешком, что ли? Согласен? Хочу поглазеть на улицы. Пострадаешь?

Подобно тому как первоначальное расположение и нерасположение к незнакомому человеку определял в большей или меньшей степени внешний облик его, так и первое ощущение неизвестного города (и не только за границей) подчиняло Никитина доверчивой силе толкающего любопытства, и его притягивали хаотичность живой толпы, кипение ее на тротуарах, теснота метро и трамваев, переполненные пивные, маленькие, шумные, накуренные кабачки, торговые улицы, где ежесекундно появлялись, мелькали, хмурились, улыбались, возникали как бы из вечности и тут же пропадали навсегда чужие лица, обрывки недослышанной фразы, взгляд, смех, чей-то жест...

---

[1] Приказ.

И это всегда высекало искру волнения, и это, казалось, разрушая нечто свое, личное, соединяло его со всеми впервые увиденными людьми, и вместе неудовлетворенно разъединяла его с ними непознанная скрытность их жизни, в которую хотел проникнуть и не мог. Может быть, поэтому он любил заглядывать в окна, мучаясь неутоленным угадыванием нераскрытого. Забыто не задернутая занавеска, тень женщины, расчесывающей перед зеркалом волосы в глубине комнаты («одна она, кто с ней, кто она?»), темные дворы, наполненные тишиной ночи, обшарпанные парадные, таинственные лестничные площадки, отзвучивающие гул дальних шагов, стук двери на верхнем этаже, городские автоматные будочки, сплошь исцарапанные по стенам номерами телефонов и именами, оставленная на сиденье пустой машины пачка сигарет или забытый развернутый журнал на бульварной скамье вызывали у него то чувство ожигающего прикосновения к загадочной человеческой жизни, какое испытал однажды еще в детстве, когда случайно нашел на улице кем-то потерянный кошелек, новенький, сшитый из бордовой кожи, сверкающий золотистым замочком. Кошелек этот с томительным ощущением непонятной вины был спрятан им в сарае-голубятне на заднем дворе за поленьями березовых дров. И иногда, сидя в полосах солнечных стрел сквозь щели, в душном запахе перьев, сухого помета, он часами разглядывал кому-то принадлежавшие вещицы — крохотный перочинный ножичек, аккуратно сложенные три рубля, тюбик красной, сладковатой на вкус помады, стертой сбоку о чьи-то губы,— и, переживая тайное волнение, представлял эти вещи в чьих-то руках, представлял лицо, фигуру, голос незнакомой женщины. Он видел ее молодой, грустной, такой же изящно красивой, как и перламутровый ножичек, одинокой в своей комнате, где окно выходило на кирпичную пожарную стену, обогретую ранним солнцем по утрам. Но эта воображаемая им женщина не была похожа ни на одну из женщин в их доме и во всем замоскворецком переулке, у нее не было отличительных черт лица, фигуры, походки, она была лишь красивой, молчаливой, печальной, окруженная полутенью прохладной уютной комнатки, в которой обязательно должны быть старинный комод и зеркало. И тогда он воображал, как воровски летним утром подкрадывается к раскрытому окну незнакомки и бросает на розовеющий подоконник этот маленький чужой кошелек, сохранивший ножичек, губную помаду и три рубля,

и, весь млея от рыцарского восторга, слышит ее изумленный вопрос: «Кто это?»

То детское неудовлетворенное любопытство давно было забыто в подробностях Никитиным, оставалось тихим, смутным отсветом, однако и в зрелые годы жажда узнавания скрытой чужой жизни приносила ему почти болезненное удовольствие.

— Вот он,— сказал Самсонов.— Читай. «В память солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести во вторую мировую войну. 1939—1945 годы». Дальше: «Германия останется, если даже мы все погибнем».

— Что ж, сильно сказано,— проговорил Никитин.— Давай-ка рассмотрим, Платон.

Этот памятник был тяжел, мрачен, чернел смоченным дождем камнем, немо, угольно выступали очертания барельефов, будто размытые темнотой ночи силуэты солдатских фигур, шагающих куда-то плотным строем — в ад или небытие; оружие, каски, едва различимые, без выражения глаз смертные лица. Внизу на каменных плитах угрюмо отблескивали темные железные венки, стояли рядом свежие венки из цветов, прилипали к земле под дождевой пылью траурные ленты с белой и аспидно-черной бахромой, зловеще проступали на них знаки мальтийских крестов, и лежали среди железных венков целомудренные астры, нежно-красные гвоздики, каплями крови обронившие на грязные плиты лепестки, расползшиеся по готическим надписям на венках: «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», «От резервистов бундесвера», «От бывших летчиков», «От бывших танкистов».

И вдруг пахнуло на Никитина железистым запахом земли, и будто послышались явственно какие-то голоса, разрываемые пулеметными очередями, чей-то вопль «танки-и!», вырвавшийся из знойного пульсирования солнца, нанесло удушающим жаром горячей брони, возникшей черным боком в прицеле, его всего оглушило ревом танковых моторов, и разом подкатила к горлу тошнота, вызванная сладковатым, как трупная вонь, густым наплывом синтетического бензина, ударами пороховых газов...

Он вспомнил это, уже не в силах отделаться от ощущения боли в ушах, толчков подбрасываемого выстрелами орудия и от знакомого хрипловатого голоса, просторной, обнажавшей молодые зубы улыбки, дрожания белых ко-

ровьих ресниц командира второго взвода Шиканова, чей перерубленный наполовину голый атлетический торс теперь висел на ветвях сосны, напоминая подвешенную розовую тушу. Он видел: что-то ужасающе красное обрызгало, стекало по щиту поковерканного орудия, впитывалось в белый накаленный песок вблизи тихой реки Псел, вспыхивающей справа под нестерпимым солнцем. Танки пошли в атаку по левому берегу, и взвод Шиканова первым занял позицию на опушке урочища и не успел окопаться, открыл огонь, опередив на два снаряда взвод Никитина.

А вечером в занятом городке Гадяче пили после боя трофейный ром, и Никитин в каком-то беспамятстве кричал удивленному командиру батареи, что это его взвод, Никитина, должен был занять позицию на опушке и стрелять первым, и Шиканов был бы жив. Он как бы оправдывался перед случайностью и перед собственным роковым везением. В ту пору он еще не понимал, что на войне никто не может обогнать, обойти, замедлить или перехитрить судьбу. Судьба Шиканова, мстя за поспешную неточность, настигла его и сделала беспощадную зарубку на миге вечности острым топориком смерти. Это мщение было предупреждающей казнью, которую суждено было видеть Никитину несколько раз и в других обстоятельствах и которая все же не научила его благоразумию до конца войны,— молодости несвойствен опыт выверенного расчета. Но спустя много лет он не раз просыпался в холодном поту,— во сне судьба заносила над ним свой мстящий топорик и опускала его на другого, на метр ближе или дальше. И тягостно было при воспоминании лиц и голосов погибших во время танковых атак — война неотделимо связана была с этим чудовищным и лживолицемерным выбором взвивающегося над головами топорика.

— Ты что нахмурился? — прозвучал голос Самсонова.— О чем думаешь? Пошли отсюда.

— Подожди. Посмотрим...

Никитин все глядел на распластанные, примокшие к темным плитам лепестки цветов, на колючее и влажное железо венков, облепленное кладбищенски поникшими лентами, и от этих овлажненных цветов на камне, черных мальтийских крестов на лентах, от мокрого крепа повеяло липким запахом чужой смерти, сгущенной трупной гнильцой из чащи, как бывало когда-то в осенних лесах, на раскисших дорогах, затянутых косым дождем, стучащим

по папоротникам над канавами, на краях которых виднелись вдавленные в размытую глину немецкие коробки противогазов, сплющенные плоские котелки, перевернутые, налитые грязной водой каски. Тот липкий, трупный запах лесных дорог забивал ноздри, не давал дышать.

«Так что же? — подумал Никитин с отвращением и неприязнью к самому себе.— Не могу побороть? Не могу забыть? Это сильнее меня? Почему я не могу представить другую смерть — немецкого солдата, слезы его матери, жены, невесты? Почему это не вызывает во мне никаких чувств?»

Осторожные шаги приблизились сбоку. К памятнику подошел сухощавый мужчина, высокий, в приталенном сером пальто, без шляпы, седеющие волосы причесаны на пробор, сухое выбритое лицо тускло, неподвижно, он одним пальцем поправил перекрученную ленту венка, где по траурному крепу белела готическая надпись «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», и, склонив голову, стоял так несколько секунд в позе задумчивости.

«О чем думает этот немец — о бывших победах и поражении? О погибших однополчанах? По виду ему можно дать лет под пятьдесят. Значит, воевал? Где? На западе? На востоке?..»

И Никитин, подталкиваемый любопытством, готов был спросить, не приходилось ли ему воевать на Восточном фронте против русских в составе 225-й дивизии, но немец вроде бы почувствовал на своем лице внимание и, обведя Никитина непропускающим, холодным взглядом, пошел прочь от памятника; спину его плоско облегало модное осеннее пальто.

«По возрасту бывший гауптман или майор»,— подумал Никитин, он знал, что мог ошибиться, и тем не менее, продолжая угадывать, представил спину этого немца, затянутую в офицерский мундир, и спросил Самсонова, который протирал носовым платком стекла очков:

— Кто, например, этот?

— Немец, который стрелял в тебя,— досадливо ответил Самсонов.— «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес» [1]. Заметил выправку? Ого! Вон еще один. Не сомневаюсь, будущий сын бундесвера, кто-то дома исподтишка внушает ему мысль о былом величии третьего рейха.

Никитин посмотрел на подошедшего мальчика лет

---

[1] «Германия, Германия превыше всего».

одиннадцати, в коротких штанишках, в белых, измазанных грязью гольфах; мальчик этот, лениво пожевывая резинку, начал бесцеремонно ходить по каменным плитам, балансировать, как на спортивной площадке, его желтые ботинки мяли рассыпанные лепестки венков; потом он напряг круглую попку, тонкие икры, подпрыгнул, коснулся рукой выпуклого ствола пулемета на барельефе и сейчас же, надув на губах пузырь жевательной резинки, спрыгнул с плит, враскачку зашагал к усыпанному островами листьев пруду за оградой, где пронзительно визжали чайки. Их резкий, скандальный визг на затемненной сероватым туманцем воде был далеко слышен; чайки по-змеиному хищно нацеливали клювы, гонялись друг за другом вдоль берега, суматошно били крыльями, и стая медлительных уток, вертя шеями, отплывала от них, покачиваясь на воде меж палых листьев. Мальчик же в запачканных грязью белых гольфах шел по кромке берега, мимоходом махал ногой на чаек и все надувал пузырь вытянутыми губами, пока он не лопнул. Никитин сказал:

— Том Сойер... Похож?

— Немецкого происхождения,— поправил Самсонов.— Ну, двинем дальше. Здесь ясно. На знаменитый Реепербан поедем? Или опять потащимся пешком? Ты не размок, Вадимушка?

— Доедем под землей, черт с тобой.

Накрапывал дождь. Они спустились в промозглый сквознячок метро, в запах отсырелых плащей и зонтиков.

Когда они поднялись из метро на Реепербан, дождь перестал, тучи низко клубились над районом порта, над невидимым морем, небо набухло, тяжелыми глыбами ползло над кровлями.

Все здесь, даже вблизи метро, непохоже было на центральные, благопристойные улицы вокруг отеля, все говорило здесь о жизни иной, праздной, неестественно возбужденной, необычной, кем-то придуманной (на один вечер, на одну ночь, на один час) для туристов и торговых моряков разноязыкого мира, сошедших на сладкий, безотказно гостеприимный берег Гамбурга, готовый удовлетворить желания каждого, кто склонен к разнообразным удовольствиям больших цивилизованных городов.

— Вот он, знаменитый район Сан-Паули,— сказал Никитин.— Секс. Вино. И увеселения.

— М-да,— промычал Самсонов.— Вижу.

Тут ярчайше пестрели на всех углах грубо разрисо-

занные вывески баров, рекламы маленьких домов свиданий, ресторанов, американских клубов, повсюду бросались, лезли в глаза названия дансингов, ночных кабаре, стриптизов — «Табу», «Колибри», «Мулен Руж», «Сафо» — и смотрели через стекла витрин цветные фотографии оголенных крупнотелых девиц, лежавших в прозрачных ваннах, или распростертых, как бы распятых на коврах, или закрывших испуганно-капризно лицо распущенными волосами и игриво растопыренными пальцами то место, где должен быть фиговый листок; и повсюду странно выделялись торчащие груди, запрокинутые в позах изнеможения головы, напряженные шеи, гибкие руки в застенчивом движении ложного целомудрия, зрелые женщины и совсем девочки с невинно потупленными глазами, будто защищающие свою вдруг открытую наготу томной полуулыбкой. Это было какое-то перемешанное обилие женской плоти, обнаженная тайна напоказ, разъедающий толчок смещенного воображения, ядовито и искусственно создавшего сцены в нарочитом по своему бесстыдству уличном театре для заходивших сюда любителей эротического забвения.

В этот час Реепербан был по-дневному немноголюден, еще не зажигались ночные огни, не светились рекламы, еще не работали ночные кабаре, не открывались дансинги, еще не было вечернего оживления, какое мог представить Никитин по хаосу зазывных вывесок клубов, кинотеатров и стриптизов, но что-то работало уже в недрах улицы, с усталой механичностью начинало или продолжало ночную жизнь, темно шевелилось за стенами небольших отелей, за витринами баров, во дворах и подъездах домов. И деятельного вида, атлетического сложения швейцары в форменных пальто, непроспанно зевая, расхаживали у закрытых дверей, порой отбегали на середину тротуара, наперерез прохожим, с нагловатой решительностью преграждали дорогу, вывертом показывая в ладонях фотографии, какие-то билеты, выкрикивая хрипловатой скороговоркой:

— Новое порно! Вход три марки!.. Три марки для информации! Очень дешево!..

— Пять марок за пятнадцать минут! Молодая шведка... Две красивые мулатки, которые хорошо понимают друг друга!.. Шведский секс! Французский вариант!..

Здесь, подобно теням, появлялись на тротуарах бесцветные, бледноликие молодые люди с быстрыми плоскими глазами, в узконосых ботинках, скользящими тело-

движениями выступали из подъездов, возникали из глубины улочек, вполголоса убеждая зайти куда-то. В то же время благообразно седые, одетые в черное мужчины беспощадно ловящими взглядами сутенеров следили издали за работой молодых людей, зорко проглядывали улицу. А везде, под окнами, возле подъездов и около дверей баров, поигрывая раскрытыми зонтиками, стояли проститутки, немолодые, потрепанные, до неумеренной яркости накрашенные, и рядом — молоденькие, в мини-юбках, повесив сумочки на руку, независимо курили, подрагивали ногами, обтянутыми сапожками.

На этой улице оба не останавливались, шли, не отвечая на оклики, и теперь точно продирались через расставленную впереди колючую проволоку неотступно и секретно шепчущих бескровных молодых людей, держащих открытки в рукавах, сквозь как бы с угрозой наведенные взгляды солидных сутенеров, сквозь неуловимо сопровождавшее внимание дневных проституток, пожилых, тяжелых, матеро-опытных, и этих юных, внешне ангельски чистеньких, беловолосых, раскрывающих навстречу словно впервые подведенные синевой веки школьниц. И Никитин, чувствуя это окружение унизительной оголенности намерений, кем-то узаконенных, обыденных в своей простоте, подумал, что, видимо, здесь знали всё, что можно знать в темной бездне человеческой похоти, где заранее подробно были выучены роли, жесты, слова, позы, чтобы за цену, установленную соответственно вкусам, можно было купить и продать вместе и в отдельности ноги, губы, грудь, живот, голос, всю изощренную воображением искусственную страсть,— он подумал об этом и внезапно ощутил тупое, гнетущее насилие над собой; и мохнатой лапкой сдавило сердце тихое удушье.

Они молча миновали квартал дневных проституток, и тут, на углу, перед заворотом в улочку, сутулый, старообразного вида швейцар, какие обычно стоят подле дверей отелей, в длиннополой форме, украшенной серебристыми галунами, плохо выспавшийся и плохо выбритый, искательно закивал им морщинистым переутомленным лицом и заговорил полушепотом, умоляя подобострастно:

— Господа, только три марки... показываем короткие французские фильмы, привезенные с плац Пигаль. Я вижу, вы не немцы, вам интересно будет взглянуть. Последние фильмы. Вот билеты, господа, три марки, это стоит.., уверяю вас...

— Зайдем, что ли? — спросил неожиданно Никитин без

полной уверенности, обращаясь к Самсонову.— Посмотрим ради интереса. Все надо знать, если так... Как ты?

— Давай уж, давай, бог с ним, соблазн есть,—ответил, неизвестно почему багровея, Самсонов и, отсчитав швейцару шесть марок мелочью, пробормотал: — Знать так знать...

Они вошли в узкую дверь, услужливо раскрытую забежавшим сбоку швейцаром, спустились по тускловатой каменной лестнице в подвал, пахнущий пряной сыростью, теплым одеколоном, отодвинули тяжелую захватанную бархатную портьеру, закрывавшую вход перед концом лестницы. И в слоистой темноте крохотного зала замерцал, засветился впереди маленький экран, где нагая женщина на краю широкой постели в истоме обнимала мужчину за мускулистую спину, терлась затылком о подушку — шел фильм без слов, без звуков, фильм движений, изображающий двоих в номере отеля.

Никитин с порога приглядывался в полутьме зальчика, отыскивая места,— стульев нигде не было. Стояло лишь несколько столиков, на стенах слабо горели красные фонарики, в углу из тьмы красновато проблескивали зеркала бара; и зальчик и бар этот в первый миг показались совершенно заброшенными, пустыми. Но потом завиднелись справа у зеркал три женские фигуры, сидевшие за крайним столиком возле какой-то боковой занавески, и оттуда послышалось протяжное:

— Хэлло-о!

И при фосфорическом мерцании экрана, отсвечивающего в мрачноватое пространство без стульев, видно было, как две девушки встали, неторопливо, покачивая бедрами, приблизились и затем, как это делают контролеры в кинотеатрах («айн момент»), провели их в полукруглую ложу, посадили к столику и затем, обдавая душноватым одеколонным запахом, сели между ними с той неспрашивающей уверенностью, которая означала, что так уж заведено в этом баре-кинотеатре.

Никитин не успел взглянуть на свою соседку, как тотчас же подошла третья девушка, по-видимому официантка, посветила ручным фонариком. Он разглядел ее светлые волосы, продолговатое, неприступно-холодное лицо, лицо умной студентки; она сухо спросила, что господа намерены пить.

— Пить? — переспросил Никитин по-немецки и, немного озадаченный, взглядом подал знак Самсонову: «Бери командование на себя».

— Кока-кола,— заказал Самсонов для того, чтобы только заказать, и поэтому выбрал самый дешевый напиток.— Две.

«Кто же, собственно, эти девицы? Зачем они сели с нами? — подумал Никитин и здесь же вспомнил о предупредительных японских гейшах.— Вероятно, они служат здесь и своим вниманием обязаны занимать зрителей: совсем уж интересно, но, кажется, некстати».

Мгновенно принесли две ледяные бутылки кока-колы, две маленькие рюмочки с ромом, девушки зашевелились, заулыбались, разлили кока-колу, одна подала стакан Самсонову, другая — Никитину, и он наконец взглянул на нее: смуглая, скуластенькая, большие темные глаза ничего не выражали, тонкий свитер округливал ее сильную грудь, нога умело заброшена на ногу, узкая юбка стянулась, выказывая телесно белеющее колено.

Она отпила глоток из рюмки, качнула ногой, жестом попросила у Никитина сигарету, и он охотно угостил ее, зажег спичку. Огонек осветил чуть толстоватенький нос, густо начерненные ресницы, полные губы, колечком охватившие мундштук сигареты, ее круглые ноготки, отблескивающие багровым лаком. Она, медленно затягиваясь, опять качнула ногой, коснулась коленом Никитина и, улыбнувшись, легоньким кошачьим движением провела ладошкой по его волосам.

— Меня звать Гэда,— низким голосом сказала она, задержала палец на его щеке, ласково подергала, пощекотала мочку уха и добавила: — Кто ты — англичанин? Какой серьезный!

— Гэда? — повторил Никитин и убрал ее неприятно холодную, пахнущую горькой туалетной водой руку со своей щеки, давая понять, что не расположен к этому нестеснительному прикосновению, к этому изучающему его любопытству, и стал смотреть на экран, где в разных номерах отеля происходило одно и то же: она, обнаженная, сидя посреди постели, в задумчивости стягивала чулок, словно скручивала кожу на бледной ноге, открывалась дверь, входил он, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстегивал рубашку, она, не успев снять второй чулок, опрокидывалась навзничь под его играющим мышцами стальным торсом. Из затмения возникал соседний номер, длинноволосая женщина, разъятоглазая, в одних сапогах выше колен, сладострастно ударяла себя хлыстом по плечам; потом заставленная мольбертами комната, похожая на мастерскую художника, голая натурщица у окна од-

ной рукой кругообразно поглаживала живот, дрожа истонченными пальцами, другой, с порочной улыбкой, держала свечу около бедра; потом на утреннем песке пляжа мужчина заламывал назад руки по-звериному кричащей девушке, зубами вонзаясь ей в искусанную до крови спину, а кто-то, гладколысый, уродливо сгорбленный, тоже голый, подглядывал из-за кустов и, суча волосатыми ногами, злорадно, гадливо смеялся...

Никитин смотрел сначала с невнятным интересом, затем с тоскливым, раздраженным сопротивлением, и тошнотный, вяжущий комок постепенно подступал к его горлу, будто на глазах били обмотанными ватой кулаками, истязали, мучили прекрасное человеческое тело, заставляли его корчиться, извиваться в больном сладострастии, уничтожающем презрительной ненавистью естественное сближение мужчины и женщины.

— Англичанин, пей...

Хмурясь, он оторвался от экрана, отвлеченный голосом, шорохом в ложе, и увидел при вспыхнувшем фонарике — зачем-то принесли на их столик вино, две густочерные бутылки, четыре бокала, которые официантка молчаливо наполнила. Гэда пригубила бокал, искоса поглядывая на него, а официантка ушла за занавеску, скрывающую выход куда-то правее экрана. Занавеска эта подергивалась, колыхалась складками, и сипловатый мужской шепот дополз оттуда в пустоту зальчика.

И тотчас глухое беспокойство возникшей нереальности малярийным холодком стало вкрадываться в сознание Никитина. Уже происходило нечто несуразное, до глупости ненужное — фильм на экране, потные голые тела, темный закрытый бар в непонятно безлюдном подвале Реепербана, незаказанное вино на столе, шепот за занавеской, скуластенькая, никогда в жизни не виденная Гэда, прижимающая колено к его ноге. Что это? Нет, надо было сейчас же подняться, во что бы то ни стало сделать над собой усилие, выйти из нереальности этого подозрительного сырого подземелья, оторванного, казалось, от всего мира с его естественным светом, дневной серостью ноябрьского воздуха, живыми звуками, которые не проникали сюда, как сквозь железобетонную толщу. Было тихо, и в мертвенной немоте, после шевеления занавески, после сжатого мужского шепота за ней, Никитин представил дикие, зловеще мрачные лабиринты этого не известного никому подвала, его мокрые нависающие своды, осклизлые стены, обросшие грязью, зловонные канализаци-

онные колодцы и стоки, где текла мутная городская жижа и где не могло быть ни единой души человеческой.

«Уходить, нам надо уходить!» — подумал Никитин и тут же услышал низкий голос Гэды, лихорадочно пытаясь понять немецкие фразы:

— Я вчера была у врача, у меня все в порядке. Я слежу за своим телом, англичанин...

Она, сонно улыбаясь, медлительно погладила свою грудь и бедра.

— Я хорошая артистка стриптиза, я здесь выступаю вечером. Ты посмотри, какая у меня грудь. Пощупай... И посмотри, какие бедра. Как у мальчика. Ты кто, англичанин?

— Нет.

— Поляк? Югослав?

— Нет.

— Может, русский?

— А разве русские здесь бывали?

— Бывал один. Симпатичный человек. Только шпион.

— Почему шпион?

— Русские все шпионы.

— Это ведь чепуха, милая Гэда.

— Я вижу, ты медленно возбуждаешься,— сказала она и хрипловато рассмеялась.— Может, ты... этот? Может, ты другого хочешь? Не бойся, я все умею делать...

— Нет, милая, я ничего не хочу!

«Уходить, сейчас же уйти отсюда. Сказать об этом Самсонову!» —подумал Никитин, испытывая тревожную и душную тесноту во всем теле, и, уже совершенно не понимая, не видя смысла происходившего на экране — мелькали там те же голые фигуры мужчин и женщин,— он со смешанным чувством отвратительного страха, брезгливости и двусмысленности положения наконец повернулся к Самсонову и не сразу узнал его. Самсонов, придавленный в угол крупным телом другой девицы, мотал лиловым в полумраке лицом, бормотал что-то ненатурально сердитым голосом, он словно оправдывался, оборонялся растерянной усмешкой, и Никитин проговорил одним выдохом:

— Всё, пошли отсюда!

Самсонов с задышкой обратил на Никитина стекла очков, привстав, бросил в пустынный зальчик бара:

— Счет!

Заколебалась, откинулась занавеска правее экрана, и

не спеша подошла белокурая официантка, выражая и ртом и глазами целомудренную строгость умной студентки. Она положила на столик два счета, в ожидательной невозмутимости посветила ручным фонариком. Никитин не сумел толком просмотреть свой счет, потому что заметил, как мигом переменилось толстоватое лицо Самсонова, вскинутое к зажженному фонарику официантки, и голос его вскрикнул изумленно:

— Откуда такой счет? Вы ошиблись! Сто пятьдесят марок? Мы заказывали только кока-колу! Позвольте! Мы не пили вино!

— У тебя нет денег, англичанин? Не знаешь цен? — бесстрастным голосом проговорила официантка и наклонилась близко к нему.— Сколько ты можешь заплатить марок? Сколько у тебя всего денег?

— Сто марок,— запинаясь, солгал Самсонов.— Я могу заплатить только сто марок.

— Давай сто!..

Трудно дыша носом, опасливо соображая что-то, Самсонов извлек из внутреннего кармана портмоне, порылся в нем непослушными пальцами, но, когда вытягивал две пятидесятимарковые купюры, официантка цепким захватом отогнула край портмоне, крикнула внезапно визгливо:

— Там еще есть деньги! Давай! И ты... плати! Тоже нет денег?

И зажатым в кулачке ручным фонариком властно и грубо ткнула в лоб Никитину, с искаженным злобой красивым лицом и вся готовая к действию, вплотную придвинулась, загородила экран. Никитин никак не предполагал этой ее грубости, этого насилия, но, понимая, что все теперь походило на угрозу и вымогательство, как-то обостренно уловил в углу подвала колыхание занавески — и двое мужчин боксерского сложения (один без пиджака, в белой рубашке, с распущенным узлом галстука, другой в темном свитере) поочередно вышли оттуда, демонстративно сели на высокие стульчики бара спинами к залу, покуривая в безразличном молчании.

— Фонарик надо использовать по назначению, уважаемая,— выговорил Никитин.— Так будет разумней.

Он не раз переживал тягостное состояние связанных рук, то состояние, какое потом повторялось во сне, когда душная, унижающая тебя сила выворачивает плечи, железным обручем давит горло, смеется при виде твоей по-

корной беспомощности. И это было то, что могло случиться здесь, сейчас, в безлюдно-зловещем подвальчике, здесь, в примитивной ловушке, отъединенной от внешнего мира: драка, избиение, грабеж, возможно, даже убийство, сырая клоака зловонных ходов, заброшенные колодцы городской канализации — ни одного свидетеля вокруг, никто никогда не сможет ни найти, ни узнать...

И, молниеносно осознав собственную беспомощность, Никитин благоразумно решил, что нет ни малейшего смысла выказывать официантке сопротивление, проявленное ошеломленным Самсоновым, и, еще стараясь быть спокойным, он небрежно пододвинул к себе свой счет — сто сорок три марки, потом счет Самсонова — тоже сто сорок три марки. Это была большая сумма, которая представилась ему ничтожно мизерной, малозначащей,— да, да, немедленно, не сомневаясь ни секунды, заплатить триста марок и купить этим выход на ноябрьский воздух, приятный дождичек, мокрый асфальт... Какой никчемной, маленькой была эта сумма, покупающая возможность встать, откинуть тяжелую портьеру перед лестницей, подняться по ступеням из свинцовой полутьмы подземелья, избавиться от влажного запаха одеколона, исходящего от Гэды, безучастно посасывающей вино, не видеть злобного лица белокурой официантки, которая с выжиданием стояла над ними, изготовленная на все — ударить, завизжать, вцепиться ногтями в глаза.

И думая лишь об этих первых шагах по лестнице, Никитин отсчитал триста марок, равнодушно протянул их официантке, пояснил:

«Счет вместе», — и она почти вырвала деньги у него; он коротко и тихо сказал Самсонову:

— Пошли к выходу, только быстрей!..

Официантка, собрав губы в жесткий комочек, выкладывала на стол сдачу мелочью. Двое мужчин все так же непроницаемо-безразлично сидели спинами к ним у стойки бара, покуривали молча.

«Скорее, скорее»,— подталкивал себя Никитин и вдруг, с ударившей в голову кровью, почувствовал, как Гэда схватила его за локоть, впилась в рукав плаща, не давая ему встать, и тогда, сдерживаясь немыслимым напряжением воли, чтобы не оттолкнуть ее («Она сейчас завизжит, крикнет, что ее избивают, и тут начнется!..»), он мягко разжал вцепившиеся в его рукав ногти и встал, ощущая мерзостное отвращение к этой фальшивой улыбке («Нет, ничего особенного не случилось!»), к свое-

му голосу и неестественно вежливой интонации удовлетворенного полученным удовольствием человека:

— Данке шён... Ауф видерзеен... [1]

Качнув животом стол, неуклюже вскочил следом Самсонов и, сопя, нагнув по-бычьи голову, двинулся к выходу,— и в ту же минуту Никитин пошел за ним, и после того, как на пороге отбросил захватанную портьеру, пропитанную омерзительной пряной сыростью, и увидел счастливый дневной свет вверху крутой лестницы, он еще не очень верил, что там, сзади, не опомнятся, не бросятся вдогонку...

Задыхаясь, они поднялись по каменным ступеням к выходу, откуда бело пробивался через стеклянную дверь реденький мерклый свет осеннего дня, а когда открыли дверь, когда вышли на улицу, на свободу, на простор тротуара, на прочную твердость влажного асфальта, оба возбужденно вдохнули горький водянистый воздух Рееппербана и оглянулись по сторонам.

— К чертовой матери отсюда! — выговорил Никитин.— Ко всем чертям!

Швейцар стоял сбоку двери и сделал вид, что всецело занят соскребыванием пятнышка с борта зеленой шинели, морщинистое, измятое его лицо было не угодливым, а лживо-сосредоточенным. И Никитин поймал себя на злом и тайном желании — запомнить название бара, и это место, и это лживое лицо, которое могло быть случайным и неслучайным знаком в его судьбе.

— «Интим-бар»,— прочитал Никитин неоновую вывеску над дверью.— Отличное название для бардака сто первого разряда! Потрясающее по невинности заведение! Вот как бывает, Платон!

— Ах, идиоты! Идиоты! — вскрикивал Самсонов в невылитой ярости и ударял кулаком по своему потному лбу.— Триста марок! Ограбили! Изнасиловали! Среди бела дня! Как сусликов, как глупцов ограбили!

— Благодари бога, дешево отделались, Платон,— уже веселея, сказал Никитин.— Ну что было делать? Заявить полиции, что ты возмущен неблагородством притона и будешь жаловаться канцлеру? Могло быть гораздо хуже. Учти, нас ограбили как англичан, но они еще не знали, кто мы. Ты слышал милый лепет этой прелестницы Гэды о русских? И обратил внимание на вышедших боксеров-мальчиков? Дредноуты в пограничных водах.

---

[1] Большое спасибо... До свидания...

— Идиоты мы, идиоты! Вот кто мы! Триста марок!..

— Бог с ними, с марками, считай, что у нас их никогда не было! Точнее, любой гонорар в капстране — дурные деньги.

— Ан нет! Это уж нет, прости! Я тебе должен сто пятьдесят, и я их тебе верну. Расплата за идиотизм поровну!

— Никаких денег, видишь ли, Платон, я у тебя не возьму. О трехстах марках я уже забыл. Не было их.

— А я не живу в долг, ты тоже запомни!.. О, простаки, глупцы, надо же было попасть в такое положение, дураки, ослы, болваны! И каким же сволочам мы попались!

— Успокойся. Все прошло. Такое стоит дороже. Все равно любопытно, ей-богу.

Никитин говорил и даже посмеивался, успокаивая Самсонова, багрового от негодования, от неудовлетворенной злости, а сам чувствовал, что стиснутое внутри унизительное бессилие не расслабляется до полного облегчения. Ибо все случившееся было примитивно разыгранным насилием, не имеющим никаких доказательств и никаких улик, выглядело обыденным, вполне естественным: и вино, и девицы за столиком, и мужчины за стойкой бара, готовые вступиться за оскорбленную и беззащитную девушку-официантку, которой не платят по счету... Виновных не было, вернее, они были: два зашедших в бар иностранца, желающих развлечься и позволивших себя ограбить, унизить, ударить...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Это был первый гонорар, три тысячи рублей, первые деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства,— три толстые плотные пачки, каждая перетянутая бумажной ленточкой, отмеченная печатью и какой-то росписью. Пачки эти приятно оттопыривали карман его старенького пиджачка, и он, выйдя из подъезда издательства на солнценосный воздух июньского дня, переживал прилив счастья и от впервые непривычно увиденной и такой знакомой фамилии над рассказом в толстом журнале, и от долгожданного богатства, сладострастно давившего пачками на грудь.

В первом же табачном киоске он купил неправдоподобно дорогие папиросы «Герцеговина Флор» и в полусне

наслаждения, забыв про долги, про неуютную, с нечистыми обоями комнату, снимаемую им возле Павелецкого вокзала, пошел по улице, летней, пестрой, горячей, в тени облитых полуденным зноем тополей. Он ликовал, он глядел на лица прохожих и радостно думал: нет, они не знают, что его имя сейчас вроде бы отделилось от него, что везде в газетных киосках продают новый журнал, в котором напечатан *его* рассказ, им написанный, им рожденный за шатким обеденным столом той неуютной комнатки с отставшими, пожелтевшими обоями, никто не знает, что он наконец может заставить этих прохожих, этих незнакомых людей на улице восхищаться, грустить, удивляться, и что он богат сейчас, и отдаст долги (комнатка, обеды хозяйки), и купит себе костюм, белье, ботинки, и еще останутся деньги для спокойной работы, чтобы снова удивлять людей и заставлять их преклоняться перед его благословенным талантом.

На углу он долго ходил вокруг газетного киоска, рассматривая сквозь нагретое солнцем стекло обложки книг и журналов, однако боковым зрением наблюдал за прохожими, покупающими свежие газеты, последний номер «Огонька», и взгляд его поминутно останавливался на названии толстого журнала, в котором был напечатан его рассказ. Он все время помнил запах типографской краски, исходивший от прекрасной гладкой бумаги, где стояла его фамилия, от печатных знаков, странно и черно заполнявших первую страницу, наизусть помнил начало рассказа, заранее представляя, что мог почувствовать человек, прочитав после заглавия «Однажды осенью», как казалось ему, дышавшего самим грустным запахом осени, фразу: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше, по навесу крыльца, ветер косо гнал по лужам темные кораблики опавших листьев...» Он так неутоленно работал над этой фразой, уже написав весь рассказ, так длительно отшлифовывал ее, удлинял, сокращал, переставлял слова, убирал эпитеты, что она снилась ему как сладострастное наказание, как му́ка,— но в этой муке было наслаждение, и оно не имело конца, оно не прекращалось.

Покуривая папиросу, будто бы в состоянии рассеянной задумчивости, он ждал у киоска того сладкого тщеславного момента, когда кто-нибудь купит журнал с его рассказом, и про себя повторял наизусть начальную фразу, что должна обязательно броситься в глаза на первой же странице: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше...» Какая все-таки это была отточенная, восхитительная фра-

за, заставляющая, конечно, читать дальше, не отрываясь, в особом грустном восторге перед осенними сумерками в маленьком городке на берегу реки с оголенным октябрьским садом.

Лицо старика продавца за стеклом киоска было до унылости будничным, он продавал газеты, отсчитывал мелочь двумя обмотанными несвежими бинтами пальцами, после чего доставал из-под полочки бумажный кулечек и равномерно жевал, оставляя на подбородке крошки лимонных вафелек.

«Что такое? Почему не покупают журнал? — думал Никитин, глядя на вяло жующего продавца, который, разумеется, должен был отлично знать о серьезности и популярности толстого журнала и вышедший номер предлагать каждому.— Сказать ему о журнале или не сказать?»

Он торчал у киоска минут двадцать, мешая здесь, его толкали, и старик продавец вдруг подозрительно уставился на него, привстав из-за кип газет, спросил скрипуче:

— А вам что, молодой человек?

И тогда с запылавшим лицом он взял журнал со своим рассказом, просмотрел оглавление, полистал, раскрыл то место, где черным шрифтом ударяла невероятной новизной его фамилия, пробежал первые строчки, сказал не без деланного удивления:

— А, вышел...

— Кто вышел? Новенькое? Автор-то кто? — И, помышиному похрустывая вафелькой, продавец взглянул на фамилию, на заглавие рассказа, точно в безрадостную пустыню посмотрел.

— Это мой рассказ,— с насильственным равнодушием человека, который перекупался в утомительном сиянии славы, сказал Никитин, испытывая томящее удовольствие от некоторой вопросительности в выцветших глазах продавца.

— Вы автор?.. Вы? Пишете? Так-та-ак!.. Никогда не видел таких молодых авторов... Вы, стало быть, писатель? Приятно видеть...

— Да, это мой рассказ,— повторил Никитин, нахмурясь, и полез за деньгами.— Дайте мне два журнала. То есть три журнала, пожалуйста. У меня нет ни одного экземпляра.

Он явно солгал — у него было два авторских экземпляра, а ему хотелось купить всю стопку вот этих приятно отливающих фиолетовыми обложками, еще не трону-

тых никем журналов, что были в киоске, купить с необъяснимой и алчной жадностью, будто могли они в одну секунду исчезнуть из киосков,— и тогда не будет печатных доказательств его авторства, так чудодейственно что-то решившего в его жизни.

— Прозаик Никитин? Ты, что ль? Опус свой скупаешь? Здоро́во, что ль!

Сильно окающий голос толкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно дерзким артистическим панибратством, и он поежился, ловя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу, обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был тот ржановолос, широкоплеч, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном нараскат. Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете.

— Прозаик... Талантище!..

Вихров, в потертом, помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, плохо причесанные волосы спадали на крепкий лоб, обрадованно, подобно веселому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом:

— Читал рассказ, читал, мы с тобой соседи в журнале, моя баллада там напечатана, не прочел? Прочти! А я твой опус прочел,— хорошо, здорово! Как у тебя там? «Огоньки шевелились в темноте», что-то вроде так... Это, брат, прямо строка из стихов! Талантище ты, Никитин, прорвешь пелену и в Чеховы на белом коне выедешь! Мо-ло-дец, прозаик, мо-ло-дец!

— Ты в какую сторону? — спросил, краснея, Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова.— Ты не в центр?

— В центр так в центр! Пошли. Гонорарий получил? Обмоем? Твой рассказ, первую ласточку, и мою балладу! Посидим где-нибудь. Поговорим за жизнь. Поедем в Парк культуры, на чистый воздух? У тебя как — дети не плачут? Жена не ждет? Теща со скалкой не встречает?

— Нет, я один.

— Тогда потопали на троллейбусную остановку, Чехов! Грех первый рассказ-то не отметить! Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты. Белой скатеркой в славу! Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты?

Никитин хорошо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная радость (наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное!) и от того, что напоминанием о случившемся лежали рядом на столике журналы с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам, и от того, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизбежно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета,— на терраску веяло запахами дерева, пресной листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе аллей.

Он с непроходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии прозы, о деталях рассказа, о боге, который волшебно водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам-единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячечные увлеченностью пойманной мысли, на ржаные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров, как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его так близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окал, играя под простоватого парня.

Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной волей воображения; потом Вихров начал читать последние, еще не опубликованные лирические стихи. А Никитин чем больше пил, тем больше восторгался Вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью и после каждого прочитанного стихотворения говорил: «Великолепно, здорово, отлично!» — и порывался обнять его в избытке восхищения и, окончательно покоренный, раскрытый,

обнаженно-добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви.

Но, растроганный наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил: судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, начиналась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая; этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить, появятся статьи на полосах газет, мнения критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками «Талантливый рассказ» или «Талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности, имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. И сбудется наконец давняя и лелеянная его мечта, как бы пришедшая из сладкого сна: он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы, его фразы... «Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях...» «Я не встречу,—сказал он грубо.— Прощай!» — «Нет,— сказала она и погладила его по плечу.— Я приеду, даже если ты не встретишь...»

Он тоже произносил тосты, пил, предлагал выпить еще, слушал Вихрова, умилялся и голосом Вихрова, и его совсем недавно написанными лирическими стихами, пронзительной, грустной туманностью ощущения двух людей, его и ее, что расстались осенью на вечернем полустанке, озаренном тлеющим над рельсами закатом, думал влюбленно, что несомненно и навсегда обрел сегодня друга, единомышленника, одинаково чувствующего, одинаково понимающего, и был одновременно переполнен неизбывной радостью: «Да, мы сидим здесь, а ведь напечатан мой рассказ и впереди еще много будет рассказов!..»

В этом летнем немноголюдном кафе они сидели до сумерек и, не переставая, с жаром и страстью говорили о вечной магии точного слова. («Слушай, слушай, какая простота и гениальность: «Звезда печальная, вечерняя звезда! Твой луч осеребрил увядшие равнины...» Или вот: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» Это же с ума сойдешь: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...» А ты вот вникни только: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые как слезы первые

любви!» Написать такое — и помереть спокойно можно! Великая литература, мировые гиганты!») Спорили, соглашались, перебивали друг друга, плакали, теперь повторяя наизусть волшебные строки любимой прозы («Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России...» — вот удивительное начало рассказа, вот удивительное колдовство настроения! Лермонтов бесподобен! А Чехов — как он умел заканчивать свои рассказы! Помнишь фразу: «Мисюсь, где ты?»), опять произносили тосты, пили на десерт какой-то парфюмерно-сладкий ликер, запивали его кофе, объяснялись друг другу в любви, клялись в верности литературе, глаголу и эпитету, во взаимной мужской дружбе оставшихся в живых фронтовиков («Единицы нас, Вадим, остались, единицы!») и, наконец, будто вынырнули из тумана, опомнились — голубизна сумерек сгущалась в аллеях парка. Расплатились щедро и встали под насмешливый шепоток официантов,— видимо, принимали их тут за не очень нормальных людей: щедрые деньги, разговор о литературе, крики, споры, слезы на глазах и обтрепанные пиджачки являли непонятное и загадочное противоречие.

А когда пошли по аллее парка, подуло предвечерней прохладой по разгоряченным лицам, Вихров, потный, возбужденный, широко расстегнув на выпуклой груди рубашку, ржаные волосы прилипли ко лбу, охватил одной рукой Никитина и в хмельном упоении, не в силах остановиться, улыбаясь чему-то, начал читать стихи Бунина проникновенным, чуть охрипшим голосом.

«Отличные стихи,— думал потрясенно Никитин, вслушиваясь в сниженный баритон Вихрова и вместе слушая счастливо поющую струнку в самом себе.— Все отлично, и мне не стыдно, что я немного пьян. Но почему мы встали и так рано ушли из такого уютного для разговора кафе?»

И как-то невозможно было Никитину подумать и согласиться, что вот сейчас они выйдут из парка в толпы прохожих на темнеющих улицах, где бледным светом зажигались фонари, и расстанутся, то есть Вихров кончит читать стихи, перестанет говорить об алмазном блеске слова в поэзии Бунина, сядет в троллейбус, уедет куда-то на окраину Москвы, а он, Никитин, доедет в метро до Павелецкого вокзала и за углом переулочка увидит на втором этаже старого, облезлого дома окно своей унылой комнатенки, пахнущей плесенью и обветшалой, древней мебелью. Нет, нет, их разговор и восторг, их доброту

друг к другу, к литературе, ко всем людям невозможно было просто так прервать, закончить: ведь все было сегодня необыкновенно!

— Честное слово, Василий, мне не хочется домой, и рано еще,— сказал Никитин.— Может, пойдем пешком до центра?

Тогда Вихров предложил «на посошок» просвежиться по Москве-реке на водном трамвайчике, вечерами свободном, не заполненном пассажирами, курсирующем до Кунцева и обратно, сесть можно на пристани в Парке культуры, а сойти где-нибудь в городе,— и Никитин обрадовался этому предложению.

На речном трамвайчике зашли в буфет, чтобы выпить по последней рюмке коньяку, и здесь Вихров донжуански подмигнул буфетчице, низенькой, полногрудой, черноглазой, в накрахмаленном халатике, нараспев прочитал ей лирическую строчку из Блока: «И каждый вечер, в час назначенный...» Буфетчица захихикала, расставляя на влажном пластике рюмки, кокетливо повела бровями: «Студенты, видать? Стипендию получили? Празднуете?», а Вихров приятельски обнял Никитина и сказал ей, что перед прекрасными очами прелестной женщины молодой, талантливый писатель, и посоветовал ему немедленно подарить экземпляр журнала с рассказом, сделав дарственную надпись. «Пусть, Вадим, читает народ...»

Никитин сконфуженно переспросил имя «прелестной женщины», быстро сделал надпись в журнале под заглавием рассказа и, расплачиваясь за коньяк, с видом богача, не считающего деньги, не обратил внимания на сдачу, положенную на мокрое блюдечко.

Затем совсем одни они сидели в нижнем, ярко освещенном салоне, заказали зачем-то шампанское, снова говорили, читали стихи, смеялись, обдуваемые водяной прохладой, нефтяным ветерком в открытые окна, за которыми шла, шумела мимо бортов москворецкая волна; тряся пол от глухой вибрации винтов, город сдвигался, поворачивался куда-то, плыл огнями над гранитными набережными, и спустя немного стало в салоне хаотично, уютно и весело.

Никитин был в состоянии любвеобильного блаженства (ему не жалко было бы отдать и рубашку), сорил деньгами, угощал шампанским и шоколадом черноглазую буфетчицу и ее помощницу, сонную толстую женщину, угощал коньяком двух парней-матросов с наглыми загорелыми лицами, то и дело забегавших поглазеть, как гуляют в

салоне два чокнутых типа, ничем не похожих на писателей. А буфетчица с фальшивой угодливостью приносила теперь на подносе бутылки прямо в салон; Никитин совал ей небрежно скомканные деньги, не спрашивая сдачу, потому что не прекращались тосты за литературу, за жизнь, за будущее, за прекрасных женщин. Потом Вихров, притомленный несколько, закрыл глаза и, подперев кулаком скулу, попробовал было затянуть густо и рокочуще «Из-за острова на стрежень», женщины подтянули сначала дружно, но спохватились, зашикали друг на друга («Тише, а то подумают — фулиганство!») и, хихикая, стали показывать пальцем наверх, где на открытой палубе сидели, кутаясь в плащи, три-четыре пассажира, они должны были сойти, кажется, в Кунцеве.

И в наркотическом угаре разговоров, в непрекращающемся возбуждении Никитин время от времени не особенно отчетливо слышал голоса среди накуренного, оголенно освещенного салона, видел незнакомые лица, женские и мужские, недоверчиво удивленные его щедростью, неблизкие ему, неинтересные («Почему эта буфетчица хихикает поминутно, и морщит губы, и поглядывает както намекающе? И почему у нее красивые глаза и какой-то плоский некрасивый рот?»), и тогда притупленный укол мутного стыда («Что же со мной происходит? Зачем я это делаю?») словно отрезвлял его.

Только в двенадцатом часу они сошли с трамвайчика вблизи кинотеатра «Ударник», и Никитин, еще не остывший, еще расслабленный всем этим необычным днем и необычным вечером, начал убеждать Вихрова, что посадит его в такси, не пойдет домой, пока не проводит его до такси... И они двинулись к стоянке по набережной в сторону Балчуга, спотыкаясь, часто останавливаясь возле каменного парапета, чтобы закурить (курили же беспрерывно) и до конца высказать свою расположенность друг к другу, найденное единство душ и еще раз напомнить о том, что обязательно должны встречаться.

Им повезло: зеленый огонек такси одиноко замерцал на повороте из провала Пятницкой, приближаясь к стоянке около моста, они заорали «але!», замахали руками, машина затормозила. Они по-братски обнялись, расцеловались — и Никитин вдруг остался один, неуспокоенный, взбудораженный, казалось, вмиг мелькнувшими часами разговоров, питья, куренья, единомыслия, восторженных открытий, и вроде сейчас ему не хватало чего-то.

На Овчинниковской набережной, напротив киноте-

атра «Заря», без зажженных реклам, по-ночному темного, на углу пригашенной Пятницкой, редко желтеющей верхними окнами, сидела на парапете под фонарем группа парней, и, вероятно, после киносеанса, они, посмеиваясь, переговаривались, поплевывали с ленцой в черно-маслянистую воду Канавы; один, сутуловатый, кряжистый, в коротеньком пиджачке, мотая широкими брюками, как бы от нечего делать, для собственного развлечения, выбивал чечетку на тротуаре.

— Эй, друг, нет закурить?

Парень этот свистнул, завидев на набережной одинокого Никитина, и когда тот, слегка пошатываясь, подошел, охотно протягивая пачку («Пожалуйста!»), парень беззастенчиво, стремительно подцепил ногтями сигарету, поинтересовался, кивнув на остальных:

— Всем даешь? У всех кончилось, пусто у нас, кореш...

— Да, да, конечно, закуривайте, ребята.

Его обступили, толкаясь, и потянулись к пачке, быстрые пальцы жадно выдергивали сигареты; под светом фонаря окружили его чужие лица, молодые, настороженные, чудилось, не доверяющие его щедрости, но оттого, что́ было сегодня в Парке культуры и в светлом салоне речного трамвайчика, оттого, что́ сегодня свершилось в его жизни, он, рассовывая в руки парней сигареты, улыбался им, говорил с наивной широтой счастливца:

— Какая же это ерунда, ребята! Догадываюсь — нет денег на сигареты. Все это знакомо. У меня бывало — ни копейки.

— Что? — спросил кряжистый парень, подозрительно ощупывая Никитина остро-раскосыми глазами.— Что сказал?

— Я очень хочу купить вам всем сигареты, ребята, ведь я знаю, что такое, когда нет ни копейки,— сказал Никитин, кивая, подхваченный соучастливой добротой к ним и ничуть не разочарованный этой встречей, где нужна была его помощь, на этой затихшей до рассвета Пятницкой, с потушенными рекламами маленького кинотеатра «Заря», в синевато-летней прозрачности ночи. «Да, да, — подумал он, — мне не хочется идти домой. Я могу хоть целую ночь бродить по Москве, встречать поздних прохожих, закуривать, знакомиться, разговаривать с ними, вот как с этими парнями. Как это прекрасно — знакомиться с людьми!»

— Знаете что? — сказал Никитин дружелюбно и просто.— Если «Балчуг» не закрыт, пойдемте в ресторан,

купим сигарет, какого-нибудь вина выпьем, поговорим. Хотите, ребята?

— За чей счет? Кто платить будет?— спросил кряжистый парень в коротеньком пиджачке, но подумал и сейчас же толкнул кого-то в сторону ресторана «Балчуг» за мостом.— Дуй туда!

Сразу двое парней бросились через пустынный мост к ресторану, светившему сквозь зашторенные окна; и видно было, как застучали они в задребезжавшую на всю улицу стеклянную дверь, затем появилась за стеклом фигура швейцара, донеслись требовательные голоса: «Открой, папаша!» — но дверь не открылась, темная фигура швейцара исчезла, после чего двое эти вернулись; один из них возбужденным шепотом сказал что-то кряжистому парню, и тот, хмыкнув, свинцово уперся глазами в переносицу Никитина, спросил, растягивая слова:

— Ты, фраер! Знал, что «Балчуг» закрыт?

— Жаль. Что ж, очень жаль,— разочарованно сказал Никитин и вздохнул,— а мне хотелось, ребята...

— Врал, бухарик? — со злой, игривой нежностью выговорил парень и, откинув пятерней лохматые волосы, будто хотел ударить, подмигнул остальным, стоявшим молчаливой группой.— Угощать хотел, а денег нет! Денег-то у тебя ни копья!

Никитин смотрел на скуластое лицо его, не ощущая опасности, как не ощущают боли или насмешки сверх меры счастливые люди, и было лишь непонятно, даже оскорбительно ему подозрение в обмане.

— Нет,— сказал он искренне.— Ты напрасно... деньги у меня есть.

— Врешь, нету у тебя грóшей! А ну покажи! — угрожающе и требовательно крикнул парень — и в этом резковатом «а ну» зазвучала нотка жестокой силы, и еще нечто хищное, ночное возникло в раскосых глазах, в широких его скулах.

И Никитин, уже трезвея от его недоброго взгляда, от этого неприятного голоса, увидел, как группка парней, исподлобно наблюдая за ними, чуть-чуть зашевелилась под фонарем и замерла в напряжении. «Сейчас что-то должно случиться»,— подумал Никитин, разом почувствовав сквозной холодок в груди, и, понимая глупость положения и не понимая того, что он зачем-то вроде бы должен оправдываться перед парнем, усмехнулся обиженно ему.

— Ты большой чудак, я вижу,— сказал Никитин, нащупал в заднем кармане скомканные деньги, наугад

вынул новенькие пятьдесят рублей и показал их.— Нет, я хотел с вами, ребята...

В ту же секунду рука парня крючкообразно мелькнула впереди, движением защитного инстинкта Никитин отдернул свою руку, пальцы парня успели вцепиться в край пятидесятирублевки, рванули к себе, выхватывая ее, послышался звук разрываемой купюры, и парень торопливо отступил на шажок, выговаривая хриплой задышкой:

— А ну, отдай всю бумагу, бухарик! Отдай сюда!

Позже, вспоминая ту ночь, Никитин думал, что если бы тогда парень спокойно попросил у него денег — пятьдесят или сто рублей, то он не отказал бы ему и был бы, наверное, доволен, совершив пьяный акт добра. Но было иначе.

— Зачем же? — шепотом выговорил Никитин, сначала не сообразив, почему парень не попросил у него деньги, а злобно, несправедливо попытался вырвать их, и мгновенная знойная волна темной жути, слепящей ненависти к этому парню, к его коротенькому пиджачку, к раскосым воспаленным глазам, к каждому его отвратительному жесту опалила Никитина; он договорил, заикаясь даже:

— Тут вас шестеро... а я с тобой хочу драться, п-парень! Ну что ж, д-давай!..

И, готовый драться, сунул клочок денег в карман, стиснул кулаки, шагнул вперед отрешенно.

— Не подходи, падло! Я сифилитик! Не подходи! — взвизгнул парень, исказив рот не то судорогой испуга, не то изумлением при виде внезапной отрешенности Никитина, и, отхаркнувшись, плюнул; плевок не попал в лицо Никитина, белым пятном прилип к груди, и только как в тумане уловив узкие глаза парня, Никитин кинулся к нему и с ненавистью и с наслаждением ударил его в костистый, лязгнувший челюстью подбородок, в мокрый рот, захрипевший заглушенным криком. Но сзади что-то черно и сильно оглушило его по голове, фонарь качнулся вбок, мостовая жестко царапнула щеку, замелькали, хрипя, вскрикивая, тени над ним, забегали вокруг, заскакали ноги, по-звериному пронзил его чей-то голос: «В печенку бей, в печенку!» И он, чувствуя острые удары ног под ребра, под грудь, охваченный одной сумасшедшей и мстительной мыслью: «Подняться, лишь бы подняться!» — рванулся с земли, упираясь в асфальт двумя руками, неимоверным толчком вырвался из топота, толчеи окружавших его ног, метнулся вправо, влево среди

полубезумных, почти нечеловеческих лиц, объединенных одинаковым оскаленным волчьим выражением, будто возбужденных видом крови. И без ощущения боли ударов, подчиняясь незнакомой, взорвавшейся в нем дикости, крича неистово и страшно: «Трусы! Сволочи!» — мотался в окружении тел, бил по этим ненавистным лицам, нагибаясь, выворачиваясь, едва не падая от бешено вложенной в сжатые до онемения кулаки силы, как обреченный дорого отдать свою жизнь. В то же время, безобразный, наверно, упоением неистовства, он, еще одержимый памятью зрения, лихорадочно искал взглядом лицо широкоскулого парня, стараясь прорваться лишь к нему, но тот возникал и пропадал за чьими-то спинами, плечами и там пронзительно вскрикивал подсказывающим голосом: «На землю его, на землю!»

Но когда на счастливый миг (это был счастливый миг!) он, задыхаясь, слыша, как трещит на нем пиджак, разрываемый в разные стороны крючьями рук, сквозь удары и пинки прорвался к парню, тот издал устрашающий взвизг горлом, отступая вдоль парапета набережной к мосту, и тут словно бы вокруг образовалась пустота, прекрасная, справедливая пустота, теперь никто почему-то уже не мешал им, а парень отходил по мосту боком и спешащими рывками вытаскивал что-то из кармана брюк, и вдруг блеснул длинной иглой распрямленный складной ножичек с серебристым тоненьким лезвием. И странно было — этот стальной блеск ножичка не вызвал у Никитина страха, наоборот, его слепо, неудержимо и яро кидала к парню какая-то разжатая до беспамятства пружина ненависти, которую ничем не мог в себе сдержать, и он упоенно, молитвенно, как в бреду, шептал:

— Ну, отлично, теперь мы один на один... Теперь я узнаю, стрелял ли ты когда-нибудь по танкам... («Зачем я говорю это? Почему это я говорю?») О, теперь все будет как надо, трусливая ты сволочь... Такие и в войну были! О, такие, как ты, были еще в Древнем Риме... («Какой Рим? Зачем?») Ну что ж, ты или я?.. Посмотрим! Ты или я?..

— Не подходи-и! Сердце проколю! — заревел горловым голосом парень, исступленно тряся лицом, так что волосы забили по вискам его, и, прижавшись боком к перилам моста, остро выставил кулак с посверкивающим в нем прямым лезвием.

Должно быть, так озверело, устрашающе и утробно кричал первобытный человек, встречая черной ночью

сильного врага мужского рода близ своей пещеры, замахнувшись, нацелясь смертельно-угловатым камнем, чтобы сделать прыжок и раздробить череп самцу чужого племени. Но пещеры не было, не было первобытного человека, была спящая Пятницкая, закрытый ресторан «Балчуг», мост через Канаву, широкоскулый, с омерзительно разбитым носом парень и он, Никитин, неузнаваемо окровавленный, истерзанный, в разодранных пиджаке и рубахе, глотавший кровь, наполнявшую рот, готовый в бешенстве и правоте бить, ломать, разрушать, защищать себя, свою наивность и что-то еще нематериальное, оскорбленное раздавленное, но все-таки в те секунды Никитин уже не был Никитиным, а это придавало пещерно-дикое безумие тому, что он делал тогда...

— Хочу, чтобы ты все запомнил, сволочь!.. Нет, я этого не хотел!.. А вы шестеро на одного... Нет, нет, не в деньгах дело! — одеревенелыми губами шептал бредово Никитин, подступая к парню, к напряженно подрагивающему в его кулаке тоненькому, как игла, лезвию.— Ну, спрячешь нож? Или не спрячешь? Спрячешь? Или?..

— Не ле-езь! Проколю мошонку, падло! —опять взревел парень первобытным голосом угрозы и страха.

И в следующий миг Никитин почувствовал — по левой кисти больно скользнуло горячее, твердое, шатнулись впереди выкаченные злобой воспаленные глаза парня, черно открытый, сипом дышащий рот, на короткий момент увидел кровь на левой кисти, тотчас понял, что парень задел ее ножом, и, отклонясь, изогнувшись, правой рукой ударил его снизу в подбородок, услышал животный взвизг, выкрик ругательства, и опять перед ним промелькнуло полосами измазанное по скулам красным лицо парня, выкаченные из орбит глаза, и он снова ударил по близкому, влажному, отвратительному лицу, с мстительным сладострастием вкладывая в эти удары нечто жгучее, клокочущее в его душе, кипящее и невыкипающее.

Потом сзади что-то тяжкое и темное обрушилось на него, резким толчком свалило с ног, и посреди суматошного топота вблизи головы, пинков, свиста, сквозь звон, заложивший уши, дошли до сознания два неясных вскрика, похожих почему-то на два обрывка ваты, летящих по воздуху:

— Шухер! Шухер!— И показалось ему: странно опустело везде, и нависла над ним тягуче звенящая тишина.

Тогда он вскочил, выплевывая кровь, шатаясь от чугунного шума в голове, но его властным охватом стиснул

со спины какой-то незнакомый человек, говоривший ему: «Тихо, тихо!» — и, как в другом мире, увидел он парня у перил моста. Его держали за плечи два милиционера, жирные размазанные полосы обезображивали его широкий нос, его скулы; ножа не было. Парень, обессиленно вырываясь, дергаясь, не говорил, а выкашливал горлом:

— Шел домой, а он прицепился, гад!.. Пьянь проклятая! Шел домой, а он деньги стал требовать, гад!

А Никитин еле стоял, покачивался на ослабевших ногах, не было силы сказать ни единого слова, он только улыбался страшной улыбкой.

В милиции, куда привели их, парень рыдающим голосом кричал, повторяя, доказывал, что он шел из кино домой, а та вон проклятая пьянь начала приставать, полезла по его карманам и вырвала деньги, полсотни,— и истерическими жестами показывал, каким образом все было: выворачивал наизнанку карманы и потрясал перед дежурным порванной пятидесятирублевой бумажкой. Капитан, брезгливо-суховатый, широколобый, глянул из-за стойки взором внимательной подозрительности, взял обрывок пятидесятирублевки («Н-ну-ка...») и положил на стол. А Никитин, усаженный милиционером на крепкую, обшарпанную скамью, смотрел на парня, вспоминая его ощеренное лицо в момент плевка («Я сифилитик!»), его хрипевший злобой и страхом окровавленный рот во время драки на мосту («Сердце проколю!») — и едва не плакал от бессилия и ненависти: им не дали додраться один на один, там, на мосту, кто-то из той стаи по-темному, потрусливому нанес ему удар сзади, свалил наземь, подставив ногу, и сейчас, вот тут, в милиции, где без какого-либо сочувствия не могло быть понимания ни одной, ни другой стороны, невозможно было бы даже рассказать, объяснить подробности, причины всего, что произошло на набережной. Выкрики парня, его объяснения — «пьяный псих, бухарик», приставал, требовал деньги и затем, получив отказ, полез по карманам, чему доказательство — разорванная купюра,— это еще чем-то могло приблизиться к видимости правды, но то, что мог и хотел бы объяснить Никитин, выглядело необыденным, из ряда вон выходящим, ненормальным, а значит, затушевывало истину или являлось неправдой.

«Ведь сегодня, именно сегодня произошло главное в моей жизни, и я, наверное, был счастлив, если это и есть счастье, и просто мне хотелось быть добрым ко всем на

свете и к этим незнакомым парням, которых случайно встретил...»

«То есть как это добрым? Конкретнее».

«Ну, у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось угостить их. Да, купить сигарет, посидеть с ними и поговорить».

«Ночью? С незнакомыми людьми? С какой целью?»

«Вы понимаете — мне хотелось быть добрым. Со всеми. Разве с вами этого не бывает?»

«Мы, гражданин, все должны быть добрыми. Но по какой причине вам захотелось их угостить? Да какое вам дело до них? Вы кого-нибудь из них знали?»

«Не знал. Но разве это имеет значение?»

«Короче говоря, гражданин, вы пьяны были — так шли бы домой спать. Так ведь нормальные люди поступают».

«Нормальные — да».

«А вы что, на учете в психодиспансере? Может, у вас контузия после войны?»

«Пока нет, хотя контузия есть...»

«Где вы сейчас работаете?»

«Сейчас нигде. Дома. Вернее, снимаю комнату».

«А как так нигде не работаете? Получаете военную пенсию?»

«Нет, не получаю. После университета работал в газете, потом ушел. На что живу, трудно объяснить. Продал шинель, сапоги, офицерский компас... Что еще? Да, нагрудный знак «Гвардия» обменял на ботинки. Вернее, подарил его своему однополчанину, у которого два года назад украли в поезде все документы, знаки и ордена вместе с одеждой. А он мне купил и подарил ботинки».

«Значит, вы проживаете без определенных занятий и без трудовых средств к существованию? Так надо понимать?»

«Не совсем так. Средств у меня почти нет. Но я работаю целый день... с утра и до вечера. И ночью. Часто ночью. Почти всегда ночью. У меня нет сна. Вы знаете, как работали Достоевский или Бальзак? А Толстой, Флобер, Ренар? Вы читали «Дневники» Ренара?»

«Стыдно вам! Вы мне зубы не заговаривайте. Мы знаем, кто такой Толстой, разбираемся. Думаете, милиция, так здесь шухры-мухры, ушами холодными хлопают. Вон как — Толстого выдвинул. Вопрос ясный и конкретный — так чем вы занимаетесь? Род занятий?»

«Чем я занимаюсь? Род занятий? Хорошо, постараюсь ответить. Я с утра до вечера и ночью ищу фразу, нужную фразу и часто не нахожу... Но я хочу, больше всего в жизни хочу, чтобы люди смеялись, грустили, плакали над моим словом. Подождите, какую же глупость я вам говорю! Я другое должен объяснить. Посмотрите, посмотрите же на парня. Как он великолепно лжет! Во имя чего? Он не напоминает вам Иуду Искариота? Не напоминает вам моего командира орудия Меженина, в которого я стрелял в сорок пятом году и не убил?»

Этот диалог, проскользнувший в разгоряченном мозгу Никитина, только померещился ему, как во сне, и, зажимая носовым платком поцарапанную ножом кисть, он, сразу отрезвленный новой душной болью, увидел порочно-враждебные глаза парня, возмущенно и подобострастно говорившего что-то возле стойки, гнусные темные разводы вокруг его глазниц и разбитого носа. Потом увидел под направленным брезгливым взглядом дежурного свой до неузнаваемости растерзанный пиджак, который с трусливым наслаждением стайного превосходства недавно рвали на нем чужие руки (как будто знали, что это единственный его пиджак), представил себя в нелепой реальности, избитого, грязного, и все свои воображаемые объяснения насчет рода занятий, одержимости Толстого и Ренара, насчет искания слов, любви и доброты,— и странный, всхлипывающий звук, похожий не то на смех, не то на задушенные в горле рыдания, услышал он. И со стыдом удивился, почувствовав, что с ним происходит что-то сумасшедшее, никак не подчиненное его воле,—неподвластный сладкий злорадный смех, неудержимые рыдания душили его, распирали грудь. И он, задохнувшись, глотая этот смех и рыдания, видел в середине серой, текучей пустоты поднятое приказывающе-властное, сухое лицо дежурного, свой раскрытый паспорт на смешно, по-школьному заляпанном кляксами столе, подле чернильницы, рядом чье-то удостоверение, видимо, парня, на удостоверении смятый обрывок пятидесятирублевки и, стиснув зубы, с ужасом подумал: «Что это со мной? Какая-то истерика — хочется плакать и смеяться... Никогда этого со мной не было! Расшатались нервы, я собой не владею? Только бы не этот стыд... перед ними, на глазах у них...»

— Так это было, гражданин Никитин? — зашелестевшим серым песком достиг его слуха голос дежурного.— Вы в сильно нетрезвом состоянии, почти невменя-

емом, как видно и сейчас, пытались вырвать у гражданина Миляева деньги. Так это было?

— Да, да...— выдавил Никитин, и опять рыдающий смех вытеснился из горла, слезы катились у него по щекам.

— Верните разорванную купюру ее владельцу.

— Да, да, владельцу... пожалуйста...

Решенными движениями беспристрастной правоты крепкие крестьянские пальцы дежурного, отмеченные фиолетовым городским пятнышком чернил на суставе, неторопливо положили на удостоверение обрывок отданной Никитиным пятидесятирублевки поверх другого обрывка, захлопнули удостоверение и протянули его суетливо перегнувшемуся к столу парню.

— Возьмите, гражданин Миляев, свои деньги. В банке обменяют. Итак, гражданин Никитин, у меня несколько вопросов для протокола.

«Только бы сдержаться... Только бы не это удушье... Я унижаю себя. Я выговорить слова не могу. Что же... Что же это со мной?.. Как с неврастеником. На фронте, если бы такое с моим солдатом случилось, я перестал бы верить в него»,— говорил себе Никитин, давясь подступающим к горлу комом горького смеха, металлическим вкусом слез, и, чтобы не видно было мучительно-судорожных глотаний, отвернулся, сотрясаясь словно позывами тошноты.

— За решетку таких прятать надо, пьянь рваную!.. Наблюет он еще у вас тут...— с дозволенным превосходством и подобострастием защищенного от насилия сказал парень и, как хозяин, узнавший свою вещь, поглядел на обе половинки пятидесятирублевки, затолкал их вместе с удостоверением в карман коротенького пиджачка, вновь заискивающе посуетился около стойки.— Мне идти, товарищ капитан? Я ведь рабочий человек, я ведь завтра в утреннюю. Не как другие...

И здесь все разжалось в Никитине. Парень стоял в двух шагах, вблизи деревянного барьера, скулы масляно лоснились, вспухший, осиненный рот зло и победно ощеривался, выказывая мелкие зубы. И не слова его, не подобострастный тон, не заискивание перед дежурным, а эта торжествующая победу гнусность, раскрытая ухмылкой, на какую-то долю секунды нарисовала в воображении Никитина картину иного торжества, о котором он даже и не подумал тогда на набережной, когда увидел нож в руках парня: да, да, этим ножом, если бы ус-

пел, он «проколол» бы и сердце распятого на земле Никитина и, не задумываясь, выколол бы глаза с этой же ухмылкой победившей трусости.

— А где же твой нож? — выдавил шепотом Никитин и, точно в беспамятстве, захлебываясь смехом и плачем, ринулся на парня, увертливо отскочившего назад,— кулак достал лишь его плечо, жилистое, костистое. Но, отскакивая, парень не удержался на ногах, потеряв равновесие, хлестко ударился спиной и затылком о стену и тут же с хрипящим взвизгом подскочил к Никитину, которого уже не без крутой силы схватили за руки два милиционера, снова потащив на скамейку, и не ударил, а по-рысьи изловчился страшными твердыми ногтями окорябать лицо Никитина от бровей до щек, целя, видимо, в глаза, и крик его бритвенным лезвием резанул по слуху:

— Видели? Видели?.. Он с ножом на меня!.. Нож он в Канаву выбросил! В Канаву, гад, выбросил!

Дежурный длинными прыжками выбежал из-за барьера, заученным движением поймал, завел обе руки парня на поясницу и так повел его к двери, гневно приказывая милиционерам:

— Обоих посадить! Только не вместе. Ясно? Обоих!

Часа через полтора в сумрачное помещение, насквозь пропахшее нечистым бельем, где на исцарапанной надписями скамье, морщась, вздрагивая, лежал Никитин, вошел милиционер и строго потребовал, чтобы тот умыл лицо и следовал за ним. Никитин умылся под краном милицейской уборной, вытерся носовым платком, и его вторично привели в комнату дежурного.

И, еще переживая чувство унижения при воспоминании о душившем его неподвольном полусмехе-полурыдании в присутствии милиционеров, Никитин вдруг с удивлением и тревогой увидел возле барьера дежурного пожилую сухонькую женщину, бледную, перепуганную, в старомодной шляпке, в стареньких туфельках, она смотрела на него взглядом беспомощного ребенка и повторяла почти шепотом:

— Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, что с вами?

Это была его квартирная хозяйка Мария Павловна Стешнова, у которой он снимал комнату, вдова профессора-историка, умершего в войну,— существо доброе, стеснительное, краснеющее от любого грубого слова,— и Никитин, соображая, зачем, каким образом она оказалась здесь, мгновенно представил ее глазами свое разби-

тое, наскоро умытое лицо, донельзя разорванный пиджак и глухим голосом спросил дежурного, для чего в милиции Мария Павловна.

— Вызвал. По домашнему телефону, который вы сообщили,— ответил дежурный мрачно.— Вот ваш квартирант, Мария Павловна. Хорош? А?

— Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда! — не понимая, сказал Никитин.— Никогда! Я вам не давал никакого телефона!

— Что, что с вами, Вадим Николаевич, что с вами? — растерянно выговорила Мария Павловна и присела на краешек скамьи.— Вы же никогда не пили! Боже мой, кто вас так избил?

— Его изобьешь! — заметил дежурный; нетающий ледок стоял в его поднятых на Никитина непоколебимых, как сама истина, глазах.— Вот каким образом, Мария Павловна, на первый раз мы поступим, вот таким образом. На первый раз... Вы от нас берите его и везите на квартиру. Под вашу личную ответственность. Все. Идите. Вот паспорт. Не верится мне никак, гражданин Никитин, что вы статейки в печать пописываете. Напиваетесь и налеты на людей учиняете. Как это назвать?

— Ради бога, Вадим Николаевич, ради бога, идемте скорее отсюда,— забормотала, оробело заспешила Мария Павловна.— Пойдемте домой, голубчик, вам холодный компресс надо. Как же вы сейчас на улицу покажетесь?

Она извинительно закивала старомодной шляпкой дежурному, взяла руку Никитина дрожащими пальцами и потянула осторожненько к выходу, вроде бы нисколько не уверенная, что вот сейчас ее выпустят отсюда вместе с Никитиным и все обойдется, все станет на прежние места.

— Извиниться бы вам следовало, гражданин Никитин,— сказал дежурный хмуро.— Ни в какие ворота не лезет, набезобразили...

— Голубчик, Вадим Николаевич, извинитесь, ради бога!

— Простите, Мария Павловна, одну минуту...— задержался Никитин, и злая едкость качнулась в его душе; он взглянул на дежурного насмешливо.— Вы правы. Я напиваюсь и по ночам граблю, вырываю у людей деньги. Вы со всей очевидностью установили истину. И мои деньги отдали этому великолепному, честному парню. Желаю вам всего хорошего. Черт с ними, с деньгами! Но извиниться, к большому сожалению, я не могу.

— Идите, идите! — раздраженно поторопил дежур-

ный.— Болтаете много, гражданин Никитин! Оч-чень много болтаете, хоть и статейки пишете!..

Потом на улице, тихой, побеленной близким рассветом,— четко виден был сереющий асфальт, мостовая, рассеченная полосами трамвайных рельсов,— Никитин, подавленный вызовом Марии Павловны в милицию, неловкостью, все-таки спросил ее, неужели звонили на квартиру, разбудили ночью, справлялись о нем, и стал извиняться за глупейшее и непредвиденное беспокойство, по его вине причиненное ей ни за что ни про что в результате идиотского недоразумения.

А она, сконфуженная, слушала его, согласно встряхивала наивной и нелепой шляпкой и ничего не спрашивала, вздыхала тихонько, подобно кроткому ангелу-хранителю, не требующему оправданий.

«Как же я раньше... не знал ее?» — подумал Никитин.

Он жил у нее более года, но за это время, кроме обязательных фраз, они, казалось, не обмолвились ни одним искренним словом.

— Мария Павловна...— охрипшим голосом сказал, проклиная себя, Никитин, охваченный стыдливой и благодарной нежностью к ней.— Мария Павловна, простите... Я был неаккуратен... У меня просто не было денег. Я ведь должен вам за четыре месяца. А вы не спрашивали... У меня теперь есть деньги. Пожалуйста, я сейчас заплачу вам все... Простите меня...

И он поспешно принялся рыться в карманах, собирая смятые деньги, а когда, уже в замешательстве, пересчитал купюры несколько раз — денег в общем не было: от трех тысяч осталось семьсот пятьдесят рублей с мелочью. Он вспомнил летнее кафе в Парке культуры, салон речного трамвайчика, где не Вихров, а он платил за все, и никак не мог взять в толк, почему же так много было истрачено денег — тем более в минуты драки, кажется, никто из парней не успел обчистить его карманы.

— Простите, Мария Павловна, я, по-моему, потерял деньги,— проговорил Никитин, сгорая от собственной лжи, и как-то спеша, неудобно начал совать ей в руку комок денег.— Здесь за два месяца... Остальные я потом, потом. Очень скоро, поверьте мне.

Она с испугом остановилась, пятнисто и ало краснея, что бывало при виде грубости или намека на грубость, замотала шляпкой смущенно.

— Бог с вами, Вадим Николаевич, какие сейчас деньги, послушайте... Не надо, не надо, ради бога. Когда бу-

дут, тогда и отдадите. Я потерплю, потерплю, мне сейчас не надо.

— Мария Павловна! — взмолился он.— Я прошу вас!

— Не надо мне, не надо,— запротестовала она и при этом руку протестующе завела за спину.— Идемте же, Вадим Николаевич. Сейчас вам надо холодный компресс на лицо, а то как же вы?.. И, пожалуйста, неудобство свое забудьте. У меня ведь сын был. Я многое понимаю...

Он шел рядом с ней, чуточку придерживая под локоть, как мог бы держать только мать, которой не было в живых, и всю дорогу бормотал ненужные извинения, боясь споткнуться и помешать движению ее легкого, сухонького тела.

Много лет спустя, будучи зрелым человеком, восстанавливая в памяти тот день и ту ночь, он испытывал странное, пугающее его чувство: упоение добром, щедростью и любовью было равно одержимому упоению ненавистью.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Нас разъединяли забытые сороковые годы, но... сейчас нас разъединяют политические системы. Я за мир между русской и немецкой интеллигенцией, господин Никитин. Как по-русски? Н-на ваш-ше здоровье!..

— Эта русская фраза уже стала международной. Ваше здоровье, господин Дицман!

Они сидели около камина в большой гостиной госпожи Герберт, ворсистый ковер подстриженной лужайкой зеленел под светом торшеров, пружинил под ногами, потрескивали, несильно постреливали разгоревшиеся поленья, и вместе с благостным целебным жаром и вкусом коньяка, отпиваемого между фразами, Никитин чувствовал некое ироническое веселье духа, готовый вне зависимости от того, какие вопросы хотят и будут задавать ему, заранее безошибочно предположить степень отчуждения своего и чужого, пропитанного долей ядовитого политического скептицизма, всегда возможной межи, даже на этой домашней территории немецкой гостиной, с ее приятным, умиротворенным комфортом и тишиной, по-видимому, особенно располагающей для вечерних разговоров вблизи разожженного камина.

После того как он и Самсонов вошли в гостиную и хозяйка дома, госпожа Герберт, привезшая их на машине из отеля, представила обоих собравшимся здесь, по ее

словам, избранным, близким друзьям, после принятых в таких случаях корректных вопросов о дорожной усталости, необязывающих замечаний по поводу сырой гамбургской осени, которая, к сожалению, в нынешнем году необычно дождлива и простудна, после вежливого выяснения, кто что будет пить, господин Дицман, главный редактор крупнейшего издательства «Вебер», где были переведены последние романы Никитина, с намекающим подмаргиванием завладел двумя бутылками (мозельское и коньяк — про запас!) и довольно настойчиво отвел Никитина в угол гостиной, со смехом сообщив остальным, что он на время аннексирует советского писателя для выяснения некоторых истин.

Но госпожа Герберт весело возразила, что не позволит отдавать русского писателя на растерзание альтернативами немецкому критику, ибо слишком хорошо знает эгоцентризм господина Дицмана, поэтому приглашает всех к камину, поближе к огню, для общего разговора. И тогда заковылял к столику плотным коренастым телом, уютно развалился в мягчайшем кресле, заблестел лысиной краснолицый издатель господин Вебер, и гибкой змейкой свернулась рядом его жена Лота Титтель, популярная актриса театра, высокая, узкобедрая, говоря хрипловатым, как бы ломающимся отроческим контральто:

— О, я хочу посмотреть на Восток и Запад. Чем это кончится? Объявлением войны?

Ни на минуту не сделав передышки, господин Дицман, одержимый жадностью натренированного ума, вгрызался в Никитина, словно обрадованный нечастой этой возможностью, и быстрота его речи, наркотический блеск насмешливых глаз на бледном лице, безостановочные движения сухих пальцев, которыми он то сжимал стекло бокала, то живо подносил к островатому носу раскрытую пачку сигарет, порывисто втягивая табачный запах (он бросил курить из-за недавнего сердечного приступа),— его жесты и речь сначала настроили Никитина на полусерьезный лад, на свойственную литературным салонам игру умственных упражнений, он подумал: «Пожалуй, господин Дицман из бывалых и ловких репортеров». Но чем дальше продолжалась эта «игра», тем все глубже и серьезнее погружался в нее Никитин, уже заинтересованно поглядывая на нервные руки Дицмана, когда тот, платонически наслаждаясь, нюхал раскрытую пачку сигарет. Самсонов по просьбе Никитина переводил дословно только сложные фразы, и вид его был солидно-невозму-

тимым, пиджак, застегнутый на все пуговицы, круглился, натянутый животом; ему было жарко около камина, капельки пота выступили на лбу.

Госпожа Герберт сидела напротив Никитина, воротник черной кофточки, наподобие свитера, облегал белую шею какой-то грубоватой мужской нежностью, продолговатый золотой медальончик покачивался на тончайшей цепочке, ее волосы, по-русски убранные пучком, поднятые над маленькими ушами, ровно отливали полосами седины, и эта заметная седина странным образом не соответствовала ее чересчур подобранной, по-девичьи опрятной фигуре. И Никитин мимолетно подумал, что подобное несоответствие бывает у женщин, ни разу не рожавших, может быть из-за нелюбви к детям, может быть по причине аскетической воздержанности, которая заставляет тщательно и всю жизнь ухаживать за своим телом.

Это, видимо, было не совсем так,— госпожа Герберт не ограничивала себя по-монашески: пила коньяк, много курила, ее глаза проступали за сигаретным дымом, казалось, налитые тихим возбуждением, пристально светились синей влагой.

Ее взгляд все чаще наталкивался на взгляд Никитина, как-то понемногу раздражающе начинал беспокоить его порой встревоженной мгновенной улыбкой, будто она подробно, украдкой от других, изучала и его костюм, и галстук, и его запонки, когда он отпивал коньяк или зажигал спичку, и ему невольно хотелось пошевелиться под ее взглядом, переменить позу, как если бы долго и надоедливо фотографировали его.

А когда госпожа Герберт, опуская улыбающиеся глаза, стряхнула пепел с юбки, затем тронула кончиками пальцев медальон на груди, Никитин не без досадливой иронии предположил, что хозяйка дома на самом деле фотографирует его этой штучкой или же тайно записывает крохотным магнитофончиком. «Но к чему? Прок-то здесь какой? Вздор и чепуха!» И, кратко ответив на очередной вопрос господину Дицману, он мысленно отверг унизительное свое предположение и, стараясь не смотреть на госпожу Герберт, вдруг вновь почувствовал на себе ее ищущий пристальный взгляд. Как от чужого прикосновения к коже, как от сквозного холодка, он нахмурился, взглянул и так неожиданно близко увидел ее лицо, не успевшее измениться, обмануть его, скрыться за дымком сигареты, что даже как-то озяб, содрогнулся. Он был

удивлен слабо дрожащей в уголках ее губ виноватой полуулыбкой-полугримасой, ее вопросительно-нежным, смешанным со страхом взглядом остановленных на нем глаз, этим, чудилось, знакомым выражением, напомнившим что-то больно, туманно и неуловимо. «Что это напоминает? Что? Может быть, когда-то увиденный во сне синий над фантастическими крышами клочок непостижимого неба, может быть, утренний ветерок в радостном, как детство, солнечном поле с запахами весенних далей?.. Что это? Я никогда не видел госпожу Герберт, никогда не встречался с ней, только здесь, в аэропорту, впервые... Игра подсознания? Мистика? Совсем хорошо... Скорее, просто нервы, мнительность,— подумал он, но, вопреки этому самоуспокоению, нечто незавершенное оставалось в его сознании, некий осколочек неразрешенного беспокойства, какое бывает при поиске утраченной в памяти чужой фамилии.— Сорок пятый год? Война? Берлин? Мы стояли на немецких квартирах? И я ее где-то видел? Видел этот вопросительный, виноватый и мягкий взгляд? Да сколько лет ей было тогда, если уж так? Однако, может быть, где-нибудь случайно — на улице в Москве, в поезде, наконец, за границей, было очень похожее, оставшееся в памяти? Встречаются же люди в разных концах света с одинаковой внешностью, голосом, фигурой, как известно, двойники... Все это похоже на галлюцинацию! Со мной опять что-то неладное...»

Он знал, что был не очень здоров. В последние годы, после смерти шестилетнего сына Игоря, с Никитиным от времени до времени случалось странное, порой никак разуму не понятное, объяснимое лишь крайним переутомлением, расстройством нервов. Его стали угнетать ночами бессонные приступы тоски, угрызения совести, необоримого одиночества,— и мучительным удушьем сдавливало горло, заслоняло дыхание, как в те страшные, незабываемые минуты, когда на кладбище поцеловал, прощаясь, ледяной треугольник ротика своего сына и увидел сквозь полуприкрытые его ресницы, опушенные снегом, васильковый, неживой цвет его глаз, всегда сиявших детской открытой радостью, всегда готовых к смеху, игре, едва он с криком и визгом, мотая соломенными волосами, вбегал по утрам в кабинет, словно бы скрываясь от кого-то, и потом с размаху прижимался к коленям, весь пахнущий сладкой птичьей чистотой.

В тот зимний день на кладбище Никитину мнилось, что он сошел с ума: он ощутил, или ему вообразилось, что

сомкнутый холодный ротик сына с нерастаявшими снежинками беспомощно, слабенько шевельнулся в ответ на его последнее прикосновение, и этот пахнущий зимой холодок маленьких губ вполз в него бесконечной, разрывающей душу мукой.

Он не мог оставаться в Москве, в осиротелой, сразу ставшей большой квартире, где еще звучал, жил живой топот, визг, крики и запах Игоря, где в кроватке еще лежали его собранные игрушки. Он уехал из города и до одурения, до полной бессонницы, до галлюцинаций работал на даче один, совсем один в пустом доме без телефона, поздними вечерами затапливал печь, часами смотрел на огонь, слыша осторожно скребущуюся возню мышей в старом шкафу, вздрагивая при выстрелах закоченевших в саду на лютом морозе деревьев. Раз глубокой ночью среди полнейшей тишины сидел за столом, залитым белым светом лампы, и внезапно, весь охолонутый ударом страха, услышал негромкий, вкрадчивый стук в окно кабинета, и, не находя силы выпрямиться, встать, отдернуть занавеску, он с ужасом предчувствия (кто мог стучать в окно второго этажа?) подумал о каком-то предупреждении рока, о каком-то сейчас случившемся несчастье с женой и, мертвея, в ознобе, на непослушных ногах поднялся из-за стола, еле отодвинул занавеску, боясь увидеть и представляя за стеклом грозный и неотвратимый знак судьбы... Но там никого не было. Морозная ночь, чернея вершинами елей в темном небе над крышами поселка, сверкала в пустыне неба, переливаясь созвездиями, и крупная, прекрасная, как первая любовь, голубая звезда нежно и космато мерцала, пульсировала, порхала на одном месте — над заваленным сугробами коридором просеки.

И, прислонясь лбом к мерзлому стеклу, он тогда подумал, что Игорь ушел из этого земного мира, так и не увидев, не познав, не ощутив вот такого ночного неба, в котором было все: жизнь, юность, молодость, ожидание любви, сожаление о невозвратимо прожитых годах, и где была непостижимость смерти сына, уже выраженная беспощадной невозможностью видеть ни само это небо, ни это далекое, околдованное порхание пылающей звезды...

На рассвете, в глухой стуже, хрустящей, деревенской, сугробной, он побежал на станцию, разбудил ничего не соображавшего дежурного, кинулся к телефону, набрал номер московской квартиры, а когда отозвался в трубке сонный, захлестнутый испугом голос жены, спрашивающей, что случилось, задохнувшись, ответил шепотом:

«Я хотел услышать тебя»,— и затем целый час стоял на перроне, курил, справляясь с сердцебиением.

Это тихое сумасшествие продолжалось до осени.

— Вы сказали, господин Дицман, что вы за мир между интеллигенцией. Какой смысл вы вкладываете в свой лозунг?

— Не лозунг, а вера, господин Никитин. В лозунгах я давно разочаровался. Вы хотите коснуться политики?

— Сейчас — нет. Воздержимся по мере возможности.

— Если они объединятся,— проговорил все время молчавший Вебер и залился смешком, погонял соломинкой в коктейле ломтик лимона,— то организуется какая-нибудь чепуха и очень и очень большая говорильня. Каждый день начнут придумывать что-то немыслимое. Какую-нибудь карманную революцию. А я не интеллектуал, а издатель, что буду делать я? Я останусь реалистом. Нет, нет? Я буду по-прежнему выпускать книги на спрос и выпускать программы по телевидению, скажете, нет? По вечерам во всех немецких домах будут смотреть меня, а не слушать вашу заумную болтовню. Нет? Нет? Детективные фильмы, ревю, хорошая реклама— для немцев гораздо больше, чем словесные закавычки интеллектуалов.

— Теперь видно, что вы капиталист,— сказал Самсонов и пошутил: — Даже по внешнему виду вы похожи на представителя крупного капитала.

Господин Вебер, удобно развалившийся в кресле перед камином, полненький, краснолицый, с крепкой и гладкой лысиной, пил мало, казалось, в дреме потягивал через соломинку лимонный коктейль и после замечания Самсонова почмокал губами, небольшие умные глазки его стали чутко-внимательными.

— Внешне я похож на вас, господин Самсонов.— Принимая шутку, Вебер благодушно очертил соломинкой в воздухе габариты Самсонова.— Похож, хотя по вашим законам вы не имеете права владеть ни издательством, ни акциями телевидения. Нет? Нет? — Он тянул слова, произносил их полувнятно, однако эти вопросительные «Nicht? Nicht?» выговаривал жаргонной скороговоркой, что сглаживало серьезность его речи и располагало на мирный лад.— Судя по вашим... мм... печатным представлениям, по вашим карикатурам в газетах,— продолжал

Господин Вебер, и заплывшие смешливые его глазки задвигались весело,— капиталист — это кто? Господин с большим животом, в жилете, сидит на мешке с долларами, к тому же двумя руками душит за горло бедного голодного рабочего, и зубы оскалены. Нет? Нет?

— Имело место, господин Вебер,— согласился Самсонов, потянув ниточку разговора к себе.— А как иначе прикажете показывать капиталиста? Разве это не отвечает сути?

— В этом случае вы можете со мной не спорить,— совсем добродушно возразил Вебер.— Я давно собираю коллекцию карикатур на капиталистов. Из всех газет мира: я должен видеть свой облик в понимании других. Карикатура в ваших коммунистических газетах — это, надо полагать, политическое отношение к моему классу... И это мне интересно знать. Лота! — И он помахал соломинкой в направлении бутылок на столике, ласково прищуриваясь на молодую свою жену.— Что-что, а считать я умею, по два куска льда ты кладешь в виски. Не сядет твой голос? Нет, нет?..

— Ты почему-то хочешь знать, что думают о твоих деньгах люди, презирающие деньги,— сказала Лота Титтель низким контральто.— Твое хобби приносит тебе сомнительное удовольствие.

— Как у нас, так и у них политическая карикатура — жалкая и грубая пропаганда, рассчитанная на толпу! — вставил господин Дицман и поднес к носу пачку сигарет, сильно вдохнув запах табака.— Я не хотел бы сейчас копаться в дрянной политике! От нее болит голова. Не так ли, господин Никитин?

— Так. И не совсем так. Что может современный человек без политики?

— Но, господин Никитин!..

— Вот что я вам скажу, господа, насчет политики без всяких «но»,— решительно, по-мужски вмешалась Лота Титтель, и косметически красивое, удлиненное ее лицо с веерообразными ресницами и ниточками бровей страстно порозовело.— Я почувствовала на своей шкуре эту самую политику, если хотите знать! И это было неприятно. Я недавно была приглашена в Польшу, пела немецкие песенки, немного классики, немного западных шлягеров. Мне заказывали прямо из зала... Меня нигде так не встречали, как в Варшаве! Я просто влюбилась в поляков! Потом я допустила идиотский просчет. Мне нравится песня о Тамерлане. Очень популярная у нас, на Западе,

Страшный восточный завоеватель, жестокий и сильный, после того, как завоевывал города, он желал обладать пленницами. И набрасывался на них как зверь — р-р-р! — Она положила янтарный мундштук, заправленный ментоловой сигаретой, в пепельницу, изобразила скрюченными пальцами, как Тамерлан, исполненный дикой страсти, набрасывается на пленниц, и продолжала: — Этот шлягер заканчивается пристальным взглядом в зал и вопросом: «А есть ли среди вас Тамерлан?» Сначала в зале было тихо, мне никто не аплодировал. И только через минуту похлопали из вежливости. Вот как я обидела моих любимых поляков...

— Когда вы едете, прелестная Лота, на Восток, следует тщательно выбирать репертуар,— не отнимая пачку сигарет от раздувающихся ноздрей, заметил иронически Дицман.— Восток не всегда воспринимает юмор западного толка. Между нами есть разница.

— Разумеется, господин Дицман,— не без яда сказал Самсонов.— Восток до сих пор занят проблемами белых медведей, мешающих трамвайному движению, и проблемой покупки валенок для посещения театра.

— О, о! — вскричал, оживляясь, Дицман и, бросив пачку на столик, поднял обе руки.— Сдаюсь, атака с Востока! Тогда ответьте мне, господа русские, почему ваши солдаты насиловали немок, когда вошли в Германию?

— Насиловали? Вы убеждены? — удивился Никитин.

— Я знаю, господин Никитин. И не один случай.

— Но, может быть, в некоторых случаях немки сами хотели испытать этого восточного Тамерлана? Возможно считать и так? — ответил Никитин, сохраняя меру светской вежливости.— Категорическое утверждение всегда рискованно, господин Дицман.

Тотчас все повернулись к нему, настороженные повышенным интересом, вроде бы ответ его снял с чего-то табу; госпожа Герберт, опустив глаза, молитвенно тронула медальончик на груди, погладила, потеребила его, натягивая маленькую цепочку; господин Вебер сквозь пыхтенье пустил смешок, Дицман заострил насмешливый взгляд, приготовленный к возражению, однако Лота Титтель неожиданно подбоченилась по-крестьянски и, тряхнув по плечам золотисто-рыжими ручьями волос, воскликнула:

— Правильно, господин Никитин! Женщину невозможно изнасиловать, если она не желает! А я хочу сказать о другом — о поляках, господа! Я полюбила умных,

тонких и музыкальных поляков. Они гостеприимны, воспитанны, они ничего не говорили о войне при мне. Они молчали. Они не хотели напоминать. Когда я сказала, что хочу посмотреть Освенцим, мне ответили, что этого не надо делать: мне, немке, будет неприятно. Тогда я настояла и поехала в Освенцим и сама увидела настоящий ад. Там можно сойти с ума, достаточно представить! Безмозглые садисты — вот кто они были, военные немцы! Мне хотелось царапать морды нашим эсэс! И вот что я вам скажу: теперь смешно говорить про какое-то дурацкое изнасилование бедных и невинных немок. Нам следует просто заткнуться!

— Война есть война, милая Лота,— сказал Дицман, усмехаясь. — Многим немцам как типу свойствен не садизм, а мазохизм, выраженный в беспрекословном послушании. Война — это приказ. Вы плохо знаете ту пору, прелестная Лота!

— Война — это дерьмо, дерьмо без всяких интеллигентских философий! — скандально оборвала Лота Титтель и дымящейся в мундштуке сигаретой показала на господина Вебера, взглянувшего на нее из глубины кресла нежно-снисходительными, расположенными к любой ее детской шалости припухлыми глазками.— Мой капиталист не захотел взять на телевидение фильм, который я сняла в Освенциме. Он говорит, что этого никто не будет смотреть, а сам напичкивает программы дерьмовыми американскими детективами и вестернами, этим киномусором для канализационной трубы! Одно и видишь: потертые джинсы на острых мужских виляющих задницах и — пиф! паф! уэл, уэл! — Лота Титтель скривила рот, произнося задушенным басом «уэл, уэл», щелчками языка подражая звукам беглых выстрелов и нацеливаясь мундштуком в бокалы на столике.— Это нужно только телячьим мозгам, которых слишком много развелось за последние годы! Никто не желает как следует ни о чем подумать! Все думают день и ночь о холодильниках и машинах— и хотят делать деньги, как в Америке!

— Лота,— мягко сказал господин Вебер, по-видимому привыкший к грубоватой несдержанности жены, и спрятал многоопытные свои глазки в бокале с коктейлем, погонял соломинкой ломтик лимона.— Ты в первую очередь очаровательная актриса, а не депутат бундестага от социал-демократической партии... Нет, нет? Сейчас никто не хочет возвращаться к прошлому, беспокоить себя, усугублять комплекс вины. Нет, нет?

Лота Титтель сделала резкий протестующий жест, опять тряхнула рыжими волосами.

— Потому что политика — все то же дерьмо, Карл! Все как сумасшедшие делают деньги, и скоро Германия превратится в последний американский штат в Европе! Мы скоро не будем видеть неба, как разжиревшие и похотливые свиньи! Тебя нацисты морили в концлагере, Карл, но и ты не хочешь ничего вспоминать! Деньги, деньги, деньги!..

Господин Вебер, с прежней нежностью поглядывая на жену, почесал лысину, пососал через соломинку коктейль и заговорил примирительным тоном человека, безобидно для всех желающего утвердить зыбкую непостижимость истины:

— В сорок пятом, когда освободили концлагерь, никто из нас не думал о деньгах, Лота. Я тогда был вот такой...— Вебер оттопырил мизинец.— Нет? Нет? Таким, господа, вы меня не можете вообразить. Я был тощий сморчок и едва мог двигаться от истощения... Но была уже свобода, и я смотрел со слезами на солнце, на траву — была сохранена жизнь, проклятая война закончилась, нацистов уже нет, тогда я был счастлив, господа!..

— Вас освободили русские или американцы?— поинтересовался недоверчиво Самсонов.

— Нас освободили американские солдаты. Они приехали на танках и сломали ворота. Втроем мы вышли из лагеря на дорогу и пошли в американский госпиталь. Со мной был англичанин, сбитый летчик, аристократический молодой человек, окончил Оксфордский университет, и двенадцатилетний мальчик, отец его умер в лагере. У нас не было сил в тот день свободы. Мы тащились по дороге и улыбались весеннему дню, как безумные счастливцы. Везде валялись в кюветах разбитые бомбежкой машины, и в одной, помню — грузовой «оппель-блитц»,— был разбит сейф с деньгами. Миллионы, целые миллионы марок пачками высыпались на асфальт. Что? Нет, нет? Марки летели по дороге, они скапливались в кюветах, липли к подошвам, просто как рекламные листки. Никто не обращал на них внимания. Жизнь, господа, пьяное ощущение жизни — и больше ничего! И только один наш милый мальчик собрал несколько купюр, как собирают почтовые открытки. Нет, нет? Потом мы дошли до американского госпиталя, упали на пол и заснули как убитые.

Когда я проснулся, рядом лежал мальчик и с интересом смотрел на деньги...

— Как? Рядом лежал мальчик! — вскричал с живостью Дицман и закинул ногу на ногу, покачивая узконосым полуботинком, видна была подвижная щиколотка из-под узких брюк, обтянутая красным шелковистым носком.— Очень любопытно, господин Вебер! Нежный двенадцатилетний мальчик?..

— Вы, интеллигенты,— благодушно перебил Вебер,— всюду ищете секс.

— Ловлю вас на слове, господин Вебер! — засмеялся Дицман и заговорщицки стрельнул наркотически яркими глазами в Никитина и Самсонова.— Как звали мальчика?

— Я хотел сказать,— продолжал господин Вебер,— что через три дня было объявлено: старые рейхсмарки входят в обращение. Но и тогда мы не очень жалели, что не набили карманы деньгами... Что бы сделал сейчас я, если бы посчастливилось найти на дороге разбитый сейф с деньгами? Позвонил бы в полицию, может быть, и сошел бы с ума в психиатрической больнице от своей нерешительности. Нет, нет?

Его полнокровные красные щеки как-то плутовски надулись, он пырхнул рассыпчатым смешком, и тут Никитин сказал разочарованно:

— Какой хороший сюжет вы испортили, господин Вебер.

— Я продаю его вам в первозданном виде,— ответил довольный господин Вебер.— Вставите мой сюжет в роман, который я издам хорошим тиражом, пять процентов от проданной книги мне... Впрочем, можете заплатить черной икрой в Москве. Нет, нет?

— Контракт! Я выписываю чек! Но при условии, если в романе будет нежная история с мальчиком! — ернически воскликнул Дицман и выхватил из внутреннего кармана пиджака чековую книжку, потряс ею.— Думаю, что при вашем таланте, господин Никитин, вы эту пикантную историю написали бы весьма впечатляюще!

— В шутке явное предложение.— Самсонов толкнул под столиком ногу Никитина.— Ясно?

— Благодарю вас, — сказал Никитин. — Спрячьте чековую книжку, иначе вы соблазните меня лаврами Генри Миллера.

— Сюжет куплен за одну марку, господа! Разрешите мне быть поверенной господина Никитина?

Госпожа Герберт щелкнула замочком своей лаковой сумочки, повертела перед всеми новенькой металлической маркой и вложила ее в карман господина Вебера; тот, покрякивая, подмигивая, похлопал рукой по карману, говоря:

— Сюжет продан слишком дешево. Нет? Нет?

— Благодарю, госпожа Герберт, я готов взять вас в секретари, потому что уверен — не прогорю,— сказал Никитин.

Она улыбкой ответила на этот милый словесный пустяк, а он с насильной попыткой найти твердую точку ощущения опять, как в раздражающем воспоминании забытой, вертящейся на памяти фамилии, подумал, что тот вопросительный, долгий, пристальный взгляд ее, удививший его, и постоянно улавливаемое им внимание ее, и эта полукокетливая улыбка была в схожих обстоятельствах и раньше когда-то: так же в некий час шло тепло от камина, тянулся сигаретный дым под зонтиком торшера, так же сидел он напротив какой-то женщины, говорил ей те же необязательные слова, какие говорил сейчас, и она отвечала ему неясной улыбкой, уже виденной им в смутно прошедшем кругу другой жизни. Но при всем усилии памяти он не мог ничего вспомнить точно, ибо это были не мысли, а тени мыслей, не реальность, а слабая тень реальности.

«По-моему, она чем-то обеспокоена, она в чем-то опасается за меня,— думал Никитин.— И это передается мне ее взглядом, улыбкой и вот этой маркой, которой она очень быстро закончила разговор».

— Как странно, господа, вы обсмеяли время, связанное с войной,— проговорил недовольно Самсонов, скрестив на груди руки.— Деньги, мальчик, пикантные истории. В конце концов, есть и серьезные понятия, связанные с прошлой трагедией Германии. Я имею в виду судьбу вашего народа, родины, ответственность перед будущим. За что погибли миллионы немцев?

Господин Дицман вскинулся, подпрыгнул в кресле, всплеснул всеми десятью растопыренными пальцами над столиком.

— Что? Понятия «родина», «народ»? «Ответственность»? Они давно претерпели инфляцию! Они были использованы Гитлером в нацистских целях и дискредитировали себя! Старые понятия «отчизна» и «долг» теперь

опять используются маленькой кучкой реваншистов! Вы плохо знаете современного западного человека, если говорите о довоенных добродетелях. У западного человека нет сейчас родины в вашем понимании! У него есть паспорт, есть формальное гражданство, только это соединяет его с государством! На немецком паспорте написано: для всех стран! Для всех стран, господин Самсонов!

— Итак, я уяснил: полнейший космополитизм? Разумеется, так легче жить свободным интеллектуалам в абстрактном мире, так сказать!

— Как? Космополитизм? Абстрактно? Ха-ха! Вы остроумно сказали! — вскричал Дицман.— Космополитизм — прекрасно, каждый свободен в выборе, и никому нет ни до кого дела. Но... свобода на Западе несет с собой и равнодушие, и отчуждение друг от друга — парадокс современного мира! Я не хочу ничего приукрашивать, господин Самсонов! Западный интеллигент одинок. Очень одинок.

— Значит, при диктатуре нацизма не было... этого проклятого одиночества, отчуждения людей, господин Дицман?

— В той степени, как сейчас, нет. Было другое — страх. Сейчас не сажают в концлагеря, не убивают, никого не преследуют... и в то же время отчуждение людей — не меньшая и не лучшая болезнь общества, чем проклятый человеческий страх! Да, это так!

— Тогда разрешите спросить: в чем дело? — упрямо выговорил Самсонов, выдерживая стремительный натиск Дицмана, и сильнее сплел руки на груди.— Выходит, что неплох был третий рейх с его понятиями фатерланда и «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»?

— Вы хотите заподозрить во мне приверженца гитлеровской диктатуры?

— Не хочу. Но мне известно, что нацистский аппарат на десять процентов состоял из интеллигенции, господин Дицман. Именно в недалекой истории интеллектуалы Германии нередко играли роль своего рода духовной полиции. Я не знаю вас и говорю о той интеллигенции, у которой руки по локоть в крови, извините за откровенность!

— О, господин Самсонов!..— с мягким упреком произнесла госпожа Герберт, взглянула на худощавое лицо Дицмана и потупилась.

«Подавил первые огневые точки, сейчас без передышки начнет утюжить траншею, узнаю Платона,— подумал

Никитин, испытывая досаду на неумеренную резкость Самсонова, в запальчивости переступившего как бы запретный предел в споре.— Но почему мне кажется все время, что она не хочет никакого обострения спора и встревожена чем-то?»

— Вы обвиняете нас в грехах наших отцов? — спросил господин Дицман, по всей видимости, не ожидавший сердитой прямоты Самсонова, и, всем видом своим отказываясь что-либо понимать, страдальчески завел глаза к потолку.— Вы утверждаете, что кровь на руках наших отцов испачкала и наши руки?

— Говорите, говорите, господин Самсонов! — Лота Титтель, нетерпеливо взмахивая веерообразными ресницами, возбужденная выпитым виски, грубоватым напором этого неуклюжего русского, гибко полулегла в кресле, при этом ее тугая, тонкая, затянутая во что-то серебристое фигурка выражала острейшее любопытство, и Никитину пришло в голову, что она, вероятно, еще не переутомленная жизнью и славой эстрадной певицы, любила смотреть бокс, спортивные состязания, даже случайные драки в кабачках, где с азартным удовольствием могла подбадривать обе стороны стуком кулачка по столу, пронзительным визгом и смехом, чего, наверное, никогда не сделала бы госпожа Герберт, вся тихо-скромная, утонченная, сдержанная.

— Ты слишком много сделал заявлений и задал вопросов, Платон,— сказал Никитин.— Боюсь, они не прояснят сущность дела.

В наступившей тишине, особенно длительной от размеренного потрескивания камина, господин Вебер издал невнятный звук не то хмыканья, не то мычанья, потом хитро заиграли какой-то мыслью сонные его глазки в щелках припухлых век, и он произнес довольно-таки бодро:

— Господин Самсонов, я не отношу себя к интеллектуалам, я издатель, я, с вашей точки зрения, капиталист, но э... позвольте вопрос? Что должно чувствовать наше сердце перед братской могилой или могилой одного человека? Здесь недостаточно слов и сострадания, нет, нет?

— Я говорил про ответственность,— угрюмо возразил Самсонов.— Без ответственности перед прошлым настоящее — лживый рай.

— Э-э... слова ограничивают сами себя — наше сердце неграмотно. Для того чтобы слова обрели свой смысл,

необходима ирония. Вы, господин Самсонов, слишком верите в прямые слова и чувства. Разве не возможно, что в этой братской могиле погребены и герой и очень слабый человек, который не вынес пыток гестапо, стал предателем и выдал настоящих героев? И вы сострадаете и ему как герою. Нет, нет?

— Сострадаю предателю? Проливаю слезы? Никак нет! Наше отношение к людям и к интеллигенции должно разделяться по тому, кто был с кем — с палачами или против палачей.

— Э-э... вы меня не поняли, господин Самсонов, нет. Я о современном человеке.

— Я понял. И я о современном человеке. Вот вы, например.— И Самсонов с тяжелым упорством нацелился стеклами очков на господина Дицмана.— Вот вы... служили в гитлеровском вермахте, воевали?

Нога господина Дицмана, закинутая на коленку другой ноги, задвигалась неспокойно, и задвигался узкий полуботинок под заторможенный ритм его голоса:

— Да, конечно, я служил. Не будучи исключением.

— Где, интересно?

— В Берлине. Я воевал в фольксштурме. В конце войны я был мальчик, господин Самсонов, когда ваши подошли к городу. Это был март, апрель. Тогда вы уже наступали в глубь Германии, а мы оборонялись.

— И сколько вы убили русских? — спросил Самсонов и засопел, скулы его стянулись, окаменели.— Одного? Двух? Сколько?

Среди тишины жарким треском постреливали, пылали поленья на решетке камина, и в молчании этом все разом посмотрели на Дицмана одинаковым взглядом опасливого и принужденного участия, и холодноватой струйкой прошел ветерок напряженности по смеженным векам господина Вебера, по взмахивающим ресницам Лоты Титтель, по прозрачно-бледному лицу госпожи Герберт — так показалось Никитину, едва он сопоставил этот добропорядочный уютный покой согретой камином, коврами и светом торшеров гамбургской гостиной и страшное кровавое прошлое, вставшее между ними четверть века назад.

— Я не знаю, кого я убил, я не видел,— неровным голосом задавленного волнения проговорил господин Дицман.— Фаустпатроном я подбил один танк. Он назывался у вас «тридцатьчетверка». Я стрелял из подвала по набережной Шпрее, когда ваши продвигались к рейхстагу.

Танк загорелся, и больше я ничего не видел. Следующий ваш танк... как его... «И-Эс»... «Иосиф Сталин», да? Второй танк заметил нас и выстрелил по окнам подвала. Мы быстро ушли.

Господин Дицман потискал пачку сигарет, понюхал ее, отбросил на столик, упреждая вопрос Самсонова усмешкой:

— А сколько немцев убили вы, господин Самсонов?

Самсонов ответил неприязненно:

— Я служил переводчиком в штабе армии, поэтому не стрелял... Вы фаустпатроном сожгли, если вам верить, один танк, значит, убили четырех советских танкистов. Во имя чего? Вы вольно или невольно защищали нацизм? Так?

— Господин Самсонов! — вскричал Дицман и повалился в кресло, вскидывая нервные руки, точно пощады просил.— Я был мальчишка, зеленый глупец, с одураченным сознанием, я был только барабаном, на котором сколько угодно можно было выстукивать патриотические марши! И... если мы начнем упрекать друг друга, мы никогда не найдем общечеловеческую истину! Мы тоже потеряли более десяти процентов населения! Но я не думал спрашивать, сколько немцев убили вы, господин Самсонов, и сколько убил господин Никитин, а он не служил в штабе, как я знаю... а был офицером артиллерии и, значит, не ангелом во плоти и не гандистом! Не так, господин Никитин?

— Откуда вам так много известно про меня, не говоря уж о моем характере? — спросил Никитин с оттенком спокойного шутливого интереса.— По-моему, мы встречаемся впервые.

— Разве не мог я вас встретить в войну? — засмеялся Дицман, и высокий женственный лоб его покрылся испариной.— Ну, например, в Берлине? Возможно? Могло так быть?

— Это почти невозможно,— ответил Никитин полусерьезно.— Я не люблю беллетристику, а тем более фантастику. Я реалист, господин Дицман.

— И в реализме многое возможно, так много, что об этом не подозревают даже сами реалисты! В Берлине сошлись вплотную две многомиллионные армии, и там я мог вас...— Дицман, раздувая тонкие ноздри, взял бокал и как бы задавил неприятно незаконченную фразу глотками вина.— Но я,— продолжал он, салфеткой вытерев

губы и пьяно растягивая слова,— но я, если бы знал, что передо мной русский интеллигент, например писатель Никитин, я не стрелял бы в него...

— Стреляли бы,— уверенно сказал Никитин.— И я бы стрелял, если бы вас встретил тогда. И это опять реализм. И ничего тут не поделаешь.

— Нет, вы бы не застрелили меня, именно вы...— очень тихо выговорил заплетающимся языком Дицман.— Вы были тогда мальчишка и не застрелили бы меня, тоже мальчишку... Я чувствую, я знаю. Или какую-нибудь немецкую девушку... Нет, вы не застрелили бы... Господин Самсонов решительнее вас: бац —и нет еще одного немца, ненавистного немца...

— Шумел камыш или тайны мадридского двора в стиле Кафки,— сказал по-русски Самсонов и вновь подтолкнул Никитина под столом: мол, что это за пьяные штучки, понимаешь ты что-нибудь?

И тут Никитин услышал запнувшийся, незнакомо-умоляющий голос госпожи Герберт:

— Фридрих, перестаньте, пожалуйста, пить, я вас очень прошу. Если вы удерживаетесь от курения, то поберегите свое сердце и от вина. Прошу вас...

Госпожа Герберт сидела не подымая глаз; слабая, как ниточка, морщинка горечи разъединяла на переносице ее брови, ровные, темные по сравнению с ее белеющими сединой волосами, и это вынужденное замечание по поводу вина, это право упрека господину Дицману, названному ею по имени, Никитин почему-то воспринял позволенным на людях кратким раздражением, возникшим между друзьями, близкими или между мужем и женой и тотчас сглаженным внешним приличием воспитанной хозяйки дома, уставшей защищать гостей от нетрезвой навязчивости тесно приближенного к ней человека. «Кто он ей? Любовник? Родственник? — подумал Никитин.— Я не помню, чтобы она представляла его как мужа». И уже чувствуя, что надо как-то смягчить, ослабить вязкую неловкость между собой, Дицманом, госпожой Герберт и Самсоновым, он хотел пошутить по поводу иррациональной игры подсознания, однако его опередил Дицман.

Хлестко ударив ладонями по подлокотникам, он чересчур быстро, с рыву поднялся, застегивая пиджак, смеясь и сгоняя смех с землистого, худого лица, освещенного блестящими глазами, проговорил с ожесточенной веселостью:

— Да, несомненно, вы умница. Благодарю. Я бы не хотел, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука нужна.— И постучал пальцем в левую часть груди.— До свидания, господа. Мы еще не раз увидимся! Я действительно слаб после болезни. Еду спать!

Он сделал общий поклон и, высокий, прямой, качаясь на долгих ногах, пошел по толстому ковру к двери.

— Фридрих! — вставая, проговорила госпожа Герберт.— В таком состоянии вам будет трудно вести машину! Извините, господа, один момент...

Она догнала его, и перед дверью Дицман, по-прежнему чересчур решительный, обернулся, вздернул плечо, сделал звонкий щелчок пальцами, словно поворотом включал зажигание, ответил ей смехом:

— Когда я выпью, я вожу машину, как гонщик, уверяю! Лучше, чем обычно.

Они вышли, дверь плотно замкнула безмолвие в гостиной, опять стало слышно похрустыванье, пощелкиванье поленьев в глубине камина, гости преувеличенно вежливо переглянулись, как бы чуть-чуть разочарованные неожиданным уходом хозяйки, прерванным разговором,— господин Вебер, весь утонув в кресле, дыша кругленьким, обтянутым жилетом брюшком, глубокомысленно почистил о жилет ноготь, своими полускрытыми в одутловатых веках глазками рассмотрел под светом торшера его полировку, затем со свистом, с бульканьем потянул через соломинку остаток коктейля из бокала, добродушно заговорил:

— Господин Дицман — великолепный главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек...

— ...которого ты держишь в своем издательстве как безотказного негра. У него месяц назад был сердечный приступ! — добавила Лота Титтель, наступательно вскинув подбородок.— Не так ли?

— Лота, Лота, Лота...— ласково и миролюбиво возразил господин Вебер.— Ты опять делаешь заявление как социал-демократ, а не как актриса. Нет, нет? Сердечный приступ господин Дицман получил не из-за больших денег, которые я ему плачу, а от невоздержанности, свойственной сейчас интеллектуалам, нет, нет?

— Вы не соскучились без меня, господа?

Вошла госпожа Герберт, приятной улыбкой гостеприимной хозяйки, даже спешащей походкой как бы извиняясь за свое отсутствие, но господин Вебер довольно

проворно для своего грузного сложения встал, все так же по-домашнему благодушно сияя хорошими зубами, лысой головой, и за ним гибкой веточкой разогнулась и легко вскочила Лота Титтель, подхватывая сумочку с пола, зашуршав серебристой чешуей платья, и оба вперемежку с благодарностями за прекрасный вечер начали прощаться с госпожой Герберт.

А она кивала, улыбаясь, однако не задерживала их, что часто бывает в русских домах, и они, отпустив ее руку, стали прощаться с Никитиным и Самсоновым, которые тоже встали следом за Лотой Титтель.

— И нам пора, госпожа Герберт,— сказал Никитин.— Спасибо вам...

— О нет, нет, нет! Одну минутку, господин Никитин! — вдруг перебила его она, смущенно глядя ему в глаза.— Я хотела бы вас задержать на несколько минут. Господина Самсонова, если он не возражает, подвезет до отеля господин Вебер, а я отвезу вас через полчаса. Я хотела бы поговорить с вами о предстоящей дискуссии. Это совсем немного отнимет у вас времени.

«Зачем она при всех отделяет меня от Самсонова? Что за этим стоит?» — подумал Никитин, чувствуя мерзкое неудобство колющего подозрения, какой-то внутренней стесненности, намеренный деликатно отказаться, сославшись на усталость, головную боль, перенасыщенность впечатлениями, однако проговорил тоном отвратительного самому себе согласия:

— Что ж.— И добавил излишне спокойно, обращаясь к Самсонову: — Я приеду и зайду к тебе. Не ложись спать. Подожди.

— Черт знает... Не приглашают ли тебя ночевать здесь?— вкось кинув сердитый взгляд на госпожу Герберт, ответил по-русски Самсонов, будто говорил о надоевшей погоде, и, багровея, заложил руки за спину, покачался взад и вперед на каблуках перед господином Вебером.— Значит, я могу надеяться на вашу любезность? Вы меня подвезете?

— Конечно, конечно! — тряхнула струями рыжих волос Лота Титтель, распространяя запах лавандовой свежести, и вторично по-мужски стиснула руку Никитина, сказала шепотом: — Нас, немцев, все же есть за что не любить, господин Никитин, стоит только вспомнить войну. О, это особая нация!

Они сидели на кожаном диване в библиотеке.

— Я прошу вас говорить медленнее. Иначе не все пойму.

— Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду.

— Я имею в виду войну.

Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти перевертываемые листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом пожелтелой, тронутой временем бумаги — неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти, а он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами,— подбородки жестко подпирали стоячие воротники,— мужчин, по-домашнему расположившихся бок ó бок с белолицыми женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей; затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера, на пилотку накинута маскировочная сетка, новенький Железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки, и Никитин спросил:

— Кто этот офицер, госпожа Герберт?

— Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком. В африканском корпусе.

— Значит, он служил у Роммеля? — сказал Никитин.— Тобрук — это сорок второй год. А ваша мать... надеюсь, жива, госпожа Герберт? — спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, нéприятно взбудораженному вином господину Дицману, после мутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение.

И Никитин, нахмуриваясь от сознания непредвиденно глупого положения: все разъехались, уехал в отель и недовольный его необдуманным согласием Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять вежливый интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме,— думал о своей опасной податливости, уже раздражавшей его сейчас.

— Моя мать умерла в тридцать шестом году, господин Никитин,— проговорила госпожа Герберт.— Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме... Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?

— Нет, нет,— ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность, и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей:— Простите, голова... это пройдет...

— Вам принести таблетку от головной боли?

— Спасибо. Это пройдет.

Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами, обе ее руки лежали на альбоме, и тоже, чудилось, в робком замешательстве она молчала, медальон на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний, намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил неестественно, чрезмерно спокойно:

— Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется...

— Да, я хочу, господин Никитин.

Она взяла сигарету со столика; он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом, потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:

— Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?

И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание — она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу:

«Кёнигсдорф. Вильгельмштрассе, 7, наш дом».

Этот снимок был сделан до войны, время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось

крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков, мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи — сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед, возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, полетнему густой, счастливой...

— Вам знаком этот дом, господин Никитин?

Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом,— он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоения памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого, прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутемь прохлады, звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами.

Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в ста пятидесяти за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и «студебеккеры» стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв четыре или пять комнат, и был во взводе английской марки («хиз мастерз войс») патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше, на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы, и чудом сохраненных и довезенных до Германии.

Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех злобой, любовью и жалостью.

Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами...

— Кто эта девочка? — глухо спросил Никитин и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы вобрать в грудь больше воздуха; ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся, будто во сне.

— Девочка? — Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: — Это я, господин Никитин.

— Вы? Это вы?

— На фотографии мне одиннадцать лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери...

— Ваш отец был уже в армии?

— Да... Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве — руки длинные, плечи острые, весь из углов, фи, можно обрезаться!.. Подросток — неудачная пора девочки с манерами мальчика...

Нет, то было другое, он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то свершившегося тогда, очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.

— Вы не помните этот дом, господин Никитин?

— В Германии мы не раз останавливались в таких домах,— сказал Никитин.— К сожалению, нет. Не помню.

Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверно, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать: он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота:

— Да, да, господин Никитин, прошло столько лет. А в этом доме прошла моя юность...

Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, золотым медальончиком на ее груди, бледностью ее висков, на которых нежно проступали жилки... И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт; казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность.

«Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе? — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного.— Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет восемнадцать. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть! Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы, в зеркало бы на себя посмотреть сейчас —седые виски, морщины под глазами!.. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?»

— Господин Никитин... вы меня забыли, прошло

столько лет... А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свиданья, Эмма». До сви-дань-я-а...

Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды,— ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги, внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его «студебеккер» четвертого орудия, ждал, работая мотором, оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им вразнобой: «Эмма, ауф видерзеен! Товарищ лейтенант, ехать пора!»

А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил, стискивал ее в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную русскую фразу: «Ва-ди-им, мил-ий, не-е з-забыв-ай мень-я».

Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и, когда влез в машину, она еще стояла в окне, но он не помахал ей, не повернулся к окну, не взглянул, скомандовал сжатым голосом: «Поехали! Марш!»

— Госпожа Герберт...— сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку.— Мне трудно поверить, Эмма.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БЕЗУМИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Что же было тогда?..

Четыре долгих года набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскаленными колесами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли мрачными скалами обрызганных бомбежками домов с чернеющими глазницами окон, наглухо закрытыми подъездами, где мертво остановились лифты, где на площадках лестниц не пахло из затихших квартир немецкими супами и не слышно было ни шагов, ни стука дверей, ни обыденно приветливых голосов раскланивающихся в подъезде соседей, ни этих вежливых «данке шён», «битте зер» [1] — везде стыла сумеречная тишина пустыни, без единого во всем городе выстрела. Последняя оборона Берлина — рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Все было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу стихли, всюду нехотя рассеивались угарные дымы, и, словно из кровавого аспидного месива, постепенно выявлялись площади и улицы, загроможденные угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, еще теплых, еще курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрестках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулеметными очередями вывесками мага-

[1] «Большое спасибо», «пожалуйста».

зинов и парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожженных машин, бронетранспортеров, исковерканных орудий — везде валялись расплющенные гусеницами цилиндры немецких противогазов, смятые каски с темными знаками орлов, зловеще раздавленные велосипеды, переломанные детские коляски, клочки камуфляжных плащ-палаток, серые русские ватники, обрывки грязных бинтов, распростертые плоскими змейками, автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной; и кое-где среди обвалившейся на тротуар, остро срезанной чем-то стены можно было видеть в обломках мебели затянутое кирпичной пылью пианино, его по-мертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро, а над хаосом разрушения — на верхнем этаже оставалась часть квартиры, часть стены, темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий, и люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине провода меж пробоин потолка.

Весь этот огромный зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнем и будто извивался в дыму, озлобленно вскидывал толстые багровые щупальца танковых выстрелов, тонкие плети пулеметных очередей, хлещущих по пролетам улиц, выбрасывал реактивные молнии фаустпатронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов — он выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы, он погибал, но еще выказывал свою неутоленную жадность к человеческой крови подтверждающими знаками на останках собственной плоти — на стенах домов, на мостовых, на заборах: «Berlin bleibt deutsch», «Schlag neun Russen tot», что означало: «Берлин остается немецким», «Убей девять русских».

Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, напитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжкой горькостью жженых кирпичей с примешанным приторно-сладковатым душком где-то погребенных под развалинами трупов. Вверху обозначенных после буйства огня каменных коридоров, над закопченными улицами свисали зацепившиеся за балконы обрывки простыней, белых тряпок, слабый ветерок шевелил их и шевелил в черных провалах золу холодеющих пепелищ, бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых,

покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей.

Но так по-весеннему солнечен, мягок был тот майский день, так сияли, круглились в высоком голубом небе облака, такая шла по нему неправдоподобная тишина, такое распространялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах, и казалось, не было нигде в этом поверженном городе ни одного вооруженного солдата, ни обывателя.

Однако это было не так: Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, саперами, связистами, спустя три часа после завершающего выстрела возле забаррикадированных Бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном торможении погрузился, как в воду, скошенный ничем необоримым и оцепеняющим сном.

Это было почти повальное наваждение сна, не подчиненное уже сознанию, которое в неистовстве многожданного облегчения кричало, верило, ликовало, что кончилось последнее сопротивление в Берлине, последняя крепость — рейхстаг пал, и солдаты, бравшие Берлин, будто бы остановились на бегу с разжатым пределом исхода, пьяные возбуждением, свершившимся наконец счастьем, ошеломленные тишиной. Все, пошатываясь, расстегивали пропотевшие воротники гимнастерок, трясущимися от усталости пальцами сворачивали цигарки и тут же со слипающимися глазами, иные, даже не докурив на солнцепеке, валились под колоннами у нагретых ступеней рейхстага, на песчаные дорожки, на каменные плиты молчаливых кирх, на ковры богатых особняков, на постели брошенных квартир, валились, не раздеваясь и не откинув толстых стеганых бюргерских одеял, спали в танках и на снарядных ящиках, сидя на станинах орудий, стоя у котлов кухонь в неловких позах, лежа грудью на столах, на подоконниках,— пружина, сжатая четырьмя годами войны, наконец освобожденно разжалась, и ее крайней точкой окончательного разжатия были не еда, не глоток воды, а сон.

Сон этот, посреди еще местами дымившегося Берлина, продолжался несколько часов, и хотя бесперебойно работала только связь командных пунктов, непрерывно передавая в соседние армии, в Москву весть о прекращении огня в центре «логова», о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через

силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров не нашел бы в себе человеческой воли поднять сваленных усталостью солдат, отдать приказ прежним командным голосом, никто сейчас не имел на это права.

Облитый теплым майским солнцем с бездонно сияющего неба, затихший Берлин глубоко спал, и, как в затянувшиеся ночные часы, повсюду наглухо закрыты были подъезды, опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, но в сумрачно затаенных квартирах чужие испуганные глаза жадно и быстро приникали к щелям ставней, должно быть, веря и не веря в то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Ничто уже не напоминало былого масляного блеска и утренней чистоты вымытых мостовых, нигде не было видно на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами; нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподымающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты, и молоденький, хорошо причесанный, веселый кельнер в белоснежном переднике уже не нес на подносе кружку холодного янтарного пива, не перебегал деловито улицу от ближнего бара к парикмахерской, где брился какой-нибудь любитель разнеженно отдохнуть в кресле после душистой мыльной пены на щеках, мягкой бритвы, пахучего одеколона, после горячего компресса, приятно распарившего кожу лица.

Прежнего добропорядочного, строгорежимного и размеренного Берлина не существовало.

Батарея, в которой Никитин командовал взводом, наступала вместе с пехотой восточнее Тиргартена по направлению к бункерам рейхсканцелярии, метр за метром продвигалась по широкой аллее, мимо какого-то глухого забора,— с той стороны сквозь отдаленное гудение танков жарко и часто рассыпалась автоматная пальба, прострочення грубыми очередями пулеметов. И раза два почудилось — донесся оттуда дикий утробный рев (так не мог кричать человек), и вездесущий подносчик снарядов Ушатиков, белобровый, длинношеий парень, по причине наивности не перестававший всему удивляться, подбежал к Никитину и, испуганно вытаращив голубиные глаза, сообщил, что в проломе забора вроде видны под деревьями клетки со зверями, и, кажись, слон на горке с поднятым хоботом ходит, а также наши, похоже, без

выстрелов по дорожкам продвигаются, но по ним фаустники и автоматчики спереди лупят, и «тридцатьчетверка» перед мостиком горит.

Никитин по разговорам знал, что левее их дивизии введены в бой танки генерала Катукова, и в тот момент, когда Ушатиков сообщил о появлении «тридцатьчетверок» в зоопарке, почувствовал вдруг свои орудия вблизи бункеров и подумал только: «Рядом».

Двое суток через проломы в домах, по навалам кирпича и щебня в бывших квартирах, через обваленные балки перекрытий батарея на руках подтягивала орудия до района Цоо. Северо-западные подходы к зоопарку простреливались днем и ночью мощными точками обороны на углах забаррикадированных улиц — проскочить на машинах было невозможно. А когда наконец выкатили первые орудия на влажную прошлогоднюю листву огромного парка, еще сырого, сквозистого, пахнущего осенней прелью, но уже молодо и нежно зеленеющего листочками, когда открыли огонь по ближним самоходкам, стоявшим полудугой за кустами, всю батарею охватило неудержимое, сумасшедшее неистовство.

Самоходки, медленно пятясь, отходили в чащу по каким-то знакомым им дорогам, вновь выползали на перекрестки аллей, пехота впереди залегала и подымалась, рассачивалась меж деревьев, автоматные очереди, беглые раскаты орудий срывали с сотрясаемых ветвей молодую листву, и дым выстрелов самоходок и выстрелов батарей, поспешно мелькающие в нем кометы разрывов сплошь скрыли черно-лиловой наволочью небо над парком, и потерялся отсчет времени — утро было, день или сумерки,— и появлялась отчаянная мысль, что потонувший в непробиваемой мгле этот парк расположен не в центре Берлина, а отъединен от всего мира, что впереди нет нашей пехоты, нет никакого продвижения, нет ничего, кроме огня, грохота, лязга и дыма... Изредка уловимое гудение танков за бетонной оградой, дикий животный рев оттуда, и оскалы пламени в тьме аллей, и жирно дымившие на перекрестках троп самоходки, и упругое дрожание земли, вздохи, сопение, завывание тяжелых снарядов на разных воздушных этажах зачерненного поднебесья, и бесконечные молотообразные удары разрывов в близком городе, недалекие строчки очередей— все это смешалось, задержалось, не изменяясь, на одном месте, там, где должна была быть не достигаемая орудиями оборона немцев и где ее не было.

Но вечером около орудий возникли неожиданно люди, двое мальчишек-связистов из пехоты. Они с треском катушек, с живой перекличкой, будто и немцев нигде не было, протягивали в потемках неизвестно куда линию; пробегая мимо расчетов, закричали что-то озорное, грубое, подначивающее артиллеристов, разглядев не лица, а черные, в пороховой саже маски вместо лиц, и, несдержанно хохоча, сообщили, как выстрелили: «Наши в бункерах, во дворе одни мертвые фрицы! Хана там им полная! Оттуда на капэ связь тянем! А Гитлера, усатого черта, не нашли там!»

И молниеносно пропали в темноте, прокладывая тонкий провод по ветвям деревьев, а Никитин, до тошнотного предела изнеможденный нескончаемым боем, вчерашним выкатыванием орудий через проломы в домах, увидев связистов, как-то сразу потерял азартно подгоняющее желание посмотреть ненавистную и долгожданную полосу сопротивления немцев, уже захваченную пехотинцами.

— Спать,— еле ворочая языком, безголосо выговорил он.— Кто хочет, принести воды, умыться и спать. До приказа.

Он так и не увидел эти бункера рейхсканцелярии. На рассвете, по холодку, его разбудили шум мотора, голоса— и он тревожно вскинулся на разостланных под орудием ветвях, отбросил шинель с головы. Рядом стоял часовой, наводчик третьего орудия Таткин, продрогший на ветерке парковой сырости, и зябко улыбался двойными заячьими губами в пшеничные усы, отпущенные, вероятно, для того, чтобы скрывать этот дефект.

— Что? — крикнул Никитин.

— Командир батареи прибыл,— ответил Таткин, покашливая и согреваясь нелепым приплясыванием.— Гранатуров-то наш... Да еще кухню приволок на автомобиле.

Вокруг было необычно тихо и светло. Нигде не раздавалось ни одного выстрела. Взвод спал между станинами на брезенте, прикрывшись шинелями. А посередине аллеи, неподалеку за орудиями поблескивал новенький трофейный «оппель» с прицепленной кухней, уютный дымок струился под деревьями, и старшина батареи, быкообразный, неповоротливый, напруживая багровую шею, отвинчивал при помощи повара крышку котла, видимо, очень горячую — оба то и дело отдергивали руки, мотали пальцами. И, похрустывая влажными листьями на газо-

не, от «оппеля» крупными шагами шел командир батареи, старший лейтенант Гранатуров, поправляя мощными плечами накинутую длиннополую шинель, а из-под полы высовывалась перебинтованная кисть на марлевой перевязи. Матовое его лицо, заметное щегольскими косыми бачками и крючковатым носом с крутым вырезом ноздрей, всегда как бы готовое разозлиться, было сейчас оживлено. Он крикнул грубовато-весело:

— Никитин, жив? Штаб обороны Берлина взяли, а вы как на перинах дрыхнете, сундуки-лошади! Ну и батарея у меня! Подъе-ом! Всем жрать! Старшина, раздай трофейный шнапс для бодрости духа да так накорми, чтоб животы трещали! Ясно? Небось думал, Никитин, руку мне царапнуло, так я в госпиталь лягу? Ни хрена подобного! Перевязку сделали, укольчик в задницу всадили от столбняка на всякий случай, а потом в один дом на ночь спикировал и вот, как видишь, на «оппеле» прикатил с кухонным прицепом, ха-ха! А по дороге в зоопарк и на капэ полка закатил! У тебя, сразу вижу, связи с ним нет! Дьяволы-лошади, без меня-то вздохнули, видать! Где Княжко?

Гранатуров два дня назад был ранен на прямой наводке при обстреле занятой немцами станции метро на берегу Шпрее, оттуда был отправлен в медсанбат, и лейтенант Княжко, командир первого взвода, остался за него. Никитин, окончательно разбуженный рокочущим голосом комбата, хотел было доложить о продвижении взвода через проломы в домах к Тиргартену, о вчерашнем бое с самоходками, о том, что лейтенант Княжко, командуя своими двумя орудиями, находится справа на соседней аллее. Но Гранатуров слушать не стал. Он отсек его доклад взмахом здоровой руки и, глядя на зашевелившихся между станинами солдат, не отвел, а толкнул Никитина в сторону от орудий, сказал вполголоса, что — без бинокля видно — Берлину крышка, и, по слухам в штабе, дивизию, надо полагать, будут выводить куда-то из города, поэтому на всякий случай приготовиться к маршу. И, сказав это, зашагал к солдатам, а они, донельзя вымотанные вчерашним боем, не отдохнувшие, спросонок крякая, сплевывая, прокашливаясь, закуривали щедро раздаваемые старшиной немецкие сигаретки, глазели на трофейный «оппель», на прицепленную к нему кухню, и уже кое-кто, взбадриваясь, начал позванивать котелками.

— Ну что, что, ребята, возитесь, как жуки навоз-

ные? — крикнул Гранатуров. — Небось по самоходкам стрелять — это вам не среди львов атаковать! Не ясно? — Он превесело выругался.— По дороге мы тут со старшиной в зоопарк завернули! Львы, стервецы, досейчас по дорожкам расхаживают, волки вокруг слона стаей бегают, а бегемот в бассейне лежит с миной в животе. Вот где хлебнули славяне! Самоходки — не в счет, ерундовина! Так или нет?

Слова Гранатурова о выводе дивизии подтвердились. В полдень второго мая был получен приказ — артполку сняться и двигаться по шоссе Берлин — Кёнигсдорф. Никто в батарее не знал причины спешной перегруппировки, и, поговаривая об отдыхе, ехали по улицам Берлина в странной опустившейся на землю тишине, такой пронзительно-огромной, такой невероятной посреди голубого неба, обглоданных домов, дыма и развалин, что, казалось, оглохли все.

«Их вайс нихт, вас золль эс бедойтен, дас их зо трауриг бин... Ди люфт ист кюль, унд эс дункельт...» [1] Черт, а как же дальше? Забыл. Кто это написал — Гете или Гейне? Лорелея, какая-то сказка о Лорелее!.. Кажется, с распущенными волосами сидела на скале, на берегу Рейна, а вокруг была потрясающая тишина, и струились волны. А она зачем-то пела, и, по-моему, что-то грустное. Да, да, что-то такое грустное. Так кто же написал, в конце концов,— Гете или Гейне? Все забыл, вот молодец! В каком это учили классе? В восьмом или в девятом? Ах, какой умница, какой молодец, какой знаток немецкого языка! «Хенде хох», «нихт шиссен», «шнеллер». [2] Ну, это я знаю, и весь мат немецкий знаю! Прекрасно, герр лейтенант! Итак, как же спросить, положим: вы читали сказку о Лорелее? Или, например, сколько стоит кружка пива?»

Никитин, нежась в постели под пуховой периной, листал разговорник, дурашливо разговаривал сам с собой и наслаждался прохладой, утренним покоем, розовеющими бликами на потолке немецкой уютненькой мансарды, где он спал один, отдаваясь часами благостному после сна ничегонеделанию. Целые сутки ему не нужно было

---

[1] «Я не знаю, что это значит, почему я так печален... Воздух прохладен, смеркается...»

[2] «Руки вверх», «не стрелять», «быстрее».

беспокоиться о чем-то, отдавать необходимые распоряжения, лично проверять посты ночью, что нужно было обязательно делать на передовой, ожидать требовательного телефонного звонка, внезапного приказа, вызова к командиру батареи перед наступлением или перед маршем. Целые сутки стояли в маленьком городе Кёнигсдорфе, километрах в пятидесяти от Берлина, отведенные на отдых, в сторону от главных событий, где-то еще происходивших, и дачный, чистенький городок этот, красно и весело сиявший черепичными кровлями, острием каменной кирхи, весь солнечный, провинциальный, весь в белой пелене зацветающих яблоневых садов и ранней, густой, снежно-белой сирени, нависавшей из-за оград над тротуарами, был совсем не тронут войной, не задет ни одним снарядом, ни одним выстрелом. Война прошла мимо него чуть слышимой в отдалении канонадой, дребезжанием стекол, низким ревом советских штурмовиков, лишь дважды прошедших над крышами во время боев в Берлине, как узнал потом Никитин. Но все же, когда артполк вечером входил в городок, угрожающе нарушая сон его соединенным гулом «студебеккеров», улочки были безлюдны, ни единого огонька не зажигалось в зашторенных окнах, и пятнами светлели на балконах траурно спущенные простыни.

Старший лейтенант Гранатуров отдал приказ занять огневые по юго-западной окраине, и Никитин разместил свой взвод в совершенно пустом доме; орудия были вкопаны на открытой позиции, в ста пятидесяти метрах за оградой яблоневого сада, за которым, как огромная вытянутая чаша, обводило окраину городка большое озеро, и был виден за озером темнеющий лес, полоска шоссе из леса, прорезанная меж весенних лугов (направление стрельбы),— там, в лесу, по сведениям Гранатурова, еще шастали ночами «втихаря» фанатичные «вервольфы», остатки разбитых на подступах к Берлину фашистских частей.

Но чувство привычной опасности на передовой, заставляющее спать с оружием на расстоянии протянутой руки, вскакивать при малейшем шорохе даже в состоянии мертвящего затишья,— это металлически острое чувство опасности исчезло по первому утру, смытое реденьким парным майским дождичком текущей по яблоневым садам деревенской тишиной, солнечным, как радость, теплом на буйно-зеленой и сочной после дождичка траве,— и вскоре

мирно запахло в городке нагретым камнем, тонко-сладким ароматом сирени.

Целые сутки, каких, пожалуй, за всю войну не было, солдаты отмывались, очищались, отстирывались, отглаживались, отъедались, разместившись в невообразимой домашней благоустроенности, под добротными немецкими крышами, где поражали аккуратностью чистые кухни, уставленные по полочкам разнокалиберными кастрюльками и баночками, где вконец удивляли отделанные разноцветным кафелем ванные с туалетом, роскошными зеркалами и пушистыми ковриками на полу, где в спальнях были невиданно широкие постели, толстые перины, мягкие подушки — все представлялось фантастическим, начавшимся вчера праздником, и не верилось, что в нескольких десятках километров отсюда могли быть угрюмые развалины Берлина, пьяный угар горелого камня.

Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и, кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно: спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным «биром», отбой, разговоры о перепуганных фрау вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками, подначиванием разговеться немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты — и детски безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в Австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии — этот фронтовой мир вроде бы незаметно отдалился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность — одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха.

В городке еще были закрыты магазины, парикмахерские, пивные бары, но уже изредка на улицах стали появляться пожилые немцы в черных костюмах, вязаных жилетках; сторожко поглядывали они на орудия, на машины, на повозки; завидев же встречных солдат и офицеров, почтительно приподымали над головами фетровые шляпы, издали приготавливали заискивающие улыбки, бормотали с покорностью: «Гутен таг, герр зольдат!», «Гутен таг, герр оффицир!»

Никитин, как и все, пребывал в состоянии раскованной и ленивой беспечности, как и все, почти не думал, что ушедшая куда-то к близкому концу война может нарушить этот судьбой ниспосланный батарее покой, поэтому решил от нечего делать изучать немецкий язык по военному разговорнику, выданному офицерам на границе Германии.

И этим ранним утром он с благостным удовольствием валялся на постели, разговаривал вслух, перелистывал разговорник и после крепкого сна, без тревог, без вызовов, овеянный этим счастливым покоем, особенно чувствовал свое отдохнувшее тело, свое физическое здоровье, чистое белье.

— «Их вайс нихт, вас золль эс бедойтен, дас их зо трауриг бин...» Так... переводим: «Я не знаю, что это означает, почему я такой грустный». Вот это я помню,— говорил вслух Никитин, потягиваясь под пуховой периной и оглядывая веселенькую, залитую розоватым солнцем комнатку, оклеенную выцветшими обоями, разрисованными цветочками и листочками, поглядывая на фотографии усатых стариков при котелках и солидных старух в древних кружевных шляпах, на старинный потрескавшийся комод, платяной шкаф, круглое зеркальце в рамке слева от двери, на столик с чернильным прибором и свечой, прикрытой колпачком, на весь этот кем-то по неизвестной причине оставленный уют.— В самом деле,— сказал Никитин,— мне грустно потому, что я не знаю, кто тут жил. Как это будет по-немецки? Кто — вер. Жизнь — лебен. Ну а теперь, герр лейтенант, попробуем сложить фразу!..

Фразу, однако, он не сложил, на первом этаже хлопнула, ударила по тишине дверь, кто-то там вошел со двора, затем внизу рявкнула луженая глотка: «Подъем! Прекращай дрыхнуть, славяне!» — и сейчас же послышались заспанные голоса, покряхтывание, смех сквозь протяжную зевоту, и чей-то тенорок спохватился, воскликнул:

— Ах, братцы, какую я бабенку во сне видел... Стоит она у забора и эдак с прищуром кивает, кивает мне...

— А ты что? Чесался, дурья голова, или действовал? Дальше что было?

— Рас-стройство!.. Всегда во сне как следовает не получается, известно — видение одно! — пояснил зубоскалящий тенорок.— Эх, ребя, гладкую бы какую-нибудь на эту перинку, под бочок, неделю бы не жрал, а только

бы... Ты откуда прибег, сержант? Чего загремел? Гулял ночь, никак, а людей чуть свет вздымаешь!

И переливистый командный голос сержанта Меженина:

— А ну, бриться, умываться, туалет навести, котелки в зубы — и за завтраком! Медведя да́вите много! Опухли ото сна! Все! Подымайсь! Лейтенанта разбудили?

— Да пусть себе спит, чего ему...

Потом Никитин услышал скрип тяжелых шагов по лестнице, отбросил разговорник, потянул с кресла обмундирование и, быстро надев галифе, отозвался:

— Я встал, Меженин! Входите! Что за спешное дело? Надеюсь, не танковая атака? Нун, битте, херайн! [1] — добавил он по-немецки.— Бит-те!

— Разрешите, товарищ лейтенант?

Вошел командир третьего орудия сержант Меженин, сильный, широкий костью, немного полноватый, в набело выстиранной гимнастерке, хромовые офицерские сапоги и погоны были влажны, как будто только что шел по росе, задевал плечами мокрые кусты. Его лицо с молочным румянцем, густыми ресницами, светлыми и жесткими глазами было бы красивым, если бы не нагловатая полуухмылка, которая что-то отнимала у него слегка попорченными передними зубами. Считали Меженина везучим бабником, неисправимым сердцеедом, повсюду заводившим неизменно удачливые связи, стоило лишь батарее задержаться на день или два под крышами. Он не скрывал этого, носил в нагрудном кармане коллекцию фотокарточек, исписанных трогательными строчками, и, захмелев, порой хвастливо говорил, что коли уж его судьба смертью обманет, то бабы по нему жалостнее жены на всей Украине и Польше поплачут, что-что, а вспоминать сержанта Меженина будут. Но был он и везучим командиром орудия— пришел во взвод в дни форсирования Днепра, ранен не был ни разу, и награды нетрудно находили его, не затериваясь в долгих госпитальных поисках.

Меженин, загадочно щурясь, небрежно бросил руку к виску, усмехнулся:

— Гутен морген, товарищ лейтенант, одно дело к вам есть. Посоветоваться не мешало бы. А?

Никитин посмотрел на сырые сапоги, на потемневшие в росной влаге погоны командира орудия и удивленно спросил:

---

[1] Ну, пожалуйста, входите!

— Вы что... не спали со взводом? Где вы были, сержант?

— У фашисточек не был. Хотя они, стервочки, сами лезут,— заговорил с дерзкой твердостью Меженин, нисколько не оправдываясь, а только уточняя дело. — Идешь по улице, а они из окон пальцами показывают и жесты всякие...

— И что же? Где вы были ночью?

Никитин взял с кресла ремень, приятно гладкий, отполированный, ощутил теплый кожаный запах и, наслаждаясь прежним чувством здоровья, молодости хорошо выспавшегося человека, затянул ремень на талии. Затем подвинул к боку тоже теплую кобуру пистолета, подошел к зеркалу и стал причесываться, сделав строгое лицо. Ему не хотелось сейчас выговаривать Меженину за явное его отсутствие во взводе без разрешения, портить настроение бодрого весеннего утра, и это была наигранная строгость, чтобы чем-то напомнить о пока никем не отмененной еще дисциплине, несмотря на отдых и бесприказное положение батареи.

Меженин был старше его на девять лет, опытнее, гораздо сильнее физически, обладал умением подавлять подчиненных ему солдат вспышками грубой насмешки, и подчас — один на один с командиром орудия — Никитин испытывал неудобство и раздражение от его выпирающей, незастенчивой силы.

— И что же? — повторил Никитин, кончив причесываться, и увидел в зеркале наведенный ему в затылок светлый, независимый взгляд сержанта.— Что хотите ответить, Меженин?

— А я вот хочу спросить... Вы, товарищ лейтенант, в грошах немецких и в часиках кумекаете что-нибудь?

— Неясно.— Никитин дунул на расческу.— Вы о чем?

— Айн момент, товарищ лейтенант.

Меженин вышел за дверь и тотчас внес с площадки лестницы и опустил на пол брезентовый мешок, не до конца застегнутый металлической «молнией», лиловые остатки раскрошенной сургучной печати висели на суровых нитках в той части сломанной наполовину «молнии», где недавно, видимо, был сорван опечатанный замочек. Меженин присел к мешку и, снизу безгрешно глянув на нахмуренного Никитина, узловатой рукой, на которой виднелась старая синяя наколка «Шура», дернул «молнию». Из раздвинутого мешка вынул несколько толстых, склеенных желтой полоской пачек купюр, положил их

на кресло, после чего достал маленькую изящную коробочку, в каких ювелиры продают серьги и кольца, вытянул оттуда на узком ремешочке серебристые часики.

— Гляньте, товарищ лейтенант, штамповка или не штамповка? — сказал Меженин, невинно прикрывая ресницами глаза.— Вы по-немецки малость петрите, тут на циферблатике какая-то фиговина по-ихнему написана. По футляру если... штамповка не должна быть.

— Где вы это взяли? Откуда?

Меженин невозмутимо помотал часами на ремешочке, подышал на фосфорический циферблат, протер стекло пальцем.

— Виноватую голову меч не сечет, товарищ лейтенант.

— Не виноватую, а повинную,— поправил Никитин.— Виноватую как раз сечет. Ну, так где же взяли?

— Законно все, безо всякого Якова,— снисходительно проговорил Меженин и выпрямился.— На ночь, было дело, оторвался я в полевой госпиталь к знакомым сестричкам, у одной там день рождения, законная, кажись, причина. А расположились они в Фейн или... Штейн... дорфе, хрен его знает... не выговоришь, в деревушке, в общем, километров шесть отсюда. Возвращаюсь, значит, на рассвете через лес, глядь — справа, за кустами, чернеет что-то, похоже — машина, по виду штабная, разбитая вдрызг. Миной разворотило ее и изуродовало, как бог черепаху. Посмотреть надо бы, думаю, ради такого интересного случая. Подхожу — а в машине барахло всякое и еще ящичек и мешок. Чистенькие. Очень уж любопытно стало, и вскрыл я их. А в ящике — часы, в мешке — пачки грошей. Для удобства двадцать штук часиков в мешок, а остальные там оставил, ящик в кустах замаскировал, чтоб не соблазнило кого. Вот так было дело, товарищ лейтенант. Интересуюсь, что за часики — ценные или дерьмо?

— А документы? Там были документы? — спросил Никитин.— Не взяли?

— На кой они вам— для музея? Война сегодня или завтра кончается. А вы документики спрашиваете. Ценность-то какая? Дешевле чиха.

Внизу, на первом этаже, все громче, все отчетливее разносились звучные голоса солдат, гремели котелки — оживленная, без серьезных забот, но предприимчивая перед завтраком суета, перед общим сбором взвода за столом, общими разговорами перед дозволенным пивом,

сполна отпущенным старшиной из трофейных берлинских запасов.

— Все, знаете, я вижу, сержант. Что война кончается, ясно. А кто вам сообщил, что именно завтра кончится? Сам господь бог?

— Ноздрей чую, товарищ лейтенант. Для нас тут — все, шабаш, стрелять мы кончили.

— Хотел бы. Но ваше чутье, сержант, еще не аргумент.

Он по обыкновению уже говорил с Межениным чрезмерно официально, и это опять была выработанная норма защиты в общении со своим командиром орудия. Его нагловато-самонадеянная усмешка сомкнутыми губами, его с холодной пустинкой глаза постоянно выражали, мнилось, полускрытое презрение к Никитину, этому москвичу-лейтенанту, интеллигентному чисторучке, оторванному от мамы и папы, от сладких барбарисок, от задачек в школе, тогда как сам Меженин за тридцать прожитых лет хлебнул разного опыта через край.

— Посмотрим, какую ценность вы обнаружили, сержант.

Никитин взял новую тугую пачку купюр, увидел под черной печатью изображение орла, «Deutsche Reichsbank. 5 000» [1] и швырнул пачку в раскрытый мешок, точно камень, не представляющий никакого интереса; потом осмотрел часики, протянутые Межениным, и, за кончик ремешка опуская их в подставленную ладонь сержанта, сказал с брезгливым безразличием:

— Ерунда, Меженин. Рейхсмарки ни к чему, можно в печку, часы — не швейцарские. Пасхальные подарки немецким солдатам. Поняли?

— Ясныть,— насмешливо смежил женские ресницы Меженин.— А может, товарищ лейтенант, рейхсмарки-то к чему? А? Миллион грошей... А?

— Возьмите мешок и идите к взводу,—сказал Никитин, прерывая разговор, и досадливо пощупал белесую щетинку на подбородке.— Думал, у вас дело, а оказалось — пустое. Скажите Ушатикову, пусть принесет горячей воды. Побреюсь и приду завтракать.

— Ясныть.— Меженин надвинул на бровь пилотку, взвалил мешок на скошенное полноватое плечо, вышел, застучал сапогами по лестнице, внизу скомандовал зверским голосом: — Ушатиков! Горячей воды лейтенанту

[1] «Немецкий государственный банк. 5 000».

для туалета! И...— Он срезал повелительную интонацию, добавил что-то не вполне расслышанное сверху Никитиным.

На первом этаже фугасным разрывом, сотрясающим стены, грохнул смех, охотно заржали крепкими глотками на ответное чье-то словцо, но в солдатском хохоте, фырканье не было недружелюбия или злобы по отношению к Никитину, он знал это. Весь взвод, выспавшийся, хорошо отдохнувший в тепле и домашней благодати, был расположен к любой шутке, к любой остроте, подхватывая ее общим гоготом здорового веселья, то и дело вспыхивающего игривым огоньком.

«А Меженин недобр ко мне»,— подумал Никитин, раскладывая на подоконнике никелированную безопасную бритву, пушистый помазок, складной стаканчик-мыльницу и коробочку острейших золингеновских лезвий — целый набор, предназначенный, по-видимому, в 1943 году быть рождественским подарком для какого-то немецкого офицера вместе с набором датских консервов, изюмом, французским шоколадом и игрушечной картонной елочкой, упакованными в пакетах, которые были взяты в качестве трофеев на одном из товарных эшелонов под Житомиром.

— Что там у вас за смех? — спросил Никитин, когда самый молоденький из взвода, Ушатиков, радостно сияя до ушей, принес и поставил на стул котелок кипятка и тут же неудержимо залился тоненьким смехом.

— Да разве их поймешь, товарищ лейтенант,— заговорил он, прыская в ладонь,— слово какое скажут и ржут.— И Ушатиков по-бабьи хлопнул длинными руками по бедрам, излучая восторг и удивление.— Хохотуны, смешинка всем в рот попала!

— Остроты знакомы. Идите завтракать,— сказал Никитин, слыша взрывы хохота внизу, и внезапно улыбнулся, зараженный смехом солдат.

Солнце стояло над крышами, не по-раннему жарко припекало подоконник, плечо Никитину, а он с замедленным удовольствием не обремененного заботами человека брился перед зеркалом, чувствуя в раскрытое окно дуновение смолистого теплого воздуха от сосен, и этот аромат трофейного душистого мыла, вскипавшего нежной пеной под щекотными движениями помазка на щеках, и неторопливое прикосновение бритвы, после которой и без того чистая кожа становилась свежей, гладкой, молодой. Бреясь, он всматривался в свое лицо, в блеск выспавшихся

глаз и праздно и весело думал, не отпустить ли ему тонкие усики, какие щегольски начали носить еще на Одере пехотные разведчики. Он оставил ради эксперимента до конца бритья светлую, очень реденькую полоску над верхней губой, но усики не придавали его внешности ни солидности, ни безмятежного щегольства; минуту он изучающе ощупывал их, затем сказал вслух: «К черту!» — и решительно отказался оставлять лишнее украшение, что, несомненно, вызвало бы кривую ухмылочку Меженина, его подъедающий возглас: «А лейтенант-то наш усики отпустил! К чему бы это?»

Закончив бритье, он смочил полотенце горячей водой и, разглядывая себя, обновленного, в зеркале, протер лицо, шею, грудь, испытывая бодрое настроение прекрасного весеннего утра, и от этого парно́го компресса, от какой-то звонкости в каждом мускуле, и от того, что никуда не нужно торопиться, ничего не надо решать, даже серьезно думать, чего нельзя было и предположить сутки назад в пылающем пожарами Берлине.

— Лейтенант, а лейтенант, завтракать! —сквозь пчелиное гудение послышался крик снизу.— Пиво стынет!

И Никитин, причесанный, застегнутый, провел влажным полотенцем по орденам, освежая эмаль, куда въелась пятнышками пороховая гарь, ощущая упругость тела и физическую чистоту, еще раз осмотрел свое лицо в зеркале и сказал опять вслух:

— Все отлично. И все прекрасно.

Когда же он спускался по винтовой лестнице в столовую, галдевшую голосами, и заскользил локтем по гладким деревянным перилам, его вдруг душным ветерком остановила мысль о том, что все это новое, легкое, бездумное, без близости войны, должно вот-вот оборваться, кончиться, исчезнуть, что он, его взвод в немецком городке живут в неправдоподобном и обманывающем тумане счастья, которое не может долго продолжаться. И вспомнил себя, грязного, потного, черного, с ввалившимися худыми щеками, каким предстало его лицо в том же зеркале позавчера ночью, после того, как, расположив солдат в свободном немецком доме, этом нежданно посланном войной рае, он впервые перешагнул порог занятой им мансарды.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В столовой, большой, накуренной, наискось из окон пронизанной столбами солнца, заполненной солдатами его взвода, в толчее и хаосе оживленного говора, смеха, шуточек, общего возбуждения вокруг стола запоздалое появление Никитина сразу было встречено обрадованными возгласами: «А, лейтенант, давай на свое место, все готово!» — и тот укол тревоги на лестнице прошел мгновенно — прошел ненужным напоминанием об опасности, некстати. И он снова подумал удовлетворенно: «Конечно, не стоит ничего вбивать в голову, пока все идет отлично! Главное — жив мой взвод и жив я! Что же еще нужно?»

Большинство солдат толпились у края стола, шумели позади сержанта Меженина, а он, стоя, коленкой придерживал мешок на стуле, вертел на ремешке вынутые из коробки часики, оглядывал солдат сощуренными глазами и говорил громко:

— Рассудим, братцы —что за это дело можно иметь? Поджаренную свининку, пиво и всякую немецкую жратву. Спрашивается, как такое сделать? Кумекаю — а раз плюнуть! Таткин, слушай сюда! После завтрака тебе сходить к хозяину закрытого магазина, что напротив, и предложить: мол, так и так, не желаете ли часики по обоюдному соглашению насчет обмена, полюбовно, хоть мы вас, сволочей, и придушить должны, а кое-как терпим! Нет возражений пустить трофеи по этому делу?

— Какое там! Таткин сможет, он — голова в цифрах! Счетоводом в колхозе на счетах чесал небось, как на пианинах! Его б старшиной поставить, у него подсчет снайперский! — захохотали позади Меженина, и там, в толпе, любовно принялись тискать, хлопать по плечам, по шее низенького ростом, рыжего Таткина, всегда обстоятельно-расчетливого, хозяйственного наводчика третьего орудия, который даже пригнулся, закашлялся под напором незлобивого солдатского подзадоривания.— Да если бы Таткин в интендантах ходил, второй раз Берлин брать можно было б! Таткин у нас ровно генерал без звания, мозгой в разных направлениях ворочает!

— А в мешке, никак, всё часики? — поинтересовался Таткин, польщенный всеобщим признанием своих хозяйственных заслуг, и раздвинул «молнию» мешка провор-

ными руками.— Чего в нем напичкано? Бумаги вроде шуршат...

— Миллионы, Таткин, в упор гляди, едрена-матрена! — крикнул Меженин.— Законные рейхсмарки раскумекал, нет? Корову и дом целый можно купить да немочку в придачу, что пальчиком из окна за сигареты манит, понял? Гляди сюда, Таткин!..— И, заранее угадывая впечатление, которое он сейчас произведет, Меженин выхватил из мешка и хлестнул по краю стола пухлой пачкой купюр.— В каждой такой по пять тысяч! Понял, отчего козел хвост поднял? Держи эту пачку для разведки, Таткин, да разнюхай в любом магазинчике, берут или нет? А с ними, братцы, жить можно будет!

— Неужто всамделе миллионы? — ахнул Ушатиков и по-птичьи вытянул через плечо Меженина длинную шею, стараясь поближе разглядеть деньги на столе. — Это мы навроде капиталистов? Мешок? Неужто настоящие? — вскрикнул он по обыкновению удивленно и восторженно.

— Выходит, миллионщиком ты стал, малец, раскрывай карманы!

— Да куда столько-то? Че делать-то? Ужасти!..

— С кашей съешь заместо закуски и добавку попросишь! Не растеряешься!..

В заразительном и любвеобильном порыве друг к другу, толкаясь, дурачась, солдаты теперь увесисто захлопали ладонями по плечам, по худенькой спине Ушатикова, успокаивая его этим дружным тисканьем, а он прыснул, залился жеребячьим смехом, как от щекотки, и тогда старший сержант Зыкин, командир четвертого орудия, человек в серьезных годах, семейный, рассудительный, не умевший радоваться долго, сплюнул цигарку, дососанную до губ, позвал внушительным голосом:

— Ушатиков!

— Ай?

— Это как называется?— спросил Зыкин и показал коричневый обкуренный палец.— Понятие имеешь?

— Известно что, товарищ старший сержант, палец ваш, я не вижу разве? — заморгал Ушатиков с ничем не истребимой обезоруживающей наивностью.

— Врешь, Ушатиков, не палец, а оглобля. Или, скажем, не оглобля, а курица,— сказал Зыкин в сердцах.— Посмотри, малец, лучше. Или без очков не видишь?

— Как так курица? Всамделе смеетесь, товарищ старший сержант?

— Замечание имею. Ты, Ушатиков, из смеха и во-

просов состоишь,— проговорил Зыкин.— И какие такие философы, коровьи дети, у вас в Калуге родятся? «Неужто немцы?», «Неужто танки?» Все твои вопросы наперед знаю. И тут тебя опять, как дубиной по голове, удивление оглушило: «Неужто настоящие?» А ежели настоящие, ну чего ты с миллионами делать будешь? Живем мы, братцы, как на курорте, и ровно оглупели, как мухи! В голове — карусель.

— Но-но, Зыкин! — прикрикнул Меженин, мерцая глазами, и голос прозвучал властно.— Ты моих орлов не трогай! Если польза от чего есть, с какой стати ушами хлопать? Не заслужили, что ль? Верно, ребята? Ты, Зыкин, у нас — святой, молись за нас! Трофеи по всем статьям взяты. И чин чинарем. Как, Таткин, нормальные грóши? Докладывай, бухгалтерская голова, чтоб все слышали, есть в них какая ценность или я оглупел, как вон Зыкин говорит! Себе в карман миллион не положу, мама так делать не велела!

Он терпкой насмешкой подавил возражение Зыкина, и солдаты, посмеиваясь, одобрительно загудели, подмываемые любопытством, сгрудились за спиной рыженького Таткина, который между тем с деловой предосторожностью отодрал ногтем скрепляющую новенькую пачку купюр банковскую полоску, крякнув, священнодейственно послюнив два пальца, вытянув одну бумажку из пачки и, рассматривая против солнца, подозрительно покрутил ее и так и сяк; хитрое усатое личико его выражало важную работу и значительность действия.

— Похоже, не фальшивые,— сказал он.— Рейхсмарка тысячного достоинства. С такими дело не имел. Не знаю таких.

И он, бережно вложив купюру обратно в пачку, ударил пальцами о пальцы, точно пыль счищал.

— Так если ты бухгалтер, счетовод и петришь в финансах, значит — будешь дело иметь! — возвысил голос Меженин.— Соображай, бухгалтерская голова, на полных денежных правах, понял, нет? Мы платим немчишкам, и все — законно!

— Давай, Таткин, давай! — послышались ободряющие голоса.—С паршивой овцы хоть шерсти клок! Они у нас, гады, без денег все брали, а мы как-никак по совести... А часики куда? Значит, мы теперь миллионщики, ха-ха! Ну, сержант, ухватистый ты у нас... А завтрак-то, братцы, про кашу и бир забыли! И лейтенант ждет!

«Глупо и непонятно. Зачем им деньги?»— подумал

Никитин, молча наблюдая за Таткиным, за распорядительностью Меженина, за солдатами своего взвода, не в меру возбужденными этими деньгами и часиками,— ведь еще сутки назад там, в Берлине, на аллеях Цоо ничто не имело ценности, кроме одного-единственного— жизни.

— Меженин, уберите со стола всю эту ерунду! Пора завтракать,— сказал Никитин в момент краткой тишины и сел на «лейтенантское» место, добавил: —Мешок с трофеями спрячьте-ка под стол, а то очень много шума. Так что выдал сегодня старшина? Пиво? Раздайте каждому по три бутылки, сержант, вместо ваших трофеев. Так будет лучше.

За завтраком пили пиво, шипевшее пеной из горлышек темных бутылок, наливали его в большие граненые кружки, взятые на кухне, чокались толстым стеклом под шутливые тосты, аппетитно ели кашу, звенели массивными золингеновскими ложками по фарфоровым тарелкам, тоже взятым «напрокат» в кухонном буфете, говорили, кричали, перебивая друг друга, вспоминали шестнадцать дней в Берлине, уличные бои и баррикады, как проламывались через квартиры, через стены домов к Тиргартену,— и, отмытые, покрасневшие, радостно хохотали при каждой пришедшей на память детали, а солнце яростно ломилось в окна, широко рассекало стол горячими белыми квадратами, пекло спины сквозь гимнастерки, становилось жарко. И в этом нескончаемом завтраке, неумолкающих разговорах, в сигаретном и махорочном дыму, вкусе чужого пива, в шумной тесноте столовой, весенней жаре было какое-то ненасытное, жадное и нетерпеливое пиршество людей, только что удачливо пролезших через игольное ушко, все помнивших и все забывших для того, чтобы жить теперь.

Никитин отхлебывал пиво, смотрел на солдат, знакомых и чем-то незнакомых ему по новым жестам, улыбкам, тону голоса,— и за сутки ощутимая перемена этой окончательно счастливой судьбы теплым наплывом блаженства охватывала его. И сержант Меженин, весь прочный, с расстегнутым воротом гимнастерки, потный, без конца выкрикивающий тосты за «капут войне, за баб, за немчишек, которым всем передохнуть», и наивный круглоглазый Ушатиков со своим удивленным всплеском рук, готовый залиться звонким, серебристым бубенчиком, охотно засмеяться любому посоленному слову, и хитренький Таткин, украдкой составляющий выпитые бутылки под стол, подальше от глаз начальства, и степенный,

серьезный командир четвертого орудия Зыкин, глубокомысленно покуривающий гигантской величины махорочные самокрутки,— эти разные и близкие ему люди почему-то сейчас успокаивали его, вливали в душу растроганное и доброе согласие со всем их настоящим и прошлым, и невозможно было представить их другими людьми, усталыми, злыми, закопченными, которыми он командовал, ежедневно отвечая за жизнь каждого и на которых недавно раздражался при виде той глупости с часиками и деньгами. И, сожалея уже, Никитин подумал: «Почему я должен мешать им? Пусть делают что хотят...»

Потом он подумал, что право на раздражение давалось ему офицерским званием, хотя, может быть, у него не было права советовать им, принимать решения в житейских вопросах, потому что одно знал лучше их — то, что было огневыми позициями, орудиями, вычислением прицела и стрельбой, одно это, главное, связанное с жизнью каждого из взвода, держало и укрепляло уважение к нему, как если бы он был опытнее всех в понимании самого важного на войне, независимо от возраста.

Он командовал людьми, но не умел, как это умели многие солдаты, развести костер на ветреном морозе, не мог сварить по неписаным правилам суп на костре, ловко растопить в хате печку, переночевать с женщиной или, накрывшись плащ-палаткой, «проверить» улей на пасеке пустой деревни, выкачав необъяснимым способом полное ведро меда, не мог перед стрельбой согреть спину, кругообразно потираясь о щит орудия, что часто делал в обороне зимой пожилой Зыкин. Однако он научился необходимой грубоватости, командному голосу, офицерскому самолюбию и тем крепким и спасительным в бою словечкам, которые уравнивали его со всеми. Когда говорили о женщинах, он делал снисходительно-знающий вид, ибо если бы Меженин, в особенности после Житомира, понял, что Никитин единый раз на войне по-настоящему обнимал и целовал женщину, он, вероятно, стал бы открыто презирать его интеллигентную несуразность.

Разговоры за столом не умолкали, дым сгущался, волнисто покачивался над красными лицами, перемешивались взбудораженные голоса, будто опять с утра начался и продолжался вчерашний праздник, и Никитин не прерывал затянувшийся завтрак, не уходил из столовой, а приятно погружался в этот веселый гул, ощущая рас-

каленно пылающее за окном солнце и сияние мельчайших пылинок в его неиссякаемом яром потоке.

— А вот что, други мои, было, когда мы через проломы в Тиргартен шли,— степенно заговорил старший сержант Зыкин, посасывая толстенную самокрутку.— В четвертом, как помню, доме пролез я в дыру, на размер проломленной печки, чтобы, значит, разузнать, как сподручнее орудие, дубину-то нашу, протаскивать. Дело к вечеру было. Залезаю в немецкую квартиру, мебель поломанная, темнота, пыль везде толщиной в палец, сквозь щель на потолке маленько светом брезжит. А до этого мы в соседнем подвале трофейных жирных консервов нажрались под завязку, живот крутит, спасу и терпежу никакого нет. Ну как в таком положении орудие через пролом поволокешь, когда без удержу наизнанку выворачивает? И смех и грех. Только пролез я в дыру, ремень — на шею, автомат рядом положил и готов: присел, значит, орлом в углу, задумался, как полагается. Сижу и слышу — в темноте шорох какой-то, похоже — шебаршит что-то, потом кряхтенье началось — вздрогнул я даже и рукой за автомат. Глядь — в другом углу фриц сидит, тоже ремень на шее и тоже сильно задумался, как следовает расположился, и вижу — автомат у ног...

— Ах ты боже мой! Неужто фриц? Как так? Живой? — с ужасом изумления воскликнул Ушатиков и хлопнул ладошкой себя по бедру.— И впрямь живой?

— Это ты где, малец, видел, чтоб мертвый фриц с ремнем на шее по своей нужде сидел? — осуждающе глянул на него Зыкин, и вокруг засмеялись.— Дак вот, увидел меня, моментом хвать за автомат, напрягся весь, застонал вроде, а в темноте разобрал я — в немолодых годах он уже. Что делать? Сидим секунды, не дышим и друг дружку из углов страшными глазами убиваем, друг дружку в плен берем. А тут так несет меня, что и никакой войны не надо, свет белый не мил. И в голове мельтешит что-то: думаю, если он первый начнет, тогда и я успею, мол... А он вдруг автомат свой осторожненько так положил и все смотрит, смотрит на меня, ровно овца больная. И я тоже свой на землю и тоже дурной овцой смотрю. Потом сделали мы это самое дело, он первый как бешеный вскочил, ремень в зубы, автомат на шею и в пролом — нырь, так задницей и блеснул! Ну, тогда и я встал... Вот такое было.

— Значит, испугался, Зыкин, а? — жестко хохотнул

Меженин и ударил кулаком по столу, заглушая смех солдат.— Эх, евангелисты божьи. В церкву вам ходить! Да я б его не очередью, а одной пулей на дерьме срезал! Тоже мне! Фрица пожалел!

Зыкин, размышляя, подул на самокрутку, сказал веско:

— Хоть умный ты, сержант, а дурак. В вечном деле все одинаковы. Тоже люди...

— Философ ты с куриных яиц, Зыкин! — ревниво сказал Меженин и бугорками прогнал желваки на скулах.— В этих случаях пусть лошади думают, у них голова большая... А я вот тоже раз в Берлине дуриком испугался, аж волосы дыбом. Возле того метро... Как эта улица называлась? Унтер... день... линден, помните, ребята? Фрицевский пулеметчик никому дышать не давал — лупил с балкона очередями по перекрестку. Заметил — второй этаж, взбегаю по лестнице, ага — вот она квартира, звоночки, таблички, ударил плечом, а дверь, гадюка, открыта. В первой комнате — ковры, мебель, никого... Какая-то жратва на столе, бутылки, консервы. А квартира— огромная. И пулемет смолк, тишина мертвая в доме. Держу палец на спусковом крючке, на цыпочках иду по комнатам, последняя дверь закрыта, я — торк ее. И враз за спиной кто-то человеческим голосом: «ку-ку, ку-ку!»... Конец тебе, Меженин, думаю, все! Поворачиваюсь, как зверь, и режу очередями. Вижу — а это кукушка из часов выскакивает: «ку-ку, ку-ку», — а я по ней, по часам, по стенам, по зеркалам. Она выскакивает, а я по ней, по ней, сволочуге, пока вдрызг не раскокошил! Во когда испуг был, Зыкин, а ты мне про поносного фрица вкручиваешь с философией от куриного нашеста! Хреновина! В рай ты мечтаешь попасть, Зыкин, вот твой угол зрения, тебе свечки по убитым фрицам ставить нужно! А в аду все равно встретимся — сколько ты немцев из своего орудия ухлопал? А?

— Напрасно часы и зеркала ты порушил,— рассудительно заметил Зыкин и начал слепливать новую цигарку.— В тебе черт сидит, Меженин, и хвостом вертит.

— Насчет хвоста — это верно! — Меженин, жмурясь, как кот, потянулся с хрустом сильным, добротным телом.— Эту работу я уважаю! Эх, братцы, а до войны не то было. Работягой меня считали ударным. Бывало, придешь домой, головой ткнешься в подушку — мертвец! Жена с претензиями, конечно: «Нервы у тебя, значит, Петенька, очень здоровые».— «Здоровые? — говорю.— Да

я свои нервы давно на запчасти для тракторов променял». Какая после этого любовь? Домкратом не подымешь! А на войне, что ж, здесь свободный разворот есть. Война кончится, братцы, и еще вспомним вольную жизнь!..

— Я и говорю, черт тебя изнутри ест,—повторил Зыкин.

— Всего не сожрет, что-нибудь да останется!

Меженин, как всегда, подавил Зыкина, всецело завладел общим вниманием взвода и, сладко потягиваясь, щурясь на майском солнце, поглаживал крутую, завешанную орденами грудь — во всем удачливый красавец парень, которому прощалось многое за бездумную удаль, за разговорчивость, за необычную в бою везучесть, точно заговоренный он был, и точно вместе с ним заговорен был его орудийный расчет, не понесший от границ Белоруссии ни одной потери. В бою с ним свободно и надежно было и было спокойно в любых обстоятельствах на передовой, он, чудилось, жил на войне, не задумываясь, прочно, уверенный в неизменчивом везении своем, и, не раз обласканный судьбой, знал собственную цену в батарее.

— Вон поглядите, ребята, бухгалтер Таткин у нас топор мужичок, а? — продолжал Меженин и, веселя солдат, подмигнул в сторону Таткина.— Молчит, как два умных. Тихий, цифры на уме, а ходок, видать, был — не приведи господь! Идет с работы, увидит какую-нибудь с толстыми ножками, счеты в кусты и давай вокруг петушком круги делать. Рыжие, они бесовитые, опасные для девок, как дьяволы! Так, Таткин? Правильно говорю?

— Славяне, гляньте-ка! — крикнул кто-то, захохотав.— А Таткин три тарелки каши упер и полбуханки шорстнул, во-о аппетит!

Маленький, тщедушный Таткин обладал на удивление неповторимым аппетитом, мог есть сколько угодно и когда угодно, порой грыз припасенные сухарики даже ночью на посту, похрустывая в темноте голодной мышью, и сейчас, застигнутый вниманием, не перестал жевать, острое его лисье личико было углубленно-серьезным.

— Соображаю я, товарищ сержант.— Он повел рыжими бровками на Меженина.— Об деньгах этих. Может, после завтрака на разведку какого магазина и идти?

— А ты, сообразительная голова, немецкий язык знаешь? Как говорить будешь — руками или глазами? — спросил Зыкин.

— Такое и без слов завсегда понятно. Деньги, они что... сами говорят.

— Таткин, люблю я тебя за расчетливость ума, а ты лучше скажи откровенно — куролесил небось? — не унимался Меженин.— Гастролер ты, видать, и красивый мужчина был! И ростом вышел, и косая сажень в плечах, и на гармони вальсы наяривал! По всему вижу — ходок ты был неисправимый!

— В ум не приходило,— скромно опустил выгоревшие бровки некрасивый Таткин, и в этой его ангельской кротости было и нежелание и согласие участвовать в собственном розыгрыше, который время от времени падал на него и повторялся во взводе для общего увеселения.

— Врешь, Таткин, большого туману напускаешь! Рассказывай — послушаем, а потом я про Житомир кое-что веселое расскажу, хоть лейтенант чуть под суд меня не отдал! Да, прошлое дело, анекдот получился. Рассказать, товарищ лейтенант, для смеху? Зуб на меня не будете иметь?

То, что Меженин не очень кстати вспомнил о Житомире, о том давнем и неприятном, что случилось там и что Никитин не хотел вспоминать,— было словно бы направлено против него, против его стыдливой неопытности, распознанной тогда Межениным.

— А при чем тут Житомир, сержант? Все было глупо! —сказал он резко и, сказав, почувствовал, как запылало лицо под взглядом Меженина, густые женские ресницы которого подрагивали в безвинном любопытстве.

— Не так, что ли, сказал, лейтенант? Я плохого не помню, а речь о бабах шла,— проговорил он.— А бабы на войне — тоже подарок или трофеи, так я считаю, ежели не вру...

— А я как раз о трофеях,— перебил Никитин, сердясь на звук своего голоса, на то, что придал какое-то значение словам Меженина о Житомире.— Именно насчет трофейных денег,— проговорил он совсем не то, что надо было сказать.— Зыкин прав: зачем они? Пришли в Германию, чтобы превратиться в торговцев? Часы — это другое. Раздайте их всем, Меженин, у кого нет. Хоть на посту будут точное время знать. А деньги... Никаких магазинов и никакой торговли. Ну-ка, Таткин, пересчитайте рейхсмарки. («Зачем я сказал, чтобы пересчитали рейхсмарки?») И лучше так: или сожгите их, Меженин, или сдайте в штаб полка, чтобы никаких глупых соблаз-

нов не было. Не хочу, чтобы взвод оказался в дурацком положении купцов!

Он знал, что этим приказом мог разжечь в Меженине злость, задеть его самолюбие и одновременно мог возбудить недовольство солдат к тому, что он, командир взвода, решил сделать, как бы отнимая у них легкомысленную надежду на сладкую жизнь. Но невольно он отдал распоряжение, и все затихли, осторожно поглядывая на него, на Меженина, а тот, стиснув челюсти, всверлился в лицо Никитина жестко-светлыми глазами, выговорил, снисходительно ухмыляясь:

— Ясныть, лейтенант. Сделаю. Как приказано. Наше дело телячье.

И тотчас, загремев стулом, поднялся, весь расправился, красивый зрелой телесной ладностью, подошел к тому месту, где лежал мешок под столом, вытянул его, рванул «молнию», демонстративно-небрежно высыпал на стол перед Таткиным кучу плоских коробочек, разъехавшиеся пачки новеньких купюр и скомандовал:

— Кто не обжился часами, разбирай без паники! Таткин, считай грóши! Лейтенанту — право выбрать любые первые!

— Не надо! У меня еще ходят,— ответил Никитин и тут же подумал, что суеверно не заменял свои ручные часы, старенькие, с почерневшим от гари и окопной пыли циферблатом, найденные им в офицерском блиндаже после почти бескровного боя под Гомелем.

В тот момент, когда солдаты, взбодренные командой Меженина, затолкались вблизи стола, охотливо разбирая наугад эти игрушечные на вид коробочки, в столовую вошел лейтенант Княжко, командир первого взвода, крикнул с порога:

— Здравия желаю, второй взвод! Привет, Никитин! Позавтракали? А почему кошку не кормите?

Он был очень молод, этот лейтенант Княжко, и так женственно тонок в талии и так подогнан, подтянут, сжат аккуратной гимнастеркой, крест-накрест перетянутой портупеей, и так нежно, по-девичьи зеленоглаз, что каждый раз при появлении его во взводе рождалось ощущение чего-то хрупкого, сверкающего, как узкий лучик на зеленой воде. И хотя это ощущение было обманчивым — нередко мальчишеское лицо Княжко становилось неприступным, гневно-упрямым,— Никитина будто омывало в его присутствии веяние летнего свежего сквознячка, исходящего от голоса, взгляда, от всей его подобранной

фигурки. Княжко был из московской профессорской семьи, учился на филологическом факультете, жил на Озерковской набережной, хорошо знал переулки Пятницкой, где жил Никитин; они никогда не встречали друг друга на замоскворецких тротуарах и сблизились только на фронте в конце сорок третьего года. Лейтенант Княжко прибыл, еще хромая, из тылового госпиталя, был назначен в батарею на место убитого командира первого взвода. До этого он служил в пехоте, командовал на Днепре ротой, но в связи с ранением и хромотой не был взят в стрелковую часть, а направлен по личному желанию в дивизионную артиллерию.

— Если нас посетил первый взвод, то, конечно, братский привет! — ответил Никитин, обрадованный приходу Княжко, испытывая странное подспудное чувство какого-то далекого июльского утра в замоскворецких тупичках, с солнцем над заборами и тополиным пухом на мостовой.— Здравствуй, Андрей! А это откуда у тебя кошка?

— Откуда, спрашиваешь? Это уж, второй взвод, недопустимое безобразие, на глазах у вас животное с голоду может умереть, а вы что?

Лейтенант Княжко выглядел по обыкновению педантично опрятным: ни единой складки на гимнастерке, светлые волосы причесаны на косой пробор, гладко-влажны, грудь чуть выпукла, ослепляет полоской орденов, сапожки до безупречной чистоты зеркальны. Необычным было то, что на сгибе руки он, словно фуражку на торжественном построении, держал лохматую дымчатую кошку и гладил ее зажмуренную, грязную морду, тыкавшуюся ему в плечо.

— Сидит, понимаешь, бедная, возле дома сирота сиротой и какую-то траву ест,— сказал Княжко.— Куда смотришь, Никитин? Ушатиков, дайте ей немедленно каши, накормите по-солдатски, а то к себе во взвод возьму!

Он спустил кошку с рук, а она сейчас же легла на спину, показывая сваляннную шерстку худого живота, потом разнеженно потерлась спиной о затоптанный сапогами ковер, ленивым движением лап будто приглашая продолжить начатую Княжко игру.

— Боже ж мой, смотри ты, настоящая кошка! — ахнул, засмеялся Ушатиков, только что не без удовольствия наладив на запястье новые часики и мгновенно забыв про них.— Неужто немецкая! Кысанька, кысанька... Гляди, гляди, лапами что выде-

лывает! По-русски она понимает? Как к ней обращаться-то?

— Только на чисто французском.— Не улыбнувшись, Княжко щелчками сбил шерстинки на рукаве.— Немецкие кошки, как правило, воспитываются в лучших французских аристократических домах, но при этом не брезгают русской кашей. Вы поняли?

— Да я сурьезно, товарищ лейтенант... Ух, какая животная важная!

Ушатиков, вытаращив ласковые голубые свои глаза, пощекотал кошке живот, кошка, продолжая играть, тронула, мягко ударила его лапой, и он заморгал, сидя на корточках, позвал разомлевшим, умиленным голосом:

— Кысанька, шпрехен, шпрехен, ком, ком, каши тебе дам... хенде хох, гут, гут, гутен морген... Ух, какая зверь солидная!

— Вы ей голову заморочили,— не удерживая смех, сказал Никитин.— Наверное, немецкие кошки понимают один международный язык: кыс, кыс, кыс. Попробуйте. Если не поймет, немецкий разговорник возьмите.

— А верно, товарищ лейтенант, должна соображать,— кыс, кыс, кыс! — умилялся Ушатиков и, пятясь на корточках, поманил кошку.— Сюда, сюда, я тебе и посудину найду. Сюда, сюда, в угол иди, а то невзначай раздавят тебя сапожищами-то...

— Есть что-нибудь новое, Андрей? — спросил Никитин.— Из штаба никаких слухов? Молчат до сих пор?

Лейтенант Княжко счистил наконец прилипшие к гимнастерке шерстинки, вкось поглядел на стол, сплошь заваленный купюрами рейхсмарок, на сосредоточенного Таткина, перекладывающего пачки ровными рядками, на возбужденные лица солдат, которые, окружив Меженина, еще разбирали коробочки с часами, сказал:

— Все по-прежнему. Ни одного приказа. Интересно, где и какой банк вы конфисковали, Никитин? — Он вкладывал в вопрос иронию, но зеленые глаза его оставались серьезными.— В Берлине? Или в Кёнигсдорфе?

— Просто хорошо живем, товарищ лейтенант! — откликнулся громко Меженин из гущи солдатской толкотни.— Только никто не завидует, хоть все удобства во дворе, телефон в аптеке! Прошу принять подарочек, гарантия известная — годик простучат!

— Много у вас подобных ценностей?

— Всем хватит, товарищ лейтенант, вагон и малень-

кая тележка! Возьмите вот эти плоские, на руке глядеться будут. И стрелка секундная есть.

— Ничего немецкого не беру,— суховато ответил Княжко.— Насколько мне известно, Меженин, это предпочитают делать похоронные команды.

— Новенькие, товарищ лейтенант, как из магазина. Не с руки сняты!

— Не имеет значения.

— Ясны-ыть,— протянул Меженин неопределенно.— Дело полюбовное, кому попа, а кому попадью. Наш лейтенант тоже с принципами. Засек!

Сощуриваясь, он завел, послушал часики и, разочарованный, бросил их на стол, они звякнули меж груды коробочек.

— Ну и прекрасно.— Княжко повернулся к Никитину.— Ты позавтракал, вижу? Пройдемся к орудиям. День сегодня отличный. Совсем летний.

— Просто великолепный день,— согласился Никитин и, надевая выстиранную вчера пилотку, предупредил Меженина:— Если из штаба будут звонить, сообщить немедленно.

— Не аристократично, но неплохо придумано,— сказал перед дверью Княжко, кивнув в угол столовой, где усердный Ушатиков на корточках кормил кошку из крышки немецкого котелка, старательно соскребывая с солдатских тарелок остатки пшенной каши.

Был час полного утра, тихие улочки провинциального немецкого городка были по одной стороне горячи, знойны, затоплены солнцем, по другой стороне лежала тень, еще прохладная, еще по-весеннему чуть сыроватая, и здесь, в прохладном воздухе был особенно густо разлит сладковатый аромат ранней сирени, белой, пышной, отяжеленно свисавшей над железными оградами. И этот текущий по тротуарам дурманный дачный запах уже смешивался с неожиданными для покойных улочек дымками солдатских кухонь, бензиново-пыльным запахом машин, стоявших цепочкой вдоль обочин подсохших мостовых.

Мирный городок этот давно проснулся, ярко краснел черепицей, золотились стволы сосен, раздавались начальственные голоса старшин во дворах, занятых полковыми хозяйствами, гремели поварские черпаки о нутро отмываемых после завтрака котлов, кое-где в глубине окраинных садов отдаленно завывали моторы тыловых машин. На площади возле кирхи и вокруг на улочках появлялись

группами солдаты, совсем по теплу, без шинелей, без ватников, ходили посредине мостовых, с интересом разглядывая чужие вывески пансионов под голландскими фонариками, женские шиньоны в зеркальных витринах парикмахерских, опущенные жалюзи закрытых пивных баров, уютно отдыхая, покуривали, сидели на каменных плитах, гладких ступенях кирхи, грелись на солнцепеке, переговариваясь, задирали то и дело головы к острой готической высоте ее кровли, купающейся в теплой голубизне неба.

— Веселый городок,— сказал Княжко, чаще, чем Никитин, козыряя встречным солдатам.— Уютно жили. И вообще — прекрасное время, май!

Никитин спросил:

— Но где бюргеры, скажи ты мне? В подвалах сидят? Попрятались все? Или сбежали, как мои хозяева?

Это был, по всей видимости, типичный курортный городок, чистенький, удобный, вымытый, с множеством маленьких магазинчиков, ресторанчиков, баров и пансионов, куда на лето выезжали, наверное, отдыхать берлинцы, однако сейчас немецкая речь нигде не слышалась тут, и хотя солдаты, заняв дома, жили в квартирах вместе с хозяевами, повсюду на окнах были еще задернуты шторы, и лишь порой края их осторожно шевелились, когда близкий мотор машины или дребезжание кухни, взрыв хохота или звуки солдатского говора возникали, раздавались на улице.

— Думаю, немцы уже перестали надеяться, что мифическая армия Венка спасет Берлин. И все же чего-то ждут в страхе,— ответил Княжко.— По крайней мере, хозяева моего дома перепуганы насмерть, еле дышат, ходят на цыпочках, говорят шепотом «Гитлер капут» и мелким бесом заискивают перед солдатами. И юлят передо мной, как перед генералом. Даже пытаются приносить какую-то жуткую бурду — «ка́фе» — в постель. Наверняка убеждены, что переживают нашествие Чингисхана. Но немцы есть немцы. Крафт! Крафт! [1] Преклонение перед силой.

— А мне любопытно, куда смылись хозяева моего дома, — проговорил Никитин.— Все оставлено — и никого.

— Ну, вот тебе представитель арийской расы, легок на помине,— сказал Княжко, морщась.— И, кажется, навеселе.

---

[1] Сила! Сила!

Навстречу, в узоре тени железной ограды, за которой неудержимо, буйно, снежно цвела сирень, продвигался, непрочно ступая по каменным плитам, пожилой краснолицый немец в черной паре — он приостановился вдруг, издали приподнял шляпу, обнажил малиновую широкую лысину и так, не надевая помятую шляпу, начал кланяться покорно и подобострастно, выговаривая заплетающимся языком:

— Guten Morgen, Herren Offiziere, guten Morgen... Рус карашо, Гитлер капут... аллес... Сталин гут, карашо, Гитлер плёхо, капут,— повторял он с какой-то заведенной пьяной нелепостью заученный набор слов, пока Никитин и Княжко не поравнялись с ним, потом красное его лицо заискивающе задрожало крупными своими морщинами.— Entschuldigen sie, bitte, Herren Offiziere, geben sie mir, bitte, ein Stück Zigarette [1]. Рус карашо сигаретте... Водка гут...

— У тебя есть? — строго спросил Никитина некурящий Княжко.— Дай ему. Где он набрался, этот ариец? По-моему, славяне показали широту души. Наверняка.

— Битте.— Никитин раскрыл пачку трофейных сигарет, и немец, все не надевая шляпу, тихонечко кончиками ногтей вытянул одну, застонал и сладострастно понюхал ее; тогда Никитин сказал: — Возьмите несколько штук... А, черт, как это по-немецки? Bitte, nehmen Sie noch Zigaretten, bitte, bitte! [2]

— O! Nur zwei Zigaretten, danke schön, danke schön!..,— заговорил благодарно немец и так же аккуратненько взял вторую сигарету, рассмотрел пачку и воскликнул с притворным недоумением: — O, «Juno», deutsche Zigaretten! Danke schön, entschuldigen Sie, bitte, Herr Offizier, Гитлер капут! Auf Wiedersehen!.. [3] Рус карашо!

И, держа над потной лысиной шляпу, немец долго стоял возле ограды, оборачивался, провожая Никитина и Княжко улыбкой вставных зубов.

— Рус карашо, водка гут. Вот, оказывается, что,— сказал Княжко, на ходу гибким телом гимнаста подтя-

---

[1] Доброе утро, господа офицеры, доброе утро... Извините, пожалуйста, господа офицеры, дайте мне, пожалуйста, одну сигарету.

[2] Пожалуйста, возьмите еще сигарет, пожалуйста, пожалуйста!

[3] О! Только две сигареты, большое спасибо, большое спасибо!.. О, «Юно», немецкие сигареты! Большое спасибо, извините, пожалуйста, господин офицер... До свидания!..

нулся, сорвал за оградой веточку сирени, вдохнул ее дошедший до Никитина холодноватый росистый запах и тотчас сурово сдвинул атласные брови.— Я вот о чем хотел поговорить, Вадим. Еще неизвестно, зачем нас отвели в Кёнигсдорф. Думаю — не так просто. А после Берлина в батарее началась чепуха. Как будто война кончилась, и поголовно обалдели все. Из штаба никаких приказов, свободного времени полно. Сегодня ночью вышел проверить часового, а его, миленького, на посту нет — оказывается, спит на диване мирным сном младенца и пузыри пускает. Это уже — из ряда вон! Если так — завтра же начну заниматься с батареей усиленной строевой. Хоть чем-нибудь встряхнуть, хоть этим вернуть славян на грешную землю. Иначе превратимся мы тут в умиленных телят.

— Да,— сказал Никитин.— В моем взводе тоже что-то такое ерундовое. Но ты знаешь, я сам не могу отделаться от чувства, что все кончилось...

Они замолчали. По середине мостовой шла группа солдат-саперов, донесся смех, перебористые звуки губной гармошки.

— Твой Меженин, по-моему, занялся одними трофеями,— проговорил Княжко и, переложив веточку сирени из правой руки в левую, ответил на приветствия поравнявшихся солдат, один из них, веселый, хитроглазый, бедово играл «Катюшу» на губной гармошке.— И он давит на всех. Ты это замечаешь?

— Замечаю, но он прекрасный командир орудия.

— Ты либерал, адвокат девятнадцатого века,— сказал Княжко.— Не вижу в этом разумной полезности. Ты командир взвода, и ты должен влиять на солдат, пока не все кончилось...

— Неужели ты думаешь, что еще не скоро кончится?

От закрытого бара на углу под старой вывеской, где был изображен медведь с пенившейся в лапах кружкой пива, они свернули на боковую улочку, всю здесь заставленную машинами артиллерийских тылов, фурами и повозками медсанбата, сплошь заросшую вдоль тротуаров старыми соснами, прошли сквозь их желтую тень, и в конце улочки, между крайними черепичными крышами впереди, обоих ослепила глубинная прозрачность голубого волнистого воздуха над полями, погожего голубого неба с легкими в высоте дымами весенних облаков, засияла солнечная даль молодой травы, разрезанная вытянутым за окраиной городка длинным зеркалом озера в

песчаных, как курортные пляжи, берегах,— всюду, до горизонта, стоял теплый майский день.

— Я думаю,— сказал задумчиво Княжко,— что мы не простим себе, если окажемся в бессильном положении.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этом отдаленном от передовой тишайшем городке еще соблюдалась светомаскировка, и поздним вечером сидели с наглухо задернутыми шторами в большой комнате первого этажа, напоминавшей не то кабинет, не то библиотеку, с веселым азартом пили баварское пиво, раздобытое старшиной на берлинских складах, нещадно курили безвкусные трофейные сигареты и вели нескончаемые разговоры.

Было тут шумно, по-домашнему непривычно светился над столом стеклянный зеленый абажур керосиновой лампы, плыл в бесконечном течении сигаретного дыма, как в замутненной воде, покачивался фосфорической медузой среди поблескивающих корешков старинных книг в окружении оленьих рогов и темноватых картин, на которых сумрачными скалами возвышались под тучи очертания средневековых замков.

После ужина нежданно пришел сопровождаемый старшим лейтенантом медицинской службы Аксеновой комбат Гранатуров, раненный в руку на западном берегу Шпрее, двадцатипятилетний гигант с оглушительным басом. Он громогласно сообщил, что в медсанбате соскучился по дьяволам-огневикам, надоело кушать манные кашки, и вот с Галочкой оказалось ему по дороге, стало быть — принимайте гостей, если, конечно, здесь еще считают его комбатом. Потом из разговора, когда начали вспоминать события дня, Гранатуров узнал о трофейных рейхсмарках, совсем теперь бесполезных бумажках от наложенного Никитиным вето, и, развеселившись, недолго размышляя, посоветовал пустить их в умное дело — раздать для интереса тысяч по десять и перекинуться в «двадцать одно», чтобы выяснить, кому все-таки в любви везет, а кому и нет, и, глянув значительно на Галю, на сдержанного лейтенанта Княжко, предложил:

— Прошу вас, Галочка, попытайте счастья, сядьте с нами. Интересно посмотреть, как в этом случае везет женщинам.

— Напрасно вы хотите лишить меня особенностей слабого пола, Гранатуров,— безразлично сказала Галя, садясь на кожаный диван под книжными полками.— Это вам лично мало что даст.

— Мне лично везет как утопленнику,— вздохнул Меженин, выкладывая на стол из мешка пачки денег.— Хотел бы разок в медсанбатик попасть, товарищ старший лейтенант медицинской службы.

— Разумеется, началось бы невообразимое, за вами ходили бы по пятам с манной кашкой. Бедный медсанбат.— У нее был глубокий грудной голос, переплетенный тугой ниточкой насмешки, и, может быть, если бы не удлиненный нежный овал лица, нежная от вороненых волос и бровей белизна лба, она могла бы показаться не по-женски резковатой, как бывают нестесненно решительны медсанбатские врачи и сестры в обществе солдат.

— Итак, начнем картежную жизнь! — скомандовал Гранатуров.— Ша, славяне! Ахтунг! [1]

Меженин первый поставил в банк и, пощелкивая, поигрывая, треща чистенькой атласной колодой с надменными ликами рыцарей вместо обычных валетов, начал сдавать карты.

— Книги, оленьи рога, старинные гравюры. И даже камин,— проговорила Галя и, пробежав темными глазами по комнате, очень длительно поглядела на Княжко и Никитина.— Чей-то нарушенный русскими уют... Представляю, как они могут нас бояться и ненавидеть. Лейтенант Никитин, вы сами здесь расположили свой взвод?

— Именно,— сказал Никитин.— Пустой дом. Хозяев нет.

— А лейтенант Княжко в соседнем доме? Вы рядом?

— Вероятно,— сухо ответил Княжко.— Вероятно, мой взвод в соседнем доме.

— Огневые взвода располагаются рядом, чтобы вы знали, Галочка! — пророкотал весело Гранатуров, взяв выкинутую Межениным на стол карту.— Еще одну. Так... Еще на счастье. Да, судьба — котелок, жизнь — балалайка, перебор! Вот кому везет во всех смыслах, сержант, так это тебе! Пять сотен враз проиграл! Дьявол ты везучий! Попробуй-ка, везет ли лейтенанту Княжко!

— Не отрицаю, по слухам, мама меня в лапоточках родила.— Меженин, довольный удачливым началом, подправил выросшую кучку денег в банке, снова защелкал

[1] Внимание!

картами.— Говорят, раньше эксплуататоры женщин в карты проигрывали и выигрывали. На сколько идете, товарищ лейтенант? Вам без всяких-яких полное очко подкатит — тройка, семерка, туз... Не пойдете втемную? — спросил он Княжко и вскинул ресницы, жестковато-ласковым взглядом обвел Галю, откинувшуюся на диване; суконная юбка цвета хаки стягивала ее сжатые колени, поблескивали сапожки.— Вот ежели бы вы, Галочка, жили в те времена и вас проиграли, что б вы сделали, интересуюсь?

— Втемную — нет.— Княжко еще не раскрыл выложенные на скатерть карты, как лицо его будто заострилось от короткого Галиного смеха, от грудного звука ее голоса:

— Остроумно шутите, Меженин! Но отвечаю вам без шуток. Вы средневековый феодал сорок пятого года. Если бы вы меня выиграли, не дай бог, я положила бы под подушку остро наточенный кинжал.

— И, значит, убили бы, не пожалели?

— Не задумалась бы. Ни на секунду.

— Проглоти, сержант, и улыбайся. Ясно? — восхищенно вскричал Гранатуров и здоровой правой рукой выдернул из ножен на ремне трофейный, зеркального блеска кортик, повертел им в воздухе.— Не подарить ли, Галя? На всякий случай!..

— Семнадцать,— бесстрастно сказал Княжко и открыл свои карты.— Что у вас, Меженин?

— Девятнадцать, товарищ лейтенант,— ответил, дунув на карты, Меженин и ухмыльнулся.— Ваша бита! Без всякого шулерства, чин чинарем. Эх, а вот в любви не везет...

— Прочти-ка, Княжко, что за слова на лезвии.— И Гранатуров бросил кортик на пачку рейхсмарок перед Княжко.— Ты один у нас по-немецки стругаешь. Слова — будь здоров! Прочти всем!

— Blut und Ehre,— хмурясь, прочитал Княжко вычеканенные на лезвии слова и перевел: — Блют — кровь, эре — честь. Значит: кровь и честь.

Меженин ловкой перетасовкой опытного игрока выгибал, выравнивал, подготавливая в ладони скользкую атласную колоду, с ухмылкой догадался:

— В общем, кинжальчик удачу означает. Вроде нашего — «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Вы — как, товарищ лейтенант? Сыграете наудачу? Втемную?

— Сдавайте карты,— сказал Никитин.— Мне все равно. На весь банк, пожалуй.

— Философ ты, Меженин, дальше ехать некуда! — Гранатуров щегольским движением вложил кортик в ножны.— Эту штуковину, друзья мои, в Берлине взял, в штабе летной школы гитлерюгенда на Шпрее. Правильно — кровь и честь. Сильно сказано. Оттого и Галочке предлагал. Налить пива, Княжко?

— Нет. Не налить.

— Прости, забыл — ты у нас не пьешь и не куришь. Аскет. Танковая броня. Железобетон!

Он нашел на столе раскупоренную бутылку, черные, жгучие глаза его с вопрошающим интересом окинули Галю с головы до узких хромовых сапожек, сложенных крестиком, спросил, улыбаясь:

— Вам не скучно с нами, Галочка?

Она уже не оказывала никому внимания, как бы отсутствующе сидела в уголке старинного кабинетного дивана, подперев кулачком щеку, другой рукой листала на коленях тяжелую, в кожаном переплете книгу, снежной белизны ее лоб наклонен, темнели строго слитые брови, какое-то новое, задумчивое и сдержанное напряжение было в ее лице.

— Галочка,— нежно зарокотал Гранатуров и гигантским корпусом перегнулся к ней.— Ну чего вы там в книгу хмуритесь? Поговорите с нами, бокал пивка выпейте, и все нормально будет. Если вас кто стесняет, так вы ноль внимания — вам все разрешено, вы как-никак, а офицер, Галочка!

Но едва он проговорил это, перекидывая усмешливый взгляд на Княжко, как тот брезгливо поморщился и, суховатый, перетянутый по чуть выпуклой груди портупеей, с тщательно зачесанными на косой пробор светлыми волосами, сказал холодным тоном неудовольствия:

— Нельзя ли без навязчивости, товарищ старший лейтенант?

— Чего злишься, лейтенант, да неужели я тебя обидел? Или Галю обидел? — фальшиво изумился Гранатуров.— Вот тебе — и виноват без вины оказался!

— Насколько я понимаю,— продолжал Княжко непроницаемо,— старший лейтенант медицинской службы никому в батарее не подчинена и может поступать, как ей заблагорассудится. И ваши советы по меньшей мере лично мне кажутся неуместными.

— Ай, лейтенант! Ай, Княжко, люблю я все-таки тебя, и сам не знаю за что! — нарочито захохотал Гранатуров.— Ей-богу, люблю, мы с тобой когда-нибудь на «ты» перейдем? Или ты «выкать» хочешь?

Лицо Княжко было по-прежнему бесстрастным.

— Я не могу ответить вам полной взаимностью, товарищ старший лейтенант. Мне удобнее обращаться к старшим по званию соответственно уставу.

«Нет, Княжко не забыл и не простил ему то старое, что было между ними, — подумал Никитин, рискованно набирая втемную четвертую карту.— Нет, он в чем-то непримиримее и решительнее комбата. И это знает Гранатуров и не хочет с ним ссоры в присутствии Гали».

— Конечно, проиграл, черт его дери! — сказал Никитин и положил деньги в кучу купюр на столе.— Вам действительно везет, Меженин.

— В лапотках, в лапотках я родился, товарищ лейтенант, не на городских коврах воспитывался!

— Лапотки — это похвально. Что ж, попробуем еще раз, как без лапотков повезет,— вдруг упрямо проговорил Княжко.— Только учтите — без темной. Сдавайте карту, сержант.

— Вы обратили внимание на библиотеку? — вроде бы некстати спросила Галя, отрывая неулыбающиеся глаза от книги.— Кто, интересно, здесь жил? Куда они убежали? Наверно, сидели за столом по вечерам под этой вот лампой, читали эти старинные книги... Никак не могу представить, что они думали о войне, о Гитлере, о нас, русских... И бросили всё — убежали.

— Совершенно пустой дом,— подтвердил Никитин.

— Пустой...— Она обвела взглядом купол запыленного абажура, просвеченного керосиновой лампой, картины в толстых рамах по стенам, кожаные потертые кресла, задернутые на окнах красные бархатные шторы, камин с бронзовыми миниатюрными фигурками нагих женщин, спросила: — Вам не бывает, Никитин, почему-то грустно в покинутом чужом доме? Грустно и странно.

— А чего грустно? Нормально! — успокоил Меженин и дунул на карту, колдовски щелкнул ею себя по носу.— Вот и вразрез пошло. Тройка!.. Фу-фу, намечается, едрена-матрена!..

— Да, странно,— ответил Никитин и, слушая ее медленный глубокий голос, почему-то решил, что она говорила это не ему, не Гранатурову, не Меженину, а лейтенанту Княжко, что она, вероятно, готова была сидеть

вот так в одной комнате с ним, если бы даже он в течение всего вечера ни разу не обратился к ней,— или это только воображалось ему?..

— После войны замуж выйдете, еще такой роскошный уют заведете — закачаешься! — сказал Гранатуров.— Хотел бы я к вам заехать, посмотреть на вас.

— Да?

— Не прогнали бы? Одним глазом посмотреть...

— Долго придется ждать. Очень долго, товарищ старший лейтенант.

— Почему долго? У вас и тут, Галочка, поклонников — штабелями. Мизинчиком стоит пошевелить — и к ногам вашим по-пластунски поползут.

Она усмехнулась, рассеянно полистала книгу на коленях.

— Я разборчивая невеста, Гранатуров. Вы никак не можете поверить, что есть и такие ненормальные бабы.

— Ох, Галочка, мужчины тоже под ногами не валяются!

— Я с трудом терплю мужчин. Уж очень они мне надоели за войну.

— Кого же вы любите? Женщин? За женщин замуж не выходят. Запрещено!

— А какое кому дело, кого я люблю и выйду ли я замуж? Боже, как интересно! Вам это очень нужно знать?

— Какая милая пустопорожняя болтовня! — проговорил Княжко, как бы по вялой инерции раскрывая сданные Межениным карты, но губы его властно подсеклись, что бывало заметно в приступе сдерживаемой злости, и он договорил: — Лучше скажите, товарищ комбат, что нового в штабе полка? До медсанбата, по-моему, доходит больше слухов, чем до огневиков.

— Нового? — Гранатуров правой рукой откупорил пивную бутылку, позвенел бокалом о горлышко, чокаясь с бутылкой.— Галочка, за вас! Что нового? Пока полное спокойствие, други мои. Бои на западе. Да еще мелочь и ерунда — какие-то группки разбитых под Берлином частей в лесах кое-где бродят. Как видно, плена, сволочи, побаиваются, а деваться-то фрицам некуда.

— Вот это математический расчет! На два очка обчесали меня! Накатило вам, и вы, выходит, в лапоточках тоже родились? А?

— В тулупе, Меженин, в тулупе, — сухо сказал Княжко.— И, помню, в валенках по коврам ходил.

— Лейтенанту Княжко во всем везет, первый в полку счастливчик! — подхватил, зарокотал Гранатуров, поправляя левую забинтованную кисть на марлевой перевязи, врезавшейся в погон.— Верно, Галочка? Живи он сто лет назад, быть бы ему гусаром. Скатерть белая залита вином... Так поется в песне? И командовал бы он гусарским полком, а не меня замещал.

— Нам пора, товарищ старший лейтенант,— сказала Галя и решительно захлопнула книгу, поставила ее на полку.— Я, как врач, должна напомнить — вы пока на лечебном положении.

— Галочка, золотце! — запротестовал Гранатуров.— В медсанбат? От прекрасного пива к храпунам в палате? Сил моих нет, душу вымотали, перестреляю я их как-нибудь, не выдержу!

— Если нет сил — оставайтесь. Хоть до утра. Сегодня я вам разрешаю. Но у меня дежурство. И пожалуйста... хочу предупредить. Из возраста девочки давно выросла, поэтому прошу — никому не провожать меня.

— Без сомнения, вам пора,— холодно подтвердил Княжко, не взглянув в ее сторону.

— Да вы что? Одна? Ночью? В немецком городе? — Гранатуров с грохотом отодвинул стул, возвысился над столом огромным своим телом.— Я отменяю свое решение, Галочка! Я готов...

— Нет,— сказал Княжко ледяным тоном.— В городе патрули, и опасаться совершенно нечего, товарищ старший лейтенант.

— Разумеется,— кивнула Галя и засмеялась напряженно тихим неприятным смехом...

Никто в батарее толком не знал о тайных взаимоотношениях командира первого взвода лейтенанта Княжко и медсанбатского врача Аксеновой, никто не видел, где, в каких обстоятельствах и когда встречаются они вне батареи, но все сначала догадывались, а позднее убедились, что знакомство это произошло полгода назад уже на границе Пруссии — десять дней Княжко лечился в тылах дивизии после того, как открылось у него пулевое ранение в ноге. Он вернулся, по-видимому, раньше срока, похудевший, замкнутый, ходил, еще сильно прихрамывая, и странно было видеть строгую сухость его и сдерживаемое недовольство, когда изредка возле орудий на марше начавшегося наступления притормаживала санитарная

машина, отмеченная красным крестом, и медсанбатский врач, тонкобровая, вся хрупко-узенькая, темноглазая, с вороненo-черными на белых щеках волосами, видневшимися из-под маленькой пилотки, не улыбаясь, подходила к орудиям первого взвода, некоторое время шла рядом с Княжко, помогающим себе при ходьбе палочкой. Она серьезно задавала ему какие-то вопросы, имеющие, вероятно, отношение к его раненой ноге, а он едва отвечал ей, неприветливый, вежливо-официальный, и казалось тогда: нетерпеливо ждал одного — чтобы она поскорее уехала. И она задерживалась в батарее ненадолго, а потом Княжко ни словом не вспоминал о ее приезде, хмурясь под любопытствующими взглядами солдат, которые, боясь его спокойного гнева, вслух не говорили ничего. Раз Гранатуров, будучи свидетелем этой дорожной встречи, сказал, ревниво и бурно веселясь, в отсутствие Княжко, что по ясной очевидности лейтенант наш неисправимый девственник или баб боится, а миленькая помощница смерти не по адресу ездит, «понапрасну ножки бьет».

— Так вы сами подбейте к ней клинья, бабочка как полагается, всё при ней, товарищ старший лейтенант,— подрагивая ресницами, дал многоопытный совет Меженин.— Грех теряться, когда рядом такой экземпляр ходит! Бог не велит. А добро пропадает.

И случилось так, что под крепостью Шпандау Гранатуров попал в медсанбат по довольно легкой контузии — при обстреле привалило землей на НП. Он появился на батарее спустя неделю, громогласно-шумливый, еще более расширившийся на тыловых харчах, привез с собой консервы, три бутылки водки, раздобытые у знакомых армейских разведчиков, сразу же собрал в своем блиндаже офицеров батареи и сержантов, устроил «обмытие возвращения блудного сына на родину», жгуче, с загадочной значительностью поводил чернотой зрачков по лицам офицеров, по лицу непьющего Княжко, и, когда Меженин не без подзадоривания попросил его рассказать насчет «чего такого прочего в медсанбатских тылах», Гранатуров как-то по-шальному развесело глянул на офицеров и тотчас, притворно скромничая, забасил:

— Неудобно, братцы, не поверите, скажете — травлю...

— А вы за нервы не тяните, товарищ старший лейтенант! — поторопил Меженин.— Сами в тылу бывали! Небось оторвались?

— Ну так вот, братцы, что произошло,— наконец как

бы принужденно решился Гранатуров.— Медсанбат в немецком городочке стоял, тыл, аккуратненько, в палатах электричество, тепло, чистые простыни, жратва по режиму, даже трофейное повидло давали и кофе — живем как в сказке, и нет тебе передовой! А контузия у меня — чихнуть дороже, ходячий — просто отдых па курорте. И познакомился я, братцы, в медсанбате с одной женщиной — фигурка, грудки, ножки, задумчивые глазки, скажу вам, как небесный ангел, а по внешности — царица Тамара. Как положено — градусник по утрам: «как вы себя чувствуете», «принести ли вам книжечку почитать», тити-мити, то-сё, пятое-десятое, разговоры и всякое прочее. В общем — дело, вижу, закрутилось. Потом пошел я однажды после дежурства, вечерком, провожать ее, она у немцев на квартире жила. Пришли. Отдельная комнатка, ковер, шторы, кровать широкая, тишина, немцы-хозяева нигде не шуршат, не слышно их. Все чистенькое, светло и уют. «Сядьте» — говорит. Сел, смотрю на нее, соображаю. А она разом идет к буфету, и тут оказалось, что выпить нашлось, спирт медицинский. Я выпил, а она не пьет, сидит, на меня задумчиво смотрит. Ну, думаю, ясна обстановка, и, значит, без всякой подготовки перешел в атаку по всем правилам. Конечно, шепот, слова — «нет, нет, не надо, оставьте меня, уберите прочь руки»,— вся побледнела, даже зубки стучат, а сама к кровати меня тянет и пуговки на себе расстегивает... А когда легли и я свет потушил, такое, братцы, началось — тысяча и одна ночь. Декамерон! Не приходилось читать такую книжку, сержант?..

— Быстро очень получилось у вас, товарищ старший лейтенант,— перебивая, усомнился Меженин.— Больно по-книжному выходит. Сопротивляются они долго, а после уж и силу уважают. А у вас — сразу...

— Чушь! Просто заливаете, комбат,— не поверил Никитин, испытывая вдруг болезненное сопротивление.— Признайтесь, сочинили эту историю в медсанбате. От нечего делать.

— Вру? — дико оскалив зубы, спросил Гранатуров.— Значит, вру? Пожалуйста. Вот фото на память подарила!

И, упираясь в безучастного к разговору Княжко, азартно полыхнувшим взглядом, вынул из кармана гимнастерки фотокарточку и кинул ее на середину стола.

— Теперь как?

В ту же секунду лейтенант Княжко, мертвенно блед-

нея, встал резко и гибко, жестко скрипнув в тишине натянутой на груди портупеей, и в тот миг, когда правая рука его с неумолимой сумасшедшей быстротой упала на бедро, вырвав ТТ из тесной кожи кобуры, и, когда по-слоновьи заорал Гранатуров: «Ты что? Ты что? Спрячь пистолет, говорю! Брось!..», Никитина будто метнула к Княжко инстинктивная сила порхнувшей над головой опасности, металлический запах беды; качнулся стол от суматошного толчка обеих рук Гранатурова, зазвенело разбитое стекло, брызнуло что-то по доскам меж консервных банок, и Никитин четко увидел совершенно белое, отрешенное, мальчишеское лицо Княжко, его меловые губы выговорили отрывисто:

— Если вы, старший лейтенант, не попросите извинения за всю эту гнусность, я вас пристрелю как подлеца!

— Убери пистолет, Андрей, слышишь? Спрячь пистолет, слышишь? — повторял хрипло Никитин и с гневом обернулся к Гранатурову: — Попросите извинения, комбат! Слышите?

— Пошутил я, тебе говорят! Не понял? — крикнул Гранатуров задушенно.— Шуток не понимаешь?

— Шутки глупца! — выговорил Княжко отчетливо и непримиримо, отстранясь от Никитина, обмякшим жестом вбросил пистолет в хрустнувшую кобуру, зачем-то провел пальцами по волосам и вышел в траншею быстрыми шагами.

Безмолвие стояло в блиндаже. Пожилой сержант Зыкин мрачно насупливался, крутил и не мог скрутить на коленях цигарку; Меженин, не шелохнувшись, ничем не выказав ни удивления, ни страха в момент стычки офицеров, был, казалось, раздосадованно углублен в изучение сивушной лужи, растекающейся по доскам из опрокинутой бутылки, принюхиваясь, заглядывал в раскрытые банки консервов. Гранатуров, сидя на нарах, шумно дышал, вытирал платком забрызганное лицо, и Никитин с неожиданной ненавистью к его косым бачкам, к его бревнообразной шее, свистящему дыханию спросил зло:

— Зачем вы здесь врали, комбат, как сивый мерин? Что вас дернуло ерунду молоть?

— С ума сошел!.. Вот психованный...— выдохнул Гранатуров, глотком проталкивая не то смех, не то всхлип в горле.—Щенок сумасшедший, скажи!..

— Так бы и погибли смертью храбрых, товарищ

старший лейтенант,— заметил как бы между прочим Меженин и поковырял в банке консервов.— Вот жаль, водку напрасно потратили.

— Что вам нужно было от Княжко, комбат? Зачем врать? — Никитин дернул со стола намокшую фотокарточку.— Здесь нет никакой надписи. Значит, вам ее никто не дарил!

— Не ваше дело, не в свои дела лезете! — разозлился Гранатуров и выхватил из рук Никитина фотокарточку.— Лейтенант Княжко в этих делах — ясно кто? Как собака на сене, ни себе, ни другим. Заморочил голову бабе — и ни хрена. Ладно! Из-за бабы лезть в бутылку не хочу, разыграл я его или не разыграл — это уж тайна, покрытая мраком! — Гранатуров, потянув воздух ноздрями, сильными поворотами пальцев разорвал фотокарточку на мелкие кусочки и ударил ими о стол.— Нежные вы у меня интеллигенты! Ох уж святые, дальше некуда!

...То, что произошло или могло непоправимо произойти между командиром первого взвода и командиром батареи, открыло Никитину многое, но эта вежливая жесткость Княжко в обращении с Галей на глазах Гранатурова и ее терпеливое непротивление его официальному твердому безразличию больше всего поражали своей противоестественной неопределенностью и тем, чего Никитин еще не в состоянии был всецело понять.

— Нет, товарищ старший лейтенант,— повторил Княжко голосом знакомого упорства.— Провожать старшего лейтенанта медицинской службы Аксенову вам не стоит. Я был бы рад, если бы вы посидели с нами.

— Господи боже мой, о чем вы говорите? — со смехом воскликнула Галя.—Это имеет какое-то значение?

— Мушкетеры у меня в батарее, мушкетеры! Атос, Портос и... как там еще? Хватит мне приказы-то отдавать, удивляете вы меня!—захохотал Гранатуров против ожидания дружелюбно.— Скажу вам, Галя: лейтенант Княжко крупно играет. Только попади под его власть— маму родную вспомнишь!

— Угадали, старший лейтенант. Игра крупная, иду на весь банк,— проговорил медленно Княжко.— Сколько у вас, Меженин?

Меженин, тасуя карты, прищурился на кучу рейхсмарок:

— Восемьдесят пять тысяч, товарищ лейтенант. Сразу? На все? Под корень срезать думаете?

— Я сказал: иду на все!

— Выиграть думаете?

— Надеюсь.

«Но ведь ему все равно — выиграет он или не выиграет»,— подумал Никитин и посмотрел с томящим угадыванием на Гранатурова, на Галю; он чувствовал явную нарочитость, мешающую скованность разговора между Княжко и комбатом, но хорошо знал, что в противоположность Гранатурову Княжко не умел притворяться безобидным балагуром, отходчивым, свойским парнем, чтобы по необходимости обстоятельств нравиться другим и нравиться самому себе. Это была его сила и его слабость.

«Неужели и здесь он волю испытывает?»

Никитин несколько раз видел, как в первоначальные минуты танковых атак Княжко с упрямо-твердым выражением лица стоял около орудий в полный рост, стоял минут пять, не пригибаясь при близких разрывах, визжащих осколками над головой, и, лишь бледнея, смотрел на вспышки танковых выстрелов, точно этим необъяснимым и бессмысленным риском на виду всего взвода испытывал судьбу. Необъяснимее всего было то, что, уже спрыгнув в командирский ровик, он почти гневно кричал по телефону, чтобы расчеты не маячили перед танками пристрелочными манекенами, после чего говорил Никитину, что теперь убил в себе зайца,— и внешне был спокоен до исхода боя.

— Я пойду, я прощаюсь с вами, артиллеристы,— неверным голосом сказала Галя и развернула конвертиком сложенную плащ-палатку, накинула ее на плечи.— Гранатурова я оставляю. Все будет в порядке. Медсанбат недалеко.

— Галочка! — вскричал Гранатуров с шутовским страданием.— Что же вы с нами делаете? Красивая русская... одна ночью? В чужом городе?

— Я ничего не боюсь, Гранатуров. Немцы не насилуют русских врачей. Спокойной ночи, артиллеристы.

Это «спокойной ночи» было обращено ко всем, и Никитин, страстно желая сейчас, чтобы Княжко взглянул на нее, оторвался от этой не имеющей смысла игры, сказал что-нибудь, наконец, просто кивнул бы ей, увидел его ничего не выражающие глаза, непроницаемо нацеленные на карты, которые с оттяжкой выбрасывал перед ним в одержимом самозабвении Меженин. Лейтенант Княжко словно не расслышал ернического баса Гранатурова, не расслышал насмешливого ответа Гали — он си-

дел за столом прямо, аккуратный способный мальчик, затянутый в подогнанную офицерскую форму и окутанный сигаретным дымом, зеленый свет абажура блестел на его чистоплотно зачесанном косом проборе, на тугой портупее, на серебряных звездочках новеньких, надетых после Берлина погон.

— Приходите к нам, Галя,— сказал Никитин, внезапно раздражаясь на Княжко, и проводил ее до двери.

Она приостановилась, завязывая тесемки плащ-палатки, темный треугольник волос, свисавший из-под пилотки, резко оттенял ее белую щеку, губы дернулись виновато и скорбно, и голос ее был негромок, пересиленно ровен, низок:

— Только вы единственный меня здесь любите, лейтенант.

И он понял, что она вкладывала в слова не прямое значение, а нечто иное — грустное, дружеское, благодарное, и, поняв, нахмуренный, неловко открыл дверь в коридор.

— Мы рады, когда вы приходите к нам, Галя.

— О, какая очаровательная псина! Откуда это? — воскликнула она в дверях и, распахивая полы плащ-палатки, наклонилась, стремительно подхватила на руки ободранную заспанную кошку, клубком свернувшуюся за порогом темного коридора, где из глубины комнат доносился храп солдат.— Это чья? Немецкая? Какая прелесть! Сто лет я не видела таких дурнушек!

Она, как ребенка, держала на весу вытянувшуюся всем длинным и мягким телом кошку, с сереющими среди шерстки живота сосками, худую, с длинными лапами, и радостно заглядывала темно-карими глазами в грязную, зажмуренную на свет морду. Потом, смеясь, прижала ее морду к щеке, умиленно говоря Никитину:

— Мурлычет, го-осподи, худющая, ребра одни... Наверное, недавно у нее были котята. У нее есть котята? Или какая-нибудь сирота? Бездомная?

— Понятия не имею,— ответил Никитин.— Ее утром принес лейтенант Княжко. Со двора, по-моему.

— Лейтенант Княжко! — излишне оживленно проговорила Галя, все теребя, лаская притиснутую к подбородку кошку.— Можно взять ее в медсанбат?

— Ну зачем вам какая-то немецкая грязная кошка? — сказал Никитин, но его заглушил рокочущий наигранным возмущением бас Гранатурова:

— Эту замухрышку? В медсанбат? Доходяг уважаете?

Он поднялся из-за стола, скрипя сапогами, подошел к Гале, возвышаясь над ней, отчего сразу сделалось тесно, неудобно от его громоздких плеч, от его наклоненного сверху смугло-матового лица, окаймленного косыми бачками, от его сочного голоса:

— Да бросьте ее к дьяволу, Галочка, еще блох наберетесь! Нашли, ей-богу, паршака, последнего одра царя небесного, смотреть не на что!

— Так вы разрешаете или не разрешаете, лейтенант? — спросила Галя, глаза ее потухали, а пальцы медленнее и медленнее поглаживали, копошились в дымчатой шерстке кошки, и Никитин, сердясь и досадуя на молчание Княжко, поспешил сказать:

— Возьмите ее и не спрашивайте, если она вам нравится.

— А я говорю — бросьте паршивого блохаря, он вас заразит,— ласково загудел Гранатуров и жарко сверкнул зубами.— Завтра мои разведчики — хотите? — пять, десять, двадцать самых породистых в вещмешках со всего города принесут.

— Серьезно? Двадцать? А можно сто, товарищ старший лейтенант?

— Только прикажите — и все будет выполнено. Сотня разных немецких мурок будет у ваших ног, Галочка! Разведете их в медсанбате, и от мышей одни хвосты останутся.

Она посмотрела исподлобья вверх, на склоненного к ней Гранатурова, на его знойно-ослепительные крепкие зубы, торопясь, выпустила на пол кошку, сказала с гримасой гадливой неприязни: «Да перестаньте же паясничать!» — и, порывисто запахивая плащ-палатку, вышла в темный коридор, наполненный сонной духотой, бормотанием спящих солдат. Никитин пошел за ней и молча проводил ее до двери, затем по лужайке двора к калитке, мимо неподвижной фигуры часового, окликнувшего сквозь оборванную зевоту: «Лейтенант?» Месяц еще не взошел, лишь стояло маленькое зарево на востоке за парком позади кирхи, просачиваясь меж ветвей сосен, и на улице, безмолвно ночной, тихо осиянной оранжевым переливом брусчатника под теплым заревом, в тени низкой ограды, пахнущей водянистой свежестью сирени, он еще раз предложил:

— Я доведу вас до медсанбата?

— Ни в коем случае. Я дойду одна. Я хочу одна. Ну скажите — кого и чего мне бояться?

Она, поворачиваясь, придвинулась к нему, и необычная в этой застывшей тишине ночи близость ее лица, черного крыла волос на разительно белой щеке опять больно напомнили что-то Никитину, то, чего не было, но могло быть, и это «что-то» звенело в нем тоненьким колокольчиком, словно стоял посреди каких-то далеких лунных переулочков с тенями от деревянных заборов, пахнущих впитанным за день теплом, перегретыми солнцем досками и сыростью апрельской земли в подворотнях. Он молчал, справляясь с мучительно-сладкой спазмой в горле, которая мешала ему сказать последнюю фразу: «До свидания, приходите к нам, на Гранатурова не обращайте внимания» — и по отблеску ее белков уловил: она смотрела через его плечо на красновато теплеющий восход месяца за вершинами сосен позади кирхи.

— Какая ночь... Помните? «И звезда с звездою говорит...» И там еще чудесно: «Ночь тиха, пустыня внемлет богу...» — сказала Галя шепотом.— И как далеко мы от дома... И как все грустно. И как все глупо со мной, в конце концов!.. Ведь вы не можете мне ничем помочь, правда? А я никогда не знала, я злилась, я смеялась над этим. Как глупо, господи! — Она подергала тесемки плащ-палатки.— Но ничего, лейтенант, это отвратительно, но я справлюсь, я справлюсь, буду укрощать плоть, голодать, как монашенка, и по утрам окатываться холодной водой... И худеть на черном хлебе. И стоять на коленях. Правда, меня с детства не научили молиться, вот беда!.. Что я буду делать? Что же тогда делать? Влюбиться назло в Гранатурова?

Она засмеялась странно, с горькой ожесточенностью, и в смехе этом, во вздрагивающих бровях ему показались слезы, но ее близко светившие из темноты глаза были сухи, горячи, пытались почему-то смеяться над тем, что не имело права быть смешным, а было неожиданностью, от которой не умирают, нелепостью, не случавшейся с ней и случавшейся с другими, его она даже не могла представить раньше по отношению к себе.

«Почему она так прямо говорит со мной?» — подумал Никитин, стесненный ее унижающей откровенностью, ее насильственным сквозь слезы смехом.

— Я этого не понимаю,— сказал Никитин.

— Что понимать? Для чего? Разве это нужно понимать? Ох, какую ересь и чепуху я вам наговорила, лей-

тенант,— сказала она, запрокинув голову.— Сама я виновата... Идите играть в карты. Это мужское дело важнее всякой женской чепухи. Спокойной вам ночи, Никитин.

— До свидания, Галя. Приходите к нам завтра.

— Не обещаю, лейтенант. Возможно.

Никитин слышал, как зашуршала по ограде плащ-палатка, стала смутно удаляться под нависшей над тротуаром сиренью, и, отчетливо и звучно отдаваясь, застучали по каменным плитам каблучки сапожек. И он закрыл калитку, уже обеспокоенный тем, что могут подумать о его отсутствии, подошел по узенькой в траве дорожке к часовому. Тот переминался около дома, одолеваемый дремотой, рот его раздирала необоримая зевота, доносилось мычание, лающее покашливание; Никитин сказал тоном приказа:

— Часовой! Выйдите сейчас на мостовую и на всякий случай постойте там минут пять, посмотрите, пока врач Аксенова до перекрестка к медсанбату не дойдет.

— Ясно, товарищ лейтенант,— откликнулся часовой и, переступая в траве, крякая, забормотал дремотно: — Эх и ночь, звезды-то высыпали, как у нас в России, и месяц всходит. Не для солдат эта ночь, разные мысли в голову лезут...

— О чем мысли-то? — спросил Никитин.

— В такую бы ночь по деревне гулять. Девчата поют, а в полях тихо, только коростель дергает... Домой бы, товарищ лейтенант! — мечтательно заговорил осевшим после долгого молчания голосом часовой.— Вот стоял и думал: скоро, кажись, должна кончиться, шутка ли? В центре Германии мы, а домой когда? Эх, какой красавец на небо-то всходит,— опять сказал он, восхищенно глядя на широко светлеющее и багровеющее зарево над деревьями.— Весна-а... Домой бы, домой...

«Да, да, мы в Германии, и сейчас весна,— подумал Никитин впервые за эти дни особенно ясно и осознанно, подхваченный молодым пульсирующим током радости, облегчающим, как счастливые детские слезы, опустошением.— Да, да, конечно, весна, и война кончается!»

Месяц всходил левее силуэта кирхи, показался из горячего бездымного пожара над соснами, отраженно вспыхнул в высоких стеклах колокольни, одна подставленная месяцу каменная стена посветлела, выступила из глубокой тени ограды, и улицы налились прозрачной молочной синевой, еще более загадочной, сгустившей тем-

ноту парка, тонкие голубые полосы пролегли по конькам соседних черепичных крыш — и спящий двор, где стоял Никитин, лужайка перед домом, песчаная тропка до самой калитки, прочерченная длинными тенями, застыли под месяцем в неподвижной прохладе травянистого воздуха.

«Ведь я не ранен, не убит, и моему взводу, несмотря ни на что, просто повезло в Берлине, а остальное — пустяки. И все хорошо, все отлично, и вот весна в Германии, и скоро конец войны, и как прекрасна эта лунная ночь в немецком городке, и мне двадцать лет, и все еще будет, все, чего не было...» — подумал Никитин с тем прежним, сладко и больно зазвеневшим тоненьким колокольчиком в груди, какой ощутил он возле калитки, провожая Галю, чувствуя сухой блеск ее глаз на своем лице.

Это ощущение прилива молодости, прощающей доброты ко всему, похожей на рвущуюся из души нежность, счастливое ожидание чего-то нового, что было когда-то с ним в золотой поре детства и должно было наступить вновь предвиденно и скоро, это ощущение ожидания еще не свершившегося в его жизни, томящая готовность к предопределенному войной — неизведанному и радостному — возникало в нем с непонятной силой при передвижении в горящие города, незнакомые, не до конца разрушенные, залитые по крышам домов заревом, с отсвечивающими красным булыжником мостовыми под колесами орудий, или когда через мелкую сеть дождя размыто проступал в туманце на опушке влажного леса одинокий дачный домик, где, казалось, кто-то жил ничем не измененной, влюбленной верой в нерушимое прошлое, где были молодые прекраснолицые женщины и где в блаженном тепле, ласковом уюте могли встретить и полюбить его.

И под бегущий лепет дождя по капюшону, под чавканье грязи, под всасывающие звуки орудийных колес ему представлялся давний детский сон: какой-то фантастический поезд в золотистой, затопленной закатом степи идет меж густых трав, а он один в чудесно озаренном лиловыми лучами вагоне, испытывая нечто белое, светлое, чистое, стоит у раскрытого окна на душистом ветерке, видит эту совершенно сказочную, неземную, пустынную степь, огромные и нечеткие в первозданной гуще трав шары желтых марсианских цветов, видит ее глубоко дымящиеся желто-пепельным закатом горизонты с очертаниями таинственных городов на розовых берегах зарос-

ших пальмами рек, влекущие таким обетованным обещанием приближенной радости, что ему хотелось долго и сладострастно плакать тогда. Такой степи никогда не было в реальности, и он не помнил, когда снился этот сон. Но он чувствовал его, как неясное и звенящее в нем воспоминание чего-то несбывшегося и счастливого в своей жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Между тем игра в карты кончилась. Меженин, потный, возбужденный проигрышем, небрежно подгребал ворох рейхсмарок в сторону Княжко, а тот, засунув пальцы под ремень, легонько покачиваясь вместе со стулом, отсутствующе смотрел вверх, на абажур керосиновой лампы; старший лейтенант Гранатуров в расстегнутой гимнастерке, мыча невнятный мотивчик, притопывая ногой, устанавливал на тумбочке патефон, взятый батареей в качестве трофея еще в Польше; дежурный связист убито спал за низеньким столиком под книжными полками, всхрапывал зверскими переливами, одна щека его вдавилась в пилотку, положенную на полевой аппарат.

— Проводил-таки? Ну и как, Никитин? — подозрительно спросил Гранатуров.— Силен, силен, мушкетер! Тихой сапой действуешь?

— Не понял,— сказал Никитин.— Проводил до калитки и немного подышал свежим воздухом. В городе тишина, великолепная ночь. С какой стати, комбат, вы взялись за патефон? Все спят, солдат разбудите...

— Залпом «катюш» их не разбудишь, не то что музыкой! Храпом, дьяволы, пять патефонов заглушат — не почешутся! Ничего, под песенки крепче спать будут,— успокоил Гранатуров и, продолжая притопывать ногой, начал перебирать пластинки.— По-польски тут... вечерна година значит — вечерний час? Как это, Никитин, ничего? Танго бы или что-нибудь душещипательное под настроение. Верно?

— Ставьте эту,— посоветовал Никитин и подошел к камину, потрогал бронзовые статуэтки.— Не ошибетесь.

Гранатуров поставил зашипевшую под иглой пластинку, грозно повалился в кожаное кресло, так что звякнули пружины, сполз в нем поудобнее, расслабил перевязь раненой руки, вытянул ноги и по-озорному заулыбался

своими слепящими зубами, поглядывая на Княжко, на Никитина, сказал:

— А ничего живем, славяне. Роскошный дом, пиво, музыка, и война в зад не кусает. Ах, хорошо, братцы! И вот что скажу я вам, господа русские офицеры, заслужили мы божеский отдых, судьба нас приласкала — целыми остались, есть с чем в Россию вернуться. Главное — башка на плечах. Еще бы так месячишко отдохнуть и покантоваться, а потом — назад, в Смоленск, к родным берегам! Ах, хорошо, братцы! Меженин! — крикнул он.— Давай-ка по-аристократически этот камин растопим! Дрова где-нибудь здесь есть? Под музыку огонек здорово пойдет. Жизнь мы заслужили, братцы! — сказал Гранатуров снова, заваливая голову назад и постукивая ногтями в подлокотник под ритм музыки.

— Музыка есть, а танцев не получается.— Меженин сгреб всю кучу рейхсмарок на конец стола подле Княжко и не без огорчительной досады от полного проигрыша договорил натянутым голосом: — Ваши гроши, без дураков. Законно выиграли, накатило вам. Что будете делать с ними?

Княжко, не переменив отсутствующего выражения лица, взад и вперед раскачивался на стуле, рассеянно слушая музыку, глаза его смотрели в одну точку перед собой; он ответил после молчания:

— В камин. Растопите камин.

— Не раскумекал, товарищ лейтенант.

— Так вам будет спокойнее, Меженин. Попробуйте-ка растопить рейхсмарками камин,— повторил Княжко задумчиво.—Я сжигаю свое мифическое богатство. Выигранное у вас.

— А-а, вон как вы решили. Чтоб, значит, дьявол не попутал? А нам что? Сожге-ом! Было бы приказано!

С азартным согласием Меженин примерил расстояние до камина и стал незамедлительно швырять на его железную решетку груды рейхсмарок, затем поднес огонек зажигалки к пухлому вороху купюр, повел огоньком по краю бумаг. Купюры, тронутые пламенем, неохотно зашевелились, с шелестом загибаясь по углам, чернея,— и разом вспыхнули живым костром, снизу озарив весело-злое лицо Меженина.

— Вот еще.— И Никитин ногой подбил к камину мешок с оставшимися рейхсмарками.— Бросайте в огонь все.

— А может, оставим на всякий случай? Как? — с надеждой спросил Меженин и вприщур глянул на книжные полки.— Вон топлива-то сколько, на год хватит, и еще останется.

— Делайте, что говорят, сержант. Все деньги — в камин!

— Эх и люблю же я вас, господа русские офицеры,— сказал Гранатуров размягченным тоном.— Люблю и уважаю вас, дьяволы... Братцы, спокойненько и тихо послушаем пластиночку. Помолчим малость.

Запахло в комнате дымком, теплым горьковатым пеплом, повеяло по ногам жаром огня, и забегали вихорьки пламени на железной решетке, и был домашний свет зеленого абажура над столом, и золотисто подсвечивались и камином и лампой корешки книг на полках, и стояла тишина во всем доме, и шипела заигранная донельзя пластинка, и женский голос пел на чужом языке, в котором звучали и горькая и счастливая влюбленность в поздние сумерки после разлуки, и исступленное ожидание невозможной встречи, и лейтенант Княжко, заметный узким мальчишеским лицом, легонько раскачивался вместе со стулом, и старший лейтенант Гранатуров полулежал в кресле, матово-смуглый, с косыми бачками, погруженный в мечтательное состояние умиления,— все на мгновение представилось Никитину где-то виденным, бывшим где-то, как будто очень давно знал эти лица и очень давно, тысячу лет назад, сидел вот в такой же чужой комнате с диваном, книгами, стеклянным абажуром и видел профиль Гранатурова сбоку патефона, вблизи влюбленного женского голоса, его забинтованную руку на перевязи, задумчивые глаза Княжко и Меженина на корточках, который пачками вынимал из мешка рейхсмарки и подкладывал их в огонь.

И прежде Никитин не раз ловил себя на этом зыбком ощущении, поражавшем его смутной знакомостью секунды: так или похоже было... Где? Когда? Но никогда в его жизни не было подобного немецкого дома с библиотекой и камином, где весело горели вместо дров новенькие немецкие деньги, никогда не было такого мертвящего, беспредельного покоя в мире, словно минуту назад оборвался бой на улицах города, и оглушающая тишина, заполнив ночь, пала за окнами внезапно...

Женский голос кончил петь на польском языке о вечерних сумерках, когда она ждала его, и он не приходил, рассыпались, обреченно упали и сникли звуки аккордео-

на, лишь шипела пластинка, вращаясь. Все молчали. Глядели на камин, на красные и невесомые взлеты пламени, до глухоты закованные ошеломляющей тишиной, мнилось, впервые ночью услышанной, поэтому опасной, как обман судьбы, как ложная надежда в десятках километров от войны, которая вроде бы исподволь, коварно испытывала их двумя беспечными днями блаженства. Пластинка перестала крутиться, остановилась, скрипнув иглой. И стало слышно порхание огня, мышиное шевеление сгорающих бумаг на решетке камина, куда, ни слова не говоря, подбрасывал и подбрасывал рейхсмарки Меженин. Гранатуров очнулся первый, подтянул руку перевязью, в раздумчивости соединил косяком брови, и Княжко, теперь не качаясь вместе со стулом, вопросительно покосился на задернутые шторы, откуда вплотную подступала непривычная мертвенность ночи, без единого движения во дворе. Это было наваждение замороженного безмолвия, какое бывает в лунные ночи на передовой, околдовывающей траншеи немотой распростертого затишья, и Никитин, не слыша шагов часового под окном, подумал: «Заснул он, что ли?»

— Что такое? Кто там по дому шляется? Сортир, никак, кто ищет? — вдруг вполголоса сказал Меженин, обладавший звериным чутьем и слухом, и настороженно повернулся от камина к офицерам:— Ну и тишина. Ровно по кладбищу мертвец ходит...

— Проверьте-ка солдат, Меженин,— сказал Никитин,— а то, похоже, все умерли в доме. В том числе и часовой.

— Сейчас проверить?

— Сейчас. Выйдите и посмотрите.

И тотчас, как только вышел Меженин, Княжко поднялся, оправил пистолет на боку, как всегда, упруго и подобранно натянулся в струнку, сказал серьезно Никитину:

— Мне пора во взвод. А часовых проверять не мешало бы каждую ночь.

Тогда старший лейтенант Гранатуров, еще пребывая, еще нежась в состоянии расслабленного умиротворения, задвигался атлетическим телом в кресле и, потягиваясь, заговорил благодушно:

— Не торопись, Княжко. Ничего с часовыми не случится. Уйдешь — скучно мне будет. Ей-богу! Посидим ради компании. Вот я тебя люблю, лейтенант, несмотря ни на что, а ты меня — не очень, как вижу. Кто старое

помянет — тому глаз вон! Братцы, заведем еще какую-нибудь душещипательную...

Но он не закончил фразу — бегущий топот над головой, глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем, точно чем-то толстым, ватным, задушило вверху голоса,— и Княжко, мельком взглянув на потолок, обратил спокойные зеленые глаза на Никитина, проговорил:

— По-моему, с твоими славянами происходит что-то... Не слышишь?

— Никто у тебя шнапса не перехватил на трофейную дармовщинку? — спросил Гранатуров снисходительно.— Стекла не побьют, черти-лошади?

— Ерунда! Уж этого не может быть! — выговорил, пожав плечами, Никитин; он хорошо знал, что на втором этаже прямо над кабинетом его комната, никто из взвода не располагался рядом и никто в его отсутствие не заходил туда без надобности.— Подожди, я посмотрю и провожу тебя,— сказал он Княжко и пошел к двери, несколько тоже обеспокоенный непонятным шумом, голосами наверху.

В коридоре было тихо, темно, пахло душным деревом и солдатскими сапогами, в нижних комнатах разносился заливистый храп, сочное почмокиванье, бормотание спящего взвода, и не слышно было ни шагов, ни шороха на втором этаже, на мансарде, куда вела деревянная лестница из закутка коридора за чуланом кухни.

— Меженин! — окликнул наугад Никитин в потемки спертого воздуха нижних комнат.— Где вы там?..

Ответа не последовало.

Он подождал, уже озадаченный, и ощупью стал подыматься по шаткой винтовой лестнице на второй этаж и тут, на темной площадке, остановился, прислушиваясь к тишине мансарды.

В следующую минуту он явственно уловил слухом какое-то протяжное, животное мычание, слабый, вырвавшийся стон из-за двери своей комнаты, задавленный тяжелой возней, задыхающимся хриплым шепотом: «Дура, дура, молчи, сволочь!» — и, совсем не понимая, что здесь случилось, в чем дело, не понимая, кто мог быть ночью в его комнате, с ударившим приливом крови в висках сильно толкнул дверь мансарды.

— Кто тут?..— крикнул он.

Лунный свет в широкое окно обнажал половину комнаты, синей полосой отражался в зеркальной дверце от-

крытого бельевого шкафа, скомканная груда одежды валялась на полу около опрокинутого венского стула, на кровати в глубине мансарды возился, мычал, боролся, трещал пружинами неясно чернеющий комок тел, и первое, что отчетливее успел заметить он, было что-то задранное круглое белое, похожее на женское колено, которое вздергивалось, елозило, высвеченное луной, по одеялу, по краю сползшей к полу перины, и там, оттуда, от чернеющей груды тел выдавливались, как из-под толщи подушки, зажатые вскрики:

— Nein, nein, nein!.. [1]

— Кто тут, черт возьми!..

И Никитин, ужасаясь тому, что сейчас, через секунду, увидит кого-нибудь из солдат своего взвода, потихоньку затащившего немку сюда, на свободную мансарду, и, взбешенный этим предположением, кинулся к кровати, грубо рванул кого-то в темноте за крутое плечо и, рванув, мгновенно узнал охриплый, пресекающийся руганью голос Меженина, квадратной массой отскочившего от постели: Меженин угрожающе возник перед ним в косяке лунного света — стеклянными шарами перекатывались сумасшедшие глаза на призрачно-белесом его лице, чернел рот, раскрытый судорожным дыханием.

— Меженин! — отчаянно крикнул Никитин.— Ты что? Обезумел?

— Не лезь, лейтенант... Не мешай, лейтенант...— хрипел ему в лицо Меженин, обдавая удушливым махорочным перегаром.— Не лезь!.. Уйди! Какое твое дело, лейтенант? Уйди отсюда... уйди, уйди, по-человечески говорю!..

Нечто омерзительное, оголенное, как звериный оскал безумства, проглядывало в этом остекленённом, мечущемся взгляде Меженина, в этом полоумном его бормотании, и Никитин, опаленный приступом отвращения и гнева, изо всей силы оттолкнул его от кровати, крича:

— Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?

— Шпионка, стерва, в дом пробралась...— просипел Меженин и, вроде сообразив, что надо теперь делать, с придыханием матерясь, бросился к постели, дернул на себя подушку, прикрывающую грудь без движения лежавшей навзничь женщины, цепко схватил ее за руку, рывком сорвал с постели.— Вставай!.. Говори! Зачем пробралась

[1] Нет, нет, нет!..

в комнату лейтенанта? А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина, шпрехай, шпрехай, говорят!

Он так крепко держал, стискивал ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад: «Nein, nein!» — и при лунном свете увидел Никитин ее загнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво, растрепанно свесившиеся на одну сторону.

— Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы! Сержант!..— скомандовал Никитин неостывшим голосом.— Какая еще, к дьяволу, планшетка? Ерунду городите, планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?

— Хрен ее знает, как сволочуга тут оказалась... Шкаф открыла... вещи выбирала... Вошел, а она окно пыталась открыть...— говорил Меженин прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу, а немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Nein, nein, nein!»

— Заткнись, сука! — заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин.— Завела свое «найн», как шарманка! Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?..

— Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски! — И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти, известные немецкие слова, выговорил наконец: — Wer sind Sie, Frau? То есть, кто вы... откуда? Wer sind Sie?.. [1]

Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и, когда что-то ответила слабым глотательным звуком, не понятое Никитиным, он поймал только единственное знакомое слово «Haus» и требовательно переспросил:

— Haus? Wer sind Sie? Warum Haus? [2]

— Лейтенант! Слышь! — внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задребезжавшую раму, распахнул одну половину.— Кажись, тревога!

В этот же миг внизу, под окнами, раздались голоса, суматошное топанье ног, следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» — и клацнул затвор,

---

[1] Кто вы, женщина?.. Кто вы?..
[2] Дом? Кто вы? Почему дом?

опять затопали, забегали около дома, сверкнула зарницей багровая вспышка, прогремело, оглушило звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг, потом на нижнем этаже заревел бас Гранатурова:

— Часовой! Сюда его, сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!

— О, Ku-urt Ku-urt! — рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем:

— Nicht schießen! Kurt, Kurt!..[1]

— Меженин, ведите немку вниз! Быстро!

Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то впотьмах, кажется, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор («Тревога? Немцы?»), увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом двери и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при настигшей неизвестности, молниеносно и неотвратимо изменяющей обстановку.

Когда он вошел, Княжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые, оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку-немца лет шестнадцати, в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах; его огромные, покрытые пылью сапоги кругло расширялись нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк.

Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилипшими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно не мытом его лице восково выделялся, словно у мертвого.

— Ну? — густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными, прожигающими глазами.— Откуда ты такой гусар, вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно! — приказал он часовому.— Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!

---

[1] Не стреляйте! Курт, Курт!..

Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой:

— Стою, луна как раз взошла... Слышу, шебаршит за домом, думаю — должно, кошка или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело... Глянул, а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной — сверк, сверк!.. Не-ет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору: «Стой, стрелять буду!» А он — наутек, я в небо пальнул — и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и — за руку укусил! Стукнул я его по шеям, конечно...

Поочередно выложив на стол донельзя несвежий, ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юно», кучку пистолетных маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане — все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку о полу шинели, с озлобленностью показал Гранатурову запястье, пояснил:

— Так в мясо зубами и впился, клеща немецкая! Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе — разнюхивал. Змееныш, а навроде пацан!

— Все? — спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца.— Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой, осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось.

— Слушаюсь. Сейчас мы.

Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь на пороге оторопело посторонился перед Меженниным, пропустив его; а тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную, в разодранном до бедра ужасающе нечистом платье,— она будто из последних сил продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья; пухлые искусанные ее губы вздуто чернели, как рана. Увидев мальчишку-немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом:

— Kurt, Kurt!..

И зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь впе-

ред, точно вдавливая рыдания в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряско запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул — кадык бугорком пополз по горлу.

Никитин, еще помня белую коленку, елозящую по одеялу, задушенный крик «nein», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе, молоденькую немку, на этого ссутуленного, безобразного в своей худобе и внешне воинственной нелепости мальчишку-немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме,— и, все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил, спешно опережая объяснения Меженина:

— Комбат, немку обнаружили в моей комнате...— Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться некстати обостряющих положение обстоятельств.— В первую очередь надо выяснить... Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу...

— Она? Была в твоей комнате? — проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку.— Если даже эта грязная кошечка—шпионка, каким образом она оказалась именно у нас? Так вот, допросить их, допросить немедленно! Выяснить — кто они? Кто послал их? С какой целью? Лейтенант Княжко!..— Он властно взглянул на хмурого Княжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы готовый разозлиться: — Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай. Допроси их. Давай, Княжко, приступай! — поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения, и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность.— Действуй, я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним, зашпрехают, гады, как миленькие!

Княжко поморщился:

— Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?

— Ладно, ладно в бутылку-то лезть! «Выкать» буду. Ладно.

— Благодарю.

И лейтенант Княжко, весь суховато-упрямый, до предела заталенный ремнем и портупеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес

несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово «Name», понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлиплись опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом:

— Emma... Herr Offizier...

Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть, лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Княжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо:

— Что, онемел, сосунок? Курт — твое имя! Так? Спросите-ка его — из вервольфа он? Из леса? Сколько их там?

Но Княжко оборвал его холодно:

— Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос.

— Ладно, ладно! — зарокотал недовольно Гранатуров.— Цирлиха-манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если б мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили!

— Кишки через нос потянули бы и плакать не дали! — напористо вставил Меженин.— Да и немочка — фрукт: ишь, козочкой притворяется. Шпионка, сука!

Он топтался позади немки, поводил задымленными глазами по ее спутанным космами неопрятным волосам, по узеньким бедрам, по ее полным в икрах и тонким в лодыжках ногам. Он, видимо, не хотел простить и себе, и этой невзрачной немке ее сопротивления в мансарде, тот крик сквозь толщину подушек и, самолюбиво уязвленный, мстил ей и словами, и взглядом злобы, которая была понятна Никитину.

«Что за ересь говорил он мне наверху? — подумал Никитин, опасаясь вспоминать ощущение скользкой черноты, захлестнувшей его на мансарде.— В чем я могу его обвинить? В попытке изнасиловать вот эту немку? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»

За стеной, в коридоре нижнего этажа, пронесся шум голосов, засновали шаги людей, дверь приоткрылась — в проем всунулось пожилое серьезное лицо командира четвертого орудия сержанта Зыкина, он доложил сумрачно:

— К нам патрули прибыли! Кто стрелял, спрашивают. Враз прибежали!

— Поговори с ними, Никитин,— приказал Гранатуров.— И много не объясняй, не распространяйся, сами разберемся!

Никитин вышел в коридор, где желтым пламенем чадила немецкая жировая плошка, поставленная на тумбочке под вешалкой, и горели плошки в двух комнатах — там шатались по стенам тени взбудораженных солдат; около входной двери темнели три незнакомые фигуры в плащ-палатках, тускло поблескивало оружие. Сразу же к Никитину выдвинулся один из них, судя по фуражке, офицер, прямой, сухощавый, спросил с начальственным требованием:

— По какой причине на вашем участке возникла стрельба, товарищ лейтенант? Кто стрелял?

— Ничего особенного,— ответил Никитин, соображая, что объяснять подробности — значит усложнить все, заранее вмешивать дотошную, всегда придирчивую комендатуру в дела батареи.— Перестарался часовой. Сами выясним причины.

— Открывать стрельбу ночью в немецком городе — это не «ничего особенного», а чепе,— неподатливо возразил офицер.— Вчера, например, обстреляли штабную машину в лесу, да будет вам известно. Один наш солдат убит, два офицера тяжело ранены. «Ничего особенного». Все трезвы в вашей батарее?

И он с недоверием приблизил свое строгое, немолодое лицо, беззастенчиво принюхиваясь к дыханию Никитина, затем оглянулся на солдат: они уже группами столпились в дверях комнат, смотрели оттуда объединенно и недобро, а сержант Зыкин в угрюмой замкнутости каменно уставился на огонек плошки. Взвод, не сговариваясь, общим молчанием поддерживал Никитина перед чужим начальством, хотя сейчас он сам до конца не сознавал, почему лгал офицеру из комендатуры и почему полностью не верил в серьезность того, что мог по долгу службы предполагать патруль.

— Насчет выстрела мы разберемся,— проговорил Никитин. — Больше вопросов нет? Я должен идти.

Офицер выждал немного.

— Смотрите, лейтенант, смотрите в оба! Распущенность в условиях Германии знаете до чего доводит?

— Будем смотреть в оба. Знаем.

Когда же патрули выходили, мимо них боком вскользнул, суетливо втиснулся клином меж их телами часовой, едва не запутавшись в плащ-палатке офицера, что заста-

вило того удивленно откачнуться, загремел сапогами по коридору к Никитину, выговаривая на бегу:

— Нету, ничего нету, товарищ лейтенант!

— Голову сломите! — остановил его Никитин.— Как следует осмотрели вокруг дома?

— Чисто на карачках по всем уголкам облазил, товарищ лейтенант. Ничего нету!

— Хорошо, идите на пост. И не дремать, ясно? — И, подумав, сказал ожидавшему приказаний Зыкину: — Проверьте часовых у орудий, пока тревоги не было.

В столовой продолжался допрос.

Мальчишка-немец, заикаясь, опустив маленькую птичью голову, отвечал на вопросы Княжко, очки сползали на кончик остренького носа, он с робостью глотал слюну в паузах между словами, вид его был все так же нелеп, жалок, пришиблен, и Княжко не перебивал его, выслушивал сосредоточенно-упрямо после каждой своей фразы.

Гранатуров, придерживая здоровой рукой раненую руку, ходил по комнате, мерил ее шагами, то и дело глыбообразно возвышаясь позади Княжко, подозрительно гмыкал, издавал горлом густые мычащие звуки, как бы сомневаясь, не доверяя робкому лепетанию немца, которое, казалось, не могло быть доказательным, обмануть его, как и пришибленный вид пленного. Меженин стоял за спиной немки, презрительно оглядывал ее с ног до головы, ее разодранное на бедре платье, и это явно мстительное, раздевающее презрение его было отвратительно Никитину — не исчезал, не выходил из памяти обезумелый, удушающий табачным перегаром сип Меженина в мансарде: «Уйди, лейтенант, уйди, не мешай, говорю!»

— Громче, сосунок! Не нуди! — грозно скомандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу.— Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Княжко! Из вервольфа он? Да или нет?..

Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо-требовательном лице Гранатурова — гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате:

— Конкретно — да или нет? Фашист он или сосунок всмятку? Каким образом оба очутились в этом доме?

Княжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом:

— Перестаньте кричать, как на базаре...— Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость.— Курт, по фамилии Герберт, шестнадцати лет, месяц назад взят в вервольф, в боях не участвовал. Во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт родной брат этой девушки, Эммы Герберт. О чем сказали оба.

— Брат и сестра? Хо-хо! Знаем мы это. А спят в одной постели? — проговорил Меженин зло, однако Гранатуров, заглушая его, настойчиво повторил вопрос:

— Каким образом оба очутились ночью в этом доме? Цель? Какая цель была у обоих?..

— Вы что — меня допрашиваете? — спросил без интонации в голосе Княжко, и тихая ярость все упорнее нарастала в его глазах.— Так вот, слушайте внимательней! Как заявили Эмма Герберт и Курт Герберт, они хозяева этого дома. Представь, обнаружились хозяева.— Княжко вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше: — Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. Croßvater ist Oberst? [1] — быстро спросил он обоих по-немецки, еще раз уточняя для себя, и в ответ молоденькая немка как-то уж очень поспешно закивала ему, лепеча с надеждой и заискивающим согласием: «Ja, ja, Oberst... Reichswehr» [2]. — Да, отставной полковник, семидесяти пяти лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англоамериканцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. Тридцатого апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме, перевожу дословно, она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике.

— Дед полковник в Гамбурге у американцев, эта... козочкой в сарайчике жила. А этот Курт... Черт Иваныч в лесах с автоматом шастал? — резко выговорил Гранатуров.— Ничего себе хозяева! С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел? Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное! Кто их послал?

Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой (как ожидал Никитин), пригасла в глазах Княжко, он, похоже, намеренно не придал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо:

---

[1] Дед — полковник?
[2] Да, да, полковник... рейхсвер.

— У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно — вот с этими. Это первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят, пережидать нечего, и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гроссфатеру. Взять вещички, переодеться — и в дорогу. Этот Курт вернулся из леса и сказал об этом сестре. Так они объяснили. И я готов верить, представь себе. Дальше, Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу, за озером, вервольфов человек двадцать, в том числе его сверстники, мальчишки лет пятнадцати — шестнадцати во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части. Вооружены автоматами и фаустпатронами.

— Та-ак! — длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту.— Та-ак! Автоматы и фаустпатроны? Двадцать человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы? Ни хрена за очками не видно! — Он витиевато выругался.— Во... зинд... вервольфы?..— крикнул он, подбирая немецкие слова, и резко бросил большую свою руку на кобуру.— Во зинд вервольфы? Вифиль... километр? Шпрехе [1], щенок! Ну? Отвечай!

И Курт вобрал птичью голову в узенькие прямые плечи, на которых, как на вешалке, обвисал широкий, с прожженной полой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми на половину лица глазами и Гранатурова и Княжко, перестала дышать, неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и наконец она выдохнула вскриком отчаяния:

— Nein, Herr Offizier, nein! Nein! [2]

И закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности.

Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже пагибалась, и сутуло, углами проступили лопатки под мундиром, потом хлипкий кашель вы-

---

[1] Где вервольфы? В скольких километрах? Говори...

[2] Нет, господин офицер, нет! Нет!

рвался из остренького его носа, он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной.

— Вчера в лесу обстреляли штабную машину,— вполголоса сказал Никитин, взглянув на Княжко.— Сообщил патруль. Он знает об этом?

— Вчера? Обстреляли? — подхватил Гранатуров.— Ну-ка, Княжко, вопрос щенку! Они стреляли?

«Неужели вот такие молокососы устроили засаду в лесу? — подумал Никитин, пытаясь соотнести обстрел машины с видом этой сгорбленной, жалкой мальчишеской спины немца и его мокро хлюпающего носа.— Просто не верится. Да им кашу манную есть, а не из автоматов стрелять. Не может быть, чтоб такие, как он!..»

— Что там этот хмырь мокроносый мычит?— угрожающе спросил Гранатуров, не снимая руку с кобуры.— Если не ответил, повторить вопрос, еще повторить, Княжко! Вчера стрелял, а сегодня в разведку пошел? Эт-то пусть ответит!

Княжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел:

— Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе, у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны — расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил о сучок ногу, не мог идти... Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце.

— Вот гад! — пренебрежительно сказал Меженин, имея в виду не то ефрейтора, не то Курта.— Повесить мало! Всех до единого! Я б им припомнил «хайль Гитлер!». Они б у меня покрутились!

Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки, скулы его заметно теряли смуглоту, приобретали серый оттенок.

— Значит?.. Отказывается говорить? Так я понял, Княжко? — сниженным до подземного рокота басом выговорил Гранатуров, зрачки его вдруг слились с шальной жутью глаз, и он дико тряхнул головой в сторону двери.— А ну-ка выйдите все, только братца немочки оставьте! Я поговорю с этим онанистом, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали! Он у меня шелковым станет, мразь вервольфовская!.. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить!

— Змеиное семя! Чикаемся с ними! Все они тут — фашистское отродье, душу их умотать!..— выматерился

Меженин жестоко.— Наших людей мучили, а тут еще молчит, выкормыш гитлеровский! Стрелял вчера?

Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в сорок первом с семьей Гранатурова в Смоленске (отец его, кажется, был директором школы, мать — учительницей), о чем сам он мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьей силой его плечи и чугунной гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина там, с немкой, в мансарде, точно бы зараза насилия полыхнувшим пламенем внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага,— поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный.

Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин, и в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты — с рыданием она кинулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что́ должно было произойти сейчас; она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой:

— Kurt, Kurt, Kurt!.. Antworte!.. [1]

— Меженин! — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта.— Убери эту мокрохвостку к едреной матери! Выйдите все! Я поговорю с ним! И этот слюнявый скорпион стрелял в нас! А, Меженин?..

Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, рванул, оторвал ее от Курта, и тот же неузнаваемый накаленный голос Княжко хлестнул зазвеневшим выстрелом:

— Назад!..

И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и, бледнея, стал

---

[1] Курт, Курт, Курт!.. Отвечай!..

между Гранатуровым и Куртом, произнес непререкаемым голосом приговора и Гранатурову и себе:

— Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых! Вам ясно, комбат?

— Меженин! Выйдите отсюда! — подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Княжко.— Чтоб вашего духа здесь не было!

— Ишь ты, лейтенант!..

Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчушки им, оказывается, дороже, а?» — и, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе.

— Ну, ну-у! — понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку.— Так, мушкетеры сказочные, значит, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны? Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я?..

И, уже видимым усилием заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, он договорил:

— Из-за этих щенков? Может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них? Ох, Княжко, Княжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо! Враги мы или в одном окопе сидим?

Но Княжко молчал. Бледность не сходила с его лица, оно было все так же упрямо, твердо, и было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос — и Никитин невольно подумал: «Да, он в самом деле — механизм».

— Так вот,— заговорил очень внятно Княжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров.— Совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы — хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят.

Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану.

— И отделавшийся испугом божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору? Так следует понимать, Княжко?

— О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так! Двадцать мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался.

— Ой, как мило!

— Что «ой»?

— Автоматы и фаустпатроны — сосочки, Княжко?

— Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не...— Княжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую в кровь искусанные, вспухлые губы, закончил равнодушно: — А не с цыплятами.

— Ой, как все мило, лейтенант!

— Хочу напомнить,— непререкаемо продолжал Княжко.— Вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И, повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?

«Да, Княжко упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь! Но почему он так уверенно принял решение, вот что неясно»,— подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Княжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Княжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал:

— Я согласен с тобой. Боя не было, мы их в плен не брали.

— Прекрасно,— произнес Княжко.

Гранатуров, с вытянутыми на ковер ногами, развалясь, уронив к полу здоровую руку, сидел в позе утомленного человека, насмешливо и терпеливо выжидающего, чем все это может кончиться, а когда нахмуренный Княжко подошел к немцам и быстро заговорил с ними, он выдул всей грудью сильную струю воздуха, выговорил:

— Не много ли, Княжко? Не много ли на себя взято? Ох, как загнуто! Не заплакать бы от такого приказа.

Княжко, однако, не ответил ему, не прервал разговора с немцами, и Никитин видел, как дрожаще отвис подбородок у растрепанно некрасивой Эммы, как нервически толкнулась вбок, от плеча к плечу, продолговатая птичья голова Курта, и неизвестно почему пришла раздраженная мысль, что этот мальчишка, худой, нелепый весь, не от мира сего, так ни разу и не снял во время допроса большие свои очки, придающие ему несуразный облик болезненно комнатного вундеркинда, и стало смутно на душе — он сказал неприязненно:

— Интересно, умеет ли он стрелять?

— И дурак умеет,— бросил Княжко и, заканчивая объяснительный разговор с немцами, заключил дважды произнесенными командами:

— Alles! Alles! [1]

Было непонятно — вслед за этим командным «аллес» Эмма узкими шажками приблизилась к Княжко, не подымая заплаканных глаз, сделала короткое приседание, затем неожиданно и несколько стыдливо присела перед Никитиным, сказала запухшими губами с подобострастной благодарностью: «Danke schön, Herr Offizier!» [2], после чего тронула безвольную кисть своего брата, должно быть еще не поверившего в спасение в этот последний момент, и с заискивающим лицом повела его за руку, видимо, на правах старшей сестры, к двери. Он пошел за ней, неуклюже заплетаясь сапогами, а ребячий, с глубокой ложбинкой затылок его боязливо вжимался в воротник мундира, вероятно ожидая окрика или выстрела в спину.

— Alles,— повторил по-немецки Княжко, когда дверь за ними закрылась, и, взглянув на ручные часы, сказал серьезно: — Кажется, пора подышать свежим воздухом перед сном. И заодно проверить часовых.

Минуту длилось молчание.

— Эх, господа офицеры, господа офицеры, аха-ха...— выдохнул Гранатуров, разжав сцепленные челюсти.— Много взято — кому платить? А если что, кому-то из нас придется отвечать... не погонами, а головой.

— Да? — бесстрастно удивился Княжко.— Что ж, погон пара, голова одна,— отвечу, товарищ старший лейтенант.

Никитин сказал:

---

[1] Всё! Всё!

[2] Очень благодарна, господин офицер!

— Я с тобой. Сам проверю часовых на всякий случай.

— Проверять их надо без всяких случаев,— ответил Княжко и, чистоплотно сдунув невидимые пылинки с пилотки, надел ее.— Пошли, Никитин.

— А? Куда? — спросил Гранатуров размышляюще, и задумчивое смуглое лицо его, повернутое к Княжко, передернулось тоскливо.— В медсанбат? Напрасно. Думаю, Галочка спит в это время, лейтенант.— И он затрещал стулом, с притворным томлением распрямился своим двухметровым телом.— Замещаете меня и взяли на себя всё? Крепко! А если этот гадкий утенок со своим братцем пришла с целью пошпионить, то что вы ответите смершу, господа офицеры? Придумали ответ? Так вот: придумывайте за троих, чтоб скопом было. Я все-таки люблю вас, дьяволы, за рискованность!..

Княжко набросил на плечи плащ-палатку, не принимая полушутливого тона Гранатурова, жестковато ответил:

— Придумывать не стоит. Именно тогда займется трибунал мной, товарищ старший лейтенант. — Он строевым жестом поднес руку к пилотке, добавил смягченно: — Лучше всего располагайтесь до утра на диване. Спокойной ночи!

— Будь здоров, лейтенант.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподымал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей, без единого звука тишине городка, из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями на западе недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна, и крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника — все было затянуто синим дымом, по-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового, и тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал.

Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундиро-

ванию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что́ разбудило его внезапно: возникли шаги на площадке лестницы, потом слабенько постучали в дверь — и затихло.

Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно-чистое.

— Кто там? — крикнул Никитин.— Ушатиков, вы?

В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке:

— Darf man herein, Herr Offizier?..[1]

«Что такое? — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью, и в голове его туманно мелькнуло: — Это та фрейлейн Эмма? Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате мансарды, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром... Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?»

И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности:

— Входите. Херайн. У меня не заперто.

Дверь легонько толкнули, она медленно приотворилась, проскрипела — и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма, закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь вроде бы одеревеневшими губами:

— Guten Morgen, Herr Offizier, guten Morgen![2]

— Guten Morgen,— ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел, и, запинаясь, усиленно напрягая в памяти школьные знания немецкого языка, попытался спросить:

— Vas ist das? Warum?[3]

— Ihr Kaffee, Herr Offizier. Bitte schön[4].

---

[1] Можно войти, господин офицер?..
[2] С добрым утром, господин офицер, с добрым утром!
[3] Что это? Зачем?
[4] Ваш кофе, господин офицер. Пожалуйста.

Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно-ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо-невыспавшимися, вопросительными глазами.

— Was ist das? Warum? — повторил он ту же школьную фразу.

— Bitte sehr, Herr Offizier, bitte sehr. Guten Morgen! [1]

— Guten Morgen, — пробормотал он, томясь и не находя что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель.

— Bitte sehr.

Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели, ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной, прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил, как в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном (запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах, и так же по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда взвод занял его). И он зачем-то подумал, что немка по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом,— ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском; и еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки, они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа, и лишь один рот был прежним — некрасиво вздутым, искусанным.

Он отвел взгляд, вспомнив ее придушенной подушкой, распростертой, раздавленной в постели, где сейчас лежал он, ее зажатые вскрики «nein, nein», ее в сопротивлении двигавшееся колено под лунным светом из окна, и со стыдом от того, что она должна была помнить это, почувствовал влагу испарины на лбу.

— Danke [2],— чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал: «Как это неудобно — кофе в постель. Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?»

Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил

---

[1] Пожалуйста, господин офицер, пожалуйста. С добрым утром!
[2] Спасибо.

глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошая всю чашечку, и поставил ее на подносик.

— Danke,— сказал Никитин и, чтобы как-то выказать необходимую, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал: — Прекрасный был кофе. То есть... wunderbar, ausgezichnet Kaffee [1]. Спасибо.

— Bitte schön, Herr Offizier. Спа-ас-ибо?..

Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его, — от этого ее приседания в разрез халатика выглянуло белое круглое колено,— и он, уже горячо краснея, тотчас отвернулся к стене, снова вспомнив тот момент вчерашней ночи, когда вбежал в мансарду и различил на постели темную шевелящуюся массу и это безобразно отогнутое ее колено.

— Danke, — опять пробормотал Никитин и посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко, как отражение в воде, расходились розоватые блики солнца.

«Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла,— поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности.— Она здесь, а я не одет. Как ей сказать: «komm», «weg», «zurück»? [2] Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться и сказать: «Danke, zurück»? Каким с ней быть — вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина. И наверно, она боится меня. Что она говорит? О чем она говорит?»

— Herr Leutnant... Hamburg, Kurt dort [3],— разобрал он отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза.

— Черт... я не понимаю по-немецки,— сказал он.— Знаю немного. Что? О чем вы?

А она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе, тонкий голосок ее звучал чуждо, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу, и Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг соединил по смыслу несколько знакомых слов:

---

[1] Спасибо... чудесный, отличный кофе.
[2] «Пошла», «прочь», «назад».
[3] Господин лейтенант... Гамбург, Курт там.

«Kurt», «nach Namburg»[1], увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил:

— Как? Курт ушел?.. Kurt kommt nach Hamburg?[2] То есть...— Он так же пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: — Гамбург? Курт? Один? Kurt ein? А вы?

— Курт, Курт...— Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что опрятно вымытые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди — и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то.

Он не понимал и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился,— и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице, оно становилось то умоляющим, то недоверчиво-радостным, то погасшим; и тогда наконец он принял единственное решение:

— Послушайте... где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его. Bitte, geben Sie mir Buch. Kleines Buch.— Он показал на комод.— Кажется, там. Deutsche-russische Buch?! Прошу вас. Bitte...[3]

Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!», проворно поставила подносик на комод, обеими руками бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая:

— Bitte schön, Herr Leutnant.

Он развернул разговорник, пролистал главы: «Допрос пленных», «Разговор в сельской местности», («А, все не то, все не то!»), остановился на главе «Разговор с мирными жителями», сказал в приготовленном внимании к нужным фразам:

— Noch einmal... Langsamer sagen Sie bitte[4].

— Ich bleibe-e... hier... mein Haus... mein Zimmer... — для чего-то сама коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее при-

---

[1] «Курт», «в Гамбург».

[2] Курт ушел в Гамбург?

[3] Пожалуйста, дайте мне книгу. Маленькую книгу... Немецко-русская книга?.. Пожалуйста...

[4] Еще раз... Говорите, пожалуйста, медленнее.

кладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой. — Ich, ich... bleibe hier... Haus...[1]

Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы («Haus» и «Zimmer» были известны со школы) и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас, воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями: «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты?», «В верхних комнатах никого нет?», «Кто хозяин этой квартиры?»

— Не понимаю. Nicht verstehe,— бормотал он, сердясь на себя.— Как болван немой! Что вы говорите? Haus? Zimmer?[2]

— Ein Moment, Herr Leutnant! Entschuldigen Sie...[3]

Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сокровенно-теплым телесным запахом халатика; он рядом, избоку увидел край ее ясного, внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной, шелковистой брови и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением:

«Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна... Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».

— О! — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам и обрадованно и вместе виновато попросила его шепотом: — Lesen Sie russisch, Herr Leutnant[4].

«Как ей сказать? Как?»

Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала ясна лишь по переводу на русский язык: «Вы беженцы? Из какого города?» — «Нет, это наш дом, мы останемся здесь».

— Ich bleibe. Ich bleibe... Kurt in Hamburg, ich bleibe[5],— говорила Эмма тихо, убеждающе и страстно, и тут он наконец догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешения, хочет остаться здесь и боится,

---

[1] Я остаюсь... здесь... мой дом... моя комната... Я, я... остаюсь здесь... Дом...

[2] Не понимаю. Дом? Комната?

[3] Одну минуту, господин лейтенант! Извините...

[4] Читайте по-русски, господин лейтенант.

[5] Я остаюсь. Я остаюсь... Курт — в Гамбурге, я остаюсь.

что ей не позволят этого — быть в доме, занятом русскими солдатами.

«Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург? — возникло подозрение у Никитина.— И почему она обращается ко мне, а не к Княжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право не разрешить ей жить в своем доме? Глупо!.. Если она осталась, то нет сомнения — Курт не ушел в лес...»

— Гут...— Он захлопнул справочник и бросил его на стул, сверху обмундирования, придавленного кобурой пистолета — Gut. Bitte. Gut. Das ist,— начал подбирать он слова: — Das ist... richtig [1].

— О, Herr Leutnant! Danke schön, danke! O, Herr Leutnant! [2]

Она повернулась к нему, вся просияв, счастливо обдав его солнечной синью засмеявшихся глаз, и с легким стоном облегчения, с каким-то решенным замирающим выражением лица упала головой на его подушку, и он почувствовал на своей шее ее обнявшие прохладные руки, сладковато пахнущие туалетным мылом, почувствовал, как они, не размыкаясь, потянули его куда-то порывисто, в мягко-шершавую горячую бездну ее прижавшихся полураскрытых губ, не давших перевести ему дыхание, успел подумать, что происходит нечто ненужное, невозможное, опасное сумасшествие, которое надо сейчас, немедленно остановить, а ее дурманные, яблочного вкуса губы шептали что-то, нежно скользили, терлись, вжимались в его губы, и ее пальцы ослабленно искали его кисть, осторожно тянули вниз, в тайную, нагретую телом внутренность халатика. Он ощутил ее гладкий живот, атласно-гладкое бедро, до головокружения, до спазмы в горле пугающие обнаженной и страшной близостью, и в ту же секунду сделал движение высвободиться из притягивающей тяжести ее тела с прежней мыслью о ненужном, опасном, противоестественном, что вчера ночью насильственно могло произойти и не произошло вот тут, на этой постели, между нею и Межениным и чего она сама хотела сейчас. «Зачем?» — знойными искрами пронеслось в сознании Никитина, и он, взяв ее за плечи, покорно отдающиеся его рукам, чуть-чуть отстранил ее и в муке поиска потерянных где-то в тумане памяти слов прошептал отрывисто и хрипло:

---

[1] Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Это... это... правильно.

[2] О, господин лейтенант! Большое спасибо, спасибо! О, господин лейтенант!

— Эмма... nein...

— Sergeant nein... Soldaten nein! — вскрикнула она жалобно и, изгибаясь, прильнула к нему грудью, обняв его исступленно.— Danke schön. Danke...[1]

В этом его «nein» было что-то необъяснимое, чужое, невзрослое, никак не вязавшееся с его решительностью на мансарде прошлой ночью, он даже стиснул зубы от этого немужского вырвавшегося слова, встретив в упор раскрытую глубину ее глаз, недвижно-огромных, синеющих ему в глаза, почему-то вспомнил ощущение пронзительно тонкого и беспричинно радостного колокольчика, когда при восходе месяца над ночным городком он провожал Галю, подумал: «Я буду жалеть об этом? Я совершаю предательство?»

— Danke schön, mein Leutnant. Danke schön!

— Danke schön?..— проговорил он механически, едва понимая и не веря ей.— Warum? Warum? Почему «danke schön»?

— Ich, ich... Ruhig...[2] Тсс!..

Она вскочила с кровати, щелкнула замком двери и, мелькая ногами, вернулась к постели, покорно опустилась на коленки и припала лбом к его плечу, спутав, навесив волосы на лицо.

Он слышал ее шепот, прерывающийся дыханием; она, странно, уголками рта улыбаясь ему из-за навеса волос, вдруг легла, гибко повернулась на спину и начала робкими рывками развязывать тесемки, с гримасой стыдливости сдергивать непослушный халатик и, уже бесстыдно вытягивая возле него длинное молодое тело, открыв маленькую млечно-нежную грудь, торчащую розовым острием соска, опять зажмурясь, ощупью нашла его руку и провела ею по своим целующим губам, по шее, по груди, ознобно дрожа и всхлипывая сквозь стук зубов.

«У меня никогда еще этого не было. Только тогда, в окружении...— с ужасом подумал он, стараясь сдержать и не сдерживая передавшуюся дрожь ее зубов.— Но ведь она немка, а я русский офицер...»

— Эмма... Эмма...

И он, оглядываясь на дверь, пересохшим голосом невольно повторял ее непривычное на звук имя, весь пронизанный знойным током, испытывая стыд, растерянность от своей нерешительности и преодолевая унижение нерешительности, убеждая себя, что это уже никогда не

[1] Сержант нет... Солдаты нет!.. Большое спасибо. Спасибо...
[2] Я, я... Тихо...

повторится в его жизни, губами отвел с замершего лица ее медно-желтые, влажные, пахнущие сладкой карамелью волосы, приник, вдавился губами в ее ищущий, подставленный рот.

...Они лежали на чердаке среди неумятых груд старого сена, и он все время чувствовал, что она из темноты смотрит на него; в лучике лунного света, проникающего через щель крыши, глянцевито поблескивали ее глаза; она говорила, вздрагивая:

— Слушай, почему ты отодвинулся? Ты брезгаешь мной? Правда, мы так давно не мылись. Какие мы потные, грязные... Слушай, мы не прорвемся из окружения. Они утром войдут в деревню. Слышишь, как тихо?

— Да.

— Я сегодня почему-то испугалась смерти. Ты помнишь Клаву из противотанковой батареи?

— Да.

— Ее убило утром, когда мы хотели второй раз прорваться. Ты видел, как ее убило?

— Нет.

— Хорошо, что ты не видел. В воронке осталась санитарная сумка. Нет, клочки — вата, бинты... и что-то еще страшное. А она была красавицей, помнишь? Вы все глазели на нее, когда она приходила ко мне. Но она была недотрога. И никто из вас... Я и сейчас помню, какие были прекрасные у нее глаза! И фигура. Как статуэтка. И ничего нет. И вот — всё...

Он молчал, у него не было сил пошевелиться, ответить ей, вспомнить глаза и фигуру Клавы, санинструктора противотанковой батареи, где не осталось на второй день окружения ни одного целого орудия. Тогда, расталкивая сено, она пододвинулась ближе к нему, прижалась боком, с задержанным дыханием завела одну руку за его шею, другой стала расстегивать пуговицы на его пропотевшей за три дня боев гимнастерке и, расстегнув пуговицы, неуверенно просунула маленькую кисть к потной, липкой его груди; ее узкая, огрубелая, несколько дней не мытая ладонь так незнакомо нежно и так выжидающе гладила его грудь, касаясь кончиками пальцев его подмышек, что он подумал, внезапно замерзая от темной ревности и от этих порочных прикосновений: «С кем у нее было так?»

— Слушай, у меня есть спирт в сумке,— зашептала она, похоже, плача, частым нажатием губ целуя его в

край рта,— дать тебе? Хоть спиртом обтереть лицо. Только не смотри на меня. Я сейчас... Может, так нам будет лучше. Мы не вырвемся из окружения, я знаю. Хоть так пусть будет. У тебя когда-нибудь это было... с женщиной?

— А у тебя?

— Когда-то в детстве. Но это было игрой. В каком-то сарае... Понимаешь? Ты только не ревнуй. Разве тебе не все равно?

— Не знаю.

— Не надо ревновать. Ты лежи, а я буду целовать тебя. Потом ты меня будешь целовать.

В ту же ночь, перед холодным рассветом, когда они оба лежали истомленно, тесно обнявшись во сне после того, что вдвоем познали здесь, на чердаке окруженной деревни, он был разбужен гулкими, вибрирующими звуками — дрожала земля в накатах внутренних сотрясений — и с острыми толчками в сердце открыл глаза. Обнимая его, она спала на его руке, и, словно успокоительно найдя защиту, лежала теплая тяжесть ее головы, лицо было детским, доверчивым, чуть обиженным, и он ощущал терпковато-миндальный запах ее волос, испытывая к ней какую-то болезненную жалость от вчерашних ее попыток быть чистой, тупую горечь от того, что они не почувствовали друг от друга ожидаемого облегчения в неумелых и торопливых объятиях.

А за фиолетовым оконцем чердака все явственнее, все ближе накатывал клокочущий рокот моторов, вскоре желтый свет пополз по задребезжавшему стеклу, с улицы взметнулась из танкового гула неразборчивая команда на немецком языке... Он прислушивался, еще не видя, что было возле дома на улицах, но уже знал: немцы занимали деревню, где оставались после разгрома дивизиона лишь несколько солдат и они — двое. И с холодеющей пустотой в груди он выпростал руку из-под ее головы, встал к чердачному оконцу. Загородив улицу, в огне фар густо шла колонна танков, тянулась по обочине двумя цепочками пехота.

— Вставай! Быстро! — Он потряс ее за плечо, лихорадочно застегнул ремень.

Она не сразу сообразила, в чем дело, сонная, скривилась даже: «Что? Куда ты?», но, когда сообразила, он не дал ей сказать ни слова, шепотом скомандовал, чтобы не отставала ни на шаг, и, вздернув автомат на изготовку откинул дверцу чердака, первый спустился по лестнице

вниз, в сыроватые сенцы оставленного хозяевами дома.

Весь дом гудел, наполненный ревом танков, железным скрежетом гусениц, позвякивали стекла, оранжево вспыхивали под боковым скольжением танковых фар, и мелко звенела дужка порожнего ведра в сенцах, пропахших плесенью запустения.

— Мы не выйдем отсюда... Я так и думала,— сказала она шепотом, спустившись следом, и как бы без надежды на спасение прислонилась виском к его спине.— Куда нам бежать? Они убьют нас, лейтенант...

— За мной! Не отставать ни на шаг! Через огороды... к лесу! — выговорил он, раздраженный ее шепотом, ее плачем без слез, в котором было обреченное бессилие.— На! Возьми мой пистолет! Стрелять умеешь?

— Нет, нет... Я умею только перевязывать раненых.

— А, черт, смотри! Надо нажимать вот здесь. Спусковой крючок. Прицелиться и нажимать!

Потом они бежали огородами по развороченным, рыхлым грядкам, плохо видя среди темноты окраинные дома, проваливаясь в воронки, падая в жестяно звеневшее на ветру будылье кукурузы, они оба задыхались и теперь ничего не слышали, кроме бешеного стука крови в ушах. Слитый гул моторов, немецкие команды танкистов из открытых люков, низкое мельканье фар меж домов уже стали отдаляться влево, и они, бросками миновав огороды, добежали до края сереющего в рассветном воздухе поля, различая черную под пространством фиолетового неба гряду леса за ним.

Он не то чтобы пропустил роковой момент, когда на краю поля с сухим потрескиванием разрезала потемки ракета, пышно и фосфорически осветлив воздух, деревянный мостик над полосой воды, он слишком поздно увидел впереди на бугре два силуэта, слишком поздно услышал лающий окрик «Halt» [1] и только кинулся на землю, за руку рванув ее, притиснув головой к колючей влажной стерне, автоматная очередь прогремела над ними.

«Halt! Halt!» — вместе с ударами сердца звучало в его ушах.

И, бросив для упора на предплечье ствол автомата, он прошептал ей с верой в единственный выход:

— Их двое... Они сейчас подойдут, я дам очередь!..

---

[1] Стой!

И бегом через мост! На мосту стреляй из пистолета, хоть в воздух! Поняла?

— Я постараюсь, я буду стрелять. Я поняла. Я буду...

Немцы не подходили. Смутно выделяясь на бугре, они стояли шагах в двадцати под звездами, переговаривались вполголоса, потом вновь оглушила разрастающимся треском, шипением ракета. И в тот миг он разорвал, заглушил все звуки длинной ослепляющей очередью. Он стрелял снизу и снизу хорошо видел их на бугре, который проступал над рекой полукругом, был темнее рассветного неба, и хорошо видел, как они плашмя упали там, слились с землей.

В оглушенной тишине донесся спереди человеческий вскрик настигшей боли, звяканье железа, как будто автомат ударился на земле о каску, и с охолонувшим его чувством убийства и яростного освобождения после убийства он крикнул ей не своим голосом:

— Быстрей! Через мост! Не отставай! Только не отставай!..

Он вскочил и с тем же жадным чувством спасительного убийства, выпаливая очереди по бугру, бросился к мосту не напрямик, а делая сумасшедшие изгибы, зигзаги по полю, пока не находя открытого прохода к реке, а когда, перестав стрелять, выбежал на берег, пустой бревенчатый мост виднелся в пяти метрах перед ним, и вода отсвечивала под небом разлитым марганцем.

— Лейтенант, подожди! Я не могу... Подожди!..

Она догнала его, не в силах справиться с зашедшимся дыханием, лицо стало пугающе белым, и, в изнеможении придерживая санитарную сумку той рукой, в которой был пистолет, она выдавливала шепотом:

— Я упаду... подожди, я не могу...

— Брось сумку, брось, говорят! За мной на мост! Проскочим — и в лес! Брось все! Беги на мост!

— Нет, не могу, милый, подожди...

Она, в конец задохнувшись, закрыла глаза, опускаясь на землю, и тогда, подчиненный грубой инстинктивной решимости, он дернул ее за плечи, потащил за собой, вытолкнул вперед, гневно скомандовал:

— Беги! Я — за тобой! Ну! Я прошу тебя!..

Они ступили на деревянные настилы, и тут она качнулась на подкошенных ногах, схватилась за перила моста, и, перебирая руками, сделала так несколько вялых шагов. Она всхлипнула:

— Не могу, не могу...

— Ну! Что ж ты? Да что ты?..— крикнул он в диком безумии, оттого что не мог заставить ее бежать и уже не имел права бежать сам, и опять с такой неистовой грубостью дернул ее за плечи, что она чуть не упала, отрываясь от перил.

— Быстрей, быстрей!

Но как только они побежали по мосту, сзади взорвалась, заколотила пулеметная очередь, трассирующие пули горячим сквозняком взвизгнули, пронеслись над ними, шевельнули волосы на голове, и он с разбегу бросил ее на настилы бревен и, лежа вплотную к ее телу, обернул к ней искаженное страшным криком лицо:

— Отползай! На тот берег! Я догоню!.. Ползи отсюда, быстрей!

Он минуту назад был уверен, что убил первой очередью тех двоих немцев на бугре, охранявших мост, но было ясно: кто-то третий еще оставался в береговом окопчике с пулеметом и открыл по ним огонь, скоро заметив их на мосту.

Ожидая тупой и огненный удар смерти, он хрипел: «Отползай, туда, за мост», и, не глядя, как она поползла, услышал лишь ее стон и ее передвижение по настилам, просунулся под деревянную защиту перил, охваченный мертвящим ознобом, положил на бревно ствол автомата, ослепленный вспышками на бугре, молниями трасс, высекающими осколки щепы из крайних к воде лесин.

Палец потерял чувствительность на спусковом крючке, окаменел в упругом охвате морозного железа, а когда отдача очередей забила в ключицу, мысль о близкой спасительной воде не покидала его: если его тяжело ранит, то он еще сумеет подняться, перевалиться через перила и ринуться туда, вниз, в вечное ничто или счастливую свободу.

— Отползай! Отползай! — кричал он.— С моста! Уходи с моста!..

Он стрелял длинными очередями, не отпуская занемелого пальца со спускового крючка, и еле очнулся от тяжкой тишины: автомат пусто клацнул без выстрела и смолк. В горячке он не рассчитал патроны. Обморочно звенело в ушах. Пулемет на бугре тоже смолк — вспышек там не было. Он вскочил и, пригибаясь, бросился по мосту к тому берегу, слыша в чудовищном затишье свое дыхание и гулкий грохот своих сапог по бревнам, с пьяным ощущением спасения, свободы пробежал до конца настила и там спрыгнул на землю, мешком скатился под насыпь в

скользкую мокрую траву — и, падая, задыхаясь, увидел то, что не предполагал увидеть после удачно законченной перестрелки и прорыва через мост.

— Что? Что у тебя?..

Она сидела под насыпью, расстегнув гимнастерку на груди, клочком ваты промокала, вытирала плечо, и он видел бесстыдно и страшно обнаженную, измазанную кровью ее грудь, которую этой ночью на сеновале (впервые в жизни) целовал, трогал, робко ласкал пальцами ее шелковистую кожу; видел вату, пузырек со спиртом, выливаемым сейчас на комок ваты, тот пузырек, вынутый ею тогда из сумки на чердаке, чтобы смыть с себя пороховой запах боев перед тем, как обоим испытать сладкую боль от первых прикосновений, от неумело слитых губ, ищущих любви, этого последнего успокоения, на колких ворохах сена, в лунном осеннем холоде окруженной немцами деревни.

— Когда тебя ранило? Где? Как это?..— повторял он, потрясенный видом крови на ее груди — мягкость и упругую нежность и запах ее он еще до сих пор помнил,— и с попыткой помощи, в ошеломлении неожиданной беды рванул из санитарной сумки бинт, говоря прерывистыми выдохами: — Я перевяжу тебя. Мне удобней. Я помогу тебе.

— Да, помоги мне,— прошептала она смертельно посинелыми губами, не стыдясь его, а он видел, с каким трудом разомкнулись они, безжизненные, представил, насколько холодны они были сейчас, насколько не нужно им было теперь ничего, кроме его помощи. И в бессилии перед случившимся, не зная, чем облегчить ее страдание, ее боль, он содрогнулся от пронзившей его жалости к ней, от собственной вины и ненависти к себе: зачем он гнал ее, зачем заставлял бежать вперед, зачем командовал, грубо дергал ее за плечи— неужели на мосту она была уже ранена!..

— Ты прости меня... Я ничего не заметил, я не видел, когда тебя ранило! Тебя ранило на мосту?..— зачем-то говорил он, в мутном ожесточении сожалея и оправдываясь, и все поправлял и затягивал сползавший бинт на ее груди, на ее плече, ужасаясь набухающему темной влагой бинту и тому, что она не сможет, вероятно, долго вместе с ним двигаться.— Нам надо идти... пока темно,— убеждал он.— Ты можешь идти? Метров триста до леса, а там — уже все!.. Будешь держаться за меня... Мы медленно пойдем! Ты встань, встань, пересиль себя, встань и пойдем!

Я не хочу в плен, лейтенант,— простонала она.— Но я не могу. Сейчас, подожди. Помоги мне, пожалуйста.

Он помог ей подняться и некоторое время держал ее в объятиях, растерянный, чувствуя вздрагивание ее обмякшего тела, ее потный лоб, прижатый к его подбородку; она держалась за его ремень.

Потом они пошли по полю, подобно неразлучным влюбленным, не разъединяясь, шли одинаковыми рассчитанными шагами, она, обвисая на нем, обнимала его за талию. А он не ощущал ни женственной упругости ее бедра, трущегося о его бедро, ни ее родственного тепла, слышал отдаленное гудение танков справа и за спиной, всякий раз оглядывался на разрывающий темноту свет ракет в стороне от дороги, где катилась колонна, и, боясь увеличенной тяжести ее шагов, боясь, что она упадет, хриплым шепотом повторял, что главное — дойти до леса, главное— пройти это поле, а там уж отдохнем и прорвемся к своим...

В лесу они, подкошенные усталостью, упали на груду осенних листьев, и сразу тяжелое забытье бросило их в жаркую обморочную тьму, но, казалось, минуту спустя он был разбужен беспокойством, тревожно возникшими звуками — над шумящими деревьями, сквозь мотание ветвей и желтую метелицу срываемых ветром листьев светило студенистое ноябрьское солнце. Она, согнувшись, сидела возле, положив на колени пистолет, смотрела прозрачным долгим взглядом на свой палец, слабо трогая спусковой крючок, слезы текли по ее щекам, и почему-то она звала его плачущим голосом человека, который не в силах решиться:

— Лейтенант, лейтенант...

— Дай сюда! — крикнул он и сел, выхватил у нее пистолет и, спешно пряча его в кобуру, выговорил с неприятием и непониманием: — Зачем? К чему тебе оружие?

Она подняла голову к неяркому в оголенных ветвях солнцу, глотая слезы, по горлу прокатывалась судорога невылитого плача.

— Ты меня жалеешь, лейтенант? — спросила она, мокро хлюпая носом.— Мне приснилось страшное... Как будто я лежу в траве — и муравьи ползают у меня по лицу. Стало очень страшно — и я проснулась. Лейтенант... милый, ты будешь меня жалеть?..

— Перестань говорить об этом! — оборвал он, страшась ее слов о муравьях; он не однажды видел их на ли-

цах убитых, как видела, наверное, она, и, не представляя ее мертвой, лежащей в траве, не хотел представлять муравьев на ее лбу, бровях, неподвижных, неживых губах, потерявших тепло дыхания.— Пошли! Какие муравьи осенью! Пошли! — хмуро сказал он, чтобы кончить этот разговор, и требовательно попросил: — И больше ни слова об этом! Дойдем как-нибудь. Здесь совсем недалеко.

Он подставил плечо, помог ей встать, и она, застонав, подаваясь к нему, внезапно неловко и преданно стала целовать каким-то очень холодным, запекшимся ртом его небритый подбородок, сукно насквозь пропотевшей гимнастерки около погона, и утраченный голос ее опять пронзил его огненной жалостью:

— Ты самый близкий, самый единственный... Больше у меня никого не было. Ты ведь любишь меня, лейтенант? Ты со мной не просто так?

— Пошли, я помогу, пошли! Я люблю тебя! — проговорил он глухо, не глядя ей в отыскивающие его взгляд глаза; он лгал ей: бегство из занятой немцами деревни, колонна танков на улице, стрельба в поле и на мосту, сознание безвыходного окружения, ее ранение, единственное желание — прорваться к своим через лес — все это выжгло, уничтожило в нем то, что было между ними ночью на чердаке.

— Пошли, нам надо! Опирайся на меня! Мы должны идти, мы прорвемся, осталось недалеко, за лесом — наши!..

Она подчиненно пошла с ним, обвив его за талию, ступала неровно, откидывая назад голову на ослабевшей шее, шепча изредка:

— Спасибо тебе, спасибо.

На вторые сутки у нее пошла кровь горлом. Это случилось утром после ночного перехода, после бесконечного блуждания по лесу, после того, как, окончательно выбившись из сил, они распластанно лежали в овраге близ ручейка на куче листьев и только дышали.

Потом ему послышался стон, кашель, мычание, и, когда увидел ее изуродованное страданием лицо, на котором удивление и боль еще боролись со страхом смерти, когда увидел ее искривленные брови, непризнающие глаза, алую струйку крови, выползавшую в уголках рта, он, точно затравленный, загнанный судьбой, заметался вокруг нее, ощутив рядом ледяной запах гибели. И, весь окаченный обмораживающим порывом несчастья, спрашивал ее, что надо делать, что ей нужно, что необходимо сделать,

как помочь, хочет ли она пить, что она хочет... Но она, беспомощно хватаясь за землю, сжатая удушьем, не понимала, не слышала живого человеческого голоса, по-прежнему сопротивляясь тому, что, невидимое, неумолимое, наваливалось, душило ее грудь. Тогда он, крича что-то самому себе бессмысленное, дикое, для чего-то кинулся к ручью, зачерпнул пилоткой воду и обратно рванулся к ней с этой наполненной свинцовой влагой чашей, вылил всю воду на ее лицо, уже тихое, страдальчески прижатое щекой к листьям, обращенное в никуда. И, погружаясь в хлынувший ужас ее недавнего страха, он в ту секунду почти обезумело представил, как завтра или весной начнут шевелиться, ползать муравьи по вот этим ее бровям, по вот этим ее очень темным неприкрытым ресницам.

Он стоял на коленях и отупело тискал мокрый комок пахнущей пóтом пилотки, а зубы его выбивали дробь, и горло замыкало сухими спазмами непоправимой вины и отчаяния.

Он похоронил ее в овраге, засыпав комьями земли и листьями.

Это была первая любовь Никитина на войне, если можно было назвать ее любовью.

«Скоро постучат в дверь — и все кончится...»

— Name, Name... mein Name Emma,— говорила она, смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым пытливым лукавством: — Bitte schön, Name... Jwan? Johann? Peter? Name... [1]

— Вадим,— ответил он, поняв, что она спрашивала.

— Vadi-im,— произнесла она протяжно и обрадованно засмеялась, снова приложила щепотку пальцев к его и своей груди (так делала она тогда на допросе), выговаривая по слогам: — Va-di-im, Em-ma, Va-dim, Em-ma... Verstehst du? [2] Va-di-im,— повторила она и полуоткрытыми губами мягко потерлась о его губы.— Em-ma, Va-di-im...

— Эмма,— сказал он шепотом и в звенящем дурмане вновь почувствовал, как ее длинное тело все плотнее, все гибче прижимается к нему, и рука ищет, нетерпеливо

[1] Имя, имя... мое имя Эмма... Пожалуйста, имя... Иван? Иоганн? Петр? Имя...

[2] Ты понимаешь?

тянет его руку к гладкой, нежной коже затвердевшей маленькими сосками груди, и, уже не сопротивляясь самому себе, окунаясь в волнистый знойный туман, он с желанием испытать то, что было несколько минут назад, начал целовать сквозь раздвинутые губы влажные зеркальца ее стиснутых зубов, ее в истоме последнего прикосновения выгнутую назад шею... а потом они лежали, утомленные, окутанные горячей пеленой, и, закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги:

«Что это со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?»

Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенное во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств не имел права перейти.

«Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить?.. Что же теперь!.. Как странно, непонятно и как прекрасно случилось это! Теперь... что же теперь? — думал он в обволакивающей дреме, в каком-то физическом опустошении, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, от какого момента и зачем случилось.— Нет, я офицер, и я должен отвечать за то, что делаю... Я никого не предал, и поэтому не важно, что будет потом со мной. Эмма, Эмма... Ей надо уходить. Скоро постучат в дверь — и все кончится...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Входите, Ушатиков! Что, скоро завтрак?

— Поздравляю, товарищ лейтенант!

— Это вы, Меженин? С чем? Война кончилась?

— А вот какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит, как в сказке, птицы поют, тишина — рай земной, а насчет конца войны — сообщений не поступило. Хорошо спали?

— Прекрасно. Несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты. Где Княжко?

— На дворе. Рапо пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить. Вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды — бриться.

— Спасибо за воду. Немного неясно: почему вы Ушатикова заменили? Он что?

Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты скул, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник, его светлые глаза невинно улыбнулись Никитину, точно между ними этой ночью ничего не произошло, глянули на смятую постель и притушенно помертвели. Никитин спросил официально:

— Вы хотите что-то доложить?

— Разговор личный есть, товарищ лейтенант,— лениво, без особой охоты проговорил Меженин.— Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток — и пистолет бы обнажили, а это дело не так было, как вам померещилось.

Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина.

— То есть? Как мне померещилось?

— Когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба, немочку, финтифлюшку эту рыженькую,— продолжал скучно Меженин, из-под заграды ресниц поглядывая на постель,— она в слезы от страху, видать, схватила меня за руку и к кровати потащила, мокрохвостка фрицевская. Завалила на себя, ну а тут вы... И привиделись вам сказки, страсти-мордасти. Вот так было...

Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его.

— Хотите рассказывать мне сказки, сержант? — проговорил Никитин и переменил направление разговора: — Что во взводе — в порядке?

— Как в аптеке,— ответил Меженин будничным голосом человека, не омраченного угрызением совести.— А немочка-то, а? Бодливая козочка с копытцами. Сама орет «нейн», а сама на себя валит. Видать, немецкие бабы за все хотят одним расплатиться. А вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный.

Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин, краснея, отвернулся, его ожег внутренний жар стыда, он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая, мнилось, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Межениным, и, превозмогая эту угнетаю-

щую непоследовательность, он ответил насколько возможно спокойней:

— Все, Меженин, это в последний раз. Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через пять минут.

Однако Меженин не уходил; тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, делая занятый вид, пощупал щеки, как перед бритьем, но тотчас заметил в зеркале нагловато-дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся лишней, чужой на его полноватом, красивом лице. И Никитин, словно ощутив тупой толчок в затылок, спросил:

— Что еще, Меженин?

— Да так, товарищ лейтенант...

— Что именно?

— Да с виду вы плохо ночь спали,— сказал Меженин и дрожанием ресниц будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз, достигших зрачков Никитина в зеркале.— Синячки у вас под веками, вид усталый, никак, бессонница, а?.. Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?

— Утром? Нет. А что?

— Сказки получаются. Чудеса-а!

— Какие сказки еще? Какие чудеса?

Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал тоном обыденного доклада — и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка:

— Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить и заодно немчишек — на всякий случай. Подымаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю — никакого шебуршения. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате — никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты,— голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления,— из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки... Думаю себе: что такое?..

Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и, этой неудержанной вдруг вспышкой стряхивая темную тяжесть с затылка, что не проходила, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно:

— И что? Что вы подслушали?.. Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова?

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Так? («Что я — оправдываюсь перед ним? Я лгу — и оправдываюсь?») И что еще вы подслушали?

Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленно и рассчитанно взвесившая все, что произошло вчера между ними.

— Ну и что вы хотите сказать, Меженин?

— Выходит так, товарищ лейтенант, немочку вы у меня отбили,— проговорил Меженин, не придав никакого значения вспышке Никитина.— Квиты мы вроде с вами. Квиты, да не совсем!

— А если яснее! В чем мы с вами квиты?

Меженин, вприщур изучая переносицу и лоб Никитина, заговорил после недолгого раздумья:

— Да вот мысль пришла, товарищ лейтенант, как бы это сказать? За связь с немочкой офицера по шерстке не погладят. Разложение приклепают. В штрафной загреметь можно. Но я мужское дело понимаю. Шито-крыто, завязано. Только, за-ради господа бога, предупреждаю: не давите вы меня. Не терплю, не люблю я узду, сами знаете. Характер такой. Это я тоже по-мужски говорю. Война вон большой шапкой накрывается. Конец скоро! Тихо, мирно доживем, довоюем как-нибудь.

Он говорил однотонно, неоспоримо, как говорят независимые люди, убежденные в своей силе, не сомневаясь, что их правильно поймут, и в самоуверенности его был опыт потертого обо все острые жизненные углы человека, готового не осложнять положение при взаимных уступках. И Никитин, уже теряя выдержку, все-таки спросил со злым любопытством:

— Значит, я во всем мешаю вам, сержант?

— По-мужски говорю,— скучно повторил Меженин.— Так лучше будет жить, товарищ лейтенант. Обещаю законно, один на один,— спокойненько буду вам подчиняться, а уж вы в дела некоторые мои не суйтесь.

— Какие дела?

— Да мало ли какие,— ответил Меженин неожиданно закаменелым голосом.— Речка между нами протекает, товарищ лейтенант. Вы на этом берегу, а я — на том. Давно переплыл я ее. И будь здоров, по ноздри нахлебался. А вы еще не поплавали. Не хлебнули сполна. По

травке, как в детстве, бегаете, хоть и воюете, как штык. А разного-всякого ни хрена не чуяли. Вот об этом дела. Малец вы против моей жизни. Откровенно говорю. Так что — не мешайте!

— Слушайте, сержант! — не сдержавшись, выговорил Никитин.— Мало того, что вы под дверью шпионили, подслушивали, как старая баба, вы еще угрожаете мне! Так вот знайте: никаких ваших «спокойненьких» дел, вроде житомирских, не будет! Идите во взвод! Вам ясно? Идите!

Меженин сокрушенно опустил ресницы, подвигал по скулам желваками, отчего маленькие, по-женски красивые уши его, казалось, зверовато прижались, предупредил дремотным тоном сожаления:

— Глядите, товарищ лейтенант, не обожгитесь об меня. Раскаленный я бываю, тогда сам себя боюсь. Хотел мужской разговор поиметь с вами. А вы мне старое вспомнили. Забыл я старое...

— Хотите, чтобы я вспомнил вчерашнюю ночь?

— Ссориться со мной не надо, лейтенант. Нужный я вам человек. А насчет вчерашнего — темненькое это... Ночью-то все кошки серы. Померещилось вам. В голову все может прийти, ни одна душа не видела. А у меня глаза есть. Бог свидетель...

Меженин, скромненько вздыхая, изобразил подобие крестного знамения, глянул намекающе на смятую постель, потом лениво, нехотя повернулся и, раскачиваясь, вышел.

Никитин вспылил, не выдержав этой невозмутимой самоуверенности Меженина, его беззастенчивой циничности, этой предложенной им полусделки, полусговора, что само по себе подтверждало наивную слабость Никитина; Меженин безнаказанно мстил ему за вчерашнюю ночь и вместе за прошлое, за Житомир, хотя впрямую разговор и не касался старого, кроме одной фразы: «А вы мне старое вспомнили...»

«Старое» было в сорок третьем. Да, Никитин хорошо помнил то раннее туманное ноябрьское утро, когда немцы начали контратаковать и охватывать танками еще спящий город, помнил, как он получил срочный приказ командира батареи выдвинуться к западной окраине, занять новую позицию на танкоопасном направлении. С этим приказом вернувшись во взвод, он не обнаружил Меженина возле орудий. Он нашел его в одном из домов, близ огневых, где размещались на ночь,— пьяного,

безобразно опухшего, без гимнастерки, в обнимку с какими-то двумя молодыми женщинами, сидевшими за столом, хаотично заставленным грязными тарелками, порожними бутылками, банками консервов, сплошь заваленным плитками французского шоколада, кругами трофейной колбасы.

Вслед за Киевом Житомир взяли с ходу, немцы не успели вывезти продуктовые запасы, и батарея, поддерживая стрелковый полк, продвигалась мимо вокзала и первой наткнулась на оставленные в пакгаузах склады.

И тогда утром, найдя Меженина не во взводе, а в соседнем от огневых позиций доме, Никитин, не очень удивленный, приказал ему немедленно привести себя в порядок, умыться, одеться и идти за ним к орудиям. Однако Меженин, не дослушав его, шумно вздымаясь шатким телом из-за стола, вытолкнул навстречу ему визгливо захихикавшую, полураздетую женщину с черными непричесанными волосами, крикнул:

«Ты — интеллигент, лейтенант! Выпей-ка с нами и по-интеллигентски вот эту чернявую бабу попробуй, она в немецком госпитале работала, все знает! Небось бабу ни разу в жизни не трогал! Веди ее в другую комнату, не робь, лейтенант!»

Он захохотал, в горле его буйно заклокотало, и Никитина передернуло.

«Я жду,— сказал он.— Жду на крыльце пять минут. Быстро собирайтесь, Меженин».

Он ждал на крыльце, он еще верил, что сейчас выйдет за ним многоопытный Меженин, который знал: независимо ни от чего никто не был во власти отменить или изменить полученный приказ о выдвижении взвода на танкоопасное направление.

Но Меженин не вышел и через десять минут, и, еле осиливая нетерпеливую злость, Никитин снова вошел в комнату, душную от запахов водки, пота, жирных мясных консервов, опять с отвращением увидел блаженно-хмельное лицо Меженина, все так же без гимнастерки, в несвежей нижней рубахе, все так же сидевшего в обнимку с двумя женщинами; одна из них, черненькая, непричесанная, что давеча хихикала неприятно, визгливо, взасос целовала в разрез рубахи волосатую грудь Меженина, другая, крупная, широкоскулая, шептала что-то ему на ухо, в то же время украдкой нажимала туповатыми пальцами на плитку шоколада, разламывая ее на столе.

«Меженин! — крикнул Никитин, чувствуя, что присутствует при совершающейся открытой мерзости, уже ненавидя это сизое, блаженное лицо Меженина и этих двух женщин, потных, полураздетых, неопрятных.— Марш отсюда, Меженин! Получен приказ — двигаться! Вы слышали, что я сказал?»

«Куда во взвод? Куда двигаться? — выговорил Меженин, закатывая глаза, как от щекотки.— Киев взяли, Житомир взяли, лейтенант! Не заслужили, что ли, гульнуть разок? За-служ-жили кр-ровью, и точка! Говорю, бери черненькую, лейтенант! Я не жадный! Или уходи, не мешай людям, по-мужски говорю!»

«Если вы через десять минут не появитесь во взводе,— сказал Никитин,— я отдам вас под суд».

«Да хоть расстреляй! — заорал дурным голосом Меженин и, куражась, вскочил, рванул на груди давно не стиранную рубаху.— Расстреляй! А сначала хочу в раю побывать!»

Позднее Никитин не мог без содрогания вспоминать двусмысленность собственного положения, те слова о суде, грязную полутемную комнату, напитанную запахом еды, нечистого белья, и выпирающее бесстыдство женщин, дурашливо пьяный крик и хохот Меженина, или не желавшего, или переставшего понимать реальность обстановки.

Меженин пришел во взвод лишь вечером, после боя, весь отекший, мертвецки-синий, сказал Никитину: «Моя вина, лейтенант. Все, завязал!» Потом, посмеиваясь, заявил солдатам, что пробыл в медсанбате по причине отравления фрицевскими консервами и болезни желудка, а Никитин, почти необъяснимо промолчав, долго пытался убедить себя впоследствии, что простил Меженину страшное прегрешение на войне только потому, что взвод тогда не понес потерь, и потому, что Меженин не был трусом, считался лучшим командиром орудия в батарее.

Но то, что сейчас Меженин с едкой циничностью пошел на обострение отношений, приглушенных Никитиным, было, по-видимому, явным результатом двух прожитых неправдоподобно благостных и разлагающих суток вдали от войны, без ежеминутной опасности, когда всеми ожидалось: вот-вот нечто огромное должно измениться на земле, навсегда ослепить радостной синевой завоеванного и возвращенного мира, счастливым началом вечного

праздника, обещающим новую, нескончаемую жизнь, к которой каждый испытывал жадность по-разному.

«Что же мне делать? — думал Никитин, торопливо бреясь.— Я тоже нечист, я тоже в чем-то замешан... Со мной тоже случилось какое-то безумие?..»

Вся батарея была построена на лужайке; вокруг зеленела трава, везде сильно грело солнце, весенние запахи обогретой травы, цветущей вдоль забора сирени, белых яблонь то прохладными, то теплыми волнами ходили в утреннем воздухе, и эти запахи будто обмыли Никитина, когда он подошел к строю.

Лейтенант Княжко заканчивал физзарядку, что называлась особой, «пехотной», физзарядкой, порой применяемой им на отдыхе,— рукопашный и штыковой бой, приемы его, ни разу не использованные в батарее ни одним солдатом на передовой, ни самим Княжко, были, по его убеждению, необходимой тренировкой для физической закалки тела, заученной еще в пехотном училище.

Княжко, голый до пояса, стоял на краю лужайки у принесенного (по его приказу) из города и воткнутого в землю рекламного щита, где изображалась гигантская бутылка пива, опрокинутая над кружкой, вожделенно кипевшей шапкой пены, и, держа винтовку с примкнутым штыком, говорил внушительно маленькому рыжему Таткину:

— Что у вас за движения? Как бегаете? Как держите винтовку? Мускулы дряблые, плечи опущены, смотреть на вас неприятно. Убрать живот, грудь развернуть, спину выпрямить! Посмотрите, как это делается!

Княжко втянул и без того плоский живот, слегка развернул плечи, и его тонкая, прямая, мускулистая фигурка налилась изящной упругостью силы, гибкой и литой собранностью. Точно мальчик в гимнастическом зале проверял послушность развитых мышц перед упражнением.

Низкорослый Таткин, лоснясь на солнце белокожей спиной и безволосой грудью, усиливался подтянуть ремнем складку отвислого животика, вбирал шумными вдохами воздух, несколько сконфуженный, и всегда хитроватое, подсчитывающее что-то, усатое личико его выражало серьезность попытки. Было известно, что наводчик Таткин, бывший счетовод, постоянно считал, высчитывал про себя, выверял все, что поддавалось какому-либо исчислению, неизменно делил на порции хлеб, взводный табак и сахар, цепко держал в голове количество не вы-

данных старшиной сухарей, количество выстреленных снарядов, подбитых танков, полученных батареей орденов и медалей, и, зная эту его арифметическую способность, солдаты, возбужденные физзарядкой, весело наблюдали за ним из строя, подбадривали беззлобным смешком и советами:

— А ты на счетах отщелкай, Таткин, на сколько сантиметров комод подтянуть можно! Отрастил передний предмет на вольных харчах!

— Пузом не дыши, сатана рыжий! Ишь пыхтит быком! Всех задерживаешь, ты носом, носом, ноздрей дыши, ровно коза!

Лейтенант Княжко на эти замечания холодно мелькнул зелеными глазами по батарее, и развеселые голоса солдат утихли разом при его команде:

— Самых знающих попрошу выйти из строя и показать Таткину последнее упражнение — бросок в атаку!

Никто из «знающих» не выходил из строя, никто не вызвался показать бросок в атаку, трезвым ветерком смыло на лицах запоздалые улыбки; и тогда Княжко приказал поежившемуся от звука его голоса Таткину:

— Еще раз! Вложить в атаку ярость, уверенность и силу! И лицо, лицо, ваше лицо должно напугать того, кого вы атакуете! Ясно? Еще раз! Держите!

И молниеносным броском передал винтовку Таткину, тот неловко поймал ее захватом на грудь, крякнул, выставил штыком в наклон и затрусил, заколыхался рысцой вдоль строя по молодой траве лужайки.

— Стоп!— крикнул недовольный Княжко, подбегая к Таткину, и выхватил у него винтовку.— Отставить! Ваше счастье, что вы в артиллерии, а не в пехоте! Сходили бы в атаку только раз! И — конец, Таткин! Смотрите сюда! Всем смотреть сюда и запоминать! — громко скомандовал он батарее, и в один миг все весеннее и солнечное потускнело, изменилось здесь, на зеленой лужайке, вернее — изменилось, потеряло свои прежние черты лицо Княжко, оно стало страшным, искаженным злостью, свирепой одержимостью напора, его тело упруго и резко наклонилось вперед, винтовка в его руках, нацеленная жалом штыка в пространство враждебного мира, замерла в изготовленном смертном положении,— и он стремительными прыжками ринулся по лужайке к рекламному щиту, жутко крича что-то нечленораздельное, вызывающее у Никитина мороз по спине.

Рекламный щит был уже в двух прыжках от свер-

кающей иглы штыка, и Княжко достиг его, изогнулся вправо, влево, его тонкий мускулистый торс напрягся в убыстренном скольжении, он косым и ловким выбросом вонзил острие штыка в середину рекламы, выдернул штык, вновь изогнулся, как бы уклоняясь от кого-то, и сильно ударил прикладом по краю щита, с треском валя, опрокидывая его на землю. Был все-таки в этой воображаемой борьбе некий неопределимый момент, какая-то неясная грань, когда это действо могло показаться смешным — ненужной игрой, праздными упражнениями, но в движениях Княжко была такая фанатическая сила ненависти, такая пугающая ярость схватки, что ощущение нарочитости тут же исчезло.

— Ясно? — крикнул Княжко, обращаясь не к Таткину, а ко всей батарее, и мальчишеское лицо его приняло прежнее выражение холодноватого спокойствия, чуть упрямого, не разрешающего фамильярности высокомерия.— На этом закончим сегодня! А завтра повторим! Всем разойтись!

Он воткнул винтовку штыком в землю.

«Я знаю, зачем он это делает,— подумал Никитин.— Но почему, когда я смотрю на Княжко, мне кажется, что все скоро кончится, и не так, как мы хотим?»

Батарея, оживленная говором, смехом, рассыпалась между тем по лужайке, забелели в сквозистой тени сосен, среди яркой зелени незагорелые спины; иные кинулись умываться к водопроводной колонке под кустами сирени возле ограды, иные легли на траву, блаженно окунувшись в ее теплый пресный запах, не спеша закуривали трофейные сигареты, ожидая час завтрака, а кухня уже безмятежно курилась легчайшим дымком за снежной кипенью яблонь около дома, и повар, багровый от пахучего пара, орудовал, помешивал черпаком в котле.

«Как же все это со мной? — думал Никитин, глядя на водопроводную колонку, где умывался Княжко, окруженный солдатами.— И все случилось сегодня как в бреду, но было, было, а я не могу представить, что было у нас. Мы оба хотели этого? И она и я? И Меженин знает, что случилось?»

В это время сержант Меженин ленивой развалкой подошел к воткнутой в землю винтовке, его плечи, отлакированные солнцем, маслились потно, синяя татуировка выделялась распростертыми крыльями орла на волосатой груди: он выдернул винтовку, почистил штык о траву.

«Так что же будет дальше?» — опять подумал Никитин

и в тот момент, когда Меженин кончил чистить штык, вдруг перехватил мимолетно сощуренный взгляд сержанта на верхнем окне дома. И Никитин взглянул туда. Там за стеклом полукруглого окна мансарды, у края занавески, светлеющим силуэтом стояла Эмма и смотрела вниз. Он увидел ее неотчетливо, как в жидком туманце, и тут же острое сознание несоединимой расколотости, разъединенности между ним и ею, сознание случившейся, невозможной, сделанной сегодня ошибки знобящим уколом прожгло его, будто тайно предал самого себя перед всеми...

Она, немка, была там, во враждебном мире, который он не признавал, презирал, ненавидел и должен был ненавидеть, по которому он три года стрелял, испытывая неистовое счастье от одного вида охваченных дымом подбитых танков, она была в том мрачном, чужом, отвергаемом им мире, заставлявшем его после каждого боя хоронить своих солдат в заваленных прямыми попаданиями ровиках, писать самые трудные письма, эти объяснения, эти оправдания командира взвода, по выбору обманчивого топорика смерти оставшегося в живых. Она была там, на другом берегу, за разверстой пропастью, а он был на этом берегу, залитом кровью, и ничто не давало ему права, ничто не позволяло ему хотя бы на минуту забыть все и перекинуть жердочку на ту опасную противоположную сторону, где было недавно раннее утро, лавандовый запах ее вымытых волос, ее шершавые губы. «Как это получилось? Случайно это получилось у меня? Я не прощу себе...»

Да, она была там... И она почему-то стояла за краем занавески в окне мансарды и, заслоняя глаза от солнца, смотрела вниз, на блещущую травой лужайку, где ходили, лежали, курили, шумно умывались под колонкой солдаты и где был он, среди своих, родственно связанный с ними всей судьбой, войной, всей жизнью и отъединенный от нее этим солнечным оконным стеклом, сочной лужайкой, утренними разговорами солдат и невероятно тихим немецким городом, куда они пришли из Берлина через огромный, враждебный, убивающий мир.

— Наблюдает немочка-то, а? — сказал безвинно Меженин, проходя мимо Никитина, и, так же безвинно подмаргивая, помахал ей рукой.— Ишь глазеет на русских, бесенок. На вас глазки пялит, товарищ лейтенант. Или шпионит немочка?

А она сверху заметила его жест, вспугнутой тенью отпрянула, исчезла в проеме окна, колыхнулась тюлевая

занавеска, и тотчас знойными спиральками в голове Никитина пронеслось: «Вади-им, Ва-ди-им»,— он сделал усилие над собой, голосом приказа сказал:

— Вот что, Меженин. Сегодня позавтракать, накормить людей без пива, ясно? Через час — взвод к орудиям. Проведем занятие. Заниматься будем каждый день.

— Ясныть,— ответил Меженин, и в покорном подрагивании его ресниц таилось насмешливое согласие: я-то уж понимаю все.

«Нет, не все! Все кончено с этим!» — решенно подумал Никитин, овеянный чувством внезапного освобождения от чего-то недозволенного, поневоле совершенного им, мутно угнетающего, и быстрыми шагами направился к Княжко, а тот, окатив себя водой до пояса, расхаживал подле плещущей струи колонки, осажденной солдатами, тщательно растирал полотенцем мускулистый покрасневший торс.

— Я любовался на тебя, Андрей,— сказал Никитин.— Просто отлично! Пехота в тебе еще сидит.

— Детские игрушки,— ответил пренебрежительно Княжко и, недовольный, заговорил: — Марки, трофеи, карты, «двадцать одно», убиваем время, жиреем и начинаем разлагаться. И знаешь почему? Все конца ждут, а конца нет. Зашвырнули нас куда-то на кулички от Берлина. А смысл? Неясен. Тем более — на западе бои. Как наши новоиспеченные хозяева? Курт, значит, ушел? А эта Эмма осталась? — спросил Княжко.— Ты знаешь?

— Да. Ушел. В Гамбург,— сказал Никитин и сейчас же перевел разговор: — Рацию слушал? Что нового? Как там?

— В Берлине — никаких изменений, — ответил Княжко.

Перед завтраком проверяли огневые.

Позиция батареи начиналась в ста пятидесяти метрах от дома — орудия были врыты на краю поля за оградой яблоневого сада,— и они шли к огневым в полной тишине приозерного луга, еще росного, влажно-пахучего, трава сочно хлестала по сапогам, шли, как бывало когда-то давным-давно на подмосковных дачах, и Никитин, опьяненный этим утренним покоем открытых впереди голубоватых далей, солнцем, запахами согретой земли, струистым паркóм над озером, первым нарушил молчание:

— А вообще не верится, что не кончилась. Когда же, Андрей? Через две недели? Через месяц?

— Тогда, когда кончится,— резко ответил Княжко и приостановился, раздумчиво вглядываясь в земляные бугры недалекой огневой позиции.— Вот тебе ответ на твой вопрос: часового на батарее не вижу. Полнейшее курортное настроение у всех.

— Это началось с первого же дня,— сказал Никитин.— А что сделаешь, Андрей? Все чувствуют, что скоро...

— И твой часовой тоже? Где он?

Но Княжко ошибся: часовой находился на огневой позиции, полудремотно лежал посреди снарядных ящиков в нише, глаза и лоб прикрыты от солнца пилоткой, автомат покоился около ног, ремень распущен на животе. Заслышав рядом шаги, он подтянул ноги, сел, закрутил головой, громко откашлялся, давая о себе знать, на всякий случай угрожающе окликнул:

— Стой, кто идет? — И неудержимо заулыбался во всю ширину разомлевшего потного лица.— А, товарищи лейтенанты! А я слышу — сюда, никак...

— Снов не видели, Ушатиков? — поинтересовался Княжко бесстрастным голосом.— В горизонтальном положении мне, например, всякая дьявольщина снится. Какая, спро́сите? Ну, скажем, что часового вместе с орудиями и снарядами немцы украли. Возможно, Ушатиков?

— Не-е, не спал я, товарищ лейтенант, на солнышке чуток после росы подзагорал, очень ласковое солнышко-то,— еще добродушнее расплылся Ушатиков.— Откуда? Какие немцы-то? И не шелохнутся теперь. Берлин как-никак наш, дураки они, что ли? Во, товарищ лейтенант, что сержант Меженин мне подарил, время в аккурат буду знать. Трофе-ей!

И, чрезвычайно счастливый, он выставил на запястье часы, пленительно сияющие стеклом и никелем, послушал их, после чего удивленно сообщил шепотом:

— Тикают себе, фрицы, и тикают. И чего они тикают?

— Дети какие-то,— дернул плечом Княжко, хотя сам был немногим старше Ушатикова, и, сказав, опустился на станину, посмотрел своими серьезными неулыбчивыми глазами на ниточку шоссе за озером, по которому в белесой дымке пыли двигались к лесу машины из городка. Спросил: — У вас что — первые часы за войну, Ушатиков?

— Не было у меня, мечтал я...— ответил длинношеий Ушатиков и осторожненько, рукавом гимнастерки смахнул невидимые пылинки со стекла часов, протер любовно никелированный ободок циферблата.— А непонятное это дело — часы, ума не приложу. Крохотные колесики там крутятся. Живое все. Как дыхание в них. И идут себе, идут. Навроде крохотные человечки в них работают молоточками. А зачем людям время показывать, товарищ лейтенант? Вот интересно... Без него жить можно или нельзя? День так день, ночь так ночь. Зачем это всё люди придумали? Чудно!

Наивный Ушатиков задавал обычные свои вопросы, по обыкновению удивляясь тому, чему нелепо было удивляться, и Княжко, по-видимому, начал злиться — теснее соединились на переносице брови, замкнуто обострилось повернутое к лесу его лицо, точно что-то неприязненное было в простодушных этих вопросах.

«Он не знает, что произошло утром со мной,— подумал Никитин, чувствуя томительный звон в голове.— Я не хочу вспоминать, но помню ее губы, ее влажные волосы... как это забыть?»

— Никитин,— проговорил Княжко с раздражением.— Обрати внимание на лес. Или мне показалось, или какой-то славянин устраивает фейерверк немецкими ракетами. Вконец ошалели славяне.

— Где ракеты? — сказал Никитин.— Не вижу никакого фейерверка.

— Посмотри левее озера. Это опять к нашему разговору,— прибавил Княжко тоном утверждения, уже не сомневаясь в реальности того, что увидел.

— Левее озера?

Все было спокойно — солнечная иссиня-зеленоватая даль лугов, зеркальная чаша вытянутого озера, вспыхивающая белыми иглами поверхность воды, за ней опушка соснового леса в прозрачных струях чистого воздуха — всюду погожее утро, ровный блеск молодой травы, везде полная безлюдность — и лишь далекая колонна машин на шоссе, пунктирной цепочкой текущая к лесу со стороны городка. Но потом слева от озера над вершинами леса, показалось Никитину, что-то неуловимо пыхнуло, мелькнуло искристой красноватой пылью, рассеялось радужной игрой света в волнистой дымке, будто угасающие хлопья ракет, и снова рядом с этой дымчатой пылью вползли в синеву неба четыре обесцвеченных солнцем

огонька, бесшумно растаяли в туманце над лесом, слабо видимые в кратком изменчивом сверкании.

— Теперь видишь? — спросил Княжко.

— Только непонятно — зачем,— сказал Никитин.— Зачем забралась туда наша пехота? На кой черт она там?

— Хлебнули, видать, славяне. и давай из ракетниц ворон сшибать, постреливать в лесу! — округлил глаза Ушатиков, приподымаясь, изумленно вытягивая долгую шею, и, так полуподнявшись, хлопнул руками по бедрам.— Это что же — от неча делать ракетами славяне балуются? Пехота наша матушка!

— Вполне возможно, Ушатиков,— сказал Княжко и, одолевая голосом сомнение в себе, договорил Никитину: — Но для чего... какой наш дурак может без цели стрелять немецкими ракетами, во имя чего?

— Так наши же шалят, чего сумлеваться! Говорю, по воронам из ракетниц балуются! Вон колонна к лесу идет, «студебеккеры» наши! Откуда там немцам-то? — в суматошном всплеске радостной правоты вскричал Ушатиков, стоя в полусогнутом положении над бруствером.— Во-он наши машины идут!.. Видите?

— Да, это наша колонна,— сказал Никитин.

В ясном воздухе было видно, как в лес за вспыхивающим озером по белой ниточке шоссе втягивалась колонна — пять крытых брезентом «студебеккеров», доносилось издали комариное нытье моторов, по опушке зайчиками проскакали и исчезли отблески боковых стекол, кудрявые вихорьки обочинной пыли еще оседали вдоль шоссе, еще плыли сероватым заборчиком позади последней машины, вползшей в лес. Но в тот же миг, когда скрылся из поля зрения последний «студебеккер», три глухих разрыва вместе с несмолкаемо длинной пулеметной очередью рванулись оттуда, и раскатилось по далям эхо, бездымно взвились, прочеркивая искристые дуги, ракеты, следом с неистовой, догоняющей торопливостью заработали в глубине леса автоматы — и тотчас Никитин хорошо увидел на опушке два «студебеккера»: они выкатывались по дороге задним ходом, пытаясь развернуться.

Первая машина развернулась, странно виляя, выдвинулась на шоссе, густо окутанная дымом, среди которого косыми багровыми лоскутьями полоскался сорванный брезент, затем весь верх кузова полыхнул широким огнем, и огненное тело «студебеккера», накренясь, пошло

заносом наискосок, ткнулось передними колесами в кювет, боком загородив шоссе. Вторая машина, тоже успевшая развернуться, не затормаживая, круто устремленная вправо, едва не врезалась бортом в пылающий впереди огромный костер, подпрыгивая на выеме кювета, на ухабах луга, обогнула подожженный «студебеккер» и снова выехала на шоссе, набирая предельную скорость по свободной полосе дороги.

Но как только она свернула с луга на шоссе и освобожденно помчалась, заметно оставляя позади горящий «студебеккер», от опушки леса горизонтально вылетел оранжевый скачок огня, и столбообразный разрыв встал левее машины. Второй вылет огня из леса аспидной чернотой поднял сзади кузов «студебеккера», вздыбил, толкнул его вверх, всплеснули над кабиной кроваво-алые космы — и этот клубок пламени, закрученного дыма, сдвинулся с шоссе, перевалил через кювет, слепыми зигзагами пополз по траве луга и мертво застыл метрах в двухстах от песчаного берега озера.

— Дак что ж это, а?.. Что ж это?.. Что ж это?..

Ушатиков как стоял в полусогнутой позе, так и оставался стоять до этого растерянного бессмысленного вскрика, и, вскрикнув, мешком осел на снарядный ящик, перекатывая добела обваренные непониманием глаза с Княжко на Никитина, а они не говорили ни слова, оба смотрели на шоссе, и молчание между ними росло, давило на Ушатикова тяжестью тревоги, смертным ожиданием неизбежно наступавшего часа.

— Дак ведь это ж танки по нашим машинам били,— пораженно прошептал Ушатиков.— Хосподи Сусе! Да откуда же они? Значит, немцы там?

— Это била самоходка,— ответил Княжко машинально, словно про себя трудно принимая какое-то решение, и внезапно крикнул звонко Никитину, которого резкий толчок действия бросил к казеннику орудия: — Стой! Нет смысла! Оставь! Далеко отсюда! Только снаряды испортишь! Не разрешаю!

— Две машины дуриком сожгли, две машины... Значит, наша колонна напоролась,— говорил тихо Никитин, глядя туда, за озеро, где в зеленом и солнечном блеске утра почти без дыма буйно горели два «студебеккера», настигнутые прямыми попаданиями самоходки. И тут увидел третью машину: непонятно как прорвавшаяся из леса на шоссе, машина эта, отдаляясь и отдаляясь к городку, сумасшедше мчалась в завесе пыли по ровной

стреле асфальта, но невидимая самоходка, скрытая опушкой леса, теперь по ней не стреляла — «студебеккер», вероятно, уходил из поля точности цейсовского прицела.

— К телефону, Никитин! Быстрей! Пошли! Ушатиков, остаетесь! Наблюдать здесь! — скомандовал Княжко и стремительно, соизмеряюще глянул на пылающие машины, на опушку леса, там взмыла одинокая сигнальная ракета, взлетела и распалась слюдяными искрами в онемелой синеве неба. И на землю пала свинцовая, удушливая тишина.

Однако, когда Никитин и Княжко добежали до дома, в батарее было тоже неспокойно. Здесь услышали первые выстрелы, и солдаты высыпали из дома на лужайку, дожевывая галеты, иные, с недопитым чаем в котелках, недоверчиво и пытливо смотрели в сторону сада, вокруг раздавались угадывающие голоса: «Мины, никак, наши в лесу подрывают? Или что?» И сержант Меженин, посмеиваясь, пригашивал это возбуждение бодро-зычным покрикиванием: «Ладно, ладно, чего без толку засуетились? Команда была? Продолжай завтрак, без нас разберутся! Чего взгагакались!» Но сейчас же взмахом длинных ресниц как бы жадно всосал в светлую глубину глаз серьезные лица приблизившихся офицеров, и желваки его набухли на скулах.

— Опять война? А?..

— Заканчивать завтрак! Батарея, тревога! — сломал голоса солдат командой Княжко и, прихрамывая, прошел в дом вместе с Никитиным, а тот на ходу повторил команду Меженину:

— Взвод, боевая тревога!

В той самой комнате-кабинете, или гостиной, где прошлой ночью от нечего делать беззаботно играли в карты, пили пиво и слушали патефон, Никитин с кольнувшим сердцем неожиданно увидел склоненную фигурку у закопченного зева камина, знакомые желто-медные волосы, рассыпанные по спине, и как-то сразу не понял, зачем здесь Эмма, присев на корточки, железными щипцами трогала, ворошила на решетке поддувала сгоревшие пачки рейхсмарок, выгребала их на совок. Она испуганно обернулась при виде вошедших Никитина и Княжко, вскрикнула: «Ай!» — и, выронив щипцы, совок на решетку камина, стремглав выскочила из комнаты.

— Немка-то, — сокрушенно цокнул языком связист, добродушный, толстогубый парень, дежуривший у теле-

фона,— жалко ей очень. Зашла сюда, увидела ихние деньги сожженные и чуть не заплакала. Что за шум такой, товарищ лейтенант?

— Дайте штаб дивизиона! — приказал Княжко.— Минуту вам на связь!

— В секунду сделаю, товарищ лейтенант! — заелозил на стуле, встрепенулся толстогубый связист и закрутил ручку полевого аппарата.— Неуж немцы? Да откуда они? Неуж немцы?..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По всей вероятности, это была какая-то разбитая немецкая часть, вышедшая в лес, видимо имея дальнейшую цель — пройти либо к Берлину, либо вырваться на запад, но одно не ясно было: почему не ночью, а утром немцы с неумной решительностью обнаружили себя, открыв огонь по нашей колонне «студебеккеров» на шоссе. Может быть, в этом была последняя жестокость перед гибелью, может быть, открытым нападением на машины некий потерявший меру надежды командир танковой части хотел нетерпеливым риском разведать, кто и какие войска стояли в городке по обводу окруженного и павшего Берлина.

Едва лишь Никитин подал команду: «Орудия па передки» — и увидел подбегающих к орудиям солдат, остро-щекотное чувство близко дохнувшей опасности заслонило все, и оттого, что не было фронта, а случайность боя была настолько неотвратимой, ледяные иголочки закололи во всем теле, как бывало, когда батарея ночью вслепую попадала на минные поля.

Чувство это владело им до тех пор, пока на огневой в необычной нервозности ожидали машины, видя отсюда за преградительной стеной разрывов четыре тяжелые самоходки на шоссе и два бронетранспортера на лугу, которые медленно продвигались вне зоны огня соседних батарей, пока не прицепили орудия к машинам и не вывернули через сад и лужайку на улицу, оглушенную разноголосыми командами тревоги, ревом моторов, закипевшую солдатами, пока, делая остановки в заторах на перекрестках, наконец не выехали на восточную окраину, куда втекало это шоссе от леса.

Здесь опять остановились. Впереди, накрытые наволочью дыма, спаренно, хлестко и часто били противотанковые пушки, врытые в яблоневых садах крайних домов;

слева низкие верткие «доджи» с прицепленными орудиями выворачивали из дворов на улицу, мчались по боковому проселку, как бы чуть на срез, в обход самоходкам на шоссе; повозки и полевые кухни, дребезжа, неслись назад, в центр городка, загораживая путь встречному потоку; из машин прыгала на дорогу пехота, цепочкой перебегала в сторону озера, где рвались снаряды; какой-то пожилой, сурового вида подполковник, по-видимому, из штаба, выбежал к колонне батареи, приторможенной затором, бледнея лицом, ударил рукояткой пистолета по крылу машины первого орудия, в которой ехал Княжко, закричал что-то, указывая пистолетом на лес; Княжко приоткрыл дверцу кабины, выслушал его, кивнул и сделал знак Никитину: вперед!

Эта хаотичность перемещения, суматоха, эта неразбериха на восточной окраине, беглая пальба противотанковых пушек, крики команд, распоряжения предприимчивых в этих случаях старшин, стук уносящихся кухонных колес, удивленно-веселые и непонимающие лица солдат — вся эта знакомая по прошлым годам нервозность, непонимание, общее возбуждение не скрыли от Никитина некой логики: после Берлина и безмятежных дней отдыха никто не предполагал — не мог предположить даже — атаки немцев в тылу, но вместе с тем никто не думал и об обороне, никто не окапывался у окраинных домов, и знак Княжко «вперед», и бросок в сторону озера пехоты, и быстрый выезд по проселку «доджей» противотанковой артиллерии, как бы в обход сбоку самоходкам, объяснили Никитину, что бой будет не в городке, а вот здесь, за окраиной, на этом открытом поле, рассеченном шоссе, куда выдвигались на прямую наводку и противотанковые пушки, прицепленные к «доджам», и их батарея.

Но несколько минут спустя Никитин понял, что ошибся. Батарея противотанковых пушек, пыля по проселку, уносилась все дальше и дальше вправо, под острым углом к шоссе, пехота слева бросками перебегала в направлении озера. И, уже двигаясь прямо по шоссе за взводом Княжко, навстречу самоходкам, Никитин привычно соображал, что километра через три надо съезжать в поле и разворачивать орудия, и видел сквозь лохмотья дыма катящееся первое орудие на прицепе, скольжение, прыганье солнца по его длинному стволу, так начищенному за эти дни соляркой, будто к смотру готовились, видел нечетко впереди ближнюю самоходку, ее смутную и неуклюжую громаду, резкие вспышки ее выстрелов за

коричневым частоколом разрывов. «Вот сейчас, вот сейчас сблизимся и — орудия «к бою», а машины — назад, в укрытие, сейчас здесь, вот здесь, в поле, все произойдет!» — вертелась в сознании Никитина одна и та же мысль, одни и те же механические команды перед последним километром сближения на дальность прямого выстрела. И, как всегда мысленно высчитывая это расстояние, которое сейчас смертельно заколеблется на грани «или — или», на острие секунд черного и красного цвета, заранее представляя оголенность своих орудий, оставленных машинами посреди открытого поля под зорким чужим прицелом, он, как всегда, испытал тоскливый приступ горечи оттого, что не все, вероятно, из батареи вернутся с этого поля...

— Везет нам, лейтенант, как утопленникам,— дошел до слуха Никитина голос Меженина, сидевшего в кабине рядом, голос, разбитый гулом мотора, громыханием кузова, и жесткий, представлялось, готовый к прыжку взгляд его, впаянный в шоссе, был тоже незнаком Никитину.— Все время на прямой... Отходят они, а? — снова крикнул он, суживая веки, точно дым и накаленный ветер, пронизывая стекло, хлестал по его глазам.— Смотри на самоходки, лейтенант!..

— Что самоходки? Где видите, что отходят?

Ядовито-желтая, освещенная солнцем мгла сгущалась от разрывов по всему полю и не рассеивалась, скопленная, разрываемая ответным пламенем выстрелов, и на шоссе в щелях просветов появлялись, покачивались и таяли размытые контуры самоходок, и невозможно было сейчас определить, продвигаются они вперед, стоят на месте или отходят.

В то же время Никитин чувствовал по скорости и времени, что машины должны были уже проскочить эти километра три-четыре для сближения с самоходками, расстояние, необходимое для стрельбы прямой наводкой, и здесь было пора начать бой, открыть огонь. Однако передняя машина Княжко продолжала мчаться, не сбавляя скорости, и одно это обстоятельство сперва показалось Никитину каким-то затмением, сумасшествием первого взвода (лезть под выстрелы в лоб, не приведя орудия к бою!). Но, два долгих года зная Княжко, он и сейчас быстро поверил в его риск, в его расчетливость, и поэтому остренькой горячей струйкой влилась в грудь Никитина странная надежда: бой кончится скорее, чем он думал. Неужели самоходки отходят?

Задним ходом самоходки действительно отодвигались к лесу, к той опушке, откуда вышли они, пятились по шоссе, бегло отстреливаясь, затем ближняя неуклюже развернулась, тускло скользнув под солнцем серой пятнистой броней, отрыгивая колючие трассы искр из выхлопных труб, отползая назад, и тотчас в мутной мгле, текшей вдоль шоссе, кругообразно, тяжело и грузно зашевелились три следующие за ней самоходки, стали отходить, вытягиваясь поочередно, к опушке. Это Никитин теперь ясно видел и так же ясно видел два бронетранспортера, замедливших атаку на берегу озера, где падали и вставали фигурки нашей пехоты,— и бронетранспортеры начали откатываться к лесу, сверкая по этим фигуркам толстыми пунктирами крупнокалиберных очередей.

Немцы, сначала предприняв нацеленную атаку на городок, отступали в лес, но то, что Никитин ощутил при этом мгновенную надежду на скоротечный исход боя, было его заблуждением, которое не имело облегчающего разрешения.

Самоходки с замедленным упорством отползали в глубь леса, густо гудя моторами, ломая молоденькие сосны, расползались в стороны от дороги, на невидимые просеки, непрерывно и в упор били по шоссе, вплотную по двум сторонам зажатому стенами сосен, и шоссе уже казалось узким коридором лабиринта, толкаемым разрывами куда-то в адскую черноту, закипевшую, расколотую грохотом, заполненную до краев дымом, рвущимися всплесками огня. И, как в уплотненной темноте наступившего внезапно вечера, рассекаемого низкими молниями, невозможно было точно определить, куда отходили, откуда стреляли самоходки, как меняли позиции между деревьями, и Никитин, с отчаянием от этой неясности положения, от этой слепоты, подавал команды, ловя на секунды стремительные выбросы прямого пламени из сбитого в темноту дыма, стреляя на ощупь, почти незряче, лихорадочно охваченный единственной мыслью: «Скорее, скорее! Выйти бы куда-нибудь из этого проклятого лабиринта, из этого проклятого коридора! Скорее, только бы скорее!»

Он видел мелькание серо-грязных бликов возле орудий, угадывал лица расчетов, сквозь грохот слышал яростный животный крик Меженина, матерившегося после

каждого выстрела, и не видел слева, за шоссе, орудий первого взвода, около которых был Княжко, даже не смотрел в ту сторону: сразу, как только по команде Княжко привели к бою орудия на опушке леса, выкатив их на плотную прошлогоднюю хвою справа и слева от шоссе, и открыли огонь, прекратилась связь между ними.

В течение нескольких минут все исчезло, все утратило реальность — горячий пот тек по воспаленному лицу Никитина, глаза слезились от огненных толчков пороховых газов, брызжущих жаром осколков над щитом незащищенного землей орудия, и было ощущение железно порхающей в накаленном воздухе смерти, а она звенела ангельскими голосами, гремела, мстительно взвизгивала, в жадном поиске твердого тела наугад мокро врезалась в стволы сосен, топориками срубала ветви, вспарывала землю, вздыбливала асфальт шоссе, осыпая его разрушенную плоть на потные спины ее живых солдат, зачем-то тоже с одержимой ненавистью посылавших смерть наугад, как если бы в этом был весь смысл существования на земле. И немецкие самоходки, и наши орудия, потеряв пространство, расстояние, видимость цели, стреляли, будто окончательно лишенные зрения, и ожидание слепого осколка и чувство, подобное буйному безумству рукопашной схватки впотьмах, которую ничем нельзя было остановить, охватывало Никитина нервной дрожью бессилия, страха и бешенства. Раз после разрыва, накрывшего сосну впереди орудия, он почувствовал вместе с жарким ветром сорванной хвои шлепок в лицо, инстинктивно схватился за обожженную щеку, посмотрел на пальцы —крови не было. Маленький, зазубренный осколок, раскаленный до фиолетовости, ударил его на излете и упал к ногам — знак и предупреждение смилостивившейся смерти. И отрывистый неподвольный смех вырвался из его горла: «Повезло, мне повезло!..» Никто не услышал его смеха, и он, оглохнув от выстрелов, с тупой болью, со звоном в ушах поспешно искал слезящимися глазами взблески самоходок в дыму, невидимых, близких и неуязвимых, в неземном измерении отдаленных куда-то во тьму на тысячи километров.

— Скорее! Скорее!..

Несколько раз подносили снаряды, разгружая машины, груды горячих гильз валялись, скапливались между станинами, и эти гильзы кто-то расшвыривал ногами под беспрерывно выбрасывающим пороховой пар казенником,

и звяканье гильз, и жестокая матерщина Меженина, и крики солдат сливались в сознании Никитина в это торопящее, полубезумное: скорее, скорее!

— Скорее!..

А когда впереди широко полыхнул в глубине чащи и устойчиво пошел вверх тусклый от толщи дыма огонь, Никитин не знал и никогда не смог бы узнать, чей это снаряд вслепую достиг самоходку,— там, впереди, на минуту смолкло, и он вдруг задохнулся ликующей беззвучной радостью сумасшедшего и, морщась, не сознавая, зачем торопит себя, подал команду третьему орудию:

— Меженин, вперед!..

Он вконец сорвал голос командами, он хрипел надсадно и, поворачиваясь к третьему орудию, встретил черное потное лицо Меженина, набухшее желваками на скулах, зачерненные пороховой гарью озверелые лица солдат, удивленные глаза Ушатикова, крикнул им сорванным горлом:

— Вперед! На колеса! Через кусты! Подальше от шоссе!

— Куда «вперед»? — злобно выговорил Меженин.— Ни хрена не видать, где они! Как у негра под мышкой! На рожон попрем? — И спросил, сощурясь: — Что со щекой? Царапнуло? Ну, лейтенант, сто лет жить!

— Пока они замялись— вперед! На колеса, вперед! — повторно скомандовал Никитин и отсекающе махнул рукой с неумолимостью приказа: — А ну, вперед, Меженин! Вперед!

Он не мог бы сейчас разумно объяснить, какая сила неодолимо приказывала, тянула его сойти с запятой позиции, переместиться хотя бы на десять метров, но тут с другой стороны шоссе дошел до слуха властный голос Княжко:

— Третье и четвертое орудия, впере-од!.. Никитин, вперед!

По усиленному гудению моторов в дымном кипении впереди, по скрежету гусениц уже можно было понять: самоходки отходили по шоссе, по продольным просекам, и Никитин, вместе с расчетом налегая затекшим до окаменелости плечом на щит орудия, слышал, как меж раскатов разрывов в чаще где-то за лесом без передышки тоненько швейными машинами шили немецкие автоматы, вливаясь в грубый треск наших очередей, хлопающим звоном ударяли противотанковые пушки, вспомнил фи-

гурки пехоты на лугу, приземистые и ловкие «доджи» на окраине городка, их выезд по проселку наискось к лесу, вспомнил и с едкой завистью подумал, что где-то недалеко идет другой бой, чужой, неопасный, что не было там этих незримых самоходок, этого кишевшего слепой смертью лесного коридора, и хрипло выкрикнул то, что скачками проносилось в мозгу:

— Вперед! Вперед! Скорее!..

— На рожон пошли, ясныть! Сто лет вам жить с Княжко, лейтенант, сто лет! — выдыхал рядом Меженин, и сильное, жаркое плечо его теснило, вжималось в щит рядом с плечом Никитина, а ему почему-то чудилось, что сержант лишь делал вид усилия, но весь еще сопротивлялся новому продвижению орудия по его команде.— Сто лет будете...

— Не каркай, у тебя глаз дурной! — пронзительно взвизгнул голос Ушатикова откуда-то снизу, от колеса орудия, и снизу вскинулось всегда доброе, наивное его лицо, набрякшее сейчас лиловой краснотой, струйки пота, размывая пороховую гарь, бороздили его лоб, выкаченные натугой круглые голубиные глаза блеснули страхом суеверной приметы.— Не каркай на лейтенантов! Погибели их хочешь?

— Нас с тобой переживут и закопают, вот тут в лесу! Понял? Оставим тут дощечки после Берлина — погибли, мол, смертью храбрых! А, Ушатиков? — задушливым, озлобленным хохотком ответил Меженин, и плечо его с обманным напором мокро, мясисто засуетилось около плеча Никитина.— Нам прикажут умереть — умрем! А чего? Раз плюнуть! Наше дело телячье... А последние орденки на грудь кое-кому схлопочем!..

Это влажное прикосновение его плеча, лживая подчиненность, фальшивый показ помощи, хохоток и разъедающие слова Меженина, в чем не было необходимого сейчас смысла, сначала не задели Никитина, воспринялись им выплеском запоздалого мщения в связи с недавним столкновением между ними, что Никитин не хотел помнить, как ненужно случайное, мелкое, происшедшее много лет назад, ничтожное по сравнению с тем, что объединяло их теперь, но замутненный рыскающий взгляд, брошенный и отведенный Межениным, поразил его. Нет, это было не злопамятство, не последствие их ссоры, а нечто другое, не заметное никогда раньше, о чем он не мог подумать и секунду назад. «Неужели это?..

Неужели?» Он не придал большого значения в начале боя тому, что не было слышно возле орудия обычных зверовато-азартных распоряжений Меженина, его обычных злых шуточек, перемешанных непристойными словечками, затверженных жестами, вызывающими облегченный смех солдат, не видел его слева от щита или рядом с наводчиком (Меженин, помнилось, непрерывным мрачным матом подгонял подносчиков снарядов) и не видел, как, выкрикнув команду, он хлопал себя по ширинке, пританцовывал с хохотком: «Вот вам фрицы!..» — и чего-то не хватало при стрельбе, что-то бесцветно оголилось, обеднело без его грубо-смелой энергии, вроде бы уменьшающей вероятность смерти, без его распорядительной, отчаянной предприимчивости. И Никитин, толкая орудие, вытирая о плечо облитую пóтом щеку, взглянул на Меженина и даже скрипнул зубами от пойманного мига догадки и ясности, которая была отвратительна ему.

Меженин шел за орудием, нагнув голову, рукой упираясь в щит, огрязненные гарью губы криво сведены судорогой, его покрытые масляным потом скулы необычно обтянуло кожей до выпуклости костей, запепеленный, горячечный взгляд полуприкрытых ресницами глаз был опрокинут внутрь. Это выражение лица его поймал Никитин, и это было настолько новым, невозможным, разрушающим привычный облик Меженина,— незнакомое лицо человека, приговоренного сегодня на неминуемую гибель, что Никитин, хорошо знавший подобное состояние по другим, лишь выдавил отрывистым шепотом:

— Меженин... Что, Меженин?..

Меженин с подергиванием головы усмехнулся мертвой, оскаленной усмешкой, потом глаза его, налитые злобной тоской, разверзлись, всосались в одну точку под щитом орудия, он просипел:

— На кой... хрен в пекло лезть, лейтенант? Четыре года было мало? Берлина было мало? Орденок лишний схватить захотели с Княжко? Ух вы, молокососы, интеллигенты, душу вашу мотать!.. Куда «вперед»? Зарыть всех захотели в конце войны?

В несдержанной злобе к своему замеченному Никитиным страху, к этому начатому продвижению вперед, за самоходками, он высказал то, о чем боялся думать Никитин — о чудовищной для всех бессмысленности непредвиденного боя; ненужно и случайно навязанного пред-

смертной агонией немцев, в десятках километров от фронта, от разгромленного Берлина, вблизи уютного городка, где вместе с тишиной, беспечным отдыхом, солнцем, весной, запахом сирени носился головокружительно радостный ветерок конца войны и победы. Никитин перестал думать об этом после первых выстрелов, после первой запылавшей самоходки,— и на срок, неумолимо выбранный судьбой, назад дороги не было, и в поисках лихорадочного исхода и действия мысли его были соединены на одном возможном, как спасительном разрешении всего: «Скорее вперед, только бы пройти, миновать гибельную слепоту лесного коридора! Только бы не дать пристреляться из укрытия самоходкам!..»

И он остро понял по себе, какая неотступная мысль раздавила, смяла Меженина, а поняв, ощутил парализующую отраву вылитого яда («Зачем? Сейчас? Рисковать? В конце войны?») и оглянулся на солдат, облепивших орудия, с руганью, с натугой толкающих неподатливые колеса, изнемогающих под тяжестью станин — по его приказу и приказу Княжко. Он спрашивал взглядом, слышали ли они этот по страшной правоте неопровержимый протест Меженина, и одновременно еще подумал, что необоримый страх самосохранения перед последним шагом к выходу из неоконченного боя погубит их всех в оцепенелом бездействии — их всех просто расстреляют из-за деревьев самоходки в упор, и это должен был знать Меженин, воевавший не первый день, приспособленный к войне гораздо ловчее, хитрее его, Никитина, в свои тридцать лет.

— Меженин, Меженин...— выхрипнул Никитин и перевел дыхание: ему не хватило воздуха.— Молчать, поняли? Ни слова, ни слова, Меженин!

Меженин, ощерясь, оторвал от щита орудия заволоченные мутью невидящие глаза, веревками надулись жилы на его крепкой шее, и он вытолкнул грудью клокочущий шепот:

— Всех захотели рассчитать, всех?..

Обвальный взрыв, подсвеченный огнем, взлетевшим в дымной тьме леса, так сильно тряхнул землю под ногами, что, почудилось, она распоролась бездной впереди орудия, что-то огромное и темное вздыбилось там, жаром надавило в горло, качнуло орудие назад, туча горячей хвои, сорванной листвы смерчем пронеслась над головами, раздробленно закричали растерянные голоса солдат, фальцетом взвился изумленный вскрик Ушатикова:

«Чего? Чего это они?..» Но Никитин, кашляя в горьком угаре тола, размазывая рукавом по влажному лицу больно влипшие иголки хвои, не мог ответить, не мог разобрать, что произошло за деревьями. Внезапный взрыв этот похож был на грохот многотонной бомбы, на разрыв дальнобойного снаряда, однако не слышно было ни просверливающего поднебесье завывания его, ни знакомого рокота самолетов над лесом.

— Чего? Чего там? Себя подрывают?..

— Товарищ лейтенант!..

— Сто-ой! — крикнул Никитин.— Стой!

Там, где произошел непонятный взрыв, плотная матовая завеса скрывала все: шоссе, землю, деревья, небо,— все заслоняла бушующая багровым и черным мгла, просеченная трассами бронетранспортеров, прорезаемая лохматыми кострами беглых разрывов: там, в дыму, вслепую вели учащенный огонь самоходки.

— Сейчас...— выговорил беззвучно Никитин и, присев на поваленную сосну, ощупью отдирая хвойные иголочки от исколотого лица, взглянул на сплошь исцарапанный, донельзя закопченный целлулоид планшетки, на карту и тут понял, что́ могло произойти впереди. Шоссе в лесу шло прямой нитью, проходило левее просеки через узкое озеро, по западному краю которого отмечен был на плотине деревянный мост. И тогда все стало яснее ему: немцы, втягиваясь в глубину леса, переправились по мосту, после чего подорвали его, открыв огонь с того берега, вне досягаемости опасного для самоходок прямого выстрела орудий, отрезав им возможность сближения.

— Мост,— проговорил Никитин.— Неужели взорвали?

В тот же момент он убедился в этом без помощи карты: в прорехах мглы, чуть развеянной посвежевшим течением воздуха, с ярой неистребимостью майского дня длинными крыльями веера наискось пробивались в просветы сквозь дым солнечные лучи, скользили по расщепленным стволам сосен, по изра́ненному асфальту, по желтому настилу хвои, и там, куда уходило шоссе, где вставали разрывы, проблескивало меж деревьев, отливало под солнцем свинцовым лезвием лесное озеро с кустистым противоположным берегом, откуда часто выскакивали вспышки выстрелов. И глухой шум, похожий на шум дождя, усиливающийся плеск воды, дошел спереди до слуха всех прежде, чем каждый сообразил, что случилось там.

— Братцы, немцы мост и плотину взорвали! — крикнул кто-то с выражением догадки, изумления и страха.— Озеро тама! Сюда, на нас, вода идет! Вон как по шоссе пошла!

И Ушатиков, суматошно вскочив около орудия, вытянув подбородок из-за щита, вскрикнул тоненько:

— Дак что ж это?

Потом еще чей-то крик полоснул за спиной:

— Вода идет по шоссе! К нам прет! Гляди!

— Не орать, дышло вам в глотку! — заревел Меженин и тяжко опустился рядом с Никитиным на поваленную сосну, проговорил: — Чую, лейтенант, печенкой чую, не будет нам сегодня везения, отойти надо. Машины вызвать — и отойти к опушке... Верно говорю: выждем пока...

— Куда машины? На шоссе? Под прицелы самоходок? — отверг Никитин совет Меженина.— Отходить — куда? Опять на опушку? А потом снова? Что, был приказ отойти?

— Чей приказ? Господа бога? Вы тут с Княжко хозяева! По воде стрелять будете? Иль саженками плавать захотели на глазах у фрицев?

— Я вам сказал, Меженин, молчите, ни слова! Ясно? Ни слова!

И Меженин муторно выругался:

— Ну так выроем мы здесь братскую могилу, герои цыплячьи! Попомните еще меня на том свете, душу вашу мотать!

— Марш к орудию, Меженин!

Было видно отсюда в длинных прорывах солнца впереди, как с забурлившим напором вспучивалась, хлестала в развороченную брешь бетонной дамбы вода, заливая ртутным блеском полосу шоссе, низинку перед озером, по канавам закачала вдоль обочины кусты, растекалась вокруг корневищ сосен, и даже показалось, будто выброшенные в проем дамбы освобожденной струей забрызгали тусклым золотом, забились на мелкой воде, накатившей на толстый настил хвои, крупные, жирные карпы... Их судорожное биение на мелководье было похоже на всплески разрывных пуль.

— Гляньте — никак, рыба? («Кто это кричал? Ушатиков? Чему он удивлялся?») Бра-атцы! Живая рыба! Дак что ж это!..

— Заткнись! — заорал Меженин и шагнул к орудию.— Рыбе обрадовался, щенок! Снимай штаны — плавать будешь, дуролом!

И все же Никитина еще не покидала надежда: вода не достигнет орудий, уйдет в низину, всосется в землю, затопит шоссе метрах в ста от озера, но вода прибывала, лилась в кюветы, раздвигалась по низине, а он, отвергнув предложение Меженина вызвать машины, знал, что расчетам не хватило бы сил опять на руках откатить орудие метров на двести — триста назад. Он видел тревожное ожидание на лицах замолкших солдат, мутные тяжелые глаза Меженина и не отдавал никакой команды, соображая, что́ надо ему делать сейчас; нет, откатывать орудие назад было бы продлением повторного безумия, что уже походило бы на бегство, на отступление в момент отхода на тот берег самоходок, и это означало бы вновь начинать бой, вновь продвигаться вперед, потому что никто не отменял и не отменит приказ, отданный лейтенантом Княжко. И одно, что приходило в голову Никитину, было не облегчающим выходом, не всеразрешающим осенением, а только вынужденным нетерпеливым действием отчаяния, на которое бросала его колотившая молоточком мысль: «Скорее закончить, скорее закончить все это! Протащить орудия через лес, в обход озера, зайти самоходкам сбоку, и они отойдут! Но как? Как протащить? Нет сил уже ни у кого».

— Никитин! Никитин! Что у тебя?

Он услышал резковато-звонкий голос Княжко; тот стремительным броском перескочил шоссе, подбежал к орудию, лицо обострено, покрыто какой-то злой азартной бледностью, на лбу и щеках разводы гари, зеленые глаза быстро, испытующе промелькнули по фигурам солдат, толкнулись Никитину в зрачки пронзительным светом.

— Ну что, Никитин, плавать собрался? — крикнул Княжко с веселой и бедовой горячностью, возбужденный боем.— Слышишь, соседи вправо пошли, бой ведут черт-те где! И пехота где-то запуталась! А мы их здесь настигли! Прекрасно! Давай с орудием через лес и в обход озера! Не медлить давай! За моими орудиями! Пока огонь прекратить! Стрелять по необходимости и продвигаться!

— Ясно,— ответил и кивнул Никитин, чувствуя в жарком биении сжавшееся сердце от непоколебимой решительности Княжко, от его ясного, звонкого голоса, вдруг уничтожающего сомнения.

— Давай, Никитин! Давайте, ребята! Другого выхода нет! — закричал Княжко и тонким силуэтом в дыму перебежал шоссе, скрылся за деревьями, куда по траве

пенистой гривкой катилась, расползалась безудержно вода выпущенного озера.

Меженин, пока говорил Княжко, смотрел на него стоячим взглядом угрюмого противления, словно возразить хотел и ему и Никитину, но не возразил, а когда Княжко исчез за соснами, он ощерился по-дикому и в сиплый голос команды как бы вложил всю ненависть к кому-то:

— На колеса! Толкай, толкай! Навались, дышло в глотку, в печенку вас всех!

На него озирались неузнающими глазами, хватаясь за колеса, за щит, за станины; и маленький, рыженький Таткин пробормотал что-то, морща раздвоенную губу под усами, испуганно хихикнул в ответ на этот звериный крик.

Орудия тащили по широкому, образовавшемуся между стволами сосен болотцу, колеса увязали в земляной жиже, проваливались в лесные выемы, затянутые водой, при частых вспышках за озером всем расчетом, всей тяжестью своих тел зачем-то вдавливали станины сошниками в размягшую почву; взвизги осколков раскаленной метелью проносились над щитом, вместе с удушьем сгоревших пороховых газов летела в лица липкая жидкость, стекала струями, нависала на плечах ошметками; в секунды разрывов сначала пригибались, садились кучей вокруг станин, но вскоре, вконец обессилев от стальной неповоротливости орудий, переноски ящиков со снарядами, оглохнув от слепой стрельбы самоходок, падали в хвойное месиво грудью, вжимались плашмя, сваленные ударами близких разрывов, взметающих комки грязи, окатывающих спины фонтанами воды; потом, подхлестнутые резким приказом невидимого Княжко: «Орудия, вперед!» — в изнеможении вставали, поворачивали к Никитину не лица, а черные, налепленные маски, изуродованные единым безнадежным вопросом: когда же конец, лейтенант?

— Еще, еще, друзья! — говорил Никитин с механической однообразностью, как в кошмарном забытьи внушая себе и им необходимость того, что они делали, и, качаясь, упирался плечом в неподатливое тело орудия, стороной слыша сипящие ругательства Меженина, яростно расхристанного, какого-то страшного в неудержимом возбуждении после недавнего приступа подавленности.

— Навались, навались, душу вашу мотать! Подыхать,

так с музыкой! Шевели задницами! Нав-вались, в гробовую вас доску!..

А когда, продвинув орудия на несколько сот метров по лесному берегу озера, вышли на широкую сухую просеку из мрачной сгущенности дыма, из разжиженной водой низины, Никитин почувствовал, что не в состоянии уже стоять на ногах, и, ощущая дрожание ног, железистую горечь во рту, привалился боком к стволу сосны. Он отупелыми пальцами рвал ворот гимнастерки, он хотел глотнуть воздуха, задыхаясь, жаждая пить его пересохшим горлом; приступами его подташнивало, пот затуманивал зрение, оглушительно и молотообразно била кровь в висках. Он расплывчато видел справа приведенные к бою орудия Княжко — и не поддавалось воле понять, как и почему он здесь.

Все со стоном, мычанием повалились на землю около станин, уткнувшись лбами в прошлогодний пласт хвои. Меженин один, держась за щит, разевая рот надорванным дыханием, воспаленно, следяще смотрел на Княжко, который быстрыми шагами шел от своих орудий, на ходу вытирая носовым платком дочерна измазанные копотью мокрые руки. Княжко шел молча, сапожки его ступали упруго по траве, но легкое покачивание торса при еле заметной хромоте явно выдавало его безмерную усталость, наверное, скрываемую им как человеческую слабость, и досадливо-хмурый взгляд его нетерпеливо искал что-то, ощупывал лес на противоположном берегу озера.

— Тебе ясно, Никитин? — подойдя, заговорил он звенящим голосом.— Ушли! Ушли к черту! Взорвали мост, и пока мы здесь...— Он был раздражен, бледен, гимнастерка намокла на груди, влажные светлые волосы прилипли ко лбу, видимые из-под забрызганной темными пятнами пилотки, и не было сейчас в его внешности той безупречной чистоты, подогнанной опрятности, что всегда поражали Никитина.— Успели оторваться от нас! Ушли по шоссе. Ты понял? — продолжал Княжко, вглядываясь в противоположный берег, и стиснул в кулаке грязный носовой платок.— Знаешь, что получилось? А получилось вот что: не они от нас, а мы уходили от них. Идиотство, идиотство! Упустить три дрянные самоходки! Чтоб по тылам нашим шастали! Никогда не прощу себе!..

— Оставь, Андрей.— Никитин слабо передохнул, добавил с трудом: — Оставь... Послушай, Андрей, наверно,

так надо. Кажется, это последний бой. Может быть, нам повезло.

— Что, последний бой? Последний бой должен быть боем, а не...— И Княжко через зубы выругался, чего он никогда не позволял себе прежде.

«Да, я не хочу этого боя,— подумал Никитин.— А что чувствует он? Злость? Неудовлетворенность?»

Все было необычно спокойным впереди, и слева, в низине, где они катили орудия, не рвались снаряды, не вставали разрывы вокруг разрушенного моста. По противоположному берегу озера текла розоватая наволочь тихого пожара, освещенного солнцем, дым, спрессовываясь под соснами, сваливался к воде — догорала там, никак не могла догореть, вслепую подожженная самоходка, но рева моторов за деревьями задымленного леса, металлического лязга гусениц не было слышно... И не стало слышно издали спаренных хлопков противотанковых пушек, только слитое, будто пчелиное гудение роя доходило из глубины чащи, и где-то правее озера несмолкаемыми строчками резали, сплетались и расплетались автоматные очереди, игрушечно-неопасные после недавнего орудийного грома, сотрясавшего лес.

— Пехота,— сказал Никитин утомленно.— Слышишь, Андрей?

— Это я слышу, что пехота,— отрезал Княжко, все комкая носовой платок в кулаке.—Три неповоротливые самоходки среди леса против четырех орудий — и упустили! Нет, эти самоходки на нашей с тобой совести, Никитин! Пошастают они теперь по тылам сдуру, не одного нашего уложат! Вот для тех и будет последний!..— Он повернулся к Никитину с выражением холодного упрямства, которое появлялось на его лице, когда был недоволен собой, и вдруг спросил: — Что у тебя со щекой? Когда задело?

— А, мелочь. Рикошетом. Осколочек. Ерундовый,— ответил Никитин, и на пересохших губах его выдавилась отвергающая необходимость объяснений улыбка. Ему даже в голову не пришло показать Княжко спрятанный на память в планшетку крохотный осколочек, не убивший его, а лишь напомнивший о том, о чем никогда не говорил сам Княжко, считая разговоры о случайности свойством людей слабонервных.

— Иди, умойся в озере,— строго сказал Княжко, не высказав ничего по поводу царапины на щеке Никитина.— Вид у тебя, надо сказать...

Никитин чувствовал, каких усилий стоило бы ему заставить себя сделать на неподчиняющихся ногах шагов двадцать к озеру, уже наполовину очищенному от густоты дыма, двухглубинному в голубизне отраженного неба, спуститься к солнечной, невообразимо покойной воде, наклониться, зачерпнуть ее руками, хотел сказать: «Сойдет»,— но тут увидел заостренный вниманием взгляд Княжко, обращенный в конец просеки, где наперебой дробили яркий теплый день дальние автоматные очереди, и тоже непроизвольно обернулся туда.

— Так,— сказал Княжко.— Соседи появились.

Там, в конце длинной просеки, золотисто отсвечивающей стволами сосен в мягкой прозелени лесного коридора, возникла скученная группа людей, вынырнула из леса, оттуда долетел голос команды, и эта группа людей устремилась рысцой по направлению озера левой стороной просеки; впереди скачками бежал квадратный, в офицерской фуражке человек в развевающейся плащ-палатке, с автоматом поперек груди; он, не оглядываясь, выкрикивал накаленно: «Не отставать, братцы, не отставать!» — и широко загребал по траве яловыми сапогами, весь верткий, шустрый, весь нацеленный одержимо при своем куцеватом, незначительном росте. Приближаясь к озеру, он первый заметил орудия на просеке, властно и упредительно вскинул руку с зычным приказом: «Стой! Ждать здесь! Отдохнуть!» — и, как шар, пущенный ударом, кинулся к орудиям, развевая крыльями плащ-палатку, крича на бегу:

— Артиллеристы, дьявол ваша бабушка! Загораете, пукальщики? Спины на солнце греете! Сачкуете?

Он, запыхавшись, подбежал к офицерам, одновременно обрадованный и злой, молодое взмокшее лицо было отчаянно какой-то неразряженной отчаянностью недавнего боя, его видавшая виды фуражка с полурасколотым, покорябанным козырьком съехала на затылок, его угольно-черные быстрые глаза, обведенные ожженной краснотой век, всполошенно зыркали по орудиям, по Никитину, по Княжко, как будто не находили того, что должны были найти здесь.

— Вы, буссольные сачки, тыловые артиллеристы, боги войны! По ком же стреляете? Окопались на солнышке — и дрыхнете! Попочки в целости сохраняете? — закричал он привыкшим к подхлестам пехотинским голосом, взвинченным негодующим презрением.— Здорово живете, ты-

ловики рязанские! Попукали из пушек — и загорай? Бой для вас кончился? Сидите, гвоздь вам в карман!

— Ну, вы!..— неожиданно вскипел Никитин.— Чего орете, как лошадь, черт вас возьми! Откуда свалились?

Однако Княжко, дрогнув лишь бровью, не изменив холодно-упрямого выражения, выпрямился упруго, поднес ладонь к виску, спросил спокойным тоном, с сухой официальностью, за которой стоял сжатый гнев:

— С кем имею честь, разрешите спросить? Исполняющий обязанности командира батареи — лейтенант Княжко. Представляюсь, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Прекратите кричать и остыньте. Держите себя в руках! — Княжко поморщился.— Прошу объяснить, что за крик, в чем дело?

— Крикун не крикун! Бой идет, людей кладу, а вы, боги войны, на солнышке валяетесь!

Пехотинец заговорил убавленным тоном, несколько осаженный вмешательством Княжко, беспокойно зыркая то на своих людей, ждущих его в тени сосен, то на орудия, где, потревоженные зычным криком, шевелили головами расчеты,— и завиднелись там черные безобразные пятна вместо лиц. Пехотинец вдруг передернулся движением спешки, его плоский и вместе курносый нос расширенно прорезался ноздрями; и, выпростав руку из-под плащ-палатки, он в раздражении вздел ее к покорябанному козырьку.

— Командир роты старший лейтенант Перлин. Чтоб тоже знали, кто вас обложил. Ладно, баш на баш! — И, сверкнув зубами, так бросил вниз кулак от виска, точно шапкой об землю ударил: — Ладно! Поскалились друг на друга — и конец! Не чужие мы друг другу, ребята! Помог бы мне, лейтенант, ну? Огоньком бы меня поддержал! Ну? Никак я их, гадов ползучих, б... фрицевских, из лесничества не выбью! — заговорил он уже просительно и страстно.— Засели в доме, а там стены — во! Лупят из автоматов — и никак в лоб не атакнешь! И бронетранспортер их там еще поддерживает! Хоть землю зубами рви! Я вот сам со взводом в обход пошел, с тыла зайти — а это время, лейтенант, и тоже вилами писано! Дали бы по ним парочку снарядов, и выколупнул бы я их враз, как тараканов! А? Ну? Братцы артиллеристы, подавить бы бронетранспортер парочкой снарядов — и крышка! Ну? Прошу, братцы, душой прошу! Не дайте роту положить, пехота — тоже люди! Крышка войне ведь, чуется, братцы, зачем людей ложить,

жить-то всем охота! Огоньком бы нам помочь! Ну? Огоньком бы их, курв, выкурить!..

Никитин видел искательно требующее, униженное, даже неловко-стыдливое лицо низкорослого старшего лейтенанта, командира стрелковой роты, еще минуту назад грубого, властного, видел встревоженно поднятые головы расчетов и среди других взглядов — угрюмый и ненавидящий взгляд Меженина, направленный на пехотинца, этого раздавленного сейчас жалкой просьбой стрелкового офицера, вероятно прошедшего огонь и воду. Но, вмиг опаленный злостью, Никитин подумал, что пехотинцу теперь неважно совсем было, как, зачем они, артиллеристы, оказались здесь, почему и в силу каких обстоятельств была взорвана дамба на озере и горела на том берегу самоходка, а важно было сохранить в последнем бою, в последней атаке людей своей роты возле какого-то лесничества. И он неприязненно спросил, не скрывая издевки:

— Зачем на вас плащ-палатка? Может, мешает атаковать? Или дождя ждете?

— Мешает? Хрена с два! Чтобы пули путались! — вскричал отшлифованным голосом старший лейтенант и, как-то нагловато веселея, потряс полами плащ-палатки, пробитой, черневшей дырами.— Видел сколько? После каждой атаки — отметина! С Днепра ношу! Заколдованный панцирь! Не за себя прошу, братцы! Войдите в положение! Не имею я права своих хлопцев после Берлина положить. Нахоронился я их сотнями, куда еще больше! Жить-то кто-то должен. Или уже не люди мы!

— Прекратите! Указано на карте лесничество? — не без брезгливости перебил Княжко и вынул из планшетки новенькую, выданную перед Берлином карту.— Где оно?

— Эх, лейтенант! Да без карты — рядом! До конца просеки, потом — метров триста по проселку. На северо-восток от озера, рядом! — Старший лейтенант ткнул заскорузлым пальцем, с въевшейся под ногтем земляной грязью в карту.— Ни к чему тебе, лейтенант, карту читать. Словам моим не веришь? Не штабист ведь ты? К чему карта?

— А затем, что хочу знать, выйду ли я от лесничества к шоссе,— непререкаемо отрезал Княжко, отодвигая палец Перлина на карте.— Я должен выполнять, чтоб вы знали, свою задачу, а не стрелять по лесничеству, где поджала хвост наша уважаемая пехота. Так,— сказал он, складывая карту.— Проселок через лес соединен с шоссе.

Километрах в двух. Прекрасно. Ты как, Никитин? Возражений нет?

«Неужели он решил? — подумал Никитин, содрогаясь от неумолимого и педантичного упорства Княжко.— Он еще надеется встретить на шоссе самоходки? Нет, мы делаем безумство какое-то!»

— Ты командир батареи,— ответил Никитин глухо, и этот ответ был косвенным согласием его.

— С чужим документом в рай? — прохрипел Меженин около орудия.— Такое дармоедство, пехота, известно как по-русски называется? Такое слово известно?..

— Тогда прекрасно,— непроницаемо проговорил Княжко, краем глаза глянув на Меженина, и потом, застегнув сумку, думая что-то свое, нахмурился на Перлина.— Прекрасно. Посмотрим ваше лесничество. Давайте своих людей, только быстро! Поможете расчетам катить орудия на руках! Командуйте!

— Молодец! Дьявол! Не забуду! Люблю такое! Уважаю! — закричал старший лейтенант и в счастливом порыве сорвал с шеи автомат, дал по воздуху оглушительную очередь.— Ко мне, пехота, ядрена ваша бабушка! Помощь прибыла! Берись за орудия руками и зубами! Быс-стра-а!

И с неостывающей неприязнью к старшему лейтенанту, к его шумной, крикливой радости, к пехотинцам, которые несостоятельны были подняться в атаку, рискнуть взять лесничество, на что пошли бы еще неделю назад, и поэтому сейчас охотливой трусцой бежали сюда по просеке за нежданной артиллерийской помощью, Никитин ощущал тягостное сопротивление своему согласию, этому решению Княжко, хотя в то же время знал, что другое решение быть принято им, вероятно, не могло.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Еще метрах в двухстах от лесничества, когда с криками, суетливой толкотней пехотинцев, обрадованно возбужденных артиллерийской подмогой, катили орудия полузаросшим лесным проселком, Никитин по звукам усиленной стрельбы за деревьями — по басовитому гудению крупнокалиберного пулемета, пронзительному лаю немецких автоматов, ответному треску наших очередей, пению излетных пуль в чаще, по рикошетному их щелканью о пощипанные стволы — по всем этим звукам он угадывал

и чувствовал необратимую реальность близкого боя, куда придвигались они, и все злее, все неотступнее нарастала в душе недоброжелательность к этому пехотному старшему лейтенанту, плосконосому, кривоногому, суеверно не снимающему свою потрепанную, пробитую пулями плащ-палатку. Ему, старшему лейтенанту, пройдохе и нагловатому крикуну, по первой видимости воображалось, что батарея хитроумно и вовремя вышла из боя, отсиживалась в стороне, благоразумно отдыхала, отлеживалась на солнцепеке, тогда как его пехота, погибая, исполняла свой смертельный долг, без поддержки огнем, без артиллерийской помощи.

«Неприятный парень,— обозленно думал Никитин.— И какой отвратительный у него широкий, как будто перебитый нос».

Они быстро шли впереди орудий, Перлин, Княжко и Никитин, моталась полами, топорщилась старая, вылинявшая до грязной серизны эта плащ-палатка старшего лейтенанта, и раздражающе звучал его пехотный, хорошо поставленный командами голос, прерываемый азартным смехом:

— Сейчас мы им раздолб устроим, разъязви их в печенку! Ежели четырьмя орудиями жахнуть, как клопов из щелей выкурим! И — атакнем! А я бегу в обход и думаю: ну, засели мы до второго пришествия! Во всех местах почешешься, глядь — вы! Ну, думаю, ежели бога нет, то бог войны есть! Ха-ха! («Зачем он так много говорит? Оправдывается?» — подумал Никитин.) Попробую, мол, этому богу помолиться. Сейчас мои два взвода дом блокируют! Ахтунг, братцы! Уже полегоньку. Отсюда дом — плюнуть ближе...

— Стой! — ни разу не вступив в разговор с Перлиным, скомандовал Княжко расчетам орудий.— Ждать здесь. Пошли! Покажите, что у вас,— приказал он Перлину.— Где позиции роты? Идите вперед.

Здесь, по открытой дороге, несколько метров еще шли в рост, но, едва свернули вслед за Перлиным влево, в душную тень сосен, острые взвизги долетавших сюда очередей, разбросанная дробь пуль по стволам, срубленные веточки хвои, падающие сверху, заставили инстинктивно пригнуться, посмотреть туда, куда их вел Перлин, продираясь своей «заколдованной» плащ-палаткой меж молоденьких елочек к сплетенному хаосу стрельбы за деревьями.

И тут, лишь прошли шагов сто, как натолкнулись на

тело убитого немца, зеленоватым бугорком приваленного к узловатым корневищам огромной сосны. В новом зеленом мундире, он лежал очень неловко, боком, в скрюченной позе будто навсегда застылого в агонии бега, одна нога подтянута к животу, другая, в неизношенном запыленном сапоге, вытянута, юное, подернутое трупной желтизной лицо мальчика притиснуто правым виском к сведенным в ковшик окровавленным пальцам, изуродовано окаменелой гримасой ужаса, рот стыло натянут в предсмертном, зовущем на помощь крике, но отросшие и по-девичьи нежные льняные волосы еще жили, светились в наклонных сквозь ветви стрелочках солнца, мерещилось, обманывая неисчезшим блеском собственную гибель, которую он встретил здесь. По его трупному лицу бурыми точками ползали муравьи, хлопотливо копошились в ресницах, выпивая последнюю влагу, заползали по неподвижным губам в открытый рот, и Никитин подумал, что убит он был час или полтора часа назад.

— Откуда здесь этот ребенок? — спросил Княжко, хмурясь, и кивнул Перлину.— Посмотрите у него документы. Кто он такой? Из гитлерюгенда? Или вервольф? Лет шестнадцать ему, наверно...

— Э, лейтенант, какая разница, шестнадцать не шестнадцать, чего тебе? — отозвался Перлин, смачно сплюнув под ноги немцу.— Они тут отступали от опушки, к лесничеству. Да их не один по лесу лежит. Чего тебе? Руки марать и время терять...

Однако, присев на корточки, он с некоторой показной гадливостью поочередно вывернул все карманы убитого, но никаких документов не нашел, кроме необязательных и почти бесполезных вещиц, какие не носят провоевавшие и прошедшие долгую войну солдаты: маленький, никчемно изящный перочинный ножичек, какой-то потускневший значок с изображением кинжала и свастики, шомпольную цепочку, испорченный, без спуска, крошечный браунинг, красный карандашик с обгрызенным колпачком, пачку начатых раскрошенных галет; портмоне и фотографий не было. Этого убитого мальчика, видимо, еще ничего прочно не привязывало к земле — ни любовь, ни прошлое, ни пороки — и, похоже было, нравились ему блестящие металлические предметы, как нравилось, вероятно, держать в руках автомат, готовый послушно сверкнуть огнем, подобно механической игрушке. И Никитин представил эту вожделенную страсть к металлу оружия по себе и по другим и свою влюбленность

в личный пистолет после того, как впервые был получен он в день окончания военного училища, подумал: «Он еще недавно из школы».

— Мальчишка,— сказал Княжко с задумчивой неопределенностью.— Откуда он, интересно? Из городка? Как считаешь, Никитин?

— Может быть.

— Подох гитлерчонок, а дерьмо несусветное носил в карманах,— сказал Перлин и, подержав непригодные вещицы, бросил их на труп немца.— Даже часов нет у мальца.

— Ох и необтесаны вы, офицер пехоты,— проговорил Княжко, и глаза его сердито вспыхнули, торопя Перлина.— Ну, вперед! Ведите вперед к позициям своей роты, старший лейтенант!

Никитин молчал. Он не любил задерживать внимание на убитых, на разглядывании их поз, порой чудовищно неудобных, безобразных, отмеченных навечно застывшей мукой или последней борьбой за жизнь, не выносил разглядывания их лиц, искаженных предсмертным удивлением перед законченными страданиями, со стеклянно выпученными глазами, каменными усмешками, мнилось, над живыми, или иногда успокоенных осмысленным отчаянием выбранного предела, поманившего в страшное, но пустынное ничто, откуда уже никто не стрелял, и Никитин не терпел хвастливых утверждений, что к этому нетрудно привыкнуть,— вид чужой смерти предупреждающе напоминал о незащищенной хрупкости собственного существования на войне, беспощадно приближал, суживал круг вероятности, которая не имела границ только раз на войне — в первом бою.

«Для того немца был первый бой,— думал Никитин, шагая рядом с Княжко следом за Перлиным.— Он понял, что такое жизнь и что такое война, когда побежал от опушки под нашими выстрелами. Автомата тогда, наверное, у него не было. Он убегал от смерти и бросил оружие, как ненужную игрушку. И все-таки почему я думаю об этом?»

И чем ближе подходили к хлещущей спереди пальбе, к железному гудению пулеметного ветра, чем пронзительнее ударял по слуху свист очередей, тем холоднее, тошнотнее становилось на душе Никитина. Ему в тысячный раз, гарантированный одной верой в везение, приходилось перебарывать себя там, где над «или — или» ненавистно и всесильно господствовал заостренный топорик рокового

случая, но после оборванного боя с самоходками это чувство сближения с опасностью было особенно неприятным, и, чтобы подавить новое ощущение морозящего холодка в груди, он посмотрел на Княжко, стараясь угадать, испытывает ли он сейчас нечто похожее, унизительное, мерзкое, как позыв необлегченной тошноты.

А Княжко шел, легко ставя сапожки, переступая корневища сосен, брови его озабоченно хмурились, и невозможно было понять, о чем думает он сейчас.

— Здесь! Стоп, артиллеристы! — скомандовал вдруг Перлин, останавливаясь в зарослях.— Гляди вперед! Отсюда из кустов все видать! Здесь и орудия ставить надо. Вон где они засели! Бронетранспортер за сараем. Слева от дома.

— Только вот что,— сухо сказал Княжко.— Прошу не указывать, как и где ставить орудия. Сами разберемся. Далеко ваш капэ?

— Рядом был. Давай сюда, лейтенант, за штабель дров. Там заместитель мой оставался. А! Здесь везде один выбор, везде может в морду клюнуть! — отозвался Перлин.

И, согнувшись, окликая кого-то, прошел еще шагов десять, правее кустов, к низкому штабелю аккуратненько сложенных дров, откуда мигом взметнулась навстречу, точно из-под земли, фигура молоденького младшего лейтенанта, юное, с оттопыренными ушами лицо засуетилось там, послышался зачастивший голос:

— Товарищ старший лейтенант, вернулись? А это кто такие?

— Тихо, Лаврентьев! — успокоил Перлин грубо.— Молись богу, артиллеристов привел. Лежите все, расчертовы курортники, как на пляжах, а атаковать дядя будет?

— А вы посмотрите, что они делают! — вскрикнул пискливым голоском Лаврентьев, голоском никак уж не пехотным, и Никитин без труда определил по свежему ремню, по расстегнутой и непоцарапанной кобуре младшего лейтенанта: воевал недолго.

Тут, метрах в двухстах от лесничества, рискованно было и минуту задерживаться у крайних сосен, опушка прошивалась огнем, пули, звеня, стаями дятлов долбили по стволам — и всем троим пришлось встать за штабель дров, отойдя в укрытие, наблюдать отсюда: так было в той или иной мере безопаснее.

Лаврентьев, должно быть, обиженный грубым упреком

Перлина в присутствии артиллеристов, продолжал стоять возле штабеля поленьев, независимо отряхивая прилипшие иголочки хвои с гимнастерки.

— Вот, братцы, какая загвоздка. Дом ясно видите? — проговорил Перлин, водя по пространству между деревьями красноватыми белками черных глаз, и неожиданно рявкнул на Лаврентьева: — А ну, прекращай игры, ныряй сюда, гер-рой лопоухий!

Да, впереди уже была та ясность, которую с неприязнью к Перлину, к его роте ждал Никитин. Эта ясность положения стрелковой роты, остановленной здесь немцами, заключалась не в растерянном бездействии пехоты, а в этом хорошо теперь видном за деревьями двухэтажном добротном доме, окруженном деревянными пристройками посреди просторной поляны, и было нечто беспорядочное, бешеное, как при недавнем столкновении с самоходками, словно бы обреченное на смерть последнее неистовство в непрекращающемся слепом огне немцев. Пехота залегла под крайними соснами, не подымалась, не перебегала, не показывалась на открытом месте, а немцы без передышки стреляли по лесу, по каждому метру поляны: весь дом — от нижних выбитых окон до мансарды — оскаленно пульсировал автоматными трассами, и наполовину скрытый углом левой пристройки бронетранспортер, поддерживая крупнокалиберным пулеметом оборону дома, отрывисто, с промежутками, гулко выхаркивал белые пунктиры по низу сосен вокруг поляны, где виднелись ползающие фигурки пехотинцев.

— Вот какая карусель, братцы... Как только вы гансов-франсов как следует оглоушите, я и подыму хлопцев ракетой,— сказал Перлин, обтирая плащ-палаткой пот с широкого, обветренного лица.— Сигнал к атаке: красная ракета. Это чтобы вы моих не долбанули под сурдинку.

— На рукопашную они совсем не идут,— заметил Лаврентьев и, солидным кашлем обрывая немужественную пискливость голоса, вынул с суровой воинственностью из кобуры новенький пистолет ТТ, демонстративно выщелкнул кассету, этим удостовериваясь в точном наличии патронов, необходимых при рукопашной.

— Вишь ты, какой шустрый у меня Лаврентьев! По рукопашной тоскует! — хмыкнул плоским носом Перлин.— А знаешь ли ты, друг сердешный, ситный, что за всю войну я только разик героем в немецкой траншее прикладом помахал, да и то сразу на три месяца в капитальный ремонт угодил! Какая тебе, к богу, рукопашная,

когда автоматная пуля есть, а штыками консервы открывают. Ладно, встрял в разговор ты с детским бредом не к месту, черт!

— А я мнение свое, товарищ старший лейтенант,— забормотал Лаврентьев, насупясь, и для чего-то подул в ствол пистолета.— У меня мнение такое.

«Какой прекрасный парень»,— подумал Никитин.

— Ясно,— сказал Княжко, чуть улыбнулся Лаврентьеву, который, по-видимому, тоже понравился ему, и приказал Никитину: — Здесь хватит одного орудия и двух ящиков снарядов. Остальные пусть ждут вне зоны огня.

— Уверен, что достаточно одного орудия? — усомнился Никитин.— А не лучше ли все-таки поставить на прямую взвод?

Но Княжко перебил его:

— Абсолютно уверен. Не по танкам стрелять. Давай сюда меженинское орудие. Неплохая позиция вот здесь. Слева от штабеля дров. Веди орудие тем путем, которым сюда шли.

— Я пошел.

«Почему он так спокоен и так уверен, что можно поддержать пехоту одним орудием и двумя ящиками снарядов? — подумал Никитин.— Не преуменьшает ли он чего-то? Ему кажется, что все просто будет?»

Когда минут через пятнадцать тем же путем через лес при помощи взвода пехоты Никитин привел орудие, Княжко взад-вперед ходил по ржавой хвое около штабеля дров, похлопывая веточкой по колену, изредка взглядывал вверх, где звенели, пели, отскакивали рикошетом, расщепляли кору сосен стаи очередей, и, как только появился Никитин, начертил не спеша веточкой круг на земле, скомандовал ему:

— Орудие ставить здесь. Лучшей позиции нет. Бронетранспортер и дом — в секторе. Орудие к бою!

— К бою! — крикнул Никитин и, увидев, как расчет заработал за укрытием щита, раздергивая, разводя станины, тяжестью тел вдавливая сошники в песок, тотчас подал другую команду: — Вкапывать сошники! До упора! Меженин, следить, чтоб орудие не скакало! Точность! Точность!

Меженин, с застылым, точно бы не воспринимающим команды лицом, выдвинулся из-за щита орудия, побродил подрагивающими ресницами по поляне, по четко видным отсюда постройкам лесничества, внезапно взревел, покрывая голоса расчета:

— Вкапывать сошники! Станину вам в глотку!

И согбенно навис грудью над наводчиком Таткиным, елозившим на коленях подле прицела, рукой так надавил на его щупловатое плечо, что рыжая голова Таткина рванулась назад от боли.

— Чего? — вскрикнул он, и коричневые усы его, прикрывавшие дефект раздвоенной губы, обнажили оскал мелких зубов.

— Ну-ка, мотай, счетовод, к едреной матери! — выговорил осипло Меженин и, толчком подняв его с колен, толкнув назад, грузно опустился к прицелу, вонзаясь бровью в наглазник панорамы.

— Вы, Меженин?..— проговорил Никитин. Он знал, какой хищной цепкостью, быстротой и меткостью в стрельбе владел бывший наводчик Меженин, но как-то необъяснимо было это его решение наводить самому.

Ответа не было, и Никитин не сказал ему больше ничего, уже ловя команду Княжко, знакомую, звонко-ясную, растянутую на слогах:

— По броне-транс-порте-ру...

Ему показалось, что после первого снаряда от серого корпуса бронетранспортера брызнули искры, огненные колючки огня, пулемет захлебнулся на половине очереди, чадный дым круто взвился над постройкой закрученной спиралью, и затем что-то темное, напоминающее человеческие тела, стало переваливаться по борту, две тени зигзагообразными бросками кинулись к дому, и в следующую минуту Никитин, определив прямое попадание, подал вторую команду:

— Правее ноль-ноль четыре, по углу дома, осколочным!..

Коротко лязгнул вбрасываемый в казенник снаряд, раздался удивленный возглас Ушатикова: «К дому бегут?» Одно плечо Меженина угловато поднялось, помедлило, скользяще упало в нажатии руки на спуск, и тут же затылок и полноватая спина сержанта отклонились назад при выстреле, скачке орудия, и снова потным лбом впаялся Меженин в наглазник прицела. Но когда отклонился он, сбоку мелькнул перед глазами Никитина его профиль — жестокая складка перекошенного рта, дикое выражение сдавленного ненавистью и как бы пьяного лица.

Второй разрыв черно-багрово взметнулся в двух метрах за темными фигурками, скошенно упавшими около угла дома, по стене которого хлестнуло осколками и ды-

мом, и Меженин, с жадным облизываньем сухих губ, опять впиваясь в прицел, выхрипнул не слова, имеющие смысл, а глухие отсекающие звуки, какие издают при рубке топором. И странной силой надежды на счастливый исход боя от этой слитости его с орудием, этой точности стрельбы дохнуло на Никитина, и все вчерашнее, враждебно отталкивающее, возникшее между ними, мгновенно исчезло, растворилось, было забыто, прощено им, и было забыто, наверно, Мениным, опьяненным разрушительным азартом начатого здесь боя.

— Командуй, лейтенант, командуй!..

В тот момент, когда второй разрыв снаряда накрыл двух немцев на углу дома, позади бронетранспортера, среди оседающей пороховой мути внезапно легла на поляну тишина. Захлебнулся крупнокалиберный пулемет. Смолкли автоматы; осыпа́лось, звенело внутри пристроек стекло, и сейчас же какие-то слабые крики, похожие на истерические рыдания, донеслись из выбитых окон лесничества и тоже смолкли.

— Стой! Прекратить огонь. Неплохо, Меженин!

«Нет, это не я командую, это Княжко, это он».

Княжко, сдержанный, как обычно, выпрямленно стоял под сосной шагах в десяти левее орудия, похлопывая веточкой по колену, смотрел на дом с удивлением, даже с вниманием брезгливой жалости — так наблюдают за бессилием раздавленного на дороге животного, делающего попытку встать.

«Что он остановил стрельбу? Почему? Сейчас надо по окнам, хоть один снаряд по окнам!» — подумал Никитин, различая у штабеля дров вытянутые к орудию лица Перлина и молоденького Лаврентьева.

— Молодцы, братцы! Давай, ребята! Крой их, артиллеристы! Вжарьте им, сволочам! — закричал Перлин, подбегая в своей раскрыленной плащ-палатке к Княжко, и махнул ракетницей в сторону дома.— Колупните их еще! И мы атакнем! Еще снарядиков, братцы, еще бы парочку, милые!..

— Никитин! По окнам, два снаряда! — приказал Княжко, на лбу его просеклась морщинка гнева, и он бросил вскользь Перлину: — Прошу вас не вмешиваться в стрельбу. И не кричать без толку! Иначе я прекращу огонь.

— Командуй, лейтенант, командуй! — сипел Меженин, не отрываясь от прицела, и вновь правое плечо его наготове поднялось в неуловимо мягком ожидательном

скольжении руки, легшей на спуск.— Командуй, лейтенант!..

Он, ни разу не оторвавшись от прицела, с тончайшей, молниеносной быстротой как будто чутьем угадывал последовательность стрельбы и торопил самого себя, Никитина, весь расчет, едва успевавший следовать за его готовностью по одному лишь поднятию плеча.

— По окнам! Два снаряда, осколочным!..

Разрывов не было видно. Два снаряда разорвались внутри дома, тяжко тряхнули, подкинули его рассыпавшимся звоном. Клубы палевого дыма вывалили из окон первого этажа, и вдруг воедино слитый страшный вой человеческих голосов вырвался оттуда. Он вырвался из задымленных нижних окон, вой предсмертного отчаяния и обреченности, потом врезались в этот вой команды на немецком языке, одиночные выстрелы в пределах дома, и Никитин с ознобом по спине представил, что наделали там эти два осколочных снаряда, со снайперской точностью выпущенные Межениным.

— Командуй, лейтенант, командуй! — повторял безумно, неудержимо Меженин, выхрипывая после каждого выстрела короткие горловые звуки.

— Еще два снаряда! Еще! Командуй!..

Вой в доме не утихал.

— Что они там? — пробежало слабым ветерком по расчету.— Плачут, что ли? Кричат, а?

И Никитин увидел бледное, передернутое страданием и удивлением лицо Княжко, теребившего в руках прутик, поодаль лицо младшего лейтенанта Лаврентьева, с зажмуренными глазами, зажавшего ладонями уши, увидел Перлина, который с криком и даже хохотом удовлетворенного злорадства взмахивал ракетницей, раскрыливая плащ-палатку, и строевой голос его бил по слуху грубым матом: «Сдаются, гады, сдаются, так их!..» — и тут же, глянув на дом, Никитин поймал зрением что-то белое, лоскутом материи порхнувшее в окне и вроде бы тотчас срезанное кем-то изнутри глухим выстрелом. Это белое мелькнуло, пропало, но крик скопленных ужасом голосов рвался мутной волной из окон, то стихая, то нарастая, как бывает в охваченных пламенем и запертых домах во время пожара.

— Хрен вам сдаются, хрен сдаются!..— выговорил обрывисто и сипло Меженин, все не отрываясь от прицела.— Убрали белое, платочком махнули! Командуй, лей-

тенант, командуй! Еще пару осколочных туда! Шашлык из них... Кучу дерьма из них... Заряжай, говорю!

— Стой! Ни одного снаряда! — крикнул Княжко и, швырнув прутик, подошел к Никитину, мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный, быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом: — Слушай... Это же наверняка мальчишки. Такие, как тот убитый... мальчишки!.. Не умеют же воевать. Похоже, мы в упор расстреливаем их! Белый флаг выкинули и убрали. Вервольфы или гитлерюгенд... Сомневаются, пощадим ли мы их. Боятся в плен... Стой, не стреляй!

За два года войны, с тех пор как на Днепре Княжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнение, на нерешительность в нем, и то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы нетвердость решения присуща была Княжко, как свойственна была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием.

— Что ты предлагаешь? — спросил Никитин.— Не понимаю... Что?

— Стой! Никому не стрелять! Пехота! Перлин! Ни одного выстрела! — прокричал Княжко, поворачиваясь к Перлину, подле которого тонким столбиком покачивался младший лейтенант Лаврентьев с яблочными пятнами на щеках.— Слушайте, Перлин, ни одного выстрела. Они и так сдадутся, Перлин! Стрелять только по моему приказу! Только по моему!..

И после того как он скомандовал это, все стало прежним в облике Княжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню знакомым жестом, чуть прямее над лбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам, последним перед поляной. Там, уже ясно видимый в яркой прозелени травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке — несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли три слова: «нихт шиссен» и «юнге», но совсем не предполагаемое и отдающее жутью действие Княжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском, и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить

Княжко, не выдержав этого животного вопля немцев, вызванного двумя выстрелами орудия по окнам в упор.

— Что делает? Куда пошел? Ку-уда-а? Лейтенант!..

Перлин ожег черными глазами Никитина, метнулся своей квадратной фигурой сбоку орудия; треща по сучьям сапогами, подбежал к штабелю дров, схватил растерянно-испуганного Лаврентьева за портупею, затряс его, закричал ему в лицо:

— Быстро! По цепи! Чтоб ни одного выстрела! Душа из тебя вон! Ну!.. На крыльях лети!

И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки, снова бросился к Никитину, перескакивая корневища кривоватыми ногами.

— Лейтенант, лейтенант! — Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну.— Он что? Ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?

Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно: то, что делал сейчас Княжко, мог сделать только Княжко, и ни Перлин, ни он, Никитин, ни Меженин, ни командир батареи Гранатуров не в силах были бы его остановить, изменить его решение,— он знал это.

Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Княжко, невысокий, узкий в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку ко рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать. И видно было, как в нависшей, звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды, визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение неуверенно и робко полоснул белым на солнце опущенный из окна мансарды лоскуток.

— Ну! Всё! Молодец ваш ангел! — задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю.— Мало...

Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина, не расслышал смятое проглоченное слово, крикнутое в ухо. Он увидел то, что не видел, вероятно, Княжко (потому что тот по-прежнему спокойно шел к дому): в верхнем этаже, в разбитом окне мансарды исчез,

растаял белый лоскуток, и на миг зачернел, высунулся силуэт головы, кругло очерченной каскеткой, отпрянул в сторону, и нечеловеческий, задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды, и в ту же секунду невозможно длительным обвалом прогремел по поляне выстрел орудия — и все оборвалось там, на краю разверстой черной пустотой пропасти, затянутой дымом, точно ничего не было за ним.

Но этот обвал и белые вспышки автоматной очереди из окна мансарды, где округло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь Княжко, он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед, странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы, жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющей под горячим солнцем поляны.

— Подарочек нам сделали! Угробили! Нашего лейтенанта угробили, сволочи!

«Что? Это голос Меженина? Почему он бежит ко мне от орудия? Зачем? Княжко? Андрей? Неужели Андрей? Неужели он? Неужели это случилось? Это залегшая пехота? Перлин? Здесь? После самоходок? Сегодня? Сейчас? После того, как выбросили флаг о сдаче? Стреляли из мансарды? Ранен? Убит? В бою с мальчишками? Какие мальчишки? Кто-то кричал в доме! Зачем он пошел! Перлин? Что кричит Перлин? Что с расчетом? Где расчет? Где снаряды? Снаряды! Снаряды! Разгромить, уничтожить, сжечь этот дом! И туда, к Андрею, к Андрею! Я знаю, что он не убит! Нет, очередь в упор! В грудь или в голову? Снаряды! Снаряды!»

Крича что-то обезумелое, бешеное, проталкивая хрипом железный комок в горле, не слыша своего голоса и голосов людей, не видя их мотающихся за орудием белых лиц, Никитин, потеряв себя, всю нужную выдержку, с заслоненным темнотой сознанием, чувствовал, как содрогалось от выстрелов орудие, как что-то косматое и огненное рвалось, разлеталось кусками бревен впереди, как дым, подкрашенный красным смерчем, выталкивался из развороченных окон мансарды, сплошь зияющей по крыше дырами, откуда сломанными ребрами торчали оголенные

стропила под осыпа́вшейся черепицей,— и не смог опомниться, сразу очнуться даже тогда, когда чья-то рука захватом стиснула его сжатые в кулак пальцы, которыми он во время команд бессознательно бил по стволу сосны, ободрав, изранив их в кровь. Меженин стоял перед ним весь потный, черный от газовой копоти, одни глаза воспаленно краснели из очерченных гарью ресниц, отрезвляюще стискивал его кисть, говорил угрюмо и тихо:

— Снаряды кончились, лейтенант. Ни одного снаряда. Пошли туда.

— Что? Кончились? — не дошло до Никитина сквозь темную пелену, окутавшую сознание.— Как кончились? Убит? Княжко убит?

Он дрожал, ноги у него подгибались.

— Пошли, лейтенант,— повторил Меженин и, опустив глаза, медленно двинулся куда-то в отяжеленную сумеречную тишину поляны, заполненной дымом пожара...

«Снаряды кончились? Там Андрей... К Андрею! Убит? Убит?..»

На поляне, впереди за дымом, в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество, справа и слева от пожара звучали весело-злые голоса пехоты, видимо обрадованной своему завершенному броску к дому, нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед этим лесничеством, на поляне, уже несколько минут лежал Княжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор, и вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно глу́пое слово «убит».

«Княжко убит? Андрей убит? Да это невозможно. Это ложь! Это ошибка! Кого угодно могло убить, только не его! Только не его!»

Мутная пелена покрывала сознание Никитина, и он еще не очнулся, не пришел в себя, когда шатко, как против течения, подошел и неясно увидел сначала не лицо, а тело Княжко в том неловком положении, с подогнутой головой к руке, притиснувшей к груди окровавленный платок, будто скрывал, загораживал от людских глаз тот удар, который нанесла ему смерть. И зачем-то Перлин, этот командир роты, сохранявший своих людей около проклятого лесничества, в старой и нелепой «заговоренной» плащ-палатке, сидел на корточках, расширяя сбавленным дыханием ноздри неприятно приплюснутого носа. Тихонько вынул он из безжизненной руки Княжко пла-

ток, окрашенный цветом гибели, старательно ощупал его грудь крепкими куцыми пальцами и, обтерев пальцы о траву, поднял на Никитина угольные, по-собачьи виноватые глаза и отвел их вкось. Низкорослый, сильный, как сама жизнь, он привстал, закряхтел, сказал, кажется, умеряя насколько можно огрубевший от пехотных команд голос: «Двумя пулями сразу... около сердца»,— и Никитин при виде беспомощной позы Княжко, платка на траве, чувствуя, что может ударить Перлина, эту саму жизнь, сохраненную в грубой оболочке плоского лица, этого вдавленного посередине носа, луженого баса, крикнул со злобой и ненавистью:

— Слушайте вы, старший лейтенант! Снимайте ко всем чертям свою заколдованную плащ-палатку! Его надо на плащ-палатку... Быстро, говорят вам!

И с колотившей все тело дрожью наклонился к голове Княжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел. И почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, почувствовал, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя.

Это выражение на мертвом лице Княжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которое подчиняло ему людей, оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое—с иными бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы,— в то детское, ясное, забытое на войне и Княжко, и им, Никитиным, как забыт был и голос матери. Но Княжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверно, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально-взрослый пробор, а теперь косым уголком сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда, обожженный очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу.

— Товарищ лейтенант...

«Что? Кто? Куда это меня зовут? Кто это? Меженин?»

— Товарищ лейтенант... Комбат приехал.

«Комбат? Откуда приехал? Какой комбат?»

Вокруг сгрудился расчет орудия, подавленно-угрюмые, молчаливые люди, незнакомо-притихшие близ дохнувшей

смерти, в не просохших еще гимнастерках, грязь размыта потеками пота на щеках, маленький наводчик Таткин ненужно мял у живота пилотку, в вытянутой шее, в немигающих глазах Ушатикова застыло удивление перед тем, что всегда уму непонятно было (ведь еще команды лейтенанта в ушах звучали, еще помнилось, как он, живой, гибкий и здоровый, с платком по поляне шел), а Меженин и этот пехотинец Перлин уже расстилали плащ-палатку, и Меженин с мрачной и бессмысленной аккуратностью все расправлял ее по траве, выпрямлял уголки, словно озабоченный тем, чтобы Княжко на ней удобно было. И это он говорил, разминая плащ-палатку, не глядя на Никитина:

— Комбат приехал, товарищ лейтенант.

— Кладите его,— сказал вполголоса Никитин.— Кладите на плащ-палатку. Понесем к орудию.

«Что я скажу Гранатурову? Рассказывать, как случилось? Повторять весь бой? Странно — Гранатуров и Княжко не были друзьями,— подумал вяло Никитин как о чем-то лишнем, сложном, ненужном сейчас, отвлекающем в сторону от немыслимой и страшной простоты.— Да, да, Гранатуров жив, а Княжко убит...»

И Никитин посмотрел туда, куда не хотелось ему смотреть.

Да, он все-таки не выдержал, не высидел в медсанбате и приехал, не зная о конце боя, старший лейтенант Гранатуров, как приезжал в район Цоо и вчера ночью в батарею. Его роскошный трофейный «оппель», неделю назад взятый на улицах Берлина, игрушечно поблескивал светлым лаком и стеклами в конце поляны, где начиналась, вероятно, лесная дорога, метрах в пятидесяти за позицией орудия. И сам Гранатуров, вылезший из машины, огромный, с толстой в бинтах кистью на марлевой перевязи, крупными шагами шел сюда, к замеченной им издали группе людей на поляне. И тут следом за комбатом вылезла из «оппеля» Галя, захлопнула дверцу, сказав что-то шоферу, оправила пилотку на черных волосах и, по обыкновению строгая, тоже пошла к поляне позади Гранатурова, догоняя его.

«Она — зачем? Почему он не один?» — мелькнуло в голове Никитина, и чугунная болезненная тоска сдавила его всего.

И чем ближе они подходили, тем четче он различал их лица: смуглое, с длинными косыми бачками Гранатурова, напряженное, нацеленное чрезмерным вниманием в

толпу солдат, и тонкое, сразу ставшее чужим, преображенным лицо Гали, поднятое в ожидании страха и муки.

Вглядываясь и не найдя среди солдат знакомую фигуру Княжко, она, наверное, особым женским чутьем мигом ощутила что-то неладное, случившееся здесь, и видно было, как она ускорила шаги, прижимая, будто в удушье, одну руку к горлу. И Никитин, стиснув зубы, почувствовал, что ее несоглашающийся разум еще не воспринял всего, еще боролся с тем, что стало бесповоротной явью.

— Где Княжко?.. Где Княжко? — закричал Гранатуров, подбегая к раздавшейся толпе солдат, его темные глаза изумленно выкатились, он, видимо, не предполагал увидеть то, что увидел отчетливо и реально, рот его по-львиному раскрывался, и он обрывисто повторял: — Почему Княжко? Почему Княжко? Каким образом? Ты что молчишь, Никитин? Как это случилось? Здесь? Насмерть?..

— Потом, комбат, ради бога...

Никитин еще выговорил это, не узнавая собственного, перетянутого железной петлей голоса. В то мгновение он не знал, что́ может ответить Гранатурову, и не знал, что может ответить Гале, уже подошедшей к краю плащ-палатки и как-то нетвердо, с прижатой рукой к горлу, остановившейся перед изголовьем Княжко. Никогда в жизни он не видел такой мраморной белизны лица, такой смертельной неподвижности в блестящих сухостью глазах, такой вороненой черноты волос из-под пилотки, крылом закрывшей белизну ее щеки. Рядом вместо Никитина сержант Меженин нехотя и хмуро рассказывал Гранатурову, потребовавшему объяснений, подробности последних минут жизни лейтенанта Княжко до автоматной очереди из окна мансарды, а Галя, не размыкая бескровных губ, не задав ни одного вопроса, все омертвело молчала; она не слышала ничего, неузнаваемая в своей закованной стылости, глядела на планшет, на кобуру пистолета, снятые с Княжко, которые держал Меженин как доказательство его гибели. Потом судорога внутренней муки прошла по ее губам, и она со стоном опустилась на колени у изголовья Княжко, мелко дрожащими пальцами потрогала его измазанный кровью лоб (зачем в момент смерти он вытер его платком?), пощупала то место на груди, куда вошли пули, и отклонилась, выпрямилась, не подымаясь с колен, с зажмуренными веками, подставив лицо чему-то бесповоротно настигшему ее, непоправимо и окончательно понятому ею.

— Галя...— хотел позвать Никитин, но голос не подчинялся ему, и он, кривясь, лишь останавливающе толкнул в плечо Меженина.

Меженин замолк на полуслове, из-за плеча мутно покосился на Галю, и Гранатуров и Перлин одновременно повернули головы по направлению сумрачного взгляда сержанта. Перлин, раздавленный случившимся и присутствием здесь женщины, этого молчаливого старшего лейтенанта медицинской службы, потерянно замялся, перханьем прочистил горло, спросил сипящим шепотом Меженина:

— Она — кто?.. Его пэпэжэ?

— Малча-а-ать! — заорал разъяренно Гранатуров, нависая гигантской фигурой над низкорослым Перлиным, и рубанул здоровой правой рукой возле его откачнувшегося плоского лица.— Молчать, твое дело телячье сейчас! Молчать! Ясно? — Он обернулся к горящему лесничеству.— Подлецы! Шантрапа фрицевская! Он к ним, чтобы кровь не проливать, чтобы их спасти, шел, а они, гадюки, по нему выстрелили! А! Вот они, сосунки, вот они! А ну, пехота! Чего глаза лупишь? Прикажи подвести их сюда! Мигом!

От лесничества, охваченного жадными извивами огня по всему первому этажу, от горящих построек, густо замгленных дымом, где протяжно, с натугой мычала, по-видимому, раненная и задыхавшаяся в пристройке корова, приближалась группа людей, разношерстно одетых в немецкие мундиры, военные рубахи, в гражданские пиджаки, сбитая в плотную кучу группа пленных, сдавшихся во время атаки пехоты. Группу эту конвоировали двое солдат, сплошь увешанных трофейными автоматами; оба вопросительно оглядывались на молоденького младшего лейтенанта Лаврентьева, который, подгоняя пленных командой и взмахами пистолета воинственно и споро шагал сбоку строя: «Vorwärts! Schnell!» [1]

— А ну-ка, старший лейтенант, давай их сюда! Заверни их сюда, мерзавцев! — приказал Гранатуров Перлину и в злом нетерпении, не ожидая его распоряжения, крикнул пехотному младшему лейтенанту: — Эй! Офицер! Подведи сюда пленных! Бегом!

Младший лейтенант Лаврентьев что-то сказал конвоирам, те забегали вокруг пленных, тыча вправо дулами автоматов, закричали: «Шнель, шнель, фрицы!» — и куч-

[1] Вперед! Живо!

ка людей хаотичным стадом затеснилась, затолкалась теперь быстрее, повернутая на поляну вправо. Лаврентьев обогнал пленных и, возбужденный боем, с яблочно-розовыми пятнами на щеках, юный, лопоухий, первый подбежал легонькой рысью, выпрямил ладонь у виска, вытянулся и запнулся на докладе, увидев Перлина, незнакомого старшего лейтенанта около него и группу артиллеристов со снятыми с потных голов пилотками:

— Товарищ старший лейтенант...

— Тебе что — есть о чем ему докладывать? — обрезал Гранатуров и, кивком указав на Перлина, шагнул к подходившей группе пленных, весь передергиваясь.— Стой! Хальт! Так вот вы какие! Решили насмерть драться? В конце войны? По безоружным русским офицерам стрелять? А ну-ка, посмотрю я на вас!

Пленные, остановленные криком Гранатурова и конвоирами, скопились еще теснее в темную кучу, измазанные пороховой гарью, изможденные лица грязно лоснились, десяток глаз, опаленных страхом, остекленело глядели на двухметровую фигуру Гранатурова, выросшую перед ними; рот его паралично перекашивало.

— Так что же вы, ферфлюхтер,[1] сыкуны гитлеровские, ночные горшки автоматами заменили! Стрелять захотели? — выговорил угрожающе Гранатуров, вонзаясь в лица немцев шальными без зрачков глазами.

И тогда чей-то мальчишеский тоненький голос взвизгнул, всхлипывая, заплакал в середине строя, но тотчас другой голос из гущи сгрудившихся тел начальственно-резко прокричал что-то, прерывая этот всхлипнувший звук, разом возникло испуганное движение головами, и тут Гранатуров, растолкав первую шеренгу пленных, матерясь, выволок из толпы ширококостно-квадратного бородатого немца в вермахтовском, извоженном пылью мундире и зеленой каскетке; правый погон его был оторван, косо свисал на плече, его пронзительный взгляд, вздернутый вызовом ненависти, заметался, как в буйном безумии, губы ломались, чернели в густоте бороды, роняя под ноги Гранатурову сгустки змеями шипящих слов:

— Russiche Schwein! Alle sind Schweine! Иван... Schweinedreck! [2] — И по-строевому круто поворачиваясь к безмолвной толпе пленных, еще произнес какую-то презрительную, оборванную гневным смехом фразу.

---

[1] Проклятые.

[2] Русская свинья! Все свиньи!.. Дерьмо свинячье!

Это был выплеск, бессмысленное действие разрушенной последней силы и последнего бессилия, этот смех и жаркий огонек безумия, казалось, нервным током ударил всех. Меженин, вприщур, быстро глянув на немца, вздутыми бугорками перекатил желваки на подтянутых скулах, Гранатуров же изо всей силы за плечо рванул к себе бородатого немца, волчком крутанул его, ставя лицом к своему лицу, и, когда немец опять выхрипнул непонятную, захлебнувшуюся злобой фразу, увидел Никитин сухие и неподвижные глаза Гали, устремленные на толпу пленных.

— И таких бородатых брали в плен? Либералы! Ох, так вашу перетак, добренькие мы как-кие! — засмеялся Гранатуров тем смехом, которым смеялся только что немец, и левая, забинтованная его рука на перевязи угловато запрыгала вверх, а правая с яростной неудержимостью искала, хватала из-под вскинутой левой руки потертую кобуру пистолета, расстегивала неподатливую кнопку.— Таких? В плен? Чтоб они размножались? Чтоб жили? — говорил он, трудно дыша, отступая на два шага назад.— На плен надеются? На плен? Не-ет! Да я тебе, бородатая сволочь, за Княжко!.. А ну! — крикнул он, ринувшись к Гале, и, оскаливаясь, взбешенно втолкнул ей в руку пистолет.— К черту его! К черту! Я разрешаю! На тот свет! Стреляй в него, стреляй! Стреляй, я тебе приказываю! За Княжко! За Княжко! Стреляй!..

У нее вдруг, как от беззвучных подкатывающихся к горлу рыданий, колыхнулась острая под гимнастеркой грудь, разительно черное крыло волос дернулось на ее мраморной щеке, и передние немцы, тупо глядевшие на ее аккуратно начищенные сапожки, на ее колени, еще не всё понимая, впились обморочным вниманием в ее пальцы: пистолет колебался в них неимоверной тяжестью поднятого смертельного камня.

Никто из пленных не успел, наверное, в ту минуту осознать, что эта русская фрейлейн с узким красивым лицом и сухими, никого не видящими глазами может сделать какое-то насилие над ними, может выстрелить, и крайний справа, худенький, светловолосый мальчик в разорванном на локте мундире совсем по-детски заискивающе и жалко попробовал поймать ее взгляд, робко улыбнулся ей, принимая лишь игру, в которую недавно играл и сам... И Никитин, тоже не поверив, что она выстрелит сейчас, неожиданно увидел, как она, без кровинки в лице, кусанием бескровных губ подавляя невылитые слезы, со-

трясавшие ее, так судорожно, так неумело поспешно нажала на спусковой крючок, что пистолет, грохнув выстрелом, живым комком выскользнул из ее пальцев. Она выронила его, хватаясь за висок, мотая головой, простонала: «Господи!..»

Она явно промахнулась. Бородатый немец, оцепенело отвалив заросшую челюсть, отшатнулся вбок, пленные шарахнулись назад, давя друг друга. Передние взвизгнули, задние ошеломленно завыли вязким нечеловеческим воем гибели, какой полоснул Никитина по слуху при стрельбе орудия по окнам дома. И тот крайний справа, что пробовал робко улыбнуться, светловолосый, самый молодой, защищаясь, выставил вперед ладони, грязно-коричневые, испачканные землей, плача навзрыд в лихорадочном страхе: «Эсэс! Эсэс!» — и при этом ладонями ослабленно бил по спине отпрянувшего в его сторону бородатого немца.

— Ах, значит, ты, подлюга, стрелял? — И Меженин прыжком подскочил к бородатому немцу, упором воткнул ствол автомата ему в живот.— Ты, эсэсовская падаль, убил Княжко? Ты, ты, гадюга, из мансарды стрелял?

Он с такой мстительной силой ткнул стволом автомата бородатого немца под ложечку, что тот завалился назад, потерял равновесие, а когда попятился он, закричав что-то млеющим голосом, Меженин рывком вскинул автомат, прицельно и остро прищурясь:

— Так на́ тебе, падло, ответную!..

Короткая очередь в упор отбросила немца метра на три, зачернел задранный к небу заросший подбородок, слетела с головы каскетка, и, цепляясь сумасшедшим взглядом за воздух, немец упал спиной в траву, дугой выгибая там коренастое тело, тягуче мыча, кашляя на бороду алыми фонтанчиками крови. Вопль ужаса прокатился по толпе пленных, кто-то отчаянно зарыдал в голос:

— Nein, nein, nein!..

— А-а! И вы с ним, курвы! — Меженин, по-пьяному широко расставляя подсекающиеся в траве ноги, чтобы не упасть, развернулся с автоматом наизготове к пленным, жадным вдохом всосал воздух.— А-а! Клопы гитлеровские! Всех вас! Всех!..

И Никитин, растерянный, оглушенный воплем беззащитной толпы, с единственно ясным желанием остановить, прекратить это неожиданное кровавое безумие, охватившее всех, рванулся к Меженину, сзади кулаком уда-

рил по стволу автомата и вырвал у него автомат, повторяя одно и то же:

— Стой, стой!.. Я тебе приказываю. Стой!..

— Ж-жалеешь? — прохрипел Меженин, пьяно облизывая липкую пену в краях рта.— Их жалеешь? А Княжко, Княжко не жалеешь? Добренький ты у нас, лейтенант!

— Никитин! Давай за Галей! — скомандовал Гранатуров тоном неохлажденной злобы.— Отведи ее в машину! Беги за ней! Что смотришь, как Иисус Христос? Быстро за Галей!

И Никитин понял, что ему не убедить ни Гранатурова, ни Меженина, что ему не хватает сейчас внушительной и резкой воли, непрекословной воли Княжко, и, дрожа в бессилии, с ненавистью к своей слабости, он внезапно выговорил свинцовыми губами:

— Если расстреляете пленных, комбат, ответите перед трибуналом! Я этого не забуду... никогда... Лучше уезжайте в госпиталь, слышите?

И пошел по поляне, которая ныряла, покачивалась под ним, бросая его из стороны в сторону, точно ноги не слушались, потеряли твердость земли.

Он нашел Галю на огневой позиции. Она сидела одна под щитом орудия на станине, вся съежась, опустив лицо в ладони, и он сел рядом. Она тряслась, стонала, вскрикивала в освобожденной тоске неудержимых глухих рыданий. Ее пальцы, закрывавшие лицо, были измазаны кровью Княжко, и сквозь них просачивались розоватые капельки слез, стекали по ее тонким, нежным запястьям в рукава гимнастерки.

— Галя...— безголосым шепотом позвал Никитин.

Она молчала.

— Галя,— повторил Никитин растерянно.— Я прошу вас...

«О чем я ее прошу? Что я говорю?..»

Она отняла руки от влажных щек, посмотрела на него с таким брезгливым отвращением, как если бы увидела раздавленную мокрицу на его лице.

— Трусы,— прошептала она, заглатывая злые рыдания.— Все вы... он был лучший... лучший из вас! Никто из вас... только он, он один погиб!.. О, как я вас всех ненавижу! — И, окровавленными пальцами охватив горло и душа, задавливая слезы, вскочила и, наклонясь вперед, пошла, побежала к машине, а он сидел на станине, вжимая в казенник грудь, где комком заледенело, за-

стряло что-то тупое и жесткое, мешающее ему дышать.

«Только он... он один!..»

Было тихо. Горько и кисло пахло порохом и стреляными гильзами. Потрескивая, скатывалась черепица с пылающей кровли. Горело лесничество на поляне. Оттуда медленно продвигалась группа людей: в сторону орудия несли на плащ-палатке тело Княжко, и поодаль от этой группы солдат безмолвно колыхалась толпа пленных, подгоняемая конвоирами.

Позади молча шли Меженин и Гранатуров.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ему нужно было забыться, и он пил наравне со всеми, не чувствуя сивушного вкуса трофейного шнапса, только огненнее обжигало его, сжимало дыхание, и все труднее воспринималось происходившее вокруг — звуки нетрезвых голосов, стук бутылок и опорожненных стаканов о стол,— и было как-то противоестественно, невыносимо, что говор становился неумеренней, громче, гуще, как жарче и гуще становился воздух гостиной, освещенной керосиновой лампой под абажуром, той самой гостиной, где вчера ночью еще был живым лейтенант Княжко — играл в карты, наклоняя голову с зачесанными на косой пробор волосами, допрашивал немцев, ходил, говорил, оправляя портупею, приказывал, задумчиво глядел на огонь камина... а сейчас здесь, в этой гостиной, они поминали его.

И хотя после каждого налитого стакана Гранатуров, мрачно возвышаясь над столом, произносил: «Помянем лейтенанта Княжко»,— и хотя было многолико, тесно, даже оживленно от множества людей, от гула участливого хмельного объединения, не хватало чего-то главного, нужного, не восполнимого ничем, и необоримая гнетущая пустота тоской разрывала душу Никитина. Если бы он сам не видел, как погиб Княжко, как, ударенный очередью из окна мансарды, упал на колени и провел носовым платком по лбу, вроде бы пытаясь вытереть кровь, ему было бы легче во много раз. Но память его, отуманенная водкой, не выпускала, не высвобождала те последние секунды на поляне лесничества, которые были смертью Княжко, и то последнее мальчишеское выражение на бледном его, забрызганном кровью лице, и те не-

постижимо понятные, страшно подтвержденные рыданиями слова Гали:

«Только он, он один погиб...»

Он почти не слышал ни слова из того, что говорили здесь, вспоминая Княжко, и порой ему хотелось вскочить из-за стола, уйти, оставить этот пьяный шум поминок, кинуться в медсанбат, найти там Галю, долго, ожесточенно просить прощения за себя, за всех, за всю батарею, и в соединенном сладком отчаянном понимании друг друга покаянно встать на колени, целовать Галины пальцы и говорить ей о Княжко, о том, что он был смелее всех, умнее всех, честнее всех и что невозможно представить батарею без него и невозможно заполнить неизбывную пустоту без него,— и дрожащими иголочками царапнуло Никитину горло, и он проталкивал глотками тугой комок слез, а горячая влага жгла веки, щекотала переносицу.

Со сцепленными зубами он отклонился в теневую полосу, очерченную зеленым колпаком лампы, незаметно обтер рукавом глаза, потом резко качнулся к столу, без приглашения Гранатурова решительно налил полный стакан водки, выпил и вдруг встал на непрочных ногах. Его подташнивало и пошатывало. Он не знал, зачем он встал, зачем ему надо было встать.

На него не обратили внимания — везде разговаривали, перебивали один другого, курили, ели столовыми ложками жирные свиные консервы из железных, торчащих зазубренными крышками банок; наводчик Таткин, не то смеясь, не то плача — светлые капли блестели на его рыжих усах,— обнимал за плечи Ушатикова (тот исподтишка гладил, растроганно кормил на коленях кошку) и говорил умиленным голосом, что, дай бы бог, война закончилась, детишек бы своих увидеть, целой ноги или руки ради этого не пожалел бы, а рядом — сквозь дым самокрутки — пожилой командир четвертого орудия старший сержант Зыкин смотрел на Никитина с сочувственно-скорбным укором усталого человека. «Почему он смотрит на меня, будто я пьян? — горько и мимолетно подумал Никитин.— Нет, я совершенно трезв, просто у меня невыносимая какая-то тоска, и я не знаю, что мне делать. Зачем я встал? О чем они говорят? Но что я хочу? Что я хочу сделать?..»

Казалось ему — было непростительным и ужасным то, что не в меру выпитая водка облегчала сознание и уже сняла с солдат давящую тяжесть дневного боя, недавних похорон, прощальный залп автоматов, который прозвучал

на городском кладбище над пугающе свежим земляным бугорком, где слова на дощечке «погиб...» навсегда отделили от жизни лейтенанта Княжко, и никто, наверно, не помнил вороненое крыло волос на мраморно-белой щеке Гали, все время с закрытыми глазами окоченело стоявшей тогда возле Никитина, и никто из пьющих сейчас эту немецкую водку и жующих за столом эти трофейные консервы, без нормы отпущенные старшиной по приказу Гранатурова, не вспоминал безумный бой с самоходками, бой в лесничестве и тот чудовищный миг, когда ударила из окна мансарды автоматная очередь, никто не признавал свою вину в том, что удачливо миновало каждого и по несчастливой судьбе не миновало одного Княжко. И Никитин почувствовал, что готов ненавидеть всех их за гибельный сегодняшний бой, за отвратительно мелкие теперь разговоры, бестолковый шум в накуренной комнате, за выражение дурного возбуждения на потных и багровых лицах.

«Мне надо сесть и молчать. Я сейчас делаю что-то злое, обидное для них. Что же думают они? О чем, о каких нелепых пустяках они говорят?» — соображал Никитин, с насмешкой глядя на заметно захмелевшего Гранатурова, на огромные пальцы его здоровой руки, а тот поочередно вынимал какие-то бумаги из полевой сумки Княжко, взятой Межениным и в начале поминок положенной перед комбатом на столе.

«Что он делает?.. Что рассматривает? Какое он имеет право лезть в сумку Княжко? Я знаю: комбат не любил его. И Княжко не любил. Они только терпели друг друга. И почему Меженин показывает Гранатурову какую-то записку? Откуда записка? Из сумки? Кажется, они говорят, что нужно сообщить родным о гибели Княжко. Кто напишет письмо?.. Гранатуров? Сам? Кто?..»

— Комбат...— глухо выговорил Никитин спадающим до шепота голосом и, набрав душного воздуха в легкие, повторил тоном неприятного самому себе накала: — Старший лейтенант Гранатуров!..

Гранатуров глянул на него проникающими подозрительными глазами, тяжело спросил:

— Что хочешь сказать, Никитин?

— Документы... сумку Княжко дайте мне,— с внезапной твердостью проговорил Никитин.— Я сам... напишу письмо...— Он усмехнулся, еще силясь быть внешне спокойным, но лицо не подчинялось ему, оно ощущалось им омерзительно каменным.— У вас, комбат, письмо к род-

ным лейтенанта Княжко не получится. Вы и Княжко — разные люди...

— Сядь, Никитин,— сказал Гранатуров сумрачно.

«К чему я ему говорю это? К чему? — соображал Никитин, неясно сознавая собственную неправоту, и потянул пальцем за воротник гимнастерки, скользкий, влажный от пота.— Я свожу счеты после смерти Княжко? Так кто... кто виноват? Гранатуров? Меженин? Ушатиков? Или я? То безумие было сегодня... Все считали, что был последний бой? И жизнь каждого стала дороже? Нет, я много выпил, но я не так уж пьян... Я способен думать, значит, не пьян, как это кажется Гранатурову...»

— Сядь, Никитин,— свел брови Гранатуров и, дочитав записку, вложил ее обратно в раскрытую сумку на столе.— То, что вы друзья были, знаю. Возьми сумку. Напиши в письме, что, мол, лейтенант Княжко, ваш сын, погиб героической смертью в боях за Берлин,— добавил Гранатуров, наблюдая, как сумку Княжко передавали по рукам Никитину.— Покрасивее напиши. Атаковали, мол, танки. Был бой насмерть, лейтенант Княжко, раненный, не ушел с поля боя, самолично подбил несколько вражеских танков и погиб у орудия. Так написать надо. Погиб как герой. Только так. Чтоб внушительнее было. Иначе...

— Нет! — И Никитин, будто накрытый горячей темнотой, с размаху ударил кулаком по столу, отчего задрожали, скандально, зазвенели бутылки о стаканы.— Нет, не так, комбат! Совсем не так!

— Почему не так? — насторожился Гранатуров, и тень недовольства прошла по его смуглому лицу.

— Вранье писать?.. Красивое вранье писать о Княжко я не буду! Я напишу так, как все произошло!

«Что я так обозлился на него? Он хочет, чтоб внушительней было. Красивая глупость штабных писарей. Что это значит? Разве можно погибнуть внушительно и невнушительно? Да о чем я с ним говорю? При солдатах... И зачем я кулаком по столу?» — подумал Никитин, понимая неуместность спора, но в то же время, подхваченный каким-то жаром сопротивления, заговорил распрямленным голосом:

— Княжко был смелее нас всех. И погиб потому, что был лучше нас. Да, лучше. Тихо, Меженин! Какого черта вы улыбаетесь? — крикнул Никитин и снова стукнул кулаком по столу.— Расстрелять безоружного немца и последний дурак, последний трус сумеет! Трусость! Это же идиотство! Глупо все было! Стыдно было! Очередь в нем-

ца... А Княжко погиб... Не хотел крови. Он хотел прекратить бой! И мы, как трусы, как трусы...

«Странно они все смотрят на меня. Да, лицо. У меня отвратительное сейчас лицо. Я чувствую, как оно кривится и горит».

— Лейтенант, а лейтенант...

Меженин, подтолкнутый хмурым Гранатуровым, подошел к Никитину, тронул его за плечо, сказал негромко:

— Лейтенант, а лейтенант, пошли наверх, а? Я полегоньку провожу. День сегодня такой был.

Лицо Меженина, потное, серьезное и теперь совершенно трезвое, совсем не такое, какое было, когда он стрелял в того немца, умело скрывало неискренность помощи, даже насмешливую издевку, как представилось Никитину, над его опьянением, и почему-то сразу охватили его в сером дыму жалостно-сочувственные взгляды притихших солдат. Но он не мог бы объяснить, сказать им, что нет и никто не найдет справедливости и веры, чтобы оправдать гибель Княжко, и нет у него сил заглушить не заполнимую этими поминками пустоту тоски, одиночества, неисчезающую железистую горечь, острием воткнувшуюся в грудь. Просто все потеряло нужность и значение, окраску и смысл: рядом уже не было и никогда не будет Княжко с его аккуратно зачесанными на пробор светлыми волосами, с его всегда подшитым чистейшим подворотничком, легкой поступью хромовых сапожек, с его строгим, иногда высокомерным взглядом зеленоватых глаз, знающих что-то свое, не открытое никому.

Да, многое было бы иначе, если бы Княжко, живой, стройно затянутый портупеей, ясный и нераскрытый, как загадка, находился в этой комнате. Но Княжко не было ни где-то вблизи, в соседнем доме, ни тут, в гостиной, где должен был быть он, и все безвыходно растворилось, опустело, застыло в безрадостно тусклом туманце.

— Лейтенант, а лейтенант, пойдем, я провожу...

— Куда вы меня проводите? Уберите руку ко всем чертям! — Никитин столкнул руку сержанта, увесисто легшую на плечо, с больным упорством встречая молчаливое внимание солдат, словно выпытывая, спрашивая у них, смогут ли они жить так, как жили до гибели Княжко, заговорил заплетающимся языком: — Мы все... еще поймем, мы все будем виноваты... за то, что он погиб, а мы остались живы... и еще думаем, что нам повезло. Мы ждали, что все сделает он. А он один не боялся

смерти. Я ненавижу себя. И не могу всем вам простить. И себе. Трусости...

Вверх от стола пополз, вытянулся подбородок Ушатикова, переставшего кормить кошку на коленях, и над банкой консервов всколыхнулись рыжеватые усы осовелого Таткина, который слезливо-влажно взглянул куда-то в пространство, вздохнул:

— Жить бы ему да жить, царство ему небесное. Строг, но справедли-ив был.

— Ко... кошку он принес, помните? Накормите, говорит... Для чего он к немцам проклятым пошел? — удивленно и протестующе залепетал Ушатиков, заморгав.— Себя не пожалел, а они... Ух, проклятые!

— Вот то-то и оно! Виноватых, выходит, когда стреляют, нет! — заключающе уронил Меженин и вразвалку подошел к своему месту, плотно сел около Гранатурова, налил в кружку водки.

— Оба умны, аж мозги светятся,— проговорил старший сержант Зыкин, в угрюмой раздумчивости катая комочки хлеба на клеенке.— Один про кошку, другой, мол, вины ничьей нет. Нету с нами лейтенанта — вот тебе вся правда сполна, Меженин! А живые, они завсегда за мертвых отвечают. Видел я, как ты сперва... когда по самоходкам стреляли, себя-то потерял. Первый раз видел тебя таким. Смерть представил свою небось перед концом-то войны, а потом немца бородатого ухлопал. Это ты не за лейтенанта, за свой страх мстил. Вот она тебе правда, сержант, ежели так!..

Желваки выпукло обозначились на скулах Меженина, длинные ресницы пропустили свинцовый свет глаз.

— Заткнулся бы ты, ангел без крылышек! — выговорил он, и медленная полуухмылка натянула кожу на его висках.— Чего гундишь понапрасну? Молчи себе в тряпочку! Понял? Да я б всех их ухлопал, всех на тот свет, если б некоторые жалостливые не вмешивались! Во, комбат, как они фрицев защищают! А?

Немецкая гостиная, керосиновая лампа и стол плыли в пелене перед Никитиным, и зыбко виден был под светом лампы Гранатуров, сидел, чернея косыми бачками, мрачный, не размыкая большого рта, и в полутени абажура проступали, мелко лоснясь испариной, собранные злобой скулы Меженина, этого давнего среди командиров орудий его любимца, явно уверенного в своей непогрешимой законной правоте, данной ему присутствием Гранатурова.

И Зыкин в сердцах смахнул крошки хлеба с клеенки.

— По-русски говоря, убивец ты, ежели в безоружного немца запросто пальнул. Сам, выходит, вроде палача какого стал,— сказал он истово.— Вот тебе и весь сказ. Смотреть на тебя неудобно. Не могу я тебя уважать, сержант, после того... При солдатах говорю. Да и при комбате сказано...

— Ма-алчать, Зыкин! Развели антимонию Иисуса Христа! Это мой приказ был! Пока война идет — никакой церемонии с немцами! Как что — в овечек превращаемся! Да они нас бы всех, до одного! Мы еще будем разводить всякое сю-сю! — взбешенно вмешался Гранатуров.— Если уж всю правду-матку говорить, Никитин,— Гранатуров загремел стулом, поднялся, забинтованная его рука вскинулась на перевязи,— то Княжко пожалел этих сосунков, а они в ответ на благородство — очередь из автомата. Не-ет, такое рыцарство — к богу в рай! Щечку подставлять, ударь меня! К кому жалость? К тому, кто из тебя кишки выпустит? Он был лучше всех, говоришь, Никитин? Ладно, пусть так! Прочитай его письмо... в общем, не важно, к кому оно, сам поймешь! Я любил Княжко за многие качества не меньше тебя и уважал, но... зачем ему нужно было? Он сам смерть искал... это я тоже сегодня понял!

— Врешь, комбат! Чушь порешь! Ты его любил? Ты его ревновал и боялся! — оборвал Никитин, заражаясь гневом и непримиримостью, грубо переходя на «ты».— Поэтому тебе не сиделось в медсанбате. Тебе никогда не быть таким, как он, никогда и ни в чем! Что касается Меженина, то лучше возьми его, комбат, к себе в ординарцы, пока не поздно! Терпеть во взводе я его уже не намерен! Видеть я его во взводе не могу!

— Это что, Никитин, угроза Меженину?

— В штрафную грозит меня сплавить,— ухмыльнулся Меженин.— Вон как, товарищ старший лейтенант.

Удушливо спертая тишина пала в комнате, ощущалась, как физическое давление воздуха, как преграда, как выросшая стена, которую не было сил преодолеть, а он надеялся, что придет момент облегчения после высказанной всем им правды о Княжко, но не стало легче. Все связанное с сегодняшним днем, с Межениным, Гранатуровым, приехавшим не ко времени, все связанное с гибелью Княжко было стянуто в крепкий узел, сплетенный из трех дней предательски коварного отдыха, мгновенно

отбросивших войну куда-то в недосягаемо отдаленное,— на предельной скорости, на полном ходу война ложно закончилась. А это был жестокий обман, которому поверили они три дня назад, когда вывели их из боев, из горящего Берлина; да, их обманули, и потом — сегодня утром — наступило безумие. И Никитин, чувствуя бесповоротность случившегося сегодня, выговорил с тоскливым отчаянием ярости:

— Противно, отвратительно! И ты, комбат, противен, и ты, Меженин! Как трусы, расхрабрились перед пленными... Противно, отвратительно! А Княжко погиб. Нет, мы все виноваты. Все до одного. И я. И все вы. Отвратительно!..

Его злые, в бессилии сжигающие самого себя слова срывались и падали острыми камнями и будто без всплеска уходили в глубину до звона в ушах спрессованной тишины, а из сероватого ее тумана смотрели на Никитина и плотно и душно окружали его молчанием удивленные глаза солдат.

— Не умеешь пить! — загудел бас Гранатурова.— Говори, говори, но сперва проспись!

— Не ори, комбат, плевать я хотел.

— Никитин! Попридержи язык, забываешься, хоть ты и пьян! Знаешь, что за это?

— Неужели ты думаешь, что я боюсь тебя, комбат? А потом... Ты сейчас не командуешь батареей, ты в медсанбате... и уезжай к черту!

С тошнотным головокружением Никитин взял сумку Княжко, стараясь не пошатнуться, повернулся и, усилием тела сохраняя равновесие, шагая чересчур ровно, пошел из комнаты. При выходе его качнуло, ударило плечом о косяк, и он выругался, захлопнул за собой дверь.

«Галина!

Твои частые посещения батареи после моей выписки из медсанбата в высшей степени не нравятся мне. То, что было между нами, нельзя назвать тем, что бывает раз в жизни. Я относился к тебе в медсанбате как ко всем врачам и медсестрам, а тот разговор ночью ты, наверно, поняла не так, как надо. Поэтому я вынужден высказать все. Я не имею права тебя любить, и ты не имеешь этого права, потому что на войне нет ни замка, ни дворца для Джульетты и Ромео в погонах. Извини за грубую насмешку, но каждый раз, когда (выражаясь военным язы-

ком) я принимаю решение, я делаю, может быть, не то, что мне хочется,— возможно ли это понять? — а заставляю себя быть не тем, кто я есть на самом деле. И все-таки сам не знаю, кто я есть на самом деле. Больше всего не хочу показаться слабым перед самим собой... (зачеркнута фраза). Тогда ночью ты сказала, что я презираю или боюсь женщин, или отношусь к ним по-книжному. Что ж... Какая прекрасная бывала тишина в кабинете отца и как прекрасно было лежать на старом уютном диване в какой-нибудь зимний день с метелью и сугробами во дворе и читать, читать или листать книги. Я был влюблен в девушек Тургенева, как это ни странно, и я был влюблен в Наташу Ростову. Ты права: на войне по-книжному ничего нет. А жаль: я хотел бы быть или рыцарем, или Андреем Болконским (мой тезка), хотя это смешно сейчас и даже смешно очень. Я терпеть не могу разные фронтовые флирты, эту постыдную любовь в окопной грязи, разговоры солдат по поводу этих всяких историй и ненавижу откровенности полковых донжуанов — омерзительно до предела. Я не хочу и не могу им уподобляться. Я дал себе слово еще два года назад... (зачеркнута фраза). Не хочу и не могу. Поэтому ничего серьезного между нами быть не может. Война есть война, и на войне не может быть никакой настоящей любви (какое странное и прекрасное слово!), а только видимость любви, пошлость, гадость...

Прошу тебя понять все правильно. Кроме того — меня ждут... (зачеркнута фраза).

Лейтенант *Княжко*».

Не зажигая керосиновую лампу, он прочитал это неотправленное письмо при свете ручного фонарика, а прочитав, погасил фонарик, ощупью сунул письмо в сумку Княжко, не находя воли встать, зажечь лампу, раздеться, и лежал распластанно на неразобранной постели. Его мутило, щекотно и мерзко теснило в груди, и постель головокружительно ныряла под ним, соскальзывала в бездну, тошнота подкатывала к горлу, но его не вытошнивало — и не приходило успокаивающее освобождение от тяжкого и непривычного хмеля, который не помогал ему забыться.

«Значит, он ее не любил,— соображал Никитин, ворочая головой на подушке.— Или все-таки любил, но не хотел, чтобы между ними было что-то? Он был влюблен в книжных женщин? Кто эти тургеневские женщины? Ка-

жется, изучали в девятом классе. А что изучали?.. Хорошо, что он не передал письмо Гале. Ни разу не видел, чтобы он писал в Москву письма. А ему, я помню, писала мать, очень редко...»

Звездная ночь смотрела в окно мансарды; близкий пожар от еще не взошедшей луны багрово тлел за высокими соснами, за кирхой, светился наклонными в тени улиц бликами на скатах черепичных крыш такого же мирного, как и вчера, провинциального немецкого городка. Но, казалось, прошло несколько лет со вчерашней ночи, и то далекое, давнее, и сегодняшнее возникало в сознании Никитина невнятными отблесками лиц, зеленой травы, стрельбой орудий, звуками моторов, обрывками фраз, криками, отдельными словами, они колючими буравчиками копошились в ушах, сверлили голову изнурительной болью. И пытаясь найти какую-то осмысленную прочность, одну решающую мысль, ничем уже не исправимую логику вчерашнего и настоящего, он кривился, стонал, будто совершил нечто преступное, постыдное, позорное, чему не было прощения и оправдания.

«Ich weiß nicht, was soll es bedeuten»,— навязчиво появлялась, и мерцающим готическим шрифтом, черной змейкой плыла фраза, и исчезала в коричневой темноте перед закрытыми глазами, и вновь появлялась протянутой во тьме змейкой, и в ней был запах туалетного мыла, которым почему-то уже пахла эта неуловимая бархатная пустота. «Эмма! — внезапно толкнуло его, и он заметался на подушке, готовый спрятать лицо, зарыться в горячую ее мягкость от невыносимого чувства стыда, угрызения и раскаяния.— Что я наделал? Как это могло быть? Я не знаю, почему это произошло, это не имело права быть... Я с немкой? А Княжко погиб... Нет, это было предательство с моей стороны...»

Его затошнило, он успел вскочить с постели и, словно на качающих его волнах, подбежал к раскрытому окну, перегнулся через подоконник. Он давился, мычал, слезы заливали его лицо, он, проклиная себя, плакал, он хотел облегчения, хотел освобождения от несчастья, стыда, предательства, от давящей его тоскливой тяжести — и был противен самому себе в собственной слабости, в ненависти к этой физической беспомощности, к своему неумению пить, ко всей непонятной лживой запутанности последних дней, которые недавно имели, а теперь потеряли всякий смысл.

Потом он нащупал в потемках котелок с водой, остав-

шейся после утреннего бритья, облил голову и лицом вниз упал на постель, он стонал и терся губами о подушку.

«Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...»

И опять эта фраза однообразно мелькающей каруселью завертелась в коричневом пространстве, из туманца вытекая над зеленой травой, плыла вверх и куда-то вправо, в сумеречную пустыню, окрашенная розоватыми бликами освещенных низкой луной крыш, пропадала за незнакомо странным силуэтом кирхи, за островерхими вдали кровлями и вновь выскальзывала слева, повторяла однообразное свое обморочное кружение, вызывая металлическую горечь, неразрешимое желание понять, зачем она, откуда она, почему она преследует неотвязно...

Затем уплотненная темнота свалила его в удушливый провал, и на жестком дне, на земляных комьях глубокого этого провала он, не находя удобного положения, лежа на спине, задыхаясь в сырости могильного запаха, с замороженным от ужаса сердцем услышал, как заскрежетали лопаты и сверху кидаемая на него влажная земля начала засыпать ему лицо, глаза и неповоротной толщей наглухо заваливать, сковывать грудь.

...А он знал, что только его одного после боя принесли на плащ-палатке и опустили в вырытую яму на неизвестном кладбище, но никто не знал, что он был еще жив, что произошла непоправимая роковая ошибка — и его молча хоронили вместо кого-то. Там, наверху, где зловеще заскребли штыковыми лопатами, непроглядная подступала мгла, не видно было никого, не звучало ни единого человеческого голоса. А ему во что бы то ни стало надо было крикнуть, предупредить, что он не погиб, что его по ошибке хоронят живого. Его задавливало землей, и было уже нельзя набраться для крика воздуха, и тут сверху нависло из пустынного мрака, вгляделось в провал чье-то ухмыляющееся, беспощадное лицо с обнаженными попорченными зубами, и это лицо стало угрожающе кричать, торопить кого-то, командовать, чтобы быстрей засыпали могилу, потому что в ней никого нет... И он едва собрал последние силы, чтобы громко застонать, позвать на помощь невидимых солдат, но они не слышали ничего. И быстрее заработали, заскрипели лопаты, и твердые комья застучали ему в лоб, шею, забивая дыхание запахом мокрой глины, и кто-то там наверху по-женски заплакал навзрыд, прощаясь с ним, и одновременно с тупыми

ударами земли в его тело кто-то запричитал в черной тьме печально и протяжно:

— А-а-а!

И, вырываясь из задушья смерти, он меркнущим сознанием понял, кто был виновником этой ошибки, кто приказал солдатам похоронить его, и, придавленный глыбами земли, ее непроницаемой чернотой, он захлебнулся горькими слезами жалости к себе, исчезающим дыханием жизни заглотнул воздух и почувствовал, как кто-то трогает, гладит его грудь, плача над ним, тихонько поскуливая:

— Herr Leutnant, Herr Leutnant!..

...И тогда он рванулся к этому голосу, шепчущему из живого мира, и, весь охолонутый ледяным одиночеством смерти, такой явной минуту назад, очнувшись, вскрикнул:

— Кто это?

Вокруг была ночь, тишина, луна стояла высоко, в верхнем углу рамы, освещала мансарду. Нет, он был жив, он дышал, он, открыв глаза, лежал на постели, и возле постели темнела чья-то наклоненная к нему фигурка, выделялась силуэтом на стуле перед кроватью, прохладные пальцы равномерно гладили его потную грудь, и неразборчивый голос шептал, прерываемый слезными всхлипами:

— Herr Leutnant... Herr Leutnant!..

«Неужели это Эмма? Как она здесь? Это она, Эмма? Как она могла прийти? Да, это она, она»,— подумал он, тягостно вспомнив, еще не стряхнув кошмарный гнет сна, и пот стекал по его вискам.

Он был раздет, накрыт теплой и мягкой периной,— видимо, она раздевала его, стягивала сама пропотевшую, пропахшую толовой гарью гимнастерку, заляпанные грязью сапоги, укладывала на постель под перину, видя его в состоянии безобразного опьянения; и он, испытывая ожог стыда, резкую неприязнь к ней, будто окончательно втянутый в откровенное предательство, грубо сбросил ее руку со своей груди, сел на кровати.

— Уходи отсюда! Weg!

— Nein, nein! Herr Leutnant!..

Она вся собралась комочком, сгорбилась и вдруг упала головой ему на плечо, осыпав его подбородок волосами, пахнущими туалетным мылом, истерично заплакала, водя мокрыми, в слезах губами по его щеке, умоляюще целуя мокрыми прикосновениями, а он чувствовал, как

дрожало, судорогами напрягалось ее тело, выговаривая хриплым шепотом:

— Уходи сейчас же... Зачем ты пришла? Weg отсюда!

— Ich bin traurig, ich bin traurig...[1]

Он оттолкнул ее, непримиримо усмехнулся.

— Traurig? У тебя печаль? Какая? Ты, может, скажешь, что тебе жалко русского офицера? Ну, что тебе до него? Что? И какое отношение ты имеешь ко мне? Я сказал тебе — уходи. Weg!

Она как-то пришибленно замерла, услышав в его речи жестокие нотки, и при этом понятом ею слове «вег», опять всхлипывая, вскрикивая, так жалко, виновато обняла его за шею, ища примирения, оправдания, снисхождения, так горячо обливая его щеки обильными слезами, что он, сначала сделав попытку вырваться, оторвать ее руки, вдруг с закрытыми глазами стиснул зубы, растерянный, сломленный этим детским испуганным плачем, каким-то страстным порывом сочувствия, ее запинающимся шепотом, который убеждал, просил о чем-то, умолял его и вырывал этой мольбой из бредового отчаяния одиночества, из ледяной жути не исчезнувшего в сознании сна:

— Ich bin traurig... Vadi-im!.. Entschuldige mich... Mein Vadi-im...[2]

«Нет, нет, я никого не предал. Нет, я умер бы, если бы кого-нибудь предал! Это невозможно! Она не лжет. Она не может так лгать!» — подумал Никитин с томительной дурманной мукой, ощущая ее слезы на своем лице, мокрый кончик ее носа, вдавившийся ему в висок.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Она лежала, истомленно вытянув руки вдоль тела, чуть повернув в сторону заплаканное лицо, дышала спокойно и ровно, как во сне; а он видел, что она не спала, сквозь полудремотно шевелящиеся ресницы следила за легкой игрой чистого света по белизне потолка, по цветочным обоям мансарды, и подумал:

«Опять все повторилось?»

А было уже утро, весеннее, свежее, безоблачное, где-то рядом, казалось, возле подоконника, трещали крыльями в саду птицы, слабо тянуло по комнате прохладным

---

[1] Мне грустно, мне грустно...

[2] Мне грустно... Вади-им!.. Прости меня... Мой Вади-им!..

запахом обсыхающих после росы яблонь, и в сладком светоносном воздухе, золотисто вспыхивая, искорками рассыпая мельчайшую пыльцу, порхала под потолком, садилась на обои бабочка, залетевшая через раскрытое окно из сада.

Никитин впервые за войну видел этот живой осколочек когда-то бывшего зеленого и милого дачного лета, теплого, покатого к реке луга около забора, заросшего малиной, пушистыми островками одуванчиков среди полуденной травы, и, лежа на спине, долго наблюдал порхание бабочки, не двигаясь в оцепенении усталости, неизвестно зачем вспоминая знакомое со школы слово, которое Эмма могла понять, и сказал шепотом:

— Баттерфляй...

— Butterfly? — Она раздвинула полудремотные ресницы, еще мгновение сонно не понимая его, с робким удивлением оборотила к нему лицо, пальцем коснулась его губ, поцеловала этот палец и прошептала: — Butterfly — english... Deutsch... Bitte, lerne Deutsch... Schmetterling, Schmetterling [1],— проговорила она по слогам и опять пальцем тронула, погладила его губы, с той же робостью ожидая, как он произнесет это слово.

— Бабочка, баттерфляй,— сказал тихо Никитин.— Очень похоже. Schmetterling? Нет, не похоже. Какое-то темное слово. Ты права, я плохо учил в школе немецкий. Ничего не помню. Отдельные слова и фразы, вроде «Ich gehe in die Schule» [2].

Она сморщилась совсем по-мальчишески, поняв лишь эту одну сказанную им фразу «я иду в школу», но продолжала смотреть внимательно, вслушиваясь в его голос, и все не отнимала легонького пальца от нижней его губы, словно осязанием проверяла звучание чужого языка.

— Bitte, sprich [3],— попросила она.

— Кажется, в седьмом классе,— проговорил Никитин, не рассчитывая, что она полностью могла понять его,— нам задали выучить стихотворение Генриха Гейне. Из учебника немецкого языка... Ты знаешь такого поэта — Генриха Гейне?

— Henrich? Heine? [4] — Она скорчила жалобную гримаску, выражая недоумение, и быстро и доказательно за-

---

[1] Баттерфляй — по-английски. По-немецки... Пожалуйста, учи немецкий... Бабочка, бабочка.

[2] Я иду в школу.

[3] Пожалуйста, говори.

[4] Генрих? Гейне?

говорила что-то, однако тут же, засмеявшись, приподнялась, показала на свое ухо, на язык, поболтала меж зубов языком, как это делают дети: «блы, блы, блы», и, притворно запротестовав, ладонью зажала рот ему; она убеждала его этим, что говорить сейчас так долго на разных языках не надо,— и упала навзничь, запредельно синея глазами, стала отыскивать на потолке бабочку, выговаривая суеверно и молитвенно: «Schmetterling, Schmetterling. Lieber Gott, Schmetterling!» [1]

Она соединила кисти рук лодочкой перед подбородком и с осторожным вдохом и выдохом торопливо зашептала непонятные бегучие слова, будто на самом деле облегченно молилась, заклинала и страстно благодарила кого-то, может быть, по суеверной примете, случайную эту бабочку, залетевшую из сада в комнату, или же после ужасной ночи необычно тихое, светообильное, как радость, майское утро, или, может быть, счастливую судьбу в облике русского лейтенанта: ведь он первый защитил ее и вчера не погиб вместе с другим русским лейтенантом, позволившим ей и ее брату остаться в доме, занятом враждебными солдатами.

То, что Никитин не знал, о чем шептала она, а только воображением силился предположить, все же ревниво царапало его душу, точно в ее недавних слезах, сочувствии к нему, в робкой и виноватой нежности проскальзывало нечто ложное, искусственное, заранее настроенное на возможность защиты с его стороны в доме, где стояли озлобленные вчерашним боем солдаты, которыми он командовал.

— Schmetterling, Schmetterling,— шептала она, провожая взглядом неслышное порхание бабочки под потолком, а Никитин, уже хмурясь, вопросительно глядел на ее лицо, оно неуловимо менялось, как тогда на допросе: то отблеск страха, то чистое выражение надежды появлялись и исчезали в ее взгляде, то маленькими зеркальцами светились в грустной улыбке зубы, и, отражая улыбку, сине вспыхивали глаза, заблудившиеся где-то в солнечном сверкании потолка.

«Что я делаю? Что же будет дальше? Чем это кончится? — в растерянном поиске ясности думал Никитин.— Мы не знаем друг друга, но как будто уже знаем и не стыдимся. И она лежит рядом со мной. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin...» Да, да,

[1] Бабочка, бабочка. Боже мой, бабочка!

это стихотворение Гейне, которое я вызубрил в школе. Я не досказал ей... А как дальше? Что дальше?.. «...So traurig bin...» А как же дальше?»

— Du bist... Schmetterling,— вдруг задумчиво проговорила она и, похоже было, жалея, благодарным нажатием мягко расслабленных губ поцеловала ему руку, подышала в ладонь, подумала и добавила, отделяя слова паузами: — Und... ich... bin... Schmetterling. Vadim und Emma... Verstehst du mich? [1]

— Я бабочка? — догадался и усмехнулся Никитин.— Какая-то непонятная философия, Эмма. Меня можно сравнить с бабочкой?

— Philosophie? Keine Philosophie! [2]

Она, не выпуская его руки, проворно села на постели, и, склонив голову, излишне серьезно стала изучать его ладонь, потом провела ноготком две скрещенные кривые линии, неуверенно сказала:

— Mädchen Emma und ein junger Leutnant. Krieg... Schmetterling und das Mädchen Emma [3].

— Это, может, и правильно,— сказал Никитин.— Только ты, конечно, не права насчет этой Schmetterling.— Он, удивленный, повел головой на потолок, где желтым бликом прилепилась бабочка, и тотчас замолчал: в запасе не было ни одного нужного немецкого слова.

Это сравнение с бабочкой было, разумеется, чересчур сентиментальным, несерьезным, чересчур легковесным для него, четырежды награжденного боевыми орденами офицера, воевавшего три года, видевшего многое, что можно увидеть на войне, наученного принимать решения и отдавать приказы солдатам, подчиненным ему. Он считал себя вполне самостоятельным, опытным человеком, бывал порой самолюбив, вспыльчив и строг соответственно обстоятельствам, однако ни за что не признался бы никому, что вся его офицерская привычная жизнь была неестественной и вынужденной, а вся его непрожитая жизнь — оборванное прошлое, летнее, солнечное, подробно неизвестное другим, о чем он иногда говорил одному только Княжко,— оставалось где-то радостным светом позади, в заросших старыми липами переулках лучшей в мире ули-

---

[1] Ты... бабочка И... я... бабочка. Вадим и Эмма... Ты меня понимаешь?

[2] Философия? Никакая не философия!

[3] Девушка Эмма и молодой лейтенант. Война... Бабочка и девушка Эмма.

цы Ордынки, в той особенно прекрасной, едва начавшейся жизни, будущее которой представлялось прерванным продолжением счастливых школьных лет. Но эта жалость Эммы, когда она поцеловала ему руку, и этот вроде бы намек на возраст («юнгер лейтенант») задели его, как напоминание о вероятной неопытности: «Она видела меня беспомощным, когда раздевала и укладывала в постель?»

— Насчет бабочки, Эмма, какая-то ерунда,— заговорил Никитин пасмурно, тщетно силясь найти немецкие слова.— Не в этом дело. А, черт, язык! Ну, как же тебе объяснить?

Он хотел сказать, что его невозможно так воздушно сравнивать с бабочкой, потому что он советский офицер и не боится ни бога, ни черта, ни немецких танков, ни осуждения солдат за то, что с ним случилось вчера, что он отвечает за свои поступки (в этом даже был подчеркнутый вызов), но в долгих муках поисков нашел лишь несколько ученических слов:

— Ich bin zwanzig Jahre alt [1]. («Глупость и ерунду порю! К чему это я сказал о своем возрасте?— подумал он, недовольный неуклюжим ответом.— Совсем не то говорю, сплошную говорю ересь...»)

— O, zwanzig! — Она просияла, обрадовалась и сейчас же для убедительности приложила щепотку пальцев к своей груди, сказала о себе в третьем лице: — Emma achtzehn... Ein, zwei, drei... und so weiter! [2]

«Семнадцать или восемнадцать?» — сосчитал в уме Никитин, нечетко помня по-немецки счет от десяти, а она, улыбаясь влажными зеркальцами зубов, перегнулась к краю постели, взяла его ручные часы, положенные им в изголовье на стуле, отметила на циферблате ноготком три деления за цифрой пятнадцать, педантично отсчитала, точно ученику на уроке математики в школе:

— Also, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn.— И, придавливаясь виском к его виску, воскликнула со смехом притворного испуга:— O, mein Gott, ich bin so alt! Eine richtige Großmutter! Verstehst du mich? [3]

---

[1] Мне двадцать лет.

[2] О, двадцать! Эмме восемнадцать... Раз, два, три... и так далее!

[3] Вот, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... О господи, я такая старая! Настоящая бабушка! Ты меня понимаешь?

«Без десяти восемь! — тревогой бросилось в глаза Никитину.— Через десять минут подъем. Неужели сейчас постучат?»

Он, не выдав беспокойства, прислушался к невнятным звукам внизу и начал застегивать на запястье ремешок часов, думая, как сказать ей, что нельзя оставаться больше, пора уходить, сейчас уходить, но его беглый взгляд в сторону двери, его нескрываемая напряженность сразу же чутко передалась ей, отразилась страхом на веснушчатом лице, будто непредвиденное что-то вошло, незаметно прокралось в комнату тенью затаенной угрозы обоим.

— Was ist los? Soldaten?.. Was? [1]

— Эмма,— сказал он, затрудненно подбирая в памяти немецкие слова, испытывая новой шершавой болью ноющую вину перед ней.— Эмма... Тебе надо идти. Komm zurück. То есть мне... то есть нам пора. Сейчас подъем батареи. Komm, Emma. Auf Wiedersehen...[2] Я не хочу, чтобы тебя увидели здесь.

Она затравленным зверьком озиралась на дверь, на распахнутое окно, где в чистейшей голубизне погожего майского утра пылало солнце над садом, над красными черепичными крышами, потом на миг, в тишине мансарды, тоже прислушалась к завозившимся голосам на первом этаже, заглушенным полом, и с жалобным всхлипом, как к защите, приникла лбом к его плечу, обвила руками его шею, шепча по слогам:

— O, Vadi-im, mein lieber Vadi-im!

— Auf Wiedersehen, Emma. Тебе пора. Уже утро. Эмма...

— Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen...

Она вскочила с постели, торопливо надела халатик на голое тело и, завязывая поясок, клоня голову, смиренной поступью кроткой послушной девочки пошла к двери, он лежал, ослабленный, еще невесомо окутанный теплым, ватным туманом, еще ощущая протяжный шепот ее: «wiedersehen», млечно-нежный запах ее шеи, горько-мятную конфетную сладость туалетного мыла, исходившую от ее желтых волос, но вновь подспудное, мучительное чувство бессознательно случайного, ничем не оправданного, совершенного им и ею в беспамятной отрешенности от всего, что было вчерашней и сегодняшней

---

[1] Что случилось? Солдаты?.. Что?

[2] Возвращайся к себе... Иди, Эмма. До свидания...

действительностью, тоненьким предупредительным колокольчиком тревоги звенело в нем, вызывая томящую, как неизвестность судьбы, опасность перед тем, что он знал и не знал.

Потом внизу грозно всколыхнутой волной прокатилась команда: «Подымайсь, второй взвод!» — и вскоре загалдели непроспанные голоса солдат, а минут через пять на лестнице зашаркали, приближаясь, шаги, послышалось покашливание, шаги замялись за дверью, и проник голос Ушатикова одновременно с несмелым стуком:

— Подъем. Вставайте, товарищ лейтенант.

— Да, я слышу,— ответил Никитин.— Я встал. Сейчас спущусь.

— Комбат ждет вас, товарищ лейтенант. Приказал — к нему. Срочно.

«Гранатуров? Он здесь? — подумал Никитин при этом ворвавшемся из внешнего мира голосе и стуке Ушатикова.— Меня к комбату? Значит, он не уехал в медсанбат и ночевал в доме?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В гостиной было по-утреннему просторно от солнечного света, и весело сверкала в окна ослепительной зеленью молодая трава на лужайке, как в то первое неожиданно благостное утро пробуждения после Берлина, и все было таким же мирным, весенним, обогретым. Только табачная вонь, кислый запах шнапса, неопрятный стол, заставленный пустыми бутылками, банками консервов, из которых торчали воткнутые в них ложки, окурки самокруток, растоптанные на полу, только эта неприбранность и невыветренный дух солдатских гимнастерок напоминали о том, что было здесь вчера.

Весь опухший до щелочек глаз, свекольно-багровый, вроде бы с виновато поникшими усами наводчик Таткин прибирал посуду на столе, тыкался в разные углы руками, стараясь не звенеть бутылками, складывал их в вещмешок; Ушатиков помогал ему, держал мешок, то и дело оглядываясь на диван недоуменными глазами. Там, в уголке, соединив колени, кругло очерченные юбкой, откинувшись затылком, сидела Галя, курила сигарету; ее взгляд безучастно бродил по потолку, не замечая ни сол-

дат, ни старшего лейтенанта Гранатурова, неподвижной глыбой стоявшего около нее.

Когда вошел Никитин и сказал коротко: «Прибыл», они молчали, Гранатуров лишь хмуро повел бровями, нездоровая серизна проступала сквозь смуглоту его лица, выделялись темные одутловатые круги в подглазьях, старили его. Несколько секунд продолжалось молчание, пока Гранатуров, против обыкновения ощупывающе, недоверчиво с ног до головы разглядывал Никитина, как бы совершенно незнакомого нового офицера из запасного полка, прибывшего в его батарею для прохождения службы.

— Н-да!— произнес густо Гранатуров и мотнул головой солдатам, которые всё возились вокруг стола.— Выйдите, потом уберете!

— При этом положении полы бы вымыть полагается, товарищ старший лейтенант. Ежели по-русски...— втискивая бутылки в вещмешок, сказал Таткин и покосился на Галю.— Чать, не в блиндаже, не в окопе, а тут он в доме со всеми был, лейтенант-то наш. Эхе-хе, земля ему пухом...

— В немецком доме мыть полы? Что-то не понимаю! — зарокотал Гранатуров.— Он погиб как солдат на поле боя. А не в этом доме, в теплой постели! Пришел, Иисус Христос? — обратился он к Никитину.— Садись, правдолюбец. Ты мне оч-чень нужен. И вот Гале нужен. Она нас обоих хотела видеть. Садись. Выясним кое-что необходимое...

— Благодарю. Мне удобней будет стоя,— сухо ответил Никитин, еще внутренне не приготовленный к продолжению вчерашнего разговора, и подумал неприязненно: «Но зачем понадобилось ее присутствие для выяснения наших отношений?»

— А надо бы, товарищ старший лейтенант,— сказал не без убеждения Таткин и, крякнув, взвалил вещмешок на плечи, заковылял к двери.— Сродственникам и женщинам завсегда это полагается делать. А то нехорошо как-то. Не в окопе, а в доме жили.

— Идите! — отрезал Гранатуров.— Хватит тут лазаря петь.

Он сам закрыл за солдатами дверь, медленно вернулся к столу и, продлевая медлительность движений, посмотрел с долгим выпытывающим вниманием на Никитина, проговорил, криво улыбаясь:

— Как спалось, лейтенант? Ты помнишь, что вчера говорил? Ты вчера правду говорил. Так?

— По-моему, да. Но стоит ли сейчас повторять? — ответил Никитин, не очень последовательно помня подробности своего впервые испытанного тяжкого опьянения, когда ему в бессилии и отчаянии перед незаполнимой пустотой хотелось вызвать на ссору Гранатурова и обвинить себя и всех, кто остался в живых, кто, казалось, не сознавал на поминках, что случилось вчера.

Гранатуров сел, привалился локтем к столу и уже острым, обрезающим взором глянул на Галю, которая молчала по-прежнему безжизненно, откинув руку с забытой сигаретой в пальцах.

— Так вот. Правда так правда, Никитин. До конца,— выговорил Гранатуров и повторил: — До конца. В сумке лейтенанта Княжко было письмо. Н-да, письмо Галине. Где оно? Принеси его и отдай. Ей отдай. Галине.

Никитин никак не ожидал, совсем не рассчитывал, что причина его вызова к комбату может быть связана с письмом, что разговор пойдет о письме Княжко, увидел тотчас же, как, уронив пепел на кожаное сиденье дивана, чуть-чуть вздрогнула, сместилась рука Гали, и ее блестящие сухим блеском глаза точно в ту секунду неспокойно заметили его и поняли, что он должен что-то сделать, объяснить, сообщить ей... «Что, Никитин? Что вы узнали о нем и обо мне? И нужно ли это?» Но Никитин, соображая, чтó необходимо сейчас сказать Гранатурову, не отвечал ей, и она наконец спросила голосом крайнего утомления:

— Какое письмо, лейтенант?

— Письмо?..— проговорил механически Никитин, будто скользя по кромке отвесного обрыва, за которым лежал весь вчерашний день и где была смерть Княжко.

— Ну, что раздумываешь? — раздраженно загудел Гранатуров.— Что стоишь, ей-богу, как памятник? Отдай по адресу письмо. Не ясно, о чем говорю?

— Нет.

— Дурочку ломаешь, Никитин? Что не ясно? Где письмо?

— А что должно быть «ясно»? — сказал Никитин, вспыхнув злостью, как вчера на поминках, теперь явственно отдавая себе отчет, зачем ему, Гранатурову, надо было показать письмо Гале.— Во-первых,— проговорил он, захлестнутый неподатливым сопротивлением,— во-первых, комбат, лучше по уставу — на «вы»! Во-вторых, о чем вы спрашиваете? Никакого письма в документах лейте-

нанта Княжко не было. Вы, как и я, вчера слишком много выпили, и вам, комбат, привиделось какое-то письмо. («Значит, он до моего прихода мог сказать о письме Гале, а я лгу...— пронеслось у Никитина.— Значит, на самом деле он требует от меня голую правду, чтобы это письмо доказало ей отношение Княжко».) Простите, Галя,— договорил он умереннее, оборачиваясь к ней.— Это ошибка...

— Ты, Никитин! Льешь воду, врешь! Где письмо? Порвал?

— Если вы будете «тыкать», комбат, и орать, я уйду немедленно.

Гранатуров толкнул локтем стол, задребезжавший неубранными грязными тарелками, и встал, посерев лицом, видимо, уколотый болью в раненой руке. Прижимая ее к груди, он приблизился к Никитину, опахнув госпитальным запахом какого-то едкого лекарства; глаза его без зрачков наливались шальным огнем.

— Ладно, давай по-интеллигентски, на «вы». Дураком меня считаете, лейтенант? Много пили вы! Мне память пока еще не отшибло, я-то все помню! И помню, как вы, лейтенант,— Гранатуров интонацией насмешливо выделил слово «вы»,— взяли у меня письмо. Знаете, Галочка,— он переменил тон, придавая голосу вкрадчивую мягкость,— знаете, что было написано в письме?

— Нет.

— Не знаете, что было в письме? Да, конечно, вы не можете знать.

— Нет. Не знаю.— Она сомкнула веки, вжимаясь затылком в спинку дивана, и Никитина, как тогда на поляне, поразила вороненая чернота волос, косым крылом свисавших на мраморную белизну щеки.— Нет... не хочу знать,— проговорила она шепотом, не размыкая век, и морщинка страдания прорезала ее белый лоб.— Нет,— повторила она внятней и открыла глаза, в мертвенном спокойствии глядя на окно, где горячо обливало сосны косматое утреннее солнце.— Вам, комбат, я не верю...

Гранатуров вздернул мощными плечами, ноздри его зло разбухли, он выговорил:

— Ему верите? Ему, а не мне, Галя? А я, выходит, выгляжу вралем и болваном? Вот уж на самом деле — без вины виноват! Не только вам известно, что я любил Княжко за храбрость, за многие качества, хотя не во всем его понимал. Я хотел, чтобы вы знали! Вам нужно знать правду, вам еще жить, Галя! У вас еще...

— Молчите, Гранатуров,— устало попросила Галя, и страдальческая морщинка на ее лбу углубилась, стала резче.— Бессмысленно это, Гранатуров. Не вам объясняться в любви к Княжко. Не вам...

— Бессмысленно? Ладно, пусть! Я не скажу больше ни слова! Даже если вы захотите. Даже если попросите. Никакого письма не было. Я ничего не говорил. Никакого письма, адресованного вам! Лейтенант Никитин прав. Все с этим! Конец! Я молчу!

Ему, вероятно, стоило большого напряжения смягчать взрывы гнева в голосе, и он начал ходить по комнате, с вывертом каблуков, с подчеркнутой прочностью делая повороты на углах, в то же время взглядывая на Никитина с бешено подкрадывающимся, непобежденным намерением человека, не сказавшего еще главного, и он приостановился, спросил, туго нажимая на слова:

— Значит, вы, лейтенант, всегда правду-матку в глаза режете? Или временами?

«Он никогда не простит мне этого»,— подумал Никитин, выдерживая невыпускающий, проломный взгляд Гранатурова, когда тот заговорил громко и жестоко:

— Хотите быть чистеньким, лейтенант, беленьким барашком с беленькой шерсткой? За кого, интересно, вы меня принимаете? За бревно? А как же тогда ваша связь с немочкой? Что думать по такому случаю прикажете? Мне и это известно, лейтенант! Правда так правда. Скажите об этом при Гале. А то не поймешь — где правда, а где вранье!..

— Что известно? — перебил Никитин.— Что именно?

Из закопченного зева камина пахло горелой бумагой, холодной золой, и едким запахом тепла удушливо пропитан был голос Гранатурова, и глаза его тоже приобрели черно-фиолетовый цвет, цвет пепла, сбивающего дыхание.

— Известно то, лейтенант, что вы успешно ведете с немочкой войну в постели! — продолжал упорно Гранатуров.— Мало того что вы защищали на допросе эту конопатенькую немочку, вы защищали ее брата. А братик ее... как его, Курт, что ли, сволочь сопливая, дал ложные показания: мол, несколько мальчишек, несколько щенков в лесу, а оказалось — самоходки на город в атаку пошли. И Княжко погиб. А братик удрал в неизвестном направлении. Это вам ничего не говорит? Кто же, выходит, виноват? Так где же опять правда?

Он не предполагал такого режущего темным подозрением вопроса, в котором уже было недвусмысленное же-

стокое недоверие, прямое, брошенное ему обвинение, и в замешательстве, еще не находя ответа, неопровержимых доказательств, подумал сейчас же: «Меженин, Меженин, это он!» — и первым решением было — лишь усмехнуться на прямолинейное обвинение Гранатурова, сказать: «Вы хоть соображаете, что говорите, товарищ старший лейтенант?» — и остаться внешне спокойным, как если бы не имело ни малейшего значения задерживать внимание на чьих-то домыслах, созданных подозрительным воображением.

«Это он, он!» — утверждал Никитин, неотступно думая о Меженине, о доносительном расчете его, о мстительно выбранном им моменте, и спросил совсем уж несдержанно:

— У вас, товарищ старший лейтенант, есть серьезные доказательства? («Что я говорю о доказательствах? — подумал он.— Как будто хочу выкручиваться, отрицать свое отношение к Эмме? Объяснять Гранатурову в присутствии Гали, оправдываться и унижаться?») — И он договорил: — У вас есть доказательства, что Курт пришел сюда как разведчик и после этого немцы пошли в атаку?

— Не исключено! — забасил Гранатуров.— А вы считаете — исключено? Тогда где он? Где скрылся? Куда он исчез, молокосос сопливый? Не отрицаю: я допустил слабость, когда вы с Княжко разрешили им тут остаться. Но вывод сегодня для себя сделал: место немочки в смерше. Там ею должны заняться!

«Смерш! Не исключено?..» Нет, Никитин не чувствовал доверия к немцам и всякий раз, встречая пленных — первых в зимнюю пору Сталинграда и предпоследних в Берлине,— удивлялся их обыкновенному человеческому обличию, предельной усталости в глазах, порванному и грязному мундиру, их заискивающему и однозначному бормотанию: «Гитлер капут». Он всматривался в их лица, руки с целью как бы увидеть несмытые следы той кровавой жестокости, которая должна была остаться на самой коже их ненавистными фашистскими знаками,— и взятые в плен представлялись ему нераздельно одинаковыми: ради сохранения жизни они приняли людской облик, двуногие существа, пришедшие из другого мира, ночного, черного, убивающего. Нет, он не верил немцам и потом — перейдя границу Германии, и потом — в дни уличных берлинских боев, сталкиваясь с подобострастными взглядами городских жителей, забившихся под бетонные своды подвалов, не верил при кратких общени-

ях в оправдательное сетование на сумасшедшего Гитлера, на фанатичных «СС», повинных в войне. Он всех их мерил единой, равной мерой возмездной и незаконченной вражды — ведь они начали войну — и вынужден был только быть внешне вежливым, чего требовала снисходительность победителей на территории побежденных.

То, что произошло здесь, в Кёнигсдорфе, он с самого начала не воспринял серьезно: этот мальчишка Курт и Эмма не были в его понимании настоящими немцами, что показывали русским покорно-искательные подобия улыбок, тайно приготовленные к мрачному оскалу (он еще в Восточной Пруссии замечал нередко, как смывало эти резиновые улыбки за спиной уходивших из занятых домов солдат). Та ночь, когда Никитин застал в мансарде сержанта Меженина вместе с немкой, вскрикивающей слезным безнадежным голосом «нейн, нейн!» и затем, когда смотрел на них обоих в минуты допроса, испуг, ужас на Эммином лице, разодранное вдоль бедра платье, защита ею своего вконец растерянного неуклюжего брата — все вызывало у него не привычное, глухое подозрение к пленным, а какую-то неловкую жалость и даже сочувственное изумление. Но может быть, все было оттого, что, чудилось, не могли, не умели лгать ее раздвинутые неестественно синие (не немецкие — таких он не видел) глаза, пухлые, некрасиво, до черноты искусанные губы, когда она пыталась объяснить причину возвращения домой, делали ее и взрослой, и обезоруженно слабой, однако не похожей на брата, сутулого, тщедушного, с впалой грудью, словно бы в смертной жути послушного ей. Нет, тогда, на допросе, в ответах обоих не было скрытой страхом враждебной неискренности, которую ожидал Никитин увидеть на отчетливый миг. Потом было раннее, без войны, утро, покой пробуждения в сказочно просторной постели под роскошной домашней периной, свист птиц среди благословенной тишины, стук в дверь, теплый аромат кофе среди солнечного веяния нагретого ветерка из сада, халатик, суженный пояском на талии Эммы, ее осторожная поступь, робкое сияние синевы ему в глаза: «Гутен морген, герр лейтенант», вымытые, рассыпанные по плечам почти медного отлива волосы с запахом туалетного мыла, потом мягкие ее губы и все то дурманное наваждение, ненужное, как стыд, неожиданное, ошеломляющее, чему он позже не находил оправдания, что произошло случайно и не должно было произойти между ними, русским офицером и немкой. И он, презирая, обви-

нял себя, но вместе с тем, точно с обмирающим перед обрывом сердцем плыл в качающем его тумане, обволакиваемый нестерпимо радужной и терпкой мукой при воспоминании о ее млечно-белой, заостренной нежным розовым соском груди, покрытой пупырышками озноба, когда она лежала рядом, о быстро обвивавших его шею руках, о ее маленьких влажных зеркальцах зубов, приоткрываемых мальчишеской улыбкой: «Вади-им, мейн либер Вади-им».

После вчерашнего безумия боя, после похорон и поминок, не облегчивших Никитина, а, наоборот, продливших безумие дня, он не хотел ни думать о ней, ни видеть ее, но незнакомая раньше тоска одиночества и тот страшный сон, ужаснувший ощущением собственной смерти, прерванный рыданиями Эммы в темноте мансарды, ее искренние горячие слезы, размазанные на его лице, исступленные возгласы неловкой помощи: «Их бин трауриг, Вади-им!», наверное, это, будто уже против всякой воли, вновь бросило их друг к другу, сблизило их — неужели он мог так ошибиться и не понять, что в этом действии самосохранения она лгала и притворялась? Нет, нельзя было поверить в ее чудовищную ложь,— нет, она понимала его и просила прощения себе и Курту и молила не думать о ней и Курте как о тех немцах, которые способны были убить и убили Княжко.

— Хочешь доказательства, лейтенант? Доказательства спрашиваешь? А мне кажется, когда немочкой займется смерш, там будут все доказательства. Очень много совпадений, понял? Ночью появились в доме как хозяева, ночью же братик куда-то исчез, а утром немцы пошли в атаку. Кому, спрашивается, поверили? Рассиропились, распустили слюни и— поверили! Не так разве?

Никитин сказал:

— Этого Курта среди пленных не было.

— А кто убитых в лесничестве смотрел? Может, он был убит там и сгорел вместе с домом? Наивно, лейтенант, ох, как наивно! И смешно. До коликов в животе.

— Нет, я не верю, что он ушел не в Гамбург, а в лес,— проговорил Никитин.— Не может быть. Я не верю.

Гранатуров возвысил голос:

— А я — тебе не верю! Понял? Тебе не верю и твоей немке! И не доверяю тебе даже временное командование батареей! Хоть ты и остался единственным офицером! А теперь так. Чтоб было по-мужски. Я доносы на подчиненных не пишу. Не имею привычки. Сам напишешь рапорт в смерш, самолично: как было, как случилось,

куда исчез вервольфовец и... о своей связи с немкой! Ах, простите, лейтенант Никитин, я опять перешел на «ты»...

— Как угодно. Только обо всем этом, комбат, будете писать вы.

— Я? Вон как ты повернул!

— Даже если... даже если пойду в штрафной батальон, не напишу ни строчки. Пока не выяснится. Вернулся ли Курт в лес, могут показать пленные из лесничества, позвоните в штаб, спросите. Да вы видели его? Какой он солдат? Птенец какой-то! На что он способен?

— Вон ка-ак! Храбрец ты, Никитин! А если все докажется— что тогда?

— Пленные наверняка его знали. И если уж Курт был посланным разведчиком, то я отвечу за все, а не вы!

— За что ответишь — за то, что войну с немочкой в постели ведешь? За то, что сначала пытался ее изнасиловать, а потом склонил к связи?

— Я... пытался изнасиловать? Откуда это известно?

— Мне все известно! Известно и то, что ты, лейтенант, хотел свалить свою вину на Меженина, он лично застал тебя за этой операцией на мансарде. Ты ведь у нас только кажешься херувимчиком с белыми крылышками! За все придется отвечать! За все! Это я при Галине заявляю тебе, лейтенант Никитин!..

Его накаленные, шальные глаза, как бы в подтверждение прямых доказательств, метнулись по лицу Гали, которая все сидела на диване безучастно, с сомкнутыми веками, и эта непреклонная реальность угрозы низкой автоматной очередью пробила над головой Никитина. Эта обжегшая опасность, что хотела подавить и могла убить его, вдруг неподчиненно бросила его не ко дну окопа, а на открытое, без брустверов пространство, на оползающий край раскрытой в двух шагах бездны. По ту сторону провала стояли не немцы, стоял Гранатуров с поднятым автоматом, из-за спины поддерживаемый Межениным (тот невидимо присутствовал здесь), а по другую сторону он, Никитин, объединенный с немцами предательской связью, косвенно или некосвенно виновный в гибели Княжко. В этом ясном (косвенном или некосвенном) обвинении всего не договаривал Гранатуров, но вроде бы черный оттенок бессилия, уязвленного самолюбия перекинулся мостиком к Гале, едва только заявил Никитин в ее присутствии, что никакого письма, адресованного ей, не было, и нарастающая озлобленность Гранату-

рова, и унизительные слова о «войне в постели» — все вскинулось до ослепления в Никитине жарким ответным гневом, и стало сразу как-то безразлично, что будет потом.

— Слушайте, комбат...— выговорил он,— я помню, Княжко сказал: жаль, что теперь нет дуэлей...

— Подражаешь Княжко? — не совладал с собой Гранатуров и развернулся на каблуках к Никитину.— Перед Галиной хвост распускаешь? Не выйдет у тебя! Княжко — одно, ты — другое! Атос, Портос и мушкетер! Скажжи!.. Дуэль захотел? Ну, давай, давай! Пошли! Стреляться будем! Ну? Давай! Пошли!

И он, искособочась корпусом, охватил здоровой рукой кобуру пистолета на бедре, озлобленно выказав крепкие белые зубы. Никитин смотрел на него: злость и бессилие боролись на лице Гранатурова. Ничего недавнего не оставалось в облике комбата, обычно грубовато-крикливого, но компанейского,— просто подменили его вчера на той поляне возле лесничества, где утратил он легкость нрава, быструю свою отходчивость, ерническое балагурство,— и Никитин сейчас подумал, что то, прежнее, было лишь временной защитной игрой при жизни Княжко, которого с некоторых пор Гранатуров невзлюбил, ревновал и боялся. Гранатуров, очевидно, был скован, связан чужой волей, оказавшейся выше его воли, а теперь Княжко не было...

— Глупо, комбат,— проговорил Никитин.— Я бы хотел подражать Княжко, да не получится... К сожалению, не получится.

Тогда Гранатуров сдернул руку с кобуры пистолета, через оскаленные зубы вцедил воздух, выговорил:

— Запомни, Никитин! Все, что было раньше в батарее, кончилось! Княжко я кое-что позволял, тебе — нет! Сегодня поставлена точка! Порядок в батарее наведу свой. А эти интеллигентские штучки-дрючки, всякое сюсю и всякое дерьмо — не допущу в батарее!

— Молчите! Оба замолчите!..

И Никитин, точно отсеченный от Гранатурова этим вскриком, этой запрещающей полумольбой Гали, почувствовал внезапный озноб — ее ярко-сухие глаза таким гадливым презрением вспыхнули на худом лице, с такой брезгливостью изломались уголки бровей, будто возникло между ними здесь, в комнате, что-то извращенно-мерзкое, обнаженное, заставившее ее содрогнуться.

— Да, да... вас все-таки стоит ненавидеть, Гранатуров,— проговорила она шепотом.— Вы взбесились, как животное... И никогда, никогда! Это была ошибка. Все между нами было ошибкой, это было от злости к нему, понимаете вы... Гранатуров? Понимаете?

Она даже стукнула ребром ладони по валику дивана, горячечно прикусив пугающе прозрачные губы, и Никитин, больно и остро задетый ее словами, потрясенный ее нещадной и откровенной прямотой, подумал: «И это правда? Значит, между ними что-то было? Значит, Гранатуров тогда не пошутил, а только что-то преувеличил и хотел вызвать ревность Княжко?» — и взглянул на Гранатурова.

Тот одеревенело стоял около камина, потом все вроде для прыжка начало подбираться в нем, столбообразная круглая шея, плечи, раненная, на перевязи кисть, жалко торчащая из бинта ногтями, испачканными йодом,— все сжималось, делалось меньше. И вдруг Гранатуров, сломленно сгорбив широкую спину, как если бы увидел нечто неумолимое, безвыходное, занесенное над ним, слепыми шагами пошел в противоположный угол комнаты, там постоял, долго глядел в пол, на затоптанный ковер, а когда теми же слепыми шагами пошел обратно к камину, искривленный рот выкраивал насильственную леденящую улыбку, на которую невыносимо было смотреть. Похоже было, он напрягался что-то сказать, но, видимо, силы уходили на одну эту улыбку, тесной, не по размеру маской по-клоунски надетую на рот.

— Вот как, Галя, вы со мной...— с хрипотцой сказал он.

И, заведенно передвигая ногами, Гранатуров не дошел до камина, повернул к столу, пошарил по неубранным кружкам, сбивая их на скатерть, нашел чей-то недопитый вчера стакан, раздвинул им, как распоркой, эту заледенелую улыбку и, вылив водку в горло, сел, облокотился на затрещавший край стола, уперся лбом в пудовый свой кулак.

— Я пойду, комбат,— сказал Никитин, испытывая почти облегчение, потому что, загороженная кулаком, не была видна, не резала по глазам чужая, выдавленная страданием и растерянностью улыбка Гранатурова. Если бы он закричал на Галю, разбил стакан, опрокинул стул, все было бы более естественно, чем вот этот клоунский извив большого рта: наверно, так он пытался помочь себе, оборониться от непоправимой правды, без надежды

высказанной ему только что Галей. По-видимому, Гранатуров, решив выявить истину отношений Княжко и Гали, не предполагал, что разговор этот всколыхнет, зажжет в ней гневное неприятие, отрицание бесспорной ясности, которая была для нее мучением, неосуществленной возможностью и которая отбрасывала всякую иную возможность изменить что-либо сейчас. Но непонятно было, как хватило Гранатурову злого и веселого легкомыслия опорочить однажды Галю в глазах Княжко после того, что могло или не могло быть между ним и ею... Ведь был тот день, когда вернулся он из медсанбата довольный, отъевшийся на тыловых харчах, и был гусарский его смешок, загадочный взгляд на Княжко, циничные подробности рассказа о победной ночи, проведенной с красивенькой медсанбаткой в ее комнате, доказательно положенная перед офицерами на стол любительская фотокарточка Гали — во всем же была цель, разрушающая, похожая на запрещенный удар правды, что была и в найденном письме Княжко, адресованном Гале и по случаю неизвестных обстоятельств не отправленном им.

— Уйди, Никитин,— сказал Гранатуров, тихо водя головой, вдавливаясь переносицей в кулак.— А насчет немочки — рапорт в смерш. Нет, ты тоже не ангел, Никитин, не-ет...

И жалкая подавленность, безысходная обреченность в его сгорбленной над столом атлетической фигуре, ожесточенно упорное молчание Гали, ее тонкое, с опущенными глазами, без кровинки, как вчера на поляне, лицо, бесконечная сиротливая вокруг пустота без Княжко, страшный сон, оставшийся в сознании, нежно-мягкие губы Эммы, ее плывущий над головой шепот: «Ду бист мейн шметтерлинг» («Почему бабочка? Почему?») — все было продолжением какого-то заразившего всех безумия, ложной верой в последний срок войны, ожиданием его в этом невиданно уютненьком немецком городке Кёнигсдорфе. Может быть, они, поверив в новую счастливую полосу нефронтовой жизни, поспешили, забежали вперед: торопясь, обогнали судьбу, которую так суеверно опасались обгонять на передовой.

Надо было что-то делать, что-то решать, что-то понять до конца, надо было вырваться из этого проклятого, рокового наваждения, обманувшего их околдовывающим покоем, мирной белизной цветущих садов, ласковым майским солнцем, где для всех кончилась и коварно не кончилась война и где погиб Княжко.

— Одного хотел бы, комбат,— глухо сказал Никитин,— чтобы рапорт в смерш написал сначала Меженин. А потом уж я...

Гранатуров замычал, медленно повозил лбом по кулаку, не ответил, а Никитин пошел к двери, ощущая навязчивую потребность освободиться из душащей его тесноты, чем-то облегчить тупо давившую душу тяжесть, выйти на свежий майский воздух, скорее вдохнуть целебный запах травы, молодой сирени на солнцегреве, посидеть где-нибудь в саду одному посреди весеннего мира, который обманул их, но все-таки был.

Он уже взялся за ручку двери и тут позади себя услышал окрепший грудной Галин голос:

— Подождите, Никитин. Я хотела вам сказать...

И он, поворачиваясь кругом, мгновенно подумал: «Вот главное, о чем она скажет сейчас... а для чего?» — и натолкнулся на ее неумеющие улыбаться глаза...

— Подождите, Никитин.

Она заскрипела сапожками и, равнодушно, как посторонний предмет, обходя сгорбленную фигуру Гранатурова, нашла на столе пачку трофейных сигарет, резко чиркнула зажигалкой, закурила, с перерывами дыхания выпустила струю дыма, сказала:

— Спасибо, Никитин. («За что она благодарила меня?») Не обижайтесь, если я не буду приезжать в батарею. Так будет лучше. Конечно, все знали, почему я приезжала.

Гранатуров оторвал лоб от кулака, мерзлая тесная улыбка его большого рта исчезла, брови горько-насмешливо подобрались, срослись над переносицей, а взгляд потемнел, обострился, проникал в лицо Гали, искал что-то и не находил.

А она, выдыхая дым через ноздри, поперхнулась дымом, коснулась пальцами груди, так всегда явно, остро и вызывающе обрисованной гимнастеркой, сжатой по талии ремнем, что Никитину иногда трудно было смотреть на маленькие, опрятно застегнутые нагрудные золотые пуговички. Ослепительно вороненая чернота Галиных волос, ровная и тонкая бледность, чистые ногти, узкие бедра, даже походка, и курение ее, и неумение улыбаться всегда возбуждали в Никитине неопределенное чувство ревнивого волнения, смутно возникающей беды. Но ее сдержанность не допускала вообразить, что она способна была по-земному любить кого-то, без брезгливости подставлять губы для поцелуев, обнимать, разрешать прика-

саться к себе: он не мог вообразить ее наедине с мужчиной.

Она быстро погасила сигарету в пепельнице.

— Я старше его на три года, а... он был мальчик,— проговорила Галя поперхнувшимся горлом.— И я знала... Я знала, что ничем хорошим не кончится.

— Я пойду,— сказал Никитин, и вновь будто из бездонной глубины прорубленной вчера в его жизни бреши подуло знобким холодом пустынности.— Я пойду, Галя.

— Вы были его другом... и я хочу, чтобы вы знали. Я любила только его... и не строила воздушных замков, Никитин,— сказала Галя, и золотые пуговички на ее груди колыхнулись не то от противоестественного смеха, не то от подавленных рыданий.— Го-ос-поди!.. Разве можно на войне строить воздушные замки?

— Я пойду,— повторил он в четвертый раз и, чтобы не слышать ее, не видеть этих нездоровых глаз Гранатурова, похоже, еще жаждущих зацепиться с надеждой за что-то в лице Гали, распахнул дверь в полутемный, не по-утреннему тихий, напитанный духом пшенной каши коридор, и здесь, на пороге, снова остановил его буднично бесцветный Галин голос:

— Никитин, прошу вас. Скажите Таткину, чтобы принесли ведро воды. Я вымою полы. И прошу вас еще — пусть никто мне не помогает. Я хочу одна...

«Она отделилась от нас,— подумал он.— Она уже не будет приезжать в батарею, теперь — нет...»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Взвод завтракал без обычного утреннего оживления: в столовой позванивали ложки, не слышно было разговоров, смеха, шуток, лица солдат сосредоточенно наклонены, насуплены над котелками; сержант Меженин, сидевший во главе стола, похмельно-угрюмый, сизый, не притрагиваясь к каше, лениво отламывал кусочки хлеба, бросал их в рот, с бездумным равнодушием жевал, двигал челюстями. Заметив Никитина в проеме двери, Меженин против ожидания как-то чересчур уж взбодренно крикнул ему: «А, лейтенант!..» — и в светлых нагловатых глазах мутным отблеском прошла настороженность и сейчас же сменилась знакомым выражением бойкого внимания.

А Никитин смотрел на него вопросительно и спокойно, спрашивая себя:

«Что я сейчас испытываю к нему? Злобу? Брезгливость?»

— Садитесь, товарищ лейтенант. Ушатиков, котелок каши командиру взвода! — скомандовал Меженин излишне распорядительным тоном.— Быстро! Что ты там, Ушатиков, возишься с кошкой, как младенец с чертихой? Кормить лейтенанта!

Лица солдат оборотились к Никитину, но никто не отозвался, не улыбнулся на слова сержанта, все после вчерашних поминок, видимо, понимали, что между комбатом и командиром взвода не на шутку выросла стена раздора, догадывались, почему не уехал поутру в госпиталь Гранатуров и что за разговор мог быть минуту назад между ними. Таткин, с уныло поникшими усами, потревоженно замерцал в набрякших складках век рыжеватыми глазками; Ушатиков, украдкой кормивший кусочками мяса кошку на коленях, заморгал жалостливо при окрике сержанта и, не сталкивая кошку с колен, обтирая ладони о гимнастерку, привстал растерянно и снова сел, не вполне сообразив, что хотел от него Меженин и зачем стоял в дверях и не входил в столовую лейтенант Никитин. И, сконфузясь, Ушатиков пробормотал:

— Голодная она, навроде как сирота...

— Малой ребятенок ты,— заметил старший сержант Зыкин и отложил ложку.— Голова у тебя — сирота. Ветер в ней гуляет, ровно в пустом сарае. Садитесь, товарищ лейтенант, перекусите малость.

Солдаты молчали, искоса поглядывая на Меженина, он щурился, губы его раздвигала наигранная полуухмылка, чуть приоткрывая прокуренные передние зубы.

— Никак, голодать решили, товарищ лейтенант?

— Есть не хочу,— ответил Никитин и, подходя к столу, внезапно почувствовал темные, глухие удары в голове, сразу пересохло в горле, как тогда на поляне, когда стояли они за щитом орудия и когда пошел вперед по траве к лесничеству Княжко, и в крайние секунды чего-то непредвиденного, вот-вот готового свершиться по не уловимой никем причине, не выдержав этих секунд, упредительно нажал на спуск Меженин, и разрыв снаряда молнией сверкнул в верхнем окне, откуда прогремела автоматная очередь, — и, споткнувшись, сделав еще шаг, упал на колени Княжко, зачем-то вытирая лоб платком. «Я ведь не давал Меженину команды. Почему он стре-

лял?» — сквозь удары в голове вспомнил поразительно ясно Никитин, и вместе с отчетливой ясностью того момента, всплывшего в памяти, замутненной всем случившимся позже, он поразился и тому, что никто — ни он сам, ни солдаты — не обратил внимания, не помнил вчера этого. «Нет, никто его не обвинял... Но почему я обвиняю его? Что я чувствую к нему? Ненависть? Гадливость? Значит, ему полностью верит Гранатуров? Или хочет верить?»

— Спасибо, Зыкин, есть не хочу,— отчужденно повторил Никитин, все не садясь за стол, оглушенный биением крови в висках при звуке собственного голоса.— Так вот что я хотел...

— Сели бы с нами, товарищ лейтенант, голод не тетка. Чайку бы выпить?

— Голодает наш комвзвода, Зыкин,— тоже для здоровья полезно. Всем бы нам поголодать, а то жрем немецкие харчи, пузо отрастили, ремень не затянешь, хо-хо!

«Кому это говорит Меженин?»

— Так вот что я хотел сказать, сержант Меженин, черт вас возьми!..

Он еще не знал, что сделает именно в ту минуту, как выскажет сейчас предельно им понятое, выявленное, оголенное до смертельного обрыва, за которым, наконец, могло быть одно — последнее и облегчающее избавление от тошнотно душившей его ненависти к этому красивому, нагловатому, казалось, непробиваемому лицу, к полуухмылке, к этим попорченным зубам, к тому неурочному выстрелу из орудия и той кровавой расправе на поляне... И Никитин договорил вдруг разжавшимся металлической звонкостью голосом:

— Слушайте, Меженин... если бы вчера вы погибли... еще в бою с самоходками... все было бы справедливо. Это ваша идиотская трусость была причиной смерти Княжко. («Как странно, как определенно и уверенно я говорю... Какое освобождение и уверенность — такого я давно не испытывал...») И запомните, пока не поздно. Если завтра я увижу вашу рожу в своем взводе, я вас расстреляю, не задумываясь... как труса и сволочь! За все... За Житомир, за Княжко, за всю вашу ложь и грязь! Вы меня поняли? Вы меня хорошо поняли, Меженин?

Ему было бы легче и проще, если бы он прокричал это в лицо Меженина, обуянный злобой и гневным приступом справедливости; крик раздирал ему горло, а он говорил с такой ледяной жесткостью, с таким ненормальным самоотречением, бесповоротно найденным выходом

из безумной заразы, что страшно было слышать неизбывную и тихую решимость в тоне своего голоса, точно сейчас одной судьбой на виду у солдат взвода связывал и Меженина, и себя, заранее приговаривая его к смерти, которая станет и собственным наказанием.

— Запомните: я сдержу свое слово. Пулю на вас не пожалею. Это последнее, что я хотел вам сказать!..

Никитин видел, как синюшная бледность смыла похмельную одутловатость на щеках Меженина, как сероватым углом выступил не выбритый сегодня утром подбородок, но сержант сидел за столом, не подымаясь, заслонив стоячий взгляд густыми ресницами, потом механически стал отламывать, крошить кусочки хлеба, бросать их в рот — Меженин в молчании жевал, и буграми ходили его скулы, разом осыпанные зернистыми каплями пота.

Жаркая тишина утра увеличивалась, разрасталась в комнате до банной духоты, накаленной солнцем, и среди безмолвной затаенности всего дома было слышно, как спрыгнула на пол кошка с колен переставшего кормить ее Ушатикова, и Ушатиков, вытянув изумлением лицо, вылупив наивные глаза на Никитина, сполз со стула, ногой цепляя, задевая колено Таткина, однако тот не ответил ему ни жестом, ни словом, черные точечки его зрачков сверлили Меженина, и всё смотрели на него, а он попрежнему невозмутимо жевал, ломал, царапал крепким ногтем ломоть хлеба на клеенке. Молчание гремело в ушах Никитина, и это молчание Меженина и солдат говорило ему, что после вчерашнего дня, после поминок никто никак не хотел раздорных поступков, никто не хотел осложнять отношений ни с сержантом, ни с ним, командиром взвода, потому что многое можно простить всем и каждому в отдельности, выйдя живым из боя. И от полыхнувшей огнем мысли, выжигающей в сознании возможность примирения, от уже не подчиненного рассудку решения его вдруг окатило морозящим сквозняком и ознобно затрясло внутренней дрожью: «Именно сейчас, вот сейчас, сейчас последнее... если он скажет хоть одно слово в оправдание.... это будет конец— между мною и им...» И, весь леденея в ознобе, готовый к самому последнему, весь словно погружаясь в затягивающий зыбучий сумрак, растворявший недвижные лица солдат, лицо Меженина, ощущая вокруг пустынную, нейтральную полосу молчания, он неявственно и нечетко разобрал среди свинцового давления тишины рассудительно-злой басок старшего сер-

жанта Зыкина, который угрюмо торопился объяснить причину благоразумного молчания солдат его взвода:

— Неужто стóит, товарищ лейтенант, из-за такого дерьма в штрафной идти? Много будет о себе думать! Если разобраться, ему в базарный день полкопейки цена... Человека кусок!

— Нет,— отрывисто и еле слышно выговорил Никитин.— Вы всего не знаете, Зыкин, всего — нет...

— Я и говорю, товарищ лейтенант: в дерьме испачкаешься — долго не отмоешься. Его лопатой выгребают.

И тут не выдержал Меженин, его будто ударил кто-то снизу в подбородок, голова вскинулась, желваки острыми камнями запрыгали на скулах, суженные глаза набухли кровяной мутью.

— Ах ты падло колхозное! Меня хоронишь? Сговорились? А ты... сморчок московский, так твою растак! Мне угрожаешь? Да еще неизвестно... неизвестно, кто кого... закопает! Меня свалить захотели, падла! Да я вас зубами!.. Как кость перегрызу! Вы на меня? На меня?..

— Меженин,—крикнул Никитин и по молниеносному сигналу памяти опустил правую руку вдоль тела, на то место, где к бедру опасно придавливалась плотная тяжесть ТТ.— Замолчать, Меженин!..

— Расстреляешь? Меня? Меня-а?..

Меженин выскочил из-за стола, с треском отталкивая спиной стул, отпрянул к окну, лицо, по-звериному оскалясь коричневыми зубами, моталось, передергивалось, и в следующий миг, хищно и ловко изогнувшись, издав глухой хекающий звук, он нырнул к полу, схватил стул двумя руками за ножки и, хрипя грудью, занеся стул над головой, швырнул его в Никитина, который рывком инстинкта на шаг отшатнулся в сторону, все продолжая расстегивать кобуру немеющими в спешке пальцами.

Стул врезался в косяк двери, что-то тупое и жесткое ударило по плечу Никитина, а он вроде бы не успел увидеть полет ударившего его осколка — стул с отломанной ножкой упал, загремел по полу — и не успел четко увидеть обезображенного ненавистью лица Меженина, потому что все разом подернулось, замутнело белым, заполненным человеческими голосами туманом. И он шагнул в этот туман, споткнувшись обо что-то угловатое, твердое на полу, с неловкой тормозящей жесткостью в правой руке и правом плече невесомо вскинул не ощутимый пальцами ТТ и выстрелил дважды по странно неясному белесому облаку, имеющему почему-то вместо лица один

лишь дико, по-рыбьи разъятый безголосым криком рот, мгновенно пропавший куда-то за горько обдавшей порохом пеленой тумана...

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!..

«Всё!» — подумал Никитин в сумеречной оледенело-спокойной отстраненности, уже понимая, что сейчас совершил то, что вот с этой отсчитанной минуты меняло его жизнь, и почти не различал вокруг себя крики, суматошную возню, движение тел по правую сторону стола около окон, размыто видя перед собой ошеломленные лица Ушатикова, Таткина, Зыкина, знакомые и чужие лица солдат, подступившие к нему из тумана, он незряче смотрел сквозь них, мимо них и для чего-то старательно и упорно, точно это было теперь главным, вталкивал в кобуру ставший в его руке скользким куском металла пистолет — и не попадал, не находил кожаное гнездо и, не найдя, сунул пистолет в карман, ссохшимся шепотом сказал первое пришедшее из подсознания, как необходимость:

— Зыкин... остаетесь за меня... Я сам сейчас доложу.

Он не расслышал ответа Зыкина, глядевшего откуда-то издалека пристально упрекающими глазами, но помнил, что его никто не задерживал, не останавливал, не отбирал оружие, не осуждал, и бессознательно, неизвестно зачем, он вышел в коридор и там, нагнувшись, повернул к входной двери, чтобы, наверно, глотнуть свежего воздуха, сопровождаемый волнообразно вязнущими за спиной голосами (кто-то сзади взахлеб повторял одно и то же кому-то, выкрикивал в оторопелом непонимании, что лейтенант стрелял по сержанту, убил или ранил его), и когда распахнул дверь в перегретый, сладким теплом настоянный воздух, в жарко-солнечный блеск утра на зеленой лужайке, позади громче засновали шаги, раздались командные возгласы «где, где?», опять загрохали по коридору шаги, и чей-то окрик, настигая, угрозой взвился над всплесками голосов:

— Никитин! Стой! Стой!

А он, переступив порог, шагнул на каменные плиты, проложенные к лужайке, шахматно исчерченной светом и тенями сосен, вдохнул водянисто-пресный запах травы, и сердце запнулось в тугом скачущем перебое, и потемнела лужайка впереди.

— Никитин, стой!

Он не оглянулся. У него толчками звенело в ушах.

— Никитин, стой, приказываю!..

Грохоча сапогами, затрудненно дыша, Гранатуров под-

бежал к нему, железной силой рычага рванул рукой за плечо, недоуменная рыскающая темнота его взгляда, выжигающе спрашивая, кидалась то в самые зрачки Никитина, то на расстегнутую кобуру, он кричал задыхаясь:

— Что сделал, Никитин? Стрелял? Почему? С ума сошел? Где оружие? Где твое оружие?

— Можете арестовать меня, комбат,— сказал Никитин.— Арестовывайте.— И в машинальном, полубезумном спокойствии расстегнул пряжку ремня.— Кажется, ремень снять... и погоны? И, кажется, нужна записка об аресте и конвоир?

— Где оружие, я спрашиваю? Где пистолет? Заткнись, идиот, псих, мушкетер несчастный!..

Всей громоздкой фигурой Гранатуров как бы заслонял Никитина от суматохи, передвижения, голосов в коридоре, толкал, теснил его локтем, придавливал коленом к стене дома, начал быстро ощупывать кобуру, оказавшуюся пустой, лапнул правый карман его галифе и, рвя наизнанку вывернутую материю подкладки, выдернул пистолет, вбросил его в свой карман, выкрикивая со злобой:

— Что же ты наделал? За что ты его? Что ты натворил? А? На какой шаг пошел, на какой шаг, мальчишка! Думал чем-нибудь? Княжко подражаешь? Захотел жизнь свою исковеркать? Пострадать за правду? Интеллигенты, дьяволовы щенки молочные!

— Нет. Не то, комбат...

— Что «не то»? А ну! Иди вперед! — бешено крикнул Гранатуров, косо двинув плечом в спину Никитина.— В дом иди! Назад! Я тебя арестовываю, лейтенант Никитин! Ремень снять, погоны снять! Таткин, взять автомат и— ко мне!

Потом, уже проходя по коридору, вмиг затихшему, показалось, по-вечернему совсем темному, разделенному нечеткими пятнами лиц вдоль стен, Никитин снял ремень с пустой кобурой, отстегнул погоны, молча передал все это в чьи-то ковшиком подставленные ладони, удивился — «ковшиком!» — и здесь же, в коридоре из открытой настежь двери столовой не сразу и не очень отчетливо услышал протяжно-однотонные, жалобные, зовущие стоны, затем дошел грудной командный голос Гали: «Да подложите ему шинель под голову!» И тогда он невольно взглянул в солнечную прорубь света, туда, в угол этой комнаты, куда стрелял... Там, между Зыкиным и Ушатиковым, глядя вниз с серьезным, озабоченным лицом,

стояла Галя, зубами разрывая индивидуальный пакет, но отсюда, из коридора, не было видно лежавшего на полу Меженина, загороженного столом. Стонал он. И что-то раскаленно зазубренными краями повернулось в груди Никитина — неужели это Меженин? Неужели это он?

Нет, так по-человечески жалобно, безнадежно не мог стонать Меженин, еще несколько минут назад выскочивший в неистовстве из-за стола, с истерической энергией намеренный защищаться, рушить, взорванный ненавистью к Никитину, к сержанту Зыкину. И это он, Меженин, в затмении угрожающего действия, крича полоумным животным криком («как кость перегрызу!»), швырнул в Никитина стул и, промахнувшись, ринулся к взводным автоматам, сложенным на полу.

«Нет, он не мог так стонать, это ошибка, это не Меженин, не он...»

— В госпиталь его! Быстро перевязку — и на моей машине в госпиталь! — властно скомандовал за спиной Гранатуров в открытую дверь и выматерился муторной скороговоркой, переменил команду: — Стой! Без меня не отправлять! Понятно, нет? Я сам с ним поеду! Выносите его к машине — и подождать меня! Ну, вперед, вперед! — приказал он, подгоняя Никитина с грубой неутихающей яростью, круто, нетерпеливо его тесня.— Быстрей, быстрей, говорят!

— Только вот что... Прошу не кричать на меня, комбат! — сказал Никитин, едва удерживая голос на краю безумного спокойствия.— Я пойду куда вам угодно... в штаб полка, в смерш, куда хотите...

— Ма-алчать! Советовать мне еще будешь! — закричал Гранатуров, плотнее надвигаясь сзади, и в затемненном, за кухней, тупичке коридора, железной хваткой сдавил его плечо, пихнул к деревянной лестнице, которая вела на мансарду, где была комната Никитина.— Туда! Наверх! Запереть его! Таткин! На замок его и охранять! Стоять возле двери — ни на шаг, никуда не выпускать! Ясно? Отвечаете за него!

— Напрасно, комбат,— сказал Никитин, поймав зрением маленького, угрюмо-насупленного Таткина, потерянно замявшегося возле ступеней лестницы.— Я никуда не убегу. Нет смысла.

— Молчать! Наверх его, туда! Запереть и охранять!

И было еще одно — унизительное, необлегчающее, последнее на этом пути Никитина к его комнате после

ареста. Сопровождаемый вооруженным Таткиным, он стал подыматься по лестнице и посмотрел вверх, на стрелы сквозных солнечных лучей, на пронизанное светом дня маленькое пыльное оконце. И ему вообразилось, ему померещилось: что-то белое легкой косой тенью мелькнуло, испуганно отскочило за щелью слегка приоткрытой на площадку двери, и мгновенно дверь захлопнулась, там, наверху, слабенько щелкнул изнутри замочный ключ.

Он вошел в мансарду, полуобернулся к оставшемуся на пороге Таткину и, не встретив его отпрыгнувшие к стене глаза, сказал: «Ну, охраняйте...», но, только закрылась дверь, ноги перестали слушаться, подкосились в коленях,— он упал плашмя на постель, лицом в подушку, шепча в исходном приступе лихорадочного, удушливого отчаяния:

— Это все, это — все...

Ключ заворочался в замке и отдался тошнотным звуком; опустилась на мансарду тишина; а внизу отдаленно жужжали, сталкивались разжиженные голоса.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

«Дяденька-а!..»

С левого берега пробила пулеметная очередь, высекла изо льда искры, и он пригнул голову, упираясь локтями в края проруби. Ремень натянулся, распарывал взлохмаченную воду толстой струной, и ощутимо на том конце ремня боролась неимоверная упругая тяжесть, рванувшая его за собой: Штокалов, вытолкнув из воды предсмертное, с белыми глазами, с исковерканным ртом лицо свое, хрипя нечленораздельное, исчез под кромкой проруби. Его неудержимо потащило туда, под синеватый ледяной срез, и мокрая лента ремня стала твердой, как железная палка, а этот металлический рычаг с гигантской силой повернулся, всплескивая волну, вправо и влево. И неведомое, ужасное, тайное, что было в этой студеной воде, повезло, поволокло Никитина за руку, на которой намертво был накручен ремень. И он, еще борясь с поворотами рычага, из последних усилий потянул к себе это живое, неодолимое, тяжелое, ушедшее под закраину проруби, чувствовал, как его волокло и волокло локтями, животом по льду к чугунно-черной воде, дышащей гибельным холодом. Не было уже никакой опоры, а его все быстрее, все наклоннее везло к обрыву проруби, снизу жгуче окатившей

паром и брызгами голову, и он успел заметить справа, вблизи своего локтя, большого полосатого окуня, выброшенного разрывом, вмерзшего в ледяные осколки растопыренными жабрами. Это было единственное препятствие, во что еще мог упереться его локоть. Он сделал скачок локтем, жесткая пряжка ремня бритвой резанула по ладони, а Штокалов все рвал ремень из глубины, дергал, тянул, чудовищными рывками увлекал его за собой, и закаменелый колючками жабр окунь, хрустя, прополз куда-то под грудь ему.

И потом ударил, хлынул в рот, в ноздри рвотный вкус зимней воды, а в мутном дыме ее впереди замелькали темные скользкие тени, похожие на вожделенно, остро растопыренные клешни голодных раков, которые со всех сторон спеша подползали к нему, туго зашевелились под ним, сталкиваясь, скрипя холодными панцирями на голом животе под шинелью, впиваясь рвущей болью...

Так на долю секунды представилась ему своя смерть — и тогда, в подсознании последнего напряжения не выпустить ремень, почти захлебнувшись поднятой волной, он очнулся от боя пулеметной очереди над головой — она пробила с того берега низкими трассами. Он лежал на самом краю проруби, стоная, выташнивая воду, а в кровь изодранная о лед, сведенная судорогой рука закоченела, не выпускала, держала ремень, бессмысленно легкий, освобожденный. И посреди успокоенной полыньи тонко, стеклянно позванивали, терлись друг о друга льдинки, и круглыми чашами плавали две шапки — его и Штокалова, поношенная солдатская ушанка с пропотелой внутренностью, где по-хозяйственному была вколота иголка, обмотанная ниткой.

Штокалов... Когда это было? В сорок втором под Сталинградом на реке Аксай. Перед сумерками он шел на КП полка вместе с присланным за ним из штаба незнакомым связным по фамилии Штокалов, разговорчивым деревенским пареньком, похожим шустрой прыгающей походкой на воробья, а через полчаса ходьбы, в русле Аксая, напоролись на немецкого пулеметчика, сначала упали на лед, поползли, затем кинулись под прикрытие берега, и здесь Штокалов провалился в развороченную, вероятно, утром, тяжелым снарядом полынью, затянутую неокрепшей пленкой.

«Почему я думаю о Штокалове? И это не сон, и я не сплю, хотя нужно заснуть, но не могу и вижу все, и помню, будто вчера было... Там, в проруби, плавали две

шапки — и, значит, я тоже мог тогда погибнуть. Штокалов погиб, а я остался... Почему когда он провалился в ту прорубь, то не закричал: «Лейтенант!», а как-то непонятно вскрикнул по-деревенски: «Дяденька-а!» — вроде войны не было, а просто шли по льду в соседнюю деревню. И мне не хватило сил вытянуть его из полыньи — почему я не смог? И не смог спасти, вывести из Житомирского окружения санинструктора — как ее звали? Кажется, Женя... И не хватило сил... чего-то мне не хватило остановить вчера Княжко, задержать и предупредить то, что произошло на поляне... Но в какой момент? Как? Никогда я не забуду, как Княжко упал на колени после автоматной очереди. Как странно, и зачем он провел рукой по лицу? О чем он подумал тогда?..»

В полуяви дремотного оцепенения, в горячей вечерней духоте прокаленной за день мансарды Никитин лежал на постели, облитый жарким потом, сердце билось, спотыкаясь, он слышал его глухие удары, а память не защищала, не подсказывала ему оправдания, и он не искал оправдания, очищения собственной вины, потому что невыносимее всего было то, что в те последние секунды чужой гибели он что-то не сделал крайнее, сверхвозможное и не смог, не сумел помочь, предупредить... И это ничем не оправданное бессилие, горечь вины были теперь до того неискупимы, и так отчетливо, реально повторялось перед ним вынырнувшее из черной воды проруби уже без надежды, уже смертное лицо Штокалова, его захлестнутый волной крик: «Дяденька-а!», так страдальчески и незнакомо были сведены влажные брови Жени, на которых он представил ползающих весной муравьев, и так по-детски косо лежала светлая прядь волос на бледном виске Княжко, что Никитин замычал, заскрипел зубами в оборении пронзающей боли и хотел вырваться из неумолимых тисков полусна — и тотчас нечто туманное, белесое выплыло, заметалось впереди облаком, возникло чье-то лицо, загородило другие лица. Оно было очень неясным, но оно угрожающе-враждебно оскалилось, отпрянуло в сторону солнечного окна, потом над ним сверкнули красным выстрелы, все поплыло звоном и тишиной, и неузнаваемый голос, захлебнувшись пораженно, разбух всколыхнутой чернотой безобразного страха: «Лейтенант стрелял по Меженину! Неужто убил?..»

Ему мерещилось, что он спал и видел одни и те же сны, но в то же время сознание словно бы отделилось от состояния сна, и он понимал, что не спит, плывет в зыб-

кой волне забытья и думает о муке невозможности оборвать этот бред, являющийся только зашторенной чем-то темным действительностью.

«Кто так страшно кричал? И о ком это? Какой лейтенант? — сумеречной полосой текло в сознании Никитина.— Нет, все не сон. Да это ведь было. Я, кажется, вошел в столовую, потом в моей руке был пистолет. Значит, я стрелял в Меженина. Выстрелил я... В столовой был завтрак. Были все... И теперь я отвечу. За то, что сделал. Что же дальше будет? Военный суд, разжалование, штрафной батальон, искупление кровью? Я совершил преступление. И я не имею права оправдываться. Нет, я не убил его... Он стонал. Его перевязывали. Да, я арестован, и лежу вот здесь на постели, и жду, когда меня увезут куда-то. Что ж, я сам знаю... знаю, что надо было иначе. Но — как иначе? Неужели я жалею его? Так нужно было? Или не нужно? Я плохо помню, что я делал? Кто виноват? Я? Он? Я мстил за Княжко? Защищал себя? Не мог ничего забыть?»

До того момента, когда память подсказала ему опустить правую руку на кобуру, до того стремительного мига, когда он нажал на спусковой крючок и прозвучал выстрел по белесому облаку, вставшему под окнами комнаты,—в нем не было ни нерешительности, ни частицы сомнения, как если бы приказом разума, справедливым приговором спасал всю батарею, целый мир и карал предательство, трусость, ложь в лице одного человека, которого после вчерашнего дня ненавидел так, как никого в жизни. Но минут пять спустя, остановленный на лужайке Гранатуровым, арестованный, то есть уже обвиняемый, увидев под теми же сплошь солнечными окнами Галю, серьезно глядевшую вниз, в спешке разрывающую индивидуальный пакет, услышав протяжные стоны загороженного столом Меженина, он сперва не поверил, что этот ненавистный ему человек может испытывать человеческие страдания,— и что-то раскаленно прошло в душе Никитина. Нет, он сам принял решение совершить суд, знал, что́ последует за этим (арест, трибунал, штрафной батальон), нет, он вовсе не мстил, а очищал с себя, с Княжко, со всей батареи отвратительную, мерзостную, прилипшую слизь, но мгновенное раскаяние, жалость при той стонущей человеческой боли оглушили его, и в голове пронеслось: «Кто дал мне право?»

А потом, после ареста, лежа один, запертый в душной мансарде, охраняемый часовым, он вспоминал день за

днем все, что было, как было, как обострялись его отношения с Межениным, стараясь заглушить одну боль другою болью,— и не то в дремоте, не то в бреду думал, какую боль должен был ощутить Княжко, ударенный очередью в грудь на той проклятой поляне, и понял ли он, что его убил Меженин, ненужным выстрелом орудия вызвав ответный огонь не поверивших немцев. Он, Никитин, не раз был в чем-то виновен, бессилен перед чужой смертью — как и тогда, в сорок втором на реке Аксай, и в Житомирском окружении,— и, наверное, на передовой многое простилось бы Меженину, стерлось следующим боем, осталось неопределенным, если бы не поминки, письмо Андрея и этот донос Гранатурову.

«Гнусность, подлость! Нет, я не должен его жалеть, я не имею права его жалеть. Я сделал то, что должен был сделать. Так должно быть со мной. Все шло к этому. Это началось давно... Но все шло к этому!..—повторялось в голове Никитина с такой четкой определенностью неисправимого положения, с такой готовностью пройти через свою кару, круто и ломко поворачивающую его судьбу в темное, неизвестное, что спотыкалось в удушье сердце от этой выделенной осознанием случившегося казнящей мысли: — Я сделал... Я сам хотел этого. Пусть будет так!..»

Измученный, весь в обильном поту, он вдруг открыл глаза и перевел дыхание, как после борьбы.

Было темно в комнате, и не по-вечернему, а по-ночному спала, везде таилась тишина — на нижнем этаже, за дверью мансарды, за черным окном; нигде ни звука, ни голоса.

«Теперь я не должен, я не имею права раскаиваться! — начал внушать себе снова Никитин, прислушиваясь к молчанию в доме, и сбросил затекшие ноги с кровати (сапог не снимал), зашагал по комнате наугад к двери, где, казалось, целый день не шелохнулся на посту часовой, и пошел обратно к постели, и обратно к двери.— Тогда зачем же? Зачем так долго? Нет, скорее бы, скорее бы только!..»

Звучно взвизгивали старые половицы под ногами, деревянный их скрип, его шаги, шорох неподпоясанной гимнастерки заглушали дыхание, частые удары сердца. Он остановился, не зная, что делать, чем ускорить, убить время до утра, а утром, как он понимал, должно было проясниться все, решиться все твердо и бесповоротно.

«Сколько же?.. Сколько уже времени?» Он напряг зре-

ние и пригляделся к ручным часам, подставляя их к проему окна: так немного светлее было. Стекло на циферблате голубовато расплывалось, отблескивало, но кое-как стрелки можно было различить: шел двенадцатый час. «Что делать до утра? Я не смогу заснуть...»

И его томила нагретая темнота мансарды, незавершенность какого-то действия; было душно. Он раскрыл створку окна, сел на подоконник. Снизу мягко и влажно подымался пряный запах; белели застывшим дымом яблони за оградой сада; было начало ночи, безлунной, теплой; слабая синева на западе, где давно истаял за лесами длительный закат, еще светлела под чернотой огромного неба, там играли теплыми веселыми переливами трапеции и стрелы высоких майских звезд. И всюду: около дома, над у́гольными тенями городских крыш, над редкими блестками звезд в озере, над опушкой соснового леса, откуда утром неожиданно пошли в атаку самоходки,— стояло чудовищное безмолвие. Только в одной стороне: меж позиций батареи и озером, однотонно, скрипуче кричала ночная птица, и этот однообразно повторяющийся деревенский звук посреди пустынных холодеющих лугов на окраине спящего немецкого городка показался Никитину случайным, заблудившимся здесь, в каменной Германии.

«Кажется, кричит коростель. Как он попал сюда?»

Потом он ощутил страстное желание закурить, стал быстро шарить по карманам, нашел наконец измятую пачку и скомкал ее в кулаке—она оказалась без единой сигареты: выкурил днем последние, когда лежал на постели, запертый Таткиным в мансарде.

И чтобы легче было, он сильно потер лоб, будто умываясь освежающим воздухом, затем бесцельно чиркнул зажигалкой, вторично чиркнул, задул огонек, сказал вслух: «Все!» — и тотчас дернулся даже от чужого голоса, внятно окликнувшего его, чудилось, рядом, из-за спины:

— Товарищ лейтенант!..

— Кто? Что?— Он спрыгнул с подоконника и вновь торопливо высек слабое бензиновое пламя, сделал несколько шагов к двери.

Там, за дверью, кто-то завозил по полу сапогами, кашлянул и полминуты спустя позвал напрягшимся шепотом:

— Товарищ лейтенант, с кем вы, а? Не спите, разговариваете вроде...

«А-а, часовой!.. Да, да, а я думал: начало мерещиться...»

И, узнав этот голос, несмелым шепотом проникший в комнату с площадки лестницы, Никитин, бессознательно светя зажигалкой, подошел к двери, спросил тоже шепотом:

— Это вы, Ушатиков? Вы Таткина сменили?

— Я, товарищ лейтенант.—Ушатиков притих по-мышиному, затем не то вздохнул, не то протяжно сапнул носом и — почти неслышно:—Это я, Ваня Ушатиков, солдат ваш...

— Что в батарее, Ушатиков? Почему так тихо?

Никитин спросил это и замолчал, привалился плечом к косяку, виском прижался к твердому, пахнущему старой краской дереву. Его солдат Ушатиков, восемнадцатилетний паренек, стоял часовым возле запертой снаружи двери, там, на лестничной площадке, отделенный от него ничтожно малыми сантиметрами пролегшей сейчас между ними границы, которая определяла уже нечто неприступное, новое, неестественное в их довольно недлительных по времени отношениях. Самый молодой во взводе, Ушатиков пришел на передовую лишь прошлой зимой, на территории Польши, и он по-особенному нравился Никитину: длинношеий, не потерявший после первых боев простодушного любопытства, наивного восторга удивления перед каждой, очевидной для других, деталью войны, постоянно заставлявшей его выпучивать круглые голубиные глаза, ахать и как-то совсем уж не по-мужски всплескивать и хлопать руками по бедрам. Был он неизменной мишенью насмешек, но от него излучалась нехитрая, притягательная доброта, неиспорченная, угловатая доверчивость — качества до смешного заметные в соседстве с матерыми и повидавшими виды солдатами взвода.

— Значит, все спят, Ваня? — повторил Никитин, намереваясь поддержать, продолжить разговор, чтобы слышать этот робкий ответный голосок Ушатикова, и его возню сапогами, и смущенное его покашливание.— А где комбат? Уехал?

— Они с врачом в госпиталь Меженина повезли, давно уехали,— прошептал Ушатиков, и при этом вообразил Никитин, как он вытянул долгую свою шею к двери, сообщая недозволенное.— А внизу никто, кажись, не спит, лежат в комнатах... Сержант Зыкин там все о вас и Меженине говорит...

— И что же говорит Зыкин?

— Не надо было, говорит, товарищ лейтенант... сокрушаются во взводе-то. Сурьезный, говорят, очень вы были. Как же вам теперь? Засудят до штрафной али еще что? Погонют куда-нибудь арестантом, всю жизню молодую Меженин вам свихнул... Вот беда-то какая вышла! А сам Гранатуров, когда уезжал, очень строго приказал всем: чтоб ни одного слова никому, что в батарее произошло. Не в себе был... Аж в бога ругался. Для чего вы, а?..

— Я сделал то, что сделал,— сказал Никитин, покоробленный по-бабьи жалостливым сочувствием Ушатикова, его бесхитростным сообщением о разговорах во взводе.— Все было сложнее.

— А как же так, товарищ лейтенант, вышло-то как неудобно вам! — заторопился за дверью шепот Ушатикова, и воображением увидел в темноте Никитин его моргающие глаза, они круглились испугом и удивлением.— Никудышный он человек, злой, ненормальный, да пусть себе ползал бы, как гадюка какая, авось до смерти не укусил бы. Ведь немца убивать-то страшно, не то что своего, нашего. Я дома курицу, когда мамка просила, зажмуренный рубил — ужасть самому было. Неужто вы, товарищ лейтенант, сами хотели на такое отчаяние пойти?

— Нет, я этого не хотел,— сказал Никитин и, хмурясь, непроизвольно чиркнул зажигалкой, посмотрел на огонек.— Не хотел. Долго, Ваня, это объяснять. И зачем объяснять?

— Вроде сами вы хотели на отчаяние такое пойти, товарищ лейтенант. Заарестуют вас... как без вас во взводе будет? Привыкли к вам. Лейтенанта Княжко убило, а с вами вот такое страшное дело. А мы-то как?

— Пришлют нового командира взвода. Да и война кончается. Очень скоро все кончится, Ваня. Я уверен.

По ту сторону двери непроницаемая, как чернота ночи, встала между ними граница неподвижности; не переступали сапоги по скрипучему полу, прекратился шепот, и опять представил Никитин близкого за порогом, понуренного в потемках Ушатикова, поставленного охранять его, командира взвода, и терзаемого наивным непониманием, сочувствием, страшной внезапностью всего случившегося.

«Он сказал «привыкли»,— подумал с тоской Никитин, зачем-то механически высекая и гася огонек зажигалки.— Да я и сам привык, до невозможности к ним привык!»

Они оба молчали, и вдруг громко шмыгнул носом

Ушатиков, затоптался, передвинулся на площадке, и беспокойством вполз шепот сквозь тьму в комнату:

— Товарищ лейтенант, что вы там щелкаете? Не оружие у вас?

— Нет, Ваня, зажигалка. Очень хочу курить. Сигареты кончились. У вас что-нибудь есть покурить?

— Ах, господи! — ахнул Ушатиков и, вероятно озадаченный, шлепнул себя ладонью по бедру.— А я-то думаю, защелкало у вас, не пистолетом ли балуетесь? Мысль дурная пришла — как бы с отчаяния в себя не пальнули! Господи, моя мама, есть у меня курево, есть! Сигареты трофейные. Цельная пачка есть...

— Если можно, откройте дверь. Дайте мне несколько штук.

— Да что ж вы раньше-то? Сейчас я... Ежели бы вы раньше, так я бы... Сейчас я ключом открою, только втихаря, товарищ лейтенант, ладно?..

— Откройте.

Тихо звякнул, заскоблил ключ в замке, потом дверь отворилась, и в проеме темноты, теплой, плотно сгустившейся на маленькой лестничной площадке с голубоватым от звезд круглым оконцем вверху, неловко толкнулся навстречу своими горячими руками едва различимый за порогом Ушатиков, засовывая Никитину в пальцы пачку сигарет, бормоча сконфуженно:

— И как вы раньше-то? Не курю я. А так, для фасону. Со всеми дым когда пустить. Всю пачку возьмите. Не нужно мне...

— Спасибо.

Никитин нащупал сигарету, пламя зажигалки красновато осветило молодое, удивленное лицо Ушатикова; поморгав, замерцали остановленные на жидком пламени, растерянно ждущие чего-то глаза, а юношеская шея его вытягивалась столбиком, вся открытая расстегнутым воротником гимнастерки. Спертая духота скапливалась тут, на тесной площадке, подымалась теплом из нижнего этажа.

— Может быть, вместе покурим, Ушатиков,— сказал Никитин. И, заметив, что не было при нем положенного часовому оружия, усмехнувшись, спросил: — Ну а где ваш автомат? Что же вы меня без оружия охраняете?

Он прикурил, но не затушил огонек зажигалки, смотрел на добрые губы Ушатикова — так было веселее, спокойнее как-то ему.

— В углу он... извините, товарищ лейтенант,— забор-

мотал Ушатиков, повозил еле слышно сапогами, потупился, затем перевел разговор легонько: — И кошка, дура такая немецкая, пришла давеча снизу и пристроилась на половичке, спит себе, сатана, как русская, и — никаких. Пристала ко мне,— ласково прибавил он, глядя под ноги.— Видите, товарищ лейтенант? Мурлычет себе, животная такая. Умная, ровно сродственника нашла. Тут и стою с ней, зашибить ее сапогом боюсь.

Но Никитин не проявил никакого интереса к кошке, молча дал прикурить Ушатикову и погасил зажигалку. Долго молчали. Ни единого звука не было в доме, погруженном в сонный час ночи.

— Эх, боже мой, боже мой! — шепотом заговорил грустно Ушатиков, сдерживая кашель, давясь дымом.— Не страшно вам? А утром как с вами будет, товарищ лейтенант?

— Я когда-то еще до войны читал, Ваня: за все надо отвечать и расплачиваться. За все. Понимаете, Ваня? Я раньше этому не верил.

— Да как так может быть? — не понимая, смутился и вздохнул Ушатиков.— А ежели какой человек только доброе делал? За что же тогда? Ах, боже мой, боже мой.

Они опять замолчали и так курили вместе среди несокрушимого покоя дома, разделенные порогом отворенной двери,— Никитин, стоя в комнате плечом к косяку, Ушатиков на лестничной площадке, — и загорались, меркли впотьмах светлячки сигарет, несовместимо связывая их недоговоренностью, одинаково неразрешимой простотой и сложностью обстоятельств, которые так же не зависели от них обоих, как не зависело еще вчера утром многое, что принято считать судьбой, от команд, приказов Никитина, от нервной расторопности Ушатикова у затвора орудия в часы атаки и отхода через лес немецких самоходок.

— Товарищ лейтенант, слышите? — Вспыхнув, жарок сигареты выхватил, подсветил снизу лицо Ушатикова, и фосфорическими бликами тревожно скользнули его белки вправо, влево, истаивая одновременно с тускнеющим угольком сигареты.— Все время так...— договорил он, прерывисто потянув носом.— С тех пор как стал на посту, так и слышу...

— Что вы... о чем, Ушатиков? — спросил невнимательно Никитин.

И Ушатиков заговорил таинственным шепотом, скороговоркой, проглатывая слова:

— То на цыпочках она к двери подойдет, поцарапается, как будто ногтем, и отойдет, то поплачет у себя тихонько, чтоб не слыхать под дверью, а слух у меня как у собаки... Комбат на улицу ее не велел выпускать, а она выходить из комнатенки боится, товарищ лейтенант, а ей что-то надо. Немочка-то глазастая, шустрая такая, а вот боится нас, как зверей каких... Слышите, товарищ лейтенант, похоже, по двери скребется?

«Эмма, Эмма! — остро обожгло Никитина и, глянув в темноту, где должна быть ее дверь, почувствовал, как знойно стало лицу и горячо сдвинулось, забилось в висках сердце, вспомнил тот момент, когда, арестованный Гранатуровым, конвоируемый Таткиным, утром, без ремня и погон, подымался вот сюда по лестнице и промелькнуло что-то быстрое, белое в дверной щели, а потом стукнула наверху, прихлопнулась дверь, испуганно щелкнул изнутри ключ.— Да, в той комнате... здесь, рядом, Эмма, это она...»

В течение многих часов, проведенных уже под арестом в своей мансарде, он почти не думал, не вспоминал о ней с последовательной и необходимой подробностью: все, казавшееся не главным теперь, измельченным, случайным, было вытеснено из головы огромным, совершившимся, что сделал он сегодня утром, и мысль к Эмме возвращалась непрочно, лишь начинал звучать, ворочаться в ушах голос Гранатурова — и, не соглашаясь, отрицая его подозрения, он, чудилось, ощущал слабый вкус ее шершавых губ, видел полураскрытые улыбкой влажные зеркальца зубов, сиявших после произнесенного с радостным удивлением по слогам русского имени: «Ва-ди-им»... Но тотчас же он вытравлял и подавлял в душе все это, связанное с ней, будто бы преступно притрагивался к чему-то запретному, нарушавшему самой войной установленные святые законы, что никому не разрешено было переступать.

— А Меженин давеча Зыкину врал, товарищ лейтенант,— степенно проговорил Ушатиков,— навроде у вас с немкой амуры начались. Заливал по-лошадиному. Ужас как плел...

— Нет, Меженин не врал,— внезапно сказал Никитин.— Я знаком с ней.

Сигарета зарделась, Ушатиков замялся, издавая отпыхивающиеся звуки, глотая дым, выговорил:

— Как же понимать? Товарищ лейтенант... Любовь между вами? Боже мой... По-настоящему или как? Как же это такое?..

— Не знаю.

И какое-то новое, противоречивое чувство испытал Никитин. Да, конечно, Эмма должна была слышать выстрелы, крики внизу, затем могла видеть в щелку, как его вели по лестнице без ремня и погон, и тут же, вероятно, могла подумать, что несчастье случилось из-за нее, перепугалась, заперлась в комнате, плача там, одна, временами подходя к двери, в робости не осмеливаясь уже открыть дверь, выйти: часовой стоял на лестничной площадке, подобно угрозе, и никто не хотел ничего объяснить ей. И Никитин со злым стыдом к своей насильной попытке не думать, забыть, отдалить все, что напоминало об Эмме, об их несправедливой близости, что внушал он себе, предавая и себя, и ее этим защитным самообманом, понял («комбат на улицу ее не велел выпускать»), что подспудно тяготило его весь день.

— Ушатиков,— сказал Никитин, неожиданно решаясь и зная, что он наконец сделает сейчас.— Ушатиков, слушайте, это моя просьба к вам... Если вы согласитесь... Немка не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Но она, наверно, думает, что виновата во всем. Я должен с ней поговорить. Объяснить ей. Вы понимаете? Я постучу к ней и поговорю. Все будет тихо, мы никого не разбудим. Вы понимаете меня?

— А как же... товарищ лейтенант, а как же мне быть? —замешкался и заелозил по полу сапогами Ушатиков.—Я как-никак часовой. Вы меня ведь сами уставу учили. И вы... нарушить разрешаете?

«Нет, какой все-таки милый и наивный парень этот Ушатиков! Он, кажется, извиняется передо мной?»

— Поймите, Ушатиков, я никуда не убегу, это для вас главное! Никуда не убегу! И бежать некуда!— сказал быстро Никитин.— Остальное не имеет значения. Верите мне? Или не верите?

— Да разве не верю я вам, товарищ лейтенант? — ответил Ушатиков с оторопелым согласием, но в голосе его пульсировало недоверчивое изумление.— Не знал я, совсем не знал, что с немкой у вас...

— Это важно, Ушатиков, очень важно. Я должен с ней поговорить. Сейчас поговорить.

И, чиркнув зажигалкой, он посмотрел в проем лестничной площадки, перешагнул порог, подошел к закрытой двери — на ней розоватыми блестками задвигался отраженный свет,— постучал тихо, слегка прикасаясь паль-

цем, произнес шепотом: «Emma, komm zu mir».[1] Однако там, за дверью, не отозвались, не было слышно ни шелеста, ни шагов, ни человеческого дыхания, нерушимая пустота ночи таилась в комнате, и Никитин постучал повторно и громче, опять позвал шепотом:

— Эмма, это я... Вадим, Эмма...

Вдруг невнятное шевеление, не то всхлипывание, не то вскрик послышались где-то внизу. Потом от самого пола неразборчивый этот шорох робко пополз вверх, убыстренней толкнулся к замку, но не сразу звякнул задержанный второй поворот ключа. Неяркий огонек зажигалки сник, заколебался в потянувшем по лестнице теплом сквознячке — и через щель приоткрытой двери свет тускловато загорелся в испуганных, огромных глазах Эммы, на ее волосах, неубранно, длинно висевших вдоль одной щеки. Пальцы ее лежали на ключицах, будто зимним холодом обдало из коридора, и все беспомощно искривленное дрожанием пухлых губ, бровей, заплаканное ее лицо показалось Никитину в тот миг больным, обреченным, некрасивым, и с мукой полунемого, подбирая немецкие слова, он проговорил в отчаянном поиске нужного смысла:

— Emma, alles... alles... alles gut...[2]

У нее как-то ослабленно запрокинулось назад лицо, выгнулось горло, она мотнула головой, заплакала, вскрикивая, шепча:

— Herr Leutnant... Vadi-im! Alles sehr schlecht, sehr schlecht! [3]

Бензин выгорал на фитильке зажигалки, пламя осело, немощно затухло, Никитин с поспешной резкостью нажал на колесико, брызнули искры, фитилек затлел багровым пятнышком, наконец пыхнул капелькой пламени и окончательно сник. Никитин выругался:

— Черт возьми, бензин кончился!

— Товарищ лейтенант... у меня есть,— забормотал рядом Ушатиков.— Возьмите...

Он взял зажигалку, на ощупь трофейную, австрийского производства, какие появились во взводе еще до Берлина,— крохотный артиллерийский снарядик, и, словно забыв о потерянном сейчас для себя праве принимать решения, вполголоса сказал:

---

[1] Эмма, иди ко мне.

[2] Эмма, все... все... все хорошо...

[3] Господин лейтенант... Вади-им! Все очень плохо, очень плохо!

— Лучше будет — поговорить в моей комнате. Так будет лучше, Ушатиков. Если что-нибудь... или приедет Гранатуров, сообщите... кашляните громче. Не хочу подводить вас. И не подведу. Вы понимаете? Понимаете?

И Ушатиков заговорщически и жарко зашелестел в темноте:

— Товарищ лейтенант, отсюда я каждый шумок снизу слышу. Слух у меня собачий. Не сумлевайтесь. Ежели что, посигналю.

— Эмма...— шепотом повторил Никитин и, не посветив зажигалкой (не хотел, чтобы Ушатиков видел их лица), раскрыл дверь в ее комнату, где молча стояла она, нашел, скользнув по теплому бедру, тонкую кисть ее опущенной руки, встречно и цепко впившуюся в его пальцы, осторожно повлек за собой: — Emma, komm zu mir! Komm zu mir! Ruhig, Emma!..[1]

— Va-dim...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

После того, как Ушатиков повернул ключ в закрытой двери, они с такой нетерпеливой, горькой жадностью кинулись друг к другу, с такой молодой неистовостью сжали друг друга в объятиях, томительно и неутоленно ища губы, что она тихонько заплакала, все еще повторяя слабыми вскриками между поцелуями: «Vadi-im, Vadi-im...» А он, ощущая вкус Эмминых слез, с трудом отрываясь от ее ищущего мягкого рта, шептал какой-то непонятный самому нежный туман слов, соприкасаясь дыханием с этим теплом неровного, еле переведенного ею дыхания, и как бы вдали от всего рассыпанными искорками, верховым ветерком проходила в голове отрешенная мысль: что бы ни было, что бы с ним ни случилось, он ничего не в силах был поделать, ничего не мог остановить. Его неодолимо тянуло вот к этим ее губам, слабому протяжному голосу, к ее улавливающим каждое его движение глазам, точно очень давно, забыто встречался и знал это ощущение когда-то, знаком был с ней...

— Эмма, милая,— шептал Никитин, не отпуская ее, стараясь увидеть и не видя в потемках близкое лицо.—

[1] Эмма, иди ко мне! Иди ко мне! Спокойно, Эмма!..

Что же это? Как же это? Ты и я? Я русский офицер, ты немка... Ведь я не имею права, Эмма, милая... Я думал, что все просто так... как бывает вообще, знаешь? А это не так, не так, Эмма...

Она вытерла слезы о его щеку, охватив пальцами его затылок.

— Vadi-im, ich sterbe... Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. O, was wird mit uns weiter? [1]

Он помнил эти «wird» и «weiter», ему не однажды встречалось металлическое «mit uns» — клеймо на немецком оружии («Cott mit uns»)[2], и понял, о чем она спросила.

— Если бы я мог знать, что будет...— заговорил Никитин, произнося слова то шепотом, то вполголоса.— Если бы я знал, куда отправят меня, все равно, что мог бы я сделать и что могла бы ты сделать? И что вообще делать? — Он запнулся, он, как в забытьи, говорил по-русски, но сейчас же поймал в памяти знакомую по школе фразу из Гейне: — Ich weiß nicht, ich weiß nicht!.. [3] — Она молчала, держа пальцы на его затылке.— Ты здесь, в Кёнигсдорфе, а я в Москве, в России. И мы воюем с вами, с немцами. Если бы ты жила в России, если бы я тебя встретил в России. Я, наверно, такую, как ты, хотел встретить... Я, наверно, люблю тебя, Эмма, люблю тебя, понимаешь меня, Эмма, милая?.. Я, наверно, люблю тебя...

— O, Vadi-im, mein Lieber... Warum Rußland? Warum? [4]

Эммины пальцы дрожаще сбежали с его затылка, и все тонкое, ощутимое под руками тело ее выгнулось назад, соскользнуло вниз, она опустилась на пол, прижимаясь лбом к ногам Никитина, а он, немея в стыдливой растерянности, рывком поднял ее и с такой нежной силой стиснул, обнял за спину, что покорно подавшееся ему ее хрупкое тело сладкой исступленной мукой слилось с его грудью и коленями. Они стояли так в оцепенелом объятии, и он, будто бездонно погружаясь в предсмертный туман, губами хотел проникнуть в эти подставленные, солоноватые, овлажненные слезами губы, бесcловно объ-

---

[1] Вади-им, я умираю... Я люблю тебя. Я всем сердцем люблю тебя. О, что будет с нами дальше?

[2] «С нами бог».

[3] Я не знаю, я не знаю!..

[4] О, Вади-им, любимый... Почему Россия? Почему?

яснить, передать ей то, что она еще не умела почувствовать.

— Эмма, Эмма,— повторял Никитин, чуть откидывая ей голову, отводя длинные спутанные волосы со щек, чтобы заглянуть в лицо, светлеющее перед ним,—ты прости меня, что так получилось. Я не знал, что так будет. Я думал совсем другое, когда ты вошла тогда утром. Я, конечно, виноват. Я не знаю, кто из нас виноват. Нет, не в этом дело, не в этом дело...

— Vadi-im, ich liebe dich, ich liebe, ich liebe!

Она все теснее, все крепче сцепливала его шею, дрожа коленями ему в колени, потом ноги ее обессиленно подогнулись, и с легким вскриком она потянула его вниз упругой тяжестью, словно, вместе с ним падая на пол в изнеможении благодарности, восторга и страха от непонятных русских слов, от этого ответного, искреннего его порыва к ней, хотела доказать послушную преданность ему, и в обморочном звоне пустоты она шептала, увлекая его куда-то:

— Mein Lieber... Vadi-im...

А он с замутневшимся сознанием, подчиненный ее желанию последней нежности, ее растянутому шепоту, вдруг подумал туманно, что в нескольких шагах, на лестничной площадке, возле двери, стоит, охраняя их, Ушатиков, что невозможно, нельзя забыть об этом, и, уже отрезвленный, сжал плечи ей, заговорил и еле услышал свой пропадающий в глухоте потемок голос:

— Эмма, мы сейчас не должны, этого не нужно сейчас делать. Эмма, сядь сюда. Вот сюда, на подоконник. Здесь будет удобнее. Нам поговорить нужно. Nehmen Sie Platz, Emma. Bitte, Emma...[1]

Он обнял и подвел ее к окну, но, когда подсадил на подоконник, она, должно быть, не поняла, что он готовился сделать, и поймала, ласково притиснула его ладонь к своему обнаженному гладкому колену и так начала тихо сдвигать к бедру тонкую материю платьица. И, не отнимая руку, оправдывая самого себя, он стал целовать ее раскрывшиеся замершим ожиданием губы и даже зажмурился в приступе отчаяния, не зная, что происходит с ним и с нею.

— Эмма, Эмма.

— Vadim, ich liebe dich, ich liebe...

---

[1] Сядьте, Эмма. Пожалуйста, Эмма...

— Послушай меня, Эмма,— проговорил Никитин, как в волнистом текучем дурмане.— Здесь произошло то, что тебе не нужно знать. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Ты ни в чем не виновата. Ни в чем. И бояться тебе нечего. Понимаешь? Я должен уехать... то есть меня утром не будет здесь. Но так уж случилось. Я очень любил лейтенанта Княжко. Со мной черт знает что случилось! И я тебя, наверно, теперь не увижу. Как и почему я могу опять попасть в Кёнигсдорф? Никак, я не знаю! А в штрафном нужно еще выжить, там все сначала. Но пусть бы... Хуже, чем было в Сталинграде, на Днепре или в Берлине, не будет! И я знаю, что война кончается. И я никогда не попаду в Кёнигсдорф! Понимаешь? А я... люблю тебя, Эмма. Я чувствую... и не знаю, что делать. Вот что случилось, Эмма... Я не знал, что так будет...

— Vadi-im! Ich verstehe nichts! Wozu Stalingrad? Wozu Berlin? [1]

Она склонилась с подоконника, ее волосы щекотали подбородок Никитина прикосновением теплой свежести, и овевало сладковатым, неотделимым от нее запахом того первого утра, когда с чашечкой кофе на подносе она вошла, робея и притворно улыбаясь непонимающему его взгляду.

— Wozu? Wozu? Sprich Deutsch! Ich verstehe nichts! [2]

— Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,— выговорил Никитин то и дело всплывавшую в памяти фразу.— Помнишь, я вспоминал стихи, которые зазубрил в школе. Кажется, в восьмом классе. Я хотел получить тогда «отлично» по немецкому языку. Но ты, наверно, не знаешь эти стихи. Гитлер сжигал книги Гейне на костре. Я знаю, вас заставляли читать только Гитлера. «Mein Kampf»...

— Hitler? — вскрикнула Эмма и уткнулась лбом ему в грудь.— Hitler ist ein Wahnsinniger! Das ist ein böser Alpdruck! So sagte mein Vater, als Hitler den Krieg gegen Rußland losbrach. Aber wenn nicht dieser furchtbarer Krieg, so wäre ich dir nicht begegnet! So wärest du nicht nach Königsdorf gekommen. Verzeihe mich, wenn ich ungeschickt gesagt habe! [3]

---

[1] Вади-им! Я ничего не понимаю! При чем тут Сталинград? При чем Берлин?

[2] При чем тут это? При чем? Говори по-немецки! Я ничего не понимаю.

[3] Гитлер?.. Гитлер — сумасшедший! Это злое наваждение! Так говорил мой отец, когда Гитлер начал с Россией войну. Но если бы не эта ужасная война, я не встретила бы тебя! Ты не попал бы в Кёнигсдорф. Прости меня, если я не так сказала!

— За что ты просишь извинения? — проговорил Никитин, поняв в ее торопливой речи лишь отдельные слова.— Война от тебя не зависела. И не зависела от меня. Эмма, послушай...— Он снова чуть-чуть отклонил ее голову, заглядывая в переливающиеся влагой глаза.— Я не сказал тебе главного. Мы с тобой... завтра уже не увидимся... И я не хотел бы, чтобы ты думала не так, как надо. О том, что было. Я тебя очень люблю, Эмма. Ты к войне не имеешь отношения. Нет, конечно, ты имеешь отношение, но это совсем другое. Ты меня понимаешь? Это совсем другое...

— Sprich weiter. Um Gottes Willen sprich! — попросила Эмма и легонько потрогала кончиком пальца его губы, точно так — одним осязанием — улавливая и отгадывая смысл фраз.— Vadi-im, ich höre. Du mußt Deutsch lernen, und ich werde Russisch lernen [1].

— Я очень хотел бы, чтобы ты поняла. Подожди, я буду говорить медленно, по словам. Я хочу — ich will... чтобы ты поняла... Нет, забыл, как это по-немецки... хотя бы одну фразу: я буду тебя помнить. Как по-немецки «помнить»? Vergessen — забыть. Nicht vergessen, nicht vergessen! [2] Понимаешь?

— Nicht vergessen? — повторила она и вся вытянулась к нему, приблизила светлеющее в темноте лицо, а невесомым кончиком пальца то нажимала, то отпускала его нижнюю губу...— O, Vadi-im! Lerne Deutsch, lerne Deutsch. Russisch, Deutsch... Warum so? Ein Moment, Vadi-im... Komm, Vadim! [3]

Опираясь на его плечи, она спрыгнула с подоконника и затем упорно повлекла его за руку куда-то во тьму мансарды, в угол комнаты, там он, задержанный ее шепотом, предупреждающим «тсс», наткнулся, задел ногой стул, загремевший о тумбочку письменного столика. На этот стол, после размещения взвода в доме, он впервые обратил внимание, увидев на нем пластмассовый чернильный прибор, толстую, оплавленную воском свечу, прикрытую колпачком, целлулоидный стаканчик, наполненный разноцветными карандашами, несколько учебников, по-школь-

---

[1] Говори дальше. Ради бога, говори! Вади-им, я слушаю. Ты должен учить немецкий, а я буду учить русский.

[2] Не забывать, не забывать!

[3] Не забывать? О, Вадим! Учи немецкий, учи немецкий. Русский, немецкий... Почему так? Одну минуту, Вади-им... Идем, Вадим!

ному сложенных стопкой,— только потом он узнал, что эта занятая им комната была комнатой Курта.

— Vadim, nimm Platz. Bitte, lies, mein Lieber [1].

Но Никитин сразу не сообразил, зачем она потянула его сюда, в угол мансарды, именно к письменному столу Курта, для чего она принялась искать что-то здесь, в нетерпении выдвигая ящики, шурша в них бумагой; потом зажглась спичка. И спичка веселым розовым костерком осветила сложенные лодочкой ее ладони и ее глаза, пристально блестевшие перед его глазами: «Vadim, nimm Platz». Он догадался, молча пододвинул стул и сел, костерок спички дотянулся в лодочке ее ладоней к свече, вплавленный посреди воскового нагара червячок фитилька вытаял, принял огонь, и Эмма со вздохом опустилась на подлокотник старого, потертого бархатного кресла около столика, задула спичку, исподлобно взглядывая на лист бумаги.

— Vadim, Russisch, Deutsch.— Она закивала.— Bitte, ich screibe Namen: Vadi-im, Emma... [2]

Он смотрел в наклоненное лицо Эммы, на карандаш, очень четко и крупно выводивший немецкие буквы его имени, видел край брови, прикушенные губы, такие знакомые крапинки веснушек вокруг немножечко вздернутого носа, видел, как под словом «Vadim» она нарисовала звездочку, замкнула ее кружком, возле написала «Rußland» затем на другом конце листа под словом «Emma» начертила кружок поменьше с микроскопической точкой внутри, написала под ним «Königsdorf», провела линию, соединяющую их имена через белое пространство бумаги, и на линии этой вывела три слова: «Ich liebe dich».

— Übersetze [3],— попросила она.

— «Я люблю тебя»,— ответил Никитин.

Она повернула к нему лицо, улыбнулась, осветив лучисто-радужной синевой глаз, протянула ему карандаш.

— Schreibe Russisch [4].

И Никитин написал рядом с ее фразой:

«Я люблю тебя».

Она долго, внимательно разглядывала русские буквы, ноготком водя по бумаге, потом начала сравнивать немецкие слова, спрашивая его нетерпеливым шепотом:

---

[1] Вадим, сядь. Пожалуйста, читай, мой дорогой.

[2] Вадим, русский, немецкий. Пожалуйста, я пишу имена: Вадим, Эмма...

[3] Переведи.

[4] Напиши по-русски.

— Ich... und Russisch? [1]

— Я,— ответил Никитин.

— Liebe?

— Люблю.

— Dich?

— Тебя. «Ich liebe dich». «Я люблю тебя». Повтори, Эмма. Я — люблю — тебя.

— Я лю-у...— повторила она протяжно и медленно, выговаривая слоги:— лью-блью тье-бя.

— Да, я люблю тебя. Я люблю...

— O, Vadim, ich lerne Russisch! — Она даже засмеялась, обрадованная, удивленная своей способности произносить непривычные для нее слова, и показалось — солнечный ветерок пробежал по лицу и сник.— Du fährst nach Rußland. Ich bin traurig. Ich sterbe. Tod [2],— сказала она и двумя вопросительными знаками перечеркнула линию, соединяющую их имена, нарисовала череп с перекрещенными костями и порывисто прильнула к Никитину, потерлась щекой о его висок. Он почувствовал колючее шевеление моргающей ее ресницы.

— Tod,— зашептала она.— Du fährst, und ich sterbe... Tod... Wie Russisch, Russisch, Russisch?.. [3]

— Смерть,— ответил Никитин; ему изредка встречались на фронте названия немецких частей с этим значением: «Todenkopf», «Todenkopfdivision» [4], против которых стояла батарея.— Зачем тебе по-русски знать это слово «смерть»?

— Смерч? — произнесла она, и щекочущая ее ресница, моргая, слегка мазнула по его виску.

— Нет, это отвратительное слово, Эмма,— сказал Никитин.— Я его ненавидел всю войну. «Смерть», «гибель», «пал смертью храбрых»... Я не хочу, чтобы ты его запомнила. Лучше запомни другое. Хорошо? Запомни. Я сейчас напишу.

Она, слушая, вглядывалась ему в губы пристально ощупывающими незнакомые слова глазами, потом перевела взгляд на бумагу, на карандаш, которым он с тайным суеверием быстро затушевывал, уничтожал зловещий рисунок, как символ понятой ею неисправимой безвыходно-

---

[1] Я... а по-русски?

[2] О, Вадим, я учу русский!.. Ты уедешь в Россию. Мне грустно. Я умру. Смерть.

[3] Смерть. Ты уедешь, и я умру... Смерть... Как по-русски, по-русски, по-русски?..

[4] «Мертвая голова», «Дивизия «Мертвая голова».

сти положения, и на середине листа написал по-русски: «До свидания», и через черточку, слева — давно выученную в школе немецкую фразу: «Auf Wiedersehen!»

— Kein Tod. Nicht Tod. Nicht vergessen, nicht vergessen [1],— заговорил Никитин.— Никто ничего не знает. И я не знаю, и ты не знаешь, как все может сложиться. Я на войне умирал несколько раз и не умер. Auf Wiedersehen, понимаешь, Эмма? То, что мы расстаемся,— это не смерть, мы не должны говорить о смерти, когда кончается война. При первой возможности я увижу тебя, Эмма.

Но едва ли хоть наполовину Никитин верил в то, что говорил сейчас. За три года фронта он научился подчиняться всяким крутым обстоятельствам, внезапности поворотов в судьбе всех и каждого, и потому не исчерпывалась наивная надежда, чудо вероятности того, что неисповедимые дороги могли привести его обратно в Берлин, а значит, на час, на два, на сутки в Кёнигсдорф. Однако вместе с тем он с остротой нарастающей боли отдавал себе отчет в том, что они теперь не увидятся никогда: их разделяли не только обстоятельства случайности, но нечто гораздо большее, непреодолимое, сложившееся независимо от них.

— Во что бы то ни стало я постараюсь увидеть тебя, Эмма,— убеждающе говорил между тем Никитин.— Значит, до свидания. Я не забуду тебя, что бы со мной ни было. У нас в России, когда уезжают... когда прощаются, говорят до свидания... не забывай меня! Вот смотри, я напишу, Эмма...

Он написал: «Не забывай меня», тут же увидел мерцающие точки отраженной свечи в обращенных к нему глазах, наполненных слезами: она не поняла,— и он схватил ее жалкую своей худой тонкостью руку, с неистовством нежности стал целовать безвольные Эммины пальцы, повторяя:

— Я хочу, чтобы ты знала. Я буду помнить тебя, и ты не забывай меня.

Она слушала и не слушала его, закинув голову, стараясь не показать слезы, и влажная пелена, накапливаясь, стояла меж узких век, опасающихся моргнуть, и тогда он через меру осторожно повернул податливую кисть Эммы ладонью вверх, посмотрел с улыбкой:

---

[1] Никакой смерти. Не смерть. Не забывать, не забывать.

— Помнишь?

— Я льюблью тьебья,— сказала она по слогам и, вздрагивая вся, клоня голову, свободной рукой выдвинула ящик стола, вынула чистый листок бумаги и, как носовой платок, приложила к правому глазу, потом к левому, пряча в бумаге лицо.— Was wird mit uns? [1]

— Милая, хорошая ты, Эмма. Я никогда не знал, ничего не знал, не верил. Я ненавидел всех немцев. А знаешь, какими казались мне немки? Или толстыми злыми старухами, или молодые эти... знаешь, садистки с кукольными личиками, с хлыстом в руке. И ненавидел. Ненавидел всех... Потом в Пруссии... Ты не похожа на них, ты другая, Эмма, я люблю тебя...

— Вади-им, я льюблью тьебья! О, Вадим! Warum? Warum mußt du nach Rußland fahren? [2]

— Что «варум»? Я не понял, не понял...

Он вдруг выпустил ее руку и с очнувшимся выражением обернулся к двери, прислушиваясь, а она гибко вскочила, отталкиваясь от кресла, ее широко раздвинутые глаза остановились на его лице неподвижным ужасом обреченной на казнь, ладони сдвинулись лодочкой перед шепчущими губами, будто поспешно молилась вовнутрь себя, заклинала кого-то, кто всезнающе распоряжался судьбой, войной, любовью, но уже мало чем мог помочь и ей и ему.

— Неужели Ушатиков?..— проговорил хриплым шепотом Никитин.— Что там?

— Товарищ лейтенант...

С лестничной площадки донеслось покашливание, беспокойная возня ногами и спустя секунды три отчетливый стук, и опять голос: «Товарищ лейтенант!» — толчком бросили Никитина в сторону этих ворвавшихся звуков.

— Что там? Что, Ушатиков?

— Быстрей, товарищ лейтенант! Шум внизу какой-то! — засипел Ушатиков и по-кошачьи заскребся в дверь.— Связисты всполошились чего-то. Не пойму пока, чего они там. Не комбат ли приехал?

— Сейчас, Ушатиков, сейчас,— сказал Никитин.— Откройте замок. Сейчас.

А там, на нижнем этаже недавно спящего дома, шум возрастал, возрастали взбудораженные голоса, гулким дроботом пронесся топот сапог, одна за другой захлопали

---

[1] Что будет с нами?

[2] Почему? Почему ты должен ехать в Россию?

двери, выделился из этого шума, из суматошной беготни чей-то громкий голос: «Зыкина к телефону! Товарищ сержант, боевая тревога! К аппарату, скорей!» И следом резкая, подымающая команда тревоги, явственно долетевшая сюда, в мансарду, хорошо знакомая по грозной интонации, пронизала Никитина шершавым морозцем, и первое, что пришло в голову, была мысль: «Неужели немцы снова атакуют город?»

Он подбежал к окну, посмотрел на шоссе по направлению леса — ночь шла к рассвету, воздух везде голубовато, холодно посветлел, трапеции созвездий опустились, горели последним изнемогающим блеском в озере, над почерневшей кромкой лесов, и ровно среди темных трав белела за озером ниточка шоссе — все было предрассветно, спокойно, сонно. Было пока тихо в городке — ни движения, ни команд, ни огонька в окнах. Только внизу, на первом этаже, перекликались, сталкивались голоса, бегали, стучали сапоги, и неутихающий шепот Ушатикова звал из-за двери:

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант!

И он сказал глухо:

— Эмма, тебе надо уходить...

Она, поняв, с криком рванулась к Никитину, с такой безнадежной мольбой, коленями, грудью вжалась в него, обхватив шею, пригибая его голову к своему лицу, исступленному, страшному выражением обреченности, и так впилась дрожащими губами в его рот, что он почувствовал скользкую влагу выбивающих дробь ее зубов:

— Вади-им, Вади-им...

— Эмма, милая... Тебе надо уходить. До свидания, Эмма. Я бы хотел, я очень хотел... Auf Wiedersehen, Эмма... До свидания...

Обнимая, целуя ее мягкие, растрепанные волосы, стискивая до хруста косточек ее обмякшие плечи, он спутанными шагами, преодолевая пространство комнаты, довел Эмму до двери — и больше ничего ясно не помнил: дверь, уже приготовленно открытая на лестничную площадку невидимым Ушатиковым, чернела, зияла отчужденным проемом теплых потемок — и Эмма ушла туда, пропала в этой тьме, поглотившей ее, как непроницаемая глубина вечности.

После он вернулся в комнату, не зная зачем, сел к столу и, задыхаясь, тупо смотрел на исписанный листок бу-

маги, на огонь свечи— желтый мотылек пламени распластывался, порхал, бился на одном месте от его дыхания.

По ступеням взбегали, грузно затопали сапоги, раздалась команда на лестничной площадке: «Ушатиков, марш в батарею!» — дверь распахнулась настежь, под сквозняком сильно заколебался, лег язычок свечи — и стремительно вошел Гранатуров, лицо непроспанно-сероватого оттенка, в подглазьях темные пятна; но гулкий голос его, раскаленный возбуждением, загудел утробными перекатами:

— Эй, Никитин! Не спишь! Ну, лейтенант, воевать будем или под арестом сидеть? Слышал? Или не слышал? Ну? Что? Что?

Никитин, ни слова не говоря, мял в пальцах сигарету.

— Что смотришь, говорю? — густо крикнул Гранатуров.— Боевая тревога! Всей дивизии! И нашему артполку! Срочно снимаемся — и форсированным маршем на Прагу! Приданы танковой армии. Я только что из штаба. В Праге — восстание против немцев! Все дивизионные рации ночью поймали сигнал о помощи. Чехи восстали и просят помощи! Ясно, Никитин? Идем на юг! В Прагу! В Прагу!

Гранатуров ходил по комнате из угла в угол, громоздкий, взбудораженно-жаркий, даже веселый, казалось; перебинтованная рука покачивалась на перевязи, а Никитин все мял незакуренную сигарету, не вполне сознавая, зачем Гранатуров говорит это ему, вчера как бы отделенному навсегда от войны, батареи, от самого Гранатурова ожиданием совсем иных обстоятельств за черной полосой угрожающе сомкнутого судьбой круга.

— А дальше что? Дальше что со мной?— спросил хрипло Никитин и пересел на так и не разобранную днем постель.— Что мне, комбат?

Гранатуров приостановился подле кровати, выкатил свои шальные в красных веках глаза, наклонился, и от оглушительного его крика лицо Никитина обдало знобким жаром:

— Все, Никитин! Богу молись! Повезло! Проскочило! В рубашке родился! Из строя только вывел лучшего командира орудия! Богу свечку поставь за то, что не убил! Да, проскочило! Ты ему ухо пулей задел, понял? Плохо стреляешь из пистолета, хуже, чем из орудия! Хуже! Десять суток ареста отсидишь! Командир дивизии де-

сять суток строгача тебе отпустил! Пожалел тебя, дурака и молокососа! После Праги, после Праги отсидишь! Ясно?

— А зачем жалеть меня, комбат?..— ссохшимся голосом выговорил Никитин, вспотевшие пальцы его влипли в сигарету, и горячо, больно хлынула кровь в виски, перемешивая, комкая, раздергивая мысли жгучей быстротой, словно бы сверкающая карусель повернула его и, размахнувшись на скорости, затормозила, выбросила силой случайности за пределы грозного круга, перехватывая дыхание, вытеснив воздух из груди: «Я не убил Меженина? Я промахнулся? Я ранил его? Десять суток ареста? Командир дивизии... Десять суток после Праги...»

Он молчал — ему не хватало воздуха. Он глядел в потолок, и странное, горько-щекочущее удушье запирало и отпускало его горло, и, сотрясаясь, не в силах справиться с собой, он неожиданно почувствовал, как неудержимо бьет его обрывистый смех вместе с колючими слезами.

— В ухо? Эту сволочь... И нужно же было!

— Замолчать, Никитин! Прекратить истерику! Встань!— скомандовал Гранатуров, гневно оскалив крупные зубы.— Мозги свихнулись? Или взбесился вконец? Встань и очухайся!

Но Никитин сидел на постели, слезы текли по его щекам.

— Не кричи, комбат,— всхлипывающим шепотом попросил он.— Подожди... сейчас, сейчас все пройдет. Значит, я его ранил? И за это десять суток ареста? Это смешно. Впрочем, мне все равно. Что я должен делать?

Гранатуров ходил по комнате, крутыми поворотами срезая углы.

— Во-первых, слушай сюда, если еще что-нибудь соображаешь! — заговорил он и виртуозно выругался: — А, всех вас!.. Не исключено, что на марше тебя потребует к себе командир дивизии. Я доложил командиру артполка, а он доложил комдиву. Вот моя версия — запоминай: тебя, дурака стоеросового, спасал! Сержант Меженин не выполнил твоего приказа, вы повздорили, и ты сгоряча применил оружие, а теперь раскаиваешься. Ясно? Вот это ты и будешь отвечать командиру полка или командиру дивизии. Из-за вас, дуроломов, носить пятно на своей батарее не намерен! Меженин, между прочим, версию знает, я говорил с ним. В госпитале говорил. Ясно, Никитин? Запомнил?

— Нет, комбат, не ясно,— выговорил Никитин, вытирая слезы на щеках.— Если уж вызовут, с Меженинным я объединяться не буду. Я ничего не забыл, комбат. И если он вернется в батарею, кому-нибудь из нас все-таки придется пойти под суд.

— Спятил, Никитин? Да ты знаешь кто? Ты — псих, сумасшедший!.. На кой хрен мне в батарее твои принципы! Белыми руками и в перчатках хочешь воевать? Где ты найдешь лучшего командира орудия?

— Я не изменю решения, комбат,— сказал Никитин.— Или — или. Даже если вызовет меня командующий фронтом.

— Дьявол бы вас взял обоих с моей шеи! Ух, как вы мне надоели со своим чистоплюйством!— загремел Гранатуров и ударом сапога растворил дверь, прокричал вниз раскатисто-мощным строевым басом: — Ушатиков! Оружие, ремень, погоны — лейтенанту Никитину! Молнией сюда! — И, мимо плеча глянув на Никитина, прибавил тише: — Примешь пока батарею, а после Праги — видно будет.

Внизу, на первом этаже, не утихала беготня солдат, хлопали двери, будто поднялись сквозняки во всем доме, позвякивало оружие, вспыхивали громкие голоса, и во дворе и на улицах городка, налитых прозрачной синевой весеннего рассвета, заработали с пофыркиваньем, с подвываньем моторы машин, и разнеслась под окном команда сержанта Зыкина:

— Передки на батаре-ею!..

— Будет видно,— сказал Никитин.— Теперь последнее: мне нужно, комбат, отлучиться на три минуты.

— Куда?

— Это мое личное дело, комбат.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
НОСТАЛЬГИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Глубокой ночью Никитин спустился в бар за сигаретами и, возвращаясь, уже выйдя из лифта в длинный коридор своего этажа с единообразными серыми прямоугольниками дверей, вдруг почувствовал, что забыл или не запомнил четырехзначную цифру занятого им номера,— и все эти размытые коридорным полусумраком двери представились ему совершенно одинаковыми.

Он помнил, что, уходя, оставил включенной над постелью маленькую лампу, уютно и как бы стыдливо обернутую зеленым абажуром-юбочкой; и, хорошо помня об этом ориентире, наугад дважды толкнулся в незапертые комнаты с надеждой увидеть огонек ночника над кроватью, но там не горел свет, и душная, пахнущая синтетическими коврами темнота обдала его храпом, стонами, бормотанием спящих людей. Он постоял с минуту, готовый иронически посмеяться над нелепостью положения:

«Н-да, чрезвычайно занятно, что называется — заблудился в трех соснах...»

Спал весь отель, и вдоль слабо освещенного пригашенными бра коридора призрачно темнели на бесконечной дорожке вереницы женских и мужских туфель, выставленных сюда для утренней чистки этажной прислугой.

«Слава богу, ботинок я не выставлял. Значит, здесь»,— подумал Никитин перед номером, где не было обуви, не без облегчения нажал на полированную ручку и, не испытывая ни малейшего сомнения, шагнул в комнату.

И сейчас же в заминке остановился — яркий свет люстры и зажженных торшеров соединенным потоком хлынул ему в глаза; запахло пряным; от круглого журнального столика, заставленного бутылками, над которым слоился сигаретный дым, настороженно обернулись двое мужчин, одетых в вечерние костюмы,— черные галстуки выделялись на белых рубашках. Один, высокий, прямой, с иссиня-выбритым костлявым лицом, встал, устремленно подошел вплотную к Никитину, всматриваясь неузнающими глазами, затем пьяно и косноязычно сказал что-то на непонятном немецком диалекте и, усмехаясь, кивнул на женщину, совсем молоденькую, совсем девочку, с короткими волосами, лежавшую на кровати поверх одеяла, полураздетую; сигарета дымилась в откинутой на подушке руке.

— Entschuldigen Sie, bitte [1], — выговорил необходимые слова извинения Никитин и попятился в коридор, будто выталкиваемый прочь из номера хрипловатым женским смехом, и дверь захлопнулась.

На всем этаже по-прежнему стыла тишина, мертвенная, бескрайняя.

Окруженный этим полным безмолвием, Никитин помедлил несколько минут, уже с досадой, с раздражением хмурясь, еще почему-то не разубежденный в том, что его номер именно и есть этот номер, в котором сидели двое неизвестных людей, а это походило на какое-то сумасшествие.

«Что за чушь! Они не могли быть в моем номере! Двое мужчин... и с ними женщина? Не может быть этого!»

Но в то же время его начинало охватывать почти необъяснимое чувство страха, неотвратимого, как во сне.

И это было точно такое же чувство, какое он пережил четыре года назад в осеннем неуютном Чикаго. Поздним вечером, после какого-то приема, моясь в ванной своего огромного, мрачноватого, расположенного на шестнадцатом этаже номера, он сквозь шум воды расслышал двойной щелчок повернутого в замке ключа, тихое движение, легкий шорох и, быстро подняв голову, вздрогнул, покрываясь колючим ознобом: в раскрытую дверь ванной осторожно ступил какой-то длиннолицый незнакомый человек в намокшей шляпе, проскользнул по косяку плащом,

[1] Извините, пожалуйста.

осыпанным каплями дождя, и застыл черной фигурой на пороге, держа одну руку в кармане.

От страшного крика Никитина: «Кто вы? Какого черта вам здесь нужно?» — человек этот, кривясь ртом, качнулся бесплотным привидением назад и растаял, исчез, вроде его и не было. И тогда, ничего не понимая, выключив воду, роняя клочья мыльной пены, Никитин подбежал к входной двери, тщательно проверил замок, ощупал ключ. Дверь была заперта на два поворота ключа. Потом, не без подозрительности осмотрев номер — даже складки портьеры, бельевой шкаф, узкое пространство под кроватью, он выглянул в коридор, по-американски широкий, пусто освещенный из конца в конец,— там никого не было. И в тот миг, унимая биение сердца, он уверял себя, что ему все привиделось, показалось, что это тихое, внезапное появление неизвестного человека в плаще могло быть только галлюцинацией, результатом долгого напряжения нервов. Ведь он отлично помнил, что, придя в номер, закрывал на два поворота ключа дверь, прочитав карточку-предупреждение, положенную, по-видимому, администрацией отеля на подушку: «Перед сном не забудьте закрыться на ключ». Никитин, однако, не мог успокоиться мыслью, что это была галлюцинация,— нет, он реально различил четкие щелчки в замке, шорох плаща и ясно видел в проеме двери того человека, вошедшего в ванную, его шляпу, мокрый плащ, черты его бритого лица. «Кто это был? В двенадцать часов ночи!..»

И Никитин, расстроенный, подавленный отвратительным лохматым страхом, без сна лежал в тишине своего пропахшего сигаретным дымом номера погруженного в ночную неподвижность чикагского отеля, вновь вспоминая лицо человека, застегнутый плащ, увиденные им до мельчайших деталей. Потом он все же пришел к трезвому выводу: тот человек в плаще, наверное, будучи демоном надзора, получил неточную информацию о времени прихода Никитина в отель, что было вероятнее всего; невероятным было то, что, слыша шум воды из номера, он живым привидением вошел, возник зловещей фигурой в ванной, как патологический убийца, маньяк из фильмов Хичкока,— подобное действие Никитин объяснял элементом чисто психическим.

А позднее целую неделю его мучило и не покидало ощущение, похожее на непрекращающуюся зубную боль.

И сейчас, стоя посреди пустынного коридора спящего

отеля, среди нескончаемо унылого лентообразного кладбища женских туфель, мужских остроносых полуботинок, он вдруг с той же тянущей болью ощутил свою заброшенность в накрытом тьмой, погибшем и погасшем мире, как будто навечно остался один в этом заново вымершем отеле, где, казалось, много лет не было никаких признаков человеческого дыхания и лишь напоминанием о когда-то живших здесь людях выстроились эти молчаливые ряды обуви у сплошь закрытых дверей.

«Очень интересно! Что мне приходит в голову? Сумасшествие так начинается или как-нибудь иначе?» — подумал Никитин и, сжатый нарастающей тоской, одержимо подчиненный единственной мысли — скорее, скорее найти свой номер, уйти из этой длинной пустыни коридора,— он толкнул первую дверь справа, возле которой не было обуви, и тотчас навстречу ему густо пахнуло горячей темнотой, запахом лаванды, смешанным с запахом тела и влажных простынь.

«Нет, не этот! Какой же идиотизм!» И он, зло смеясь над собой, в растерянности, уже близкий к отчаянию, торопливо и решительно налег рукой на следующую дверь, но она не поддавалась: номер был заперт изнутри...

Комната Никитина оказалась через два номера.

Когда он вошел и увидел знакомый огонек абажурчика юбочкой, покойно распространявший в полумрак зеленоватый ровный свет над постелью, отвернутую им перед уходом теплую перину-одеяло в белоснежном пододеяльнике-конвертике, свои вещи на письменном столе, свой чемодан на деревянной подставке и развернутый на подушке, весь сияющий зеркальным глянцем цветных фотографий «Штерн», что просматривал ко сну,— когда Никитин увидел все это, свое и чужое, он с раздражением вытер испарину со лба и начал ходить по номеру, вслух ругая себя за случившуюся неожиданную нелепость, за приступ неопределенного страха, пережитого им только что.

«Страх? Почему страх и даже ужас одиночества охватили меня там, в проклятом коридоре?» — необлегченно думал Никитин, бегуче глядя на мебель и предметы в комнате,— на этот просторный бельевой шкаф, в котором, чередуясь, по неделям висели, оставив соединенные запахи, чьи-то костюмы, рубашки, галстуки, как сейчас висит и его костюм, на эту широкую двуспальную кровать, с чистейшим, хрустящим бельем, где до него, Никитина,

лежали, спали, разговаривали, целовались сотни или тысячи незнакомых ему людей, пахнущих лавандой, пóтом, душистой пудрой, коньяком, сигаретами, губной помадой. И эту кнопку ажурной ночной лампочки нажимало множество чужих пальцев с невидимыми следами вина, пролистанных перед сном журналов, противозачаточных таблеток, денег, которыми расплачивались за такси, за ужин в ресторане, за любовь женщин, приведенных в номер.

И Никитин почувствовал отвращение к этому сгущенному воздуху номеров и отелей, где невидимо оставались следы жизни разных людей, пришедших и незаметно ушедших в никуда, освободив другим маленькое и временное место на земле...

Никитин шагал по комнате, потирая грудь, — там остренькими лапками дрожал, бился в паутинке паучок бессонной тоски, испытанной им за границей не однажды.

Закуривая сигарету, он наконец подошел к телефону, нашел в записной книжке номер Самсонова (комнаты были рядом, но номерами на всякий случай они обменялись), позвонил и, не скоро услышав заспанный голос, всполошившийся в трубке: «Это кто? Ты? Вадим?» — с извинением за звонок ночью попросил его, если нетрудно, зайти на минуту к нему. «Да что случилось? Серьезное? Да сколько времени-то?» — загудел с сопеньем Самсонов, и звук его сонного голоса был почти родным, успокоительным, как замерцавший огонек в серой ночной беспредельности.

— Очень прошу, Платоша, зайди.

Минуты через две Самсонов без стука вошел в номер; просторная полосатая пижама топырилась на полнеющем животе, босые ноги в домашних шлепанцах, лицо помятое, на шее красная полоса от подушки — все говорило о том, что он не мучился бессонницей, спал крепко в своем номере и, разбуженный, был раздосадован и удивлен неурочным звонком.

Самсонов грузным телом упал в кресло, хмыкнул, навел близорукие моргающие глаза на Никитина, спросил:

— Да ты знаешь, сколько времени-то? Третий час ночи. Бессонница? Димедрол есть? А ну-ка попробуй.

Он извлек из кармана пижамы пакетик димедрола, вытряхнул на ладонь таблетку, налил в стакан минеральной воды.

— Прими. Даю гарантию. Проверено.

— Не то, не то, Платоша, совсем не то,— сказал Никитин и, потушив сигарету в пепельнице, зашагал к ванной, принес оттуда два пластмассовых стаканчика, подхватил с письменного стола бутылку коньяку, начатую в день приезда, плеснул в стаканчики, излишне весело предложил: — Давай лучше армянского. Вроде так повнушительнее. И лечебнее.

— Это как понимать — посередь ночи? С какой стати разгулялся? За этим меня и разбудил? Эдак мы сопьемся с тобой за границей, дорогой друг и учитель! Не пошел ли ты в разгул на загадочных радостях?

— А, будь здоров, поехали, Платоша!

Никитин выпил, зажевал осколочком печенья, вытянутым из разорванной пачки, походил из угла в угол по номеру, постоял у окна. В колени дышало сухим теплом, пощелкивало электрическое отопление, осенняя ночь липла к стеклам сырой теменью, стучали набегом редкие капли, малиновый отблеск рекламы туманно разбрызгивался по мокрому тротуару на углу каменной улицы. Была глухая пора дождливой ноябрьской ночи в этом неприютном и огромном Гамбурге с неизвестной жизнью, точно опущенной сейчас в ненастную, просырелую мглу,— и то, что десять минут назад, бродя меж закрытых дверей длинного, серого, тусклого коридора, он ощутил себя одинокой песчинкой в вымершей навсегда пустыне, и то, что после разговора у госпожи Герберт никак не исчезало ошеломляющее чувство узнавания, вины, неудовлетворения, необъяснимого стыда, вызывало желание поскорее оборвать, забыть, прекратить все это и вернуть прежнее заграничное состояние необремененного привычными обязанностями человека.

Но этот настрой не возникал, не помогли и глоток ожигающего коньяка, и приход Самсонова, хотя чем-то домашним, обволакивающим повеяло от его неуклюжей фигуры, заспанного лица, от его комнатных шлепанцев на босу ногу.

«Как ему сказать, что́ у меня началось? — подумал Никитин, нахмуриваясь, и сел в кресло напротив Самсонова.— Как объяснить?»

— С твоей бессонницей в алкаша превратишься,— проворчал Самсонов, нехотя пригубил пластмассовый стаканчик, смочил губы и крякнул.— Ну что? Что загрустил, Вадик? — спросил он ворчливо и пошаркал шлепанцами, расставил толстые, обтянутые пижамой колени.—

Об чем задумался? Об чем мысли? Ничего, надеюсь, не стряслось? По какой причине задержала тебя эта богатая госпожа? Если, конечно, не секрет. Делал автографы, или вели умные беседы об искусстве? А ты знаешь, она еще, так сказать, ничего...

— Что «ничего»? — Никитин хрустнул пальцами, глядя в потолок.

— Ну, фигурка, глаза, седые волосы или покрашенные, бог его знает, сейчас это модно,— в общем, что-то есть... Довольно-таки привлекательная еще немочка, хоть и не первой юности.

Самсонов снова смочил коньяком губы, наморщил брови, потянулся к разорванной пачке печенья на тумбочке и договорил не без иронии:

— Смотри, Вадимушка, держи ухо востро — околдует, очарует русскую знаменитость, и — опять же что? — пострадает отечественная словесность. Изнасилует, согласно западной сексуальной революции. Не опасаешься?

Никитин помолчал, медлительно разминая сигарету, и вдруг с какой-то подмывающей сердитой искренностью спросил:

— Ты знаешь, кто она?

— То есть как? В каком смысле? Женщина, имеющая частную собственность. Довольно-таки богатая тетя из Гамбурга, видимо, меценатка, окруженная людьми, так сказать, искусства. С демократическим уклоном. Вот в общем-то и весь пасьянс.

«Стоит ли сейчас говорить все? Он может понять не так, как надо»,— подумал Никитин, как бы сразу останавливаясь перед препятствием, за которым было скрыто его личное, давнее, очень молодое, и почти от этого полуявное, словно ускользающий в полудреме теплый солнечный свет на обоях милой далекой комнаты. Но ощущение давнего, юного, такого нереального, что, мнилось, проступило оно сквозь туманные пласты целой прожитой не его, Никитина, а совсем другого человека жизни, приблизилось к нему сегодня из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть частностей, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода,— нет, позднее той раскрытой чистоты, той неосторожной решительности он уже не испытывал с безоглядной полнотой юности никогда.

— И все-таки, ты не знаешь, кто такая госпожа Герберт! — проговорил Никитин, ловя взглядом на полном

лице Самсонова удивление.— Да, милый Платоша, такое бывает раз в жизни, вернее, не в жизни, а в забытых снах человечества.— Он опять похрустел пальцами, затем, с задумчивой усмешкой разглядывая темную жидкость в стаканчике, договорил: — Давай за золотые сны юности. Мне что-то грустно сегодня, Платоша. Ужасно грустно. Даже тоска какая-то.

— Много пьешь,— заметил Самсонов и, насупленный, прикоснулся краем стаканчика к стаканчику Никитина.— Хоть, знаешь ли, и за сны юности... или там человечества. Но что с тобой, Вадик? Можно сказать, поднял с постели без порток средь ночи, хлещешь коньяк, как на свадьбе, бормочешь невнятный бред. А я — слушай и умней?

— Сон и бред. Именно сон и бред,— ответил Никитин и жадно выпил коньяк.— А скажу я тебе, Платоша, вот что. Не удивляйся, ибо сам не до конца верю, хотя это так. Госпожа Герберт — это некая Эмма, когда-то восемнадцатилетняя синеглазая немочка, с которой я совершенно случайно встретился в конце войны в Кёнигсдорфе. Батарея размещалась в ее доме. А Кёнигсдорф — это дачный, тихонький городок, куда нашу потрепанную дивизию отвели на отдых из Берлина. Вот кто такая госпожа Герберт... Не удивлен, Платоша?

Никитин выговорил это с размеренным, нарочитым спокойствием, но кустистые брови Самсонова недоверчиво поползли на лоб, он поставил стаканчик на тумбочку, после чего звучно фыркнул носом:

— Ересь прямо научно-фантастическая! То есть какая Эмма? Нич-чего не понимаю! У тебя что — какие-то общения с ней были? Или что?

— Видимо,— сказал Никитин.— Мне было тогда... почти двадцать один. Двадцать шесть лет назад. Это было в мае сорок пятого года.

— Ой ли? Военный фольклор! — вскрикнул Самсонов, взметнув в воздух руки и опуская их на колени.— Ты бредишь наяву, Вадимушка, сочиняешь, выдумываешь несусветное! Как можно помнить два десятка лет какую-то девочку, хоть и синеглазую? Что уж такое у тебя с ней могло быть, когда к немцам отношение было ясное!

— Было то, что могло быть, Платоша,— ответил Никитин.— Мы стояли в Кёнигсдорфе дней пять. Второго мая нас вывели из Берлина.

— И та девочка — госпожа Герберт? Господь бог! Ай, Вадимушка, Вадимушка, сейчас ты примешь димедроль-

чик, запьешь минералкой, укроешься потеплее одеялом, завтра проснешься со свежей головой, готовый для дальнейших дискуссий.— Самсонов, широко раскрывая рот, завывающе зевнул: — Ава-ва-а... Не отдаешь себе отчет, как все гениально? Прошло четверть века, но ты вспомнил ее лучезарное, прелестное, невинное личико... и впал в меланхолию. Сюжетик восемнадцатого века, Вадим. А я ведь реалист как-никак.

Самсонов закончил зевок сипловатым смешком, руки его соединились на животе, большие пальцы стали рассеянно постукивать, отталкиваться друг от друга, и нечто снисходительно-сонное появилось на его круглом, аляповатом без очков лице, в близоруком прищуре повлажневших от сладкого зевания глаз.

— Перестань, Платон, разыгрывать и валять дурачка. Я говорю совершенно серьезно. Ты способен воспринимать что-нибудь, или мне замолчать?

— Мои уши на гвозде внимания, Вадимушка! Только отдохнуть бы тебе...

Никитин курил, смотрел на непроспанного Самсонова — и его легковесно-недоверчивый тон и ироническая непробиваемость начинали тоскливо раздражать, как и давешнее тупое бессилие в омертвелом пространстве коридора с темной вереницей ботинок у дверей.

— Узнал ее не я,— раздельно сказал Никитин, не скрывая возникшего неудовлетворения.— Узнала она. Вероятно, случайно. Разумеется, случайно. По фотографиям в моих книгах, которые переведены здесь. Собственно, поэтому она и пригласила меня. Да, госпожа Герберт, с которой мы оба с тобой познакомились,— та самая Эмма из Кёнигсдорфа, и это я знаю точно. Теперь можешь валять дурака и острить, Платоша, сколько тебе хочется.

— Ого-го-го, Ва-адик! Ну-ну, знаешь ли!..

Лицо Самсонова сначала распустилось в непритворном изумлении, но сейчас же собралось, теряя заспанную опухлость, близорукие глаза его потерянно сморгнули и стали до смешного беззащитными и выпуклыми.

— Ну-ну, Вадим! Вот оно, значит, ка-ак,— повторил он растянуто, вдохом вздымая грудь под пижамой.— Это ты меня окончательно огорошил, подожди, подожди, что-то я не совсем... Значит, она тебя через двадцать шесть лет узнала — и пригласила? И — что? Как она тебе это объяснила? Зачем пригласила? Ведь двадцать шесть лет — это уже все, все забыто, туман сплошной. Зачем она оставила тебя сегодня? Ты это можешь мне сказать?

— Спрашивай попроще. Думаю — одно любопытство ко мне.

— Любопытство... У нее? Неужели любопытство? Уверен? А как у тебя, Вадим? Только откровенно, если возможно... Мне что-то странновато было, знаешь ли, когда она начала тебя оставлять. Скажи, у нее что — что-то особое есть к тебе?

— Думаю, нет. Но, представь, сразу вспомнил все. Будто вернулся туда, в сорок пятый. Даже сиренью запахло. В городке цвели сирень и яблоневые сады. Прекрасное было время, несмотря ни на что.

— Подожди, подожди... Как это — «прекрасное время»? Ты сказал, что знал ее несколько дней. У тебя что — серьезно было, что ли?

— Это трудно определить, Платоша. По крайней мере, после войны я ее вспоминал не раз. Неужели ты можешь точно объяснить, когда это начинается и когда кончается?

— Ох, Вадим!..

— Что «Вадим»? Что ты хотел сказать?

— Я хочу сказать, Вадюшка, не пей больше коньяк. И... подожди. Не люблю телефоны за границей.

И Самсонов засопел, уперся в подлокотники, вытащил свое грузноватое тело из глубины кресла, отчего расползлись на пухлой волосатой груди отвороты пижамы, деловито потянул подушку с кровати Никитина, накрыл ею телефон на столе, предупредительно сказал:

— Не сомневаюсь: все номера, где останавливаются русские, достаточно озвучены. А мы слишком громко...

— Не уверен,— сказал Никитин.— А впрочем, можно и потише.

— Сейчас, подожди, надо было соображать раньше... Вот жили-были два идиота! Работает твоя бандура? Включал?

Самсонов зашмыгал шлепанцами по ковру в угол комнаты, где стоял на тумбочке приемник, наугад пощупал и принялся нажимать кнопки, они защелкали костяным эхом. Потом возникли шорохи, сухой треск разрядов, обычные шумы радиопространства, вырвалась из недр приемника синкопическая музыка, где-то в оглушительной глубине тоненько проплетенная женским речитативным придыханием, неприятным сейчас в ночной тиши номера, и Самсонов после некоторых поисков покрутил рукоятку на шкале приемника, убавил звук, удовлетворенно заключил:

— Теперь договорим. Без свидетелей. Так-то лучше.

— Все знаешь, Платон.— Никитин усмехнулся.— Просто непревзойденный конспиратор.

— В двадцатом веке подобное знает и дурак,— отрезал мрачно Самсонов и зашлепал тапочками, задвигался по комнате, сверкая голыми, сливочно-белыми пятками.— Вот что я должен сказать тебе, Вадим. Все это не очень мне понятно. И не очень нравится мне,— заговорил он в сосредоточенном раздумье.— Вся эта странная лирика, которая уж совсем ни в дуду. Узнала, оказывается, тебя по фотографии, пригласила на дискуссии — что, почему, зачем? Разговоры, милые улыбки, вежливость, потихоньку отъединяет тебя от меня, сует нам деньги. Тебе с реверансом отваливают солидный гонорар, а этот шпендрик от журналистки, господин Дицман, еще вдобавок потрясает чековой книжкой... Не странно ли, Вадим? Давай тогда разберемся — что и кто мы им? Кто ты ей — этой фрау Герберт? Господи веси — у всех у нас были молниеносные романчики в войну. Ну и что, прости меня, грешного? Да я даже лиц не помню, не то что... А она, видишь ли, помнит. Пять дней виделись — а она, влюбленная девочка, помнит своего завоевателя. Не кажется ли тебе, что тут белые ниточки торчат?

— Помнить что-либо или не помнить — это, Платоша, твое личное свойство, — перебил Никитин. — Это не аргумент. Какие же ты ниточки имеешь в виду? Разумеется, происки с ее стороны? Или как еще? Неужели ты это всерьез?

Самсонов тяжеловато повалился в кресло, низко осевшее под ним, устроился поудобнее на мякоти подушек, и глаза его увлажнились возбуждением.

— Какой ты, Вадим, смелый, вспомнил себя в двадцать лет, фронт вспомнил! Нет, меня начинает поражать твоя наивная доверчивость ко всей этой подозрительной возне вокруг тебя, если уж хочешь знать мое мнение! Недаром они крутятся вокруг тебя, и ты знаешь — почему? Меня-то, грешного, они со-овсем не знают. Я-то для них персона «инкогнито», но ты, так сказать, либеральный, известный и тэдэ и тэпэ, и др-р и пр-р в их глазах — кое-что! Я вижу, как они хватают каждое твое слово, в рот тебе глядят: а нельзя ли поймать на чем?.. Ты не замечаешь? Может быть, я ошибаюсь? Тогда как все это объяснить? Лирическим экстазом твоей госпожи? Во имя каких причин она пытается нас разъединить? Хотел бы я это знать!

Лоб его свекольно побагровел, одно колено стало нервически подрагивать, отчего затряслась широкая штанина пижамы, и Никитин подумал, что ранимого Самсонова чем-то особо задело вчерашнее вежливо-обидное отношение госпожи Герберт к нему, случайному, что ли, при своем коллеге человеку, не вызывающему к себе достаточного интереса,— это, по крайней мере, могло показаться после того, как она разъединила их неожиданно для обоих. Но все же в том, вчерашнем, не могло быть серьезной причины для избыточной нервозности, и сейчас ядовитая, упрекающая колкость, прорвавшаяся в тоне Самсонова, начала почему-то взвинчивать Никитина: то, что он прямо и искренне хотел сказать ему, было воспринято не так, как думал и ждал.

— Ты начинаешь злиться на меня, Платон,— сказал Никитин.— Но серьезного повода, кажется, не было. Правда? А то я тоже вскипячусь. И — никакого толку. Нервы у нас у обоих...

Он притронулся к своему стаканчику, миролюбиво приглашая этим жестом допить коньяк, договорил:

— Извини, Платон, что разбудил тебя. Может, отложим этот разговор до утра? Откровенно говоря, было мне как-то не очень... Вроде сейчас отошло. Вот теперь усну. Спасибо тебе...

У Самсонова рассерженно подтянулись мясистые щеки.

— Послушай, Вадим, за кого ты меня принимаешь? За громоотвод? За Санчо Пансу? Да я просто обязан злиться на тебя! Скажи, ради чего я поехал? Ради чего оторвался от работы — с какой великой радости? Более глупого положения не придумаешь! Переводчик при Никитине? Оруженосец? Комиссар? Немцы-то в этом уверены! Действительно, кто я при тебе? — Он колыхнулся в кресле, искоса поглядел на приемник, придушенно распространяющий в комнате дробь синкоп.— А тут еще преподносишь такие новости — очертенеешь! Скажу уж тебе совсем откровенно на родном, отечественном, русском... Да, на языке родных осин скажу! Немочка, знаешь ли, в сорок пятом, эта милая госпожа Герберт, сюсюканье, и то и се — камуфляж гороховый! Не верю я их улыбкам, ни одному слову их не верю! Что-то они тебя слишком обволакивают, какие-то золотые клеточки раскидывают! Не замечаешь? Не чувствуешь?

И опять, когда произнес он это и по привычке своей плотно скрестил руки на груди, Никитин натолкнулся на необычно ядовитый, влажный блеск в глазах Самсонова,

как будто теперь недоставало ему воли сбавить излишний пыл неудовольствия,— и как-то стало холодновато, горько, пусто Никитину от этой бессмысленной атаки злости против себя...

Раз между ними было нечто похожее, несколько лет назад. Тогда, летним днем, они сидели в ресторане «Прага» и говорили разгоряченно о военном поколении, которое, несмотря ни на что, наконец пробило брешь, постепенно заняло высотки в литературе — из никому не известных лейтенантов вышло в старшие офицеры,— и Самсонов, только утром приехавший из Ялты, где, как всегда летом, трудно и упорно, выжимая по полстраницы в день, работал над повестью, и все-таки загорелый, еще более потолстевший, вспотев и побагровев после четвертой рюмки коньяка, азартно кричал, что Никитин ткнулся темечком в Олимп, шагнул вверх, вот-вот схватит чин полковника, а он, Самсонов, пока ходит в строевых капитанах, но пройдет месячишков шесть, а может быть, и годик— и все полковники и генералы почувствуют, что остались они перед ним детьми...

«Нет, чтобы настоящее делать, Вадик,— говорил он, напирая животом на стол,— надо свинец в одном месте иметь — по строчке, по абзацику, по четверти странички в день. Нет, надобно добротный дом строить, чтобы щелки не было, чтобы двери не скрипели, чтоб иголку не просунуть в пазик какой-нибудь. Я скажу о войне всю правду и всю правду о нашем поколении. Вот закончу повесть — и в коротких штанишках вы окажетесь, в коротких штанишках! Жалко мне вас станет! Эх, букашечки-таракашечки, болтаться будете, хваленые прозаики, где-то там под ногами! Тю-тю, где вы там? Вот за это пью индивидуально, чтоб ты запомнил! — И, выпив и боднув воздух взмокшим лбом, взглянул на Никитина через стекла очков, отодвинул в сторону рюмки, тарелки с закусками, упер в край стола локоть, пошевелил пальцами, подобными сосискам, точно одержимый шутливой пьяной яростью.— А ну, Вадим, попробуем, кто кого, м-м? Может, положишь, а? Попробуй! По Джеку Лондону!»

«Ты, по-моему, ошалел, Платоша, после солнечной Ялты,— сказал Никитин и оглянулся на ближние столики.— Представь, что ты меня положил».

«О, Вадик, давай по-мужски, я милостыню не беру,— возразил Самсонов и захватил, потянул руку Никитина, насильно установил ее в позицию.— Ну, начали, классик!»

«Ладно, не кричи во всю ивановскую. Клади, геркулес!»

Не поддаваясь, Никитин изо всех сил сопротивлялся ему долго, но кисть Самсонова, огромная, неудобная для борьбы, потная, стискивала, давила с болью, с железным напором поворачивающегося ворота, ниже и ниже клонила его руку к столу — и он сдался в конце концов, пораженный в разгар борьбы бешеной и неуклонной настойчивостью, почти враждебным взглядом Самсонова, вмиг утратившим выражение нетрезвой шутливости.

«Вот таким образом прояснилось, можем расплачиваться, Вадим, — сказал Самсонов, отпыхиваясь. — Плачу я».

Однако Никитин тоже вынул бумажник и нашел нужным ответить легковесной чепухой, сказал что-то насчет тайных миллионов прозаика Самсонова, делающего широкие жесты, но тот запротестовал обидчиво и бурно, расплатиться Никитину не дал, выложил деньги на стол, добавил безумно щедрые чаевые («И наши гонорары не в дровах найдены, Вадимушка») и затем на стоянке такси простился с Никитиным сухо, наспех, оставив по себе чувство неприятной озадаченности.

Позднее оба не вспоминали о разговоре, о «джек-лондонской» борьбе в «Праге», ощущение того самолюбивого вызова заглушилось, стерлось, прошло, и было поэтому сейчас Никитину не по себе видеть здесь, не за столом московского ресторана, а в немецком отеле, ночью, это вовсе не к случаю обвинительно-едкое, даже злое выражение на лице Самсонова. «К чему он это, боже мой? Он осуждает и предупреждает меня? Но почему так раздраженно, как будто унизить хочет за что-то?»

— Спасибо, и прости, пожалуйста, что перебил тебе сон,— сказал Никитин, и вышла извинительная фраза его несколько натянутой, полуискренней.— Завтра договорим, как жить дальше. Кажется, пора принять под коньяк твою спасительную таблетку — и гуд бай. Если проснешься раньше — буди, стучи, звони. Спокойной ночи, Платоша.

— Надеюсь, ты понимаешь все? — спросил Самсонов тоном подчеркнутой досады, уставясь на приемник выпуклыми, набухшими глазами.— Я говорил совершенно серьезно...

— Понял абсолютно. До деталей. Я тебе благодарен, Платон. Благодарю за умный совет.

— В таком случае немедленно ложись и выспись как

следует. Завтра обсудим все до конца. Я встаю рано — разбужу. По европейскому времени я подыму тебя в семь! — выговорил Самсонов возле порога и, шумно, неуспокоенно сапнув носом, вышел из номера.

Стукнула защелка замка. И Никитин, оставшись один, запер дверь, посидел в кресле, заранее мучаясь бессилием, затяжным одиночеством бессонницы, наконец взял таблетку димедрола, оставленную Самсоновым на тумбочке, запил ее коньяком и стал раздеваться, думая томительно:

«Что ж, разговора, в сущности, не получилось — оба мы остались недовольны собой и друг другом. Я хотел иного разговора. Но, кажется, он и любит, и ревнует меня, и не может через что-то переступить. Как глупо все, как это идиотски неприятно! Выспаться бы, забыть этот разговор к черту, встать свежим, спокойным, утром увидеть госпожу Герберт — и все станет яснее. Эмма, Эмма? Нет, никак не рассчитывал. Никогда не предполагал! Воистину неисповедимы пути и мир тесен?.. Неужели госпожа Эмма Герберт — та самая Эмма? Что же это со мной?..»

Он разделся, закурил сигарету и перед тем, как лечь, в пижаме, босой, подошел по теплому синтетическому ковру к приемнику, из которого звучала в полутьме, вытекала назойливой струйкой музыка, поискал кнопку выключателя — и тут громкий, непрерывный стук в дверь заставил его обернуться, крикнуть:

— Кто там? Ты, Платон? Что случилось?

— Я, открой!

Он, немного удивленный, отпер дверь — неуклюже зацепившись плечом за косяк, взъерошенной глыбой ввалился Самсонов и, хлопая тапочками по голым пяткам, заходил суетливо по номеру, проявляя несоразмерную для своего крупного тела подвижность; он, видимо, возвращался бегом и поэтому задыхался.

— Вот что я вспомнил, Вадим, вот что: тот немец, этот журналист, главный редактор издательства, как его... Дицман, Дицман... Помнишь, он задал тебе вопрос, будто встречал, видел тебя в Берлине, в сорок пятом... Ты вопрос этот помнишь? Когда зашла речь о войне... Ты помнишь все ясно?

— Да, помню.

— И тогда он еще спросил меня, где я воевал. И повторил что-то такое непонятное, несуразное насчет тебя. Ты хорошо запомнил тот странный разговор? С какими-то все было намеками, с какими-то переглядками с госпо-

жой Герберт! Потом он ушел... этот подозрительный сексуальный философ, который еще чековой книжечкой перед тобой потрясал! Змеиная улыбочка, пальцы как червяки, нюхает сигареты... Что же за намеки он делал, Вадим? Зачем? Какую цель преследовал? Ты помнишь, как он подвел разговор к тому, что ты не способен убить немца? Это был какой-то льстивый комплимент!..

— Мне? Не сказал бы. Не помню.

— Что — «не сказал бы»? Что — «не помнишь»?

Никитин присел на кровать, полистал «Штерн», бросил его на подушку.

— Дело в том, Платон, что господин Дицман в войну не встречался со мной, этого я не помню. Но в сорок пятом я встречался с другим немцем — его звали Курт. Он был родным братом госпожи Герберт. Перепуганный всем солдатик, мальчишка сопливый. Рассказывать все — длинно. Конечно, не исключено, что Дицман может что-то знать от госпожи Герберт. Допустимо. В сорок пятом судьба Курта в какой-то степени зависела от одного лейтенанта, моего друга, и меня. Курта взяли в плен уже после Берлина. А вообще, Платоша, не придаешь ли ты всему преувеличенное значение?

Самсонов возбужденно ходил из конца в конец номера и, похоже, плохо видя без очков, натыкался коленями на кресла, на подставку для чемоданов, на низенький журнальный столик; потом он стал возле кровати, и его овлажненные, чудилось, замученные глаза будто впрыгнули в зрачки Никитину.

— Много я видел наивняков, Вадим, но таких, как ты,— нет! Пойми же ты наконец, легкомысленный человек, что мы попадаем с тобой, что называется, в положение двух слепых, играющих в прятки в крапиве! Пойми же наконец, что ты не в России, и здесь может произойти все, что им угодно, как в том кабачке, и пожаловаться будет некому! Здесь, в Гамбурге, нашего консульства даже нет! Боюсь, когда мы своей шкурой полностью поймем, чего хотят этот Дицман вместе с твоей милой госпожой Герберт, поздно будет!..

— Да ты что, дорогой Платон! — не выдержал Никитин.— В какие дебри тебя черт понес? Ей-богу, надоели сплошные восклицательные знаки. Твои подозрения имеют какие-то доказательства? О чем ты? Или просто шлея под хвост попала?

«Почему у него стали такие замученные глаза? —подумал он, замолчав.— Глаза древнерусской иконы, скор-

бящей по поводу нашей общей гибели... Вот сейчас что-то в нем изменилось. Неужели он убежден в том, что говорит, или за его словами скрывается нечто другое — ревность ко мне, как тогда, в «Праге»? Он создает мнение о людях по первому взгляду, и, в сущности, ему и легче и труднее, чем мне. Ему труднее потому, что он логичен и способен беспощадно вынести приговор. В том числе и мне».

А Самсонов двумя руками тер щекастое лицо и говорил твердым голосом прочно обретенной убежденности:

— Шлея? Если шлеей ты называешь разумный вывод, пусть будет так, Вадим! А вывод вот какой — как можно скорее уехать отсюда. Это единственное разумное решение. Как можно скорее! Если угодно — завтра утром или днем. Заказать билеты — и в Москву. Причину можно придумать любую: стенокардия у тебя или у меня, случилось обострение, перемена климата, что-нибудь в этом роде. Уезжать, немедленно уезжать, пока не поздно. Эт-то уж абсолютно ясно. Иначе увязнем четырьмя лапками, как мухи в меде!

— Что же, Платон,— сказал с усмешкой Никитин,— или ты не доверяешь мне, или хочешь быть святее папы римского? Что тебе в голову ударило? О чем хлопочешь? Чего суетишься? Черт знает что! При твоей комплекции ты должен быть спокоен, уютен, много есть, много пить, улыбаться, приятно острить, расточать обаяние. А ты напоминаешь разъяренного быка!

— Послушай еще раз,— проговорил с непреклонной настойчивостью Самсонов, пропуская слова Никитина мимо ушей, и, выставив пальцы, начал загибать их.— Первое, нам надо отсюда немедля уехать, а для этого — убедительно объяснить причину отъезда. Но это пустяки, детали. Второе, я беспокоюсь не о себе, а о тебе. Третье, ты воображаешь, что находишься не в Гамбурге, а в Калуге, что стоит позвонить в райком или в милицию — и все уладится! Так? Или...

— Мы сейчас поссоримся, Платон! Все твои расчудесные домыслы — не имеют оснований, ни в какие двери не лезут! Не ударяйся в панику раньше времени. Да что, собственно, ты вообразил? Меня опутают здесь господа дицманы и силой оставят в Западной Германии? Зачем? Смысл какой? Кто я — физик, знающий секреты водородной бомбы? Глава конструкторского бюро? Кому я тут нужен?

— Значит, уеду я один,— выговорил через одышку Самсонов и самолюбиво сузил веки, улыбнулся.— Да, один,— повторил он зло.— Ты этого хочешь?

Никитин лег на постель поверх одеяла, заложив руки под затылок, сказал:

— Ну что ж, уезжай. Ты меня действительно долго предупреждал.— Он сказал это, испытывая отвращение к самому себе оттого, что не сумел притушить разговор, перейти на всегда спасительную иронию, и прибавил: — Во имя чего мы ссоримся, Платон? Стоило ли для этого ехать за границу?

— Перестань! Если бы я тебя, идеалиста несчастного, не любил, мне начхать было бы!.. Нет, без тебя я никуда не уеду, предавать друзей я еще не научился! Еще нет!— выкрикнул Самсонов повышенным голосом.— Но запомни, что я тебя, как подозрительный идиот, предупреждал! И высказал все! Если ты не очнешься — пропадешь! Встряхнись, Вадим, встань ножками на землю! Останови головокружение, а то завтра поздно будет, запомни это!

— Платон, я хочу спать. Таблетку я уже принял.

— А я тебе, субъективному идеалисту, повторяю, повторяю,— останови головокружение, друг мой!..

— Платон, я хочу спать. Димедрол я уже принял.

Он не видел, как вышел Самсонов, но слышал, как лязгнул замок двери, потом приглушенно хлопнула дверь в коридоре отеля, где начиналась ночная пустыня, слабо освещенная тусклыми бра, с прямой полосой беловатой дорожки, уходящей вдоль серых стен в сумрачную призрачность пустоты.

А здесь, в душном тепле номера, пахнущего сладковатой синтетикой, потрескивало электрическое отопление, изредка набегал, позванивал дождь по стеклам, и чуть внятный, хрипловатый голос певца, перехваченный искусственной страстью, речитативом тек из невыключенного приемника, убеждал некую маленькую Мадлен остановить машину, сесть к нему на колени и расстегнуть пуговички платья,— здесь была кем-то продленная жизнь, непривычная, чужая, неизвестная, и, закрывая глаза, Никитин подумал:

«Отчего все же мне так не по себе? Если бы встать, позвонить Эмме, пойти вместе шататься по ночному Гамбургу, под дождем, до утра говорить с ней. Но о чем? Что это решит? Или уехать, завтра уехать? Самсонов в панике. Он слишком много узнал — и не сумел переварить. Чем же это должно кончиться?..»

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Вам нравится в Западной Германии, господин Никитин? О нет, я не так поставил вопрос. Вы не разочаровались в нас, западных немцах?

— Вы хотите услышать прямой и категорический ответ? Если бы я ответил «да», то обманул бы себя, если бы ответил «нет», то обидел бы вас поспешностью, господин Дицман. Без предвзятости подписываюсь под словами одного умного немца, которые звучат приблизительно так: «Горечь и недоверие страны к стране отравляют израненное тело Европы». Неплохо сказано, правда?

— Цитата? Кто автор? Томас Манн? Ремарк?

— Стефан Цвейг, хороший писатель.

— К сожалению, Цвейг так старомоден и так давно умер, что уже мало кто помнит о нем.

— Напрасно. Он умер в сорок втором году, а сороковые годы — ближайшая история Германии.

— Западная Германия далеко ушла от сороковых годов. У нас говорят: мы проиграли войну политическую, а выиграли войну экономическую. Вам интересно знать, как случилась эта парадоксальная победа? После поражения рейха союзники стали демонтировать немецкие заводы и по репарациям вывозить из промышленных центров оборудование, но это были старые, господин Никитин, довоенные станки. В период «железного занавеса» между Западом и Востоком Америка начала вкладывать миллионы долларов в разрушенную германскую промышленность, очень широко открыла западным немцам кредиты, ввезла современное оборудование. И таким образом в течение короткого времени обновила основной капитал, выражаясь по Марксу. Ведь вы марксист... И наступил бум, что значит— обилие всех товаров, стабильная марка, расцвет экономики... Страшные сороковые годы давно забыты обывателем, он живет в новом измерении, он сыт и не помнит про карточки и эрзацы. Вы видели магазины Гамбурга?

— Да, прекрасные магазины, судя по витринам.

— Господин Никитин, я буду откровенен, я раскрою перед вами карты во имя истины. Западная Германия после войны уже зажралась как свинья и мозги ее все больше заплывают жиром. Обыватели живут в одурманивающем мире товаров и превращаются в бездушные машины потребления. Разрешите взять у вас одну сига-

рету? Я бросил курить, но до сих пор мне приятен запах табака.

— Пожалуйста.

— Благодарю вас. Я с удовольствием понюхаю сигарету. Итак, дело в том, господин Никитин, что современные западные немцы слишком много думают о новых моделях «мерседеса», о холодильниках и уютных загородных домиках, и у среднего немца исчезает или уже нет ни высокой духовной жизни, ни духовной веры... Прагматизм подчиняет все. Истоки и модель — Америка. Боюсь, господин Никитин, что через несколько лет Советский Союз тоже зажрется, и у вас тоже исчезнет духовная жизнь: машина, квартира, загородный коттедж, холодильник станут богами, как на Западе. И вы постепенно забудете сороковые годы, войну, страдания...

— Вряд ли. Хотя знаю, что нас тоже ждет испытание миром вещей.

— И испытание верой.

— Что вы называете верой, господин Дицман?

— Ваша вера — коммунистический оптимизм. Вы практики, вы материалисты и идеалисты одновременно, вы еще хотите говорить о человеке, о неких идеалах и смысле жизни, хотя исповедуете древние догмы. А на послевоенном Западе этой веры в идеалы нет, все изверились в евангелическом добре и в человеке, старые боги и добродетели умерли, их нет, и нет, к примеру, уже понятия прежней семьи, любви, брака. На чем, по-вашему, держится современный мир?

— На ожидании и надежде, как я представляю.

— О, понимаю! Русские мечтают держаться на двух китах — всеобщего равенства и ожидания стереотипных, равных благ для каждого, в то время как западный мир продолжает держаться на трех китах — спорте, сексе и телевизоре. И есть еще один мерзкий китенок — политика. Хочу заметить, что этот китенок плавает и на Востоке.

— Только два уточнения, господин Дицман. Во-первых, без этого китенка невозможно было существовать ни одному исторически известному нам обществу; во-вторых, не всеобщее костюмное равенство безымянных, одинаковых песчинок, а — я говорю прописные истины — равенство в распределении материальных благ. Думаю, что посредственность, способность и талант всегда будут отличаться друг от друга, если говорить о науке и искусстве.

— Вы, разумеется, против одинаковых песчинок?.. Но большинство человечества — анонимные муравьи, господин Никитин.

— Это унылый тезис, господин Дицман, по-моему. Я за то, чтобы каждый прошел через обряд крещения и имел свое, собственное имя. В конце концов этот обряд можно назвать самосознанием.

— Вы романтик, что незаметно по вашим книгам. Не согласитесь ли вы, что большинство людей не знают, чего они хотят. Бифштексы? Машины? Телевизоры? В этом истина? В этом конечная цель? Нет, люди сами для себя — инкогнито. Как сделать, чтобы они поверили в самих себя? Революция? Вы, несомненно, стоите на этой марксистской точке зрения... Революция? Классовая борьба? В чем ее последняя суть? Опять цель— холодильники для всех.

— Революция — это отрицание безнравственности и утверждение нравственности, то есть вера в человека и борьба, и, конечно, совесть, как руководство к действию. А вы сами сказали, что веры и идеалов на Западе нет. Я думаю, что вера — это эмоциональное отношение к надежде и истине. Если ее нет, выхода не вижу...

— Пока выхода нет, господин Никитин... за исключением одного паллиатива — соединить христианство с марксизмом. Я неверующий и в очистительных мессий не верю. Я верю только в этот странный симбиоз — выход для большинства анонимных обывателей. Пусть хоть во что-то верят.

— Вы в этом убеждены? Как же это сделать? Соединить несоединимое? Ведь Иисус Христос своей проповедью бездействия, как давно известно, разрушает человеческую энергию...

— Энергию? Энергию? Вы не договорили фразу: поэтому его и распяли! Вы хотели это сказать, господин Никитин?

— Нет, думаю, его распяли потому, что надеялись — придет второй мессия, который удовлетворит абсолютно всех. Но такого не бывает.

— У вас в стране не запрещено говорить таким образом?

— Как видите, я говорю. Но... простите, непонятна причина вашего недоумения. Почему, собственно, в нашей стране это должно быть запрещено?

— Я удивляюсь потому, что у вас много лет был культ личности. Иисус Христос — тоже культ личности.

Как и культ Сталина. Он тоже у вас был как бы сыном божьим. Вы молились на него.

— Послушайте, господин Дицман, позвольте мне наконец задать вам очень откровенный и, может быть, грубоватый вопрос. Я долго слушал вас, и разрешите все-таки вас перебить.

— Конечно, господин Самсонов! Вы действительно долго молчали, и я с удовольствием готов ответить на любой ваш вопрос.

— Не уверен, что мой вопрос доставит вам удовольствие, господин Дицман. И все-таки, какое вам, откровенно говоря, дело до нашего культа личности? Именно вам? И вообще западным немцам?

— Я не хочу вмешиваться в ваши дела, однако вы, господин Самсонов, находитесь в западной стране, где достаточно грязи и пороков, но где вы можете делать и говорить все, что хотите,— до определенных пределов, разумеется. Вы не отрицаете наши относительные свободы. Я подчеркиваю: относительные...

— Хм! Парадокс! Тогда почему у вас травили коммунистов и запрещали компартию?

— Это одна из глупостей, которая возмущала и меня. Ни коммунизм, ни нацизм не угрожают Западной Германии. Для немцев достаточно одного коммунизма — в Восточной Германии. Это визитная карточка соседей, и она не всем нравится.

— Чем же она вам не нравится? Тем, что там другая система, которая вам не по душе?

— Тем, что мы живем в некотором смысле лучше, чем восточные немцы.

— А не возможно ли, что они рано или поздно будут жить во всех смыслах лучше вас? Что вы скажете в таком случае?

— Сейчас люди живут одним днем, господин Самсонов. Однако я хочу спросить господина Никитина. Вы тоже отрицаете, что находитесь в демократической стране?

— Вы только что сами высказали сомнение относительно свобод в вашей стране. Вместе с вами сомневаюсь и я. Что же касается прежнего вопроса, то более двух десятков лет назад известный вам маньяк из Мюнхена называл себя вторым Иисусом Христом, мессией, спасителем человечества. От славянской заразы и коммунизма. И пятьдесят шесть миллионов погибло в Европе и Азии. И славян и не славян...

— Не так быстро, господин Никитин, мне, простите, мешает ваш акцент, я понял, но не поймал тонкости вашей фразы. Намекаете на нацизм? На комплекс вины немцев перед человечеством?

— Никакой тонкости здесь нет. И никаких намеков. Я сказал, что веру в спасение человечества и добро можно понимать по-разному: брать злу на вооружение добро и добру — на вооружение зло. Это прекрасно знали еще в Древнем Риме.

— О да, о да! Такая тонкая рвущаяся грань лежит между добром и злом, в своем роде сиамские близнецы, соединяющиеся кровеносные сосуды, не так ли? И это наиболее интересная сторона внутреннего мира современного человека, зыбкость границы,— это ваш Достоевский, самое главное в его романах, которые пользуются на Западе большой популярностью. Вы об этом знаете?

— Чушь!

— Что, простите?

— Виноват, я сказал по-русски: «чушь»... Это, мягко выражаясь, по-немецки — «неточно», если говорить о Достоевском.

— Почему?

— По-моему, главное в Достоевском — поиск истины в человеке и поиск бога в мире и в себе. Для ясности богом будем считать — добро и прозрение. Вы не устали, господин Дицман, от нашего слишком умственного спора? Тем более я очень плохо говорю по-немецки и, видимо, утомил вас. А оба мы утомили зал. Может быть, поговорим о чем-нибудь более конкретном? Вы не находите?

— Совсем нет, господин Никитин... Наш разговор — это скорее не спор... а откровенный диалог между Востоком и Западом на глазах аудитории, между восточным писателем и западным журналистом, и, кстати, по вниманию и тишине в аудитории я вижу, что у нас с вами есть точки соприкосновения, как это ни странно. У меня создается впечатление, что вы полемист и не раз встречались с западными писателями. Об одной дискуссии в Париже я читал, вы там говорили о социалистическом реализме, о смысловом искусстве. Я не ошибаюсь?

— С тех пор как моими романами и моей персоной заинтересовались на Западе, меня стали приглашать на международные дискуссии. И я люблю спорить, как всякий писатель, и хочу что-то понять — хотя бы позицию своего оппонента. Просто истина, господин Дицман,— че-

ресчур серьезная вещь. Если у вас болит голова, вы же не станете принимать лекарство от расстройства желудка. Если вы любите женщину, вы не будете обнимать фонарный столб и целовать его. Что бы вы ни утверждали, существует в мире абсолют.

— Прекрасно сказано, господин Никитин! Тем не менее я не соглашаюсь с вами. В понятие «любовь» современный человек вкладывает совершенно иной смысл, чем вкладывал человек девятнадцатого века или человек довоенного времени. Здесь вы заблуждаетесь, вы имеете в виду одно позитивное начало, как объединение, но — нет и нет! — любовь современного человека это и разъединение полов. Никто не знает, в чем любовь истинная. Любовь — всегда альтернатива.

— Это как же? Примитивно говоря, ну... элемент физический, вполне понятная истина: любовь мужчины к женщине, и наоборот. Если же говорить о природной физической любви, то какую разъединенность и какую альтернативу полов вы имеете в виду?

— Господин Никитин, вы серьезный человек и постарайтесь меня понять не с точки зрения социалистической, а с точки зрения западной морали. Любовь в современном мире лишена ложных предрассудков, и свободной цивилизацией опрокинуты ложные сигналы «стоп», эти, пожалуй, архаичные запреты, которые сковывали свободу человеческих чувств между ним и ею, или... между ним и ним, или ею и ею... Каждый свободен в выборе партнера.

— Плохо понимаю. Вы говорите о гомосексуализме, что ли? Об извращенной любви? Так я ведь реалист, я поклоняюсь истине. И я терпеть не могу искаженный мир в кривом зеркале комнаты смеха где-нибудь в Луна-парке.

— Не смейтесь, господин Никитин. Никто не знает, что в любви извращение и что не извращение, каждый предпочитает прислушиваться к голосу своего сердца. Больше всего извращений бывает в политике, ужасных извращений, которые убивают свободу человека.

— У вас, конечно, есть жена, дети, господин Дицман.

— К счастью, я не женат.

— Жаль. Тогда я не смогу привести нескромный пример, который вертится у меня в голове.

— Господин Никитин! Вы ничем не удивите нас, никаким примером, мы живем в эпоху сексуального взрыва, когда сорваны все покровы с человеческого тела и суще-

ствует полная свобода выбора для задавленных прежде комплексов.

— Да, я имел удовольствие видеть взрыв комплексов на экране и на сцене в некоторых городах мира и у вас.

— О, прекрасно! И это было вам интересно, как реалисту?

— Думаю, реалисты не должны закрывать глаза на то, что есть. Знать надо все. Тем более что у нас в России, слава богу, не показывают аномалии любви со сцены.

— Момент, господин Никитин. У русских нет подавленных комплексов и, как вы сказали, аномалий любви? Вы утверждаете? Вы в этом уверены?

— Нет, не утверждаю. И это дело клиники. Но я не то хотел сказать, господин Дицман, и пусть простят меня женщины, сидящие в зале, за вынужденный аргумент... Представьте свою несуществующую дочь, прекрасное, юное существо, которое может в простой и тайной, как вселенная, любви принести миру не менее прекрасное существо, однако склонна любить не юношу, а девушку,— вы закрыли бы глаза на эту неестественность, спокойно говорили бы о свободе выбора?

— Лично я не сказал бы ей ни слова. Пусть поступает так, как хочет. Не я, а она выбирает предмет любви.

— Не есть ли это антиистина, насилие над природой и истиной?

— Нисколько. В этом я вижу свободное проявление индивидуального «я», свободу личности.

— Тогда у меня нет доказательств. Проблема исчерпана.

— Я вмешаюсь, господа мужчины, с разрешения председателя! Это надо сказать!

— Ради бога, госпожа Титтель, пожалуйста, один ваш голос — наслаждение для всех!

— Петь я не собираюсь. А вот в любви все решает дело вкуса и нелепых наклонностей, так я думаю. Женщина, бесспорно, нежнее, но я предпочитаю неотесанного мужчину со всеми его мерзкими недостатками. Я читала Мопассана. У него есть хорошая фраза: да здравствует маленькая разница! Вот что я вам скажу. И за французского писателя не намерена краснеть.

— Глубокоуважаемая, прелестная госпожа Титтель, благодарю за реплику с места и замечу: именно вас боготворят, в вас одинаково влюблены и мужчины и жен-

щины, потому что талант принадлежит всем! Уважаемые дамы и господа! Нам следует поблагодарить прекрасную госпожу Титтель, которая присутствует на нашем диспуте. Ваши аплодисменты и смех удовольствия я понимаю и присоединяюсь к ним... Итак вы закончили, господин Никитин, тем, что исчерпываете проблему отсутствием доказательств, и я почувствовал в ответе какую-то хмурую иронию, не правда ли?

— Вы не ошиблись. Я хотел сказать, что, вероятно, мы слишком вторгаемся в интимную область, которая не требует такого широкого обсуждения.

— И здесь вы глубоко заблуждаетесь! Эти вопросы широко дискутируются у нас и в печати и по телевизору, в том числе и закон об отмене запрета на порнографию. Не так ли, господин Вебер? Простите, господа, теперь я обращаюсь в зал. Не так ли, господин Вебер?

— От ваших умных проблем переворачиваются мозги... Когда собираются интеллигенты, начинается большая каша. И все вопросы упираются в секс.

— Ваша шутка одобрена аплодисментами, господин Вебер... Так или иначе, я склонен еще раз возразить господину Никитину. Если бы я запретил своей дочери, которой у меня нет, любить того, кого она выбрала, то, возможно, подчинившись мне, она сказала бы через несколько лет: «Отец, я несчастна, ты лишил меня любви!»

— Какая поразительная логика! И вы — за такую свободу выбора? Так после этого — вешаться надо! Знаете, прийти домой, найти покрепче крюк, снять ремень и — скорее, скорее из этого рая свободного секса в прекрасный ад! Вот это единственный не выбор, а выход из оскорбляющих человека непристойностей!

— Вы возмущены, господин Самсонов? А как вы думаете, господин Никитин? Видите ли вы в сексуальной проблеме непристойность?

— Что я думаю? Когда насилуют и извращают саму природу, она заболевает и гибнет, и вместе с ней, конечно, человек. А это страшнее, чем заражение химическими отходами биосферы. ...Минуту, Платон, наклонись ко мне... слушай, держи себя в руках, твой горячий крик никого в этой дискуссии не убедит. Спокойней...

— А с какой стати я должен быть изысканно-спокойным? Неужели ты хочешь, чтобы я сидел и хлопал ушами, изображая милого русского, согласного со всякой чепухой? Бывают и пределы словоблудию, знаешь...

— А не думали ли вы, господин Никитин, что сам человек является извращением природы, не приходило ли вам в голову подобное сомнение? Кто установил, что есть нормальное и ненормальное? Неужели законодательствовал бог? А он — категория нормальная? Люди? А нормальны ли они? Что есть норма? С чьей точки зрения? Если слова, определяющие священный акт любви, люди употребляют как самые грязные ругательства, не извращены ли эти люди? Подумайте, подумайте над этим... А вспомните заборные надписи, надписи в общественных туалетах!..

— Мы так далеко уйдем сейчас в споре, что опасаюсь — назад из этого безумия дороги уже не будет.

— Ха-ха-ха, благодарю вас за красивый аргумент. Вы не хотите продолжать разговор на эту тему, поэтому я позволю себе сделать некоторый вывод. Сознание человека Запада — я говорю об интеллигенции — слишком обнаучено, в то время как современная философия и социология не получили развития в странах социализма. Это был ваш способ защиты веры, которая должна держаться за счет всеобщего оптимизма. Не так ли? Вы оптимист, господин Никитин, хотя у вас грустные глаза и пишете вы невеселые романы. Но и вы и вся ваша литература пытаетесь сохранить старый миф о добродетельном человеке, созданный еще Шекспиром и вашим Толстым. Тот, кого у вас называют героем в жизни и в литературе, в сознании западного человека оценивается совсем иначе, ваш герой в нашем понимании совсем другое.

— Внимательно слушаю. Продолжайте.

— Современный интеллектуальный западный персонаж, господин Никитин,— это химически очищенный, оголенный субъект рода человеческого, который двигается как во сне. Независимая частная жизнь невозможна, возникло бессилие человека перед эпохой, расщепление личности проблемами: а зачем, а что дальше? Западные интеллигенты не утверждают, как вся ваша социалистическая литература, а спрашивают действительность, задают ей вопросы, и нет ни судей, ни виновных... И это не модернизм, совсем нет, господин Никитин. Современному миру машин не нужны ни Шекспир, ни Толстой, ни Достоевский. Западный роман отошел от прошлого реализма потому, что хотел быть реалистичным. И это не парадокс. Роман-рентген, но без диагноза болезни, потому что врачи не знают, каким образом радикально лечить, этого

не знает никто. Сейчас не может быть канонизированного писателя, как, к примеру, Толстой, Томас Манн или Золя, который заявлял, что знает о человеке все. Вы согласны с формулой Золя?

— Нет, не согласен. Мне кажется, что в этом заявлении французских натуралистов имели место самоуверенность и вызов. Впрочем, один русский классик, живший в одну эпоху с Золя, утверждал совершенно противоположное: никто не знает всей правды. Это ближе к истине.

— О! Господин Никитин! Вы сейчас заговорили как западный писатель и подтверждаете мою мысль!

— Это заговорил не я, а русский классик девятнадцатого века. Не делайте мне комплимента. Я горжусь, что имею отношение к великой русской литературе. Вот видите — вы заставили меня говорить высоким стилем.

— Но как лично вы относитесь к этой мысли, высказанной классиком: никто не знает всей правды? Вы ее не разделяете?

— Нет, я разделяю ее. Это вам кажется странным?

— Вы? Разделяете данную мысль? Вы можете пояснить немного подробнее?

— Если вы так удивились, то я попытаюсь... Я не раз думал об этом, господин Дицман. Мы знаем ряд истин, но это лишь слагаемые одной и главной. Мы не знаем конечную сумму истин. В противном случае — если бы мы знали о человеке все — не было бы никакого смысла писать книги, заниматься наукой и вести дискуссии, как мы ведем с вами. Человек — такая же тайна, как мироздание. Об этом думали и тысячи лет назад. Я уверен, что если бы люди завтра открыли все законы мира, а значит, и человеческой души, то движение истории прекратилось бы. Нечего было бы познавать. Все веры, все философские системы, все искусство сразу бы умерли за своей ненужностью. Человечество закончило бы свой запрограммированный путь познания. И началось бы нечто абсолютно новое, с нуля. К нашей жизни это не имело бы никакого отношения. В кибернетическую машину земли вселенная вложила бы новые параметры. Вот почему мы не знаем всей правды. Вас удовлетворил мой ответ?

— Господин Никитин! Вы говорили сейчас не как писатель, а как философ, я приятно удивлен, но я хочу только уточнить вашу мысль. Самой природой запрограм-

мировано движение человечества к главной истине? По оживлению в зале я чувствую, что вы заинтриговали не только меня, но и аудиторию... Что же такое тогда человек? Орудие познания? Или случайность? Шестеренка в механизме мировых законов?

— Не удивляйтесь приятно, господин Дицман. Я не претендую на лавры философа, я не так уж самоуверен. Просто после сорока лет начинаешь задумываться над некоторыми вещами, которые в тридцать казались простыми, как апельсин. Человек на земле — не случайность. Это, как известно, частица природы, познающая саму себя. Прекрасная формула, правда?

— Чья-то цитата? Гегель? Карл Маркс?

— Нет, Фридрих Энгельс. Частица — человек, познающая целое — природу, то есть это познание, последовательно ведущее к дверям тайн и законов на пути к главной истине, которая ограничивает бесконечность и постепенно открывает замочки на дверях в длиннейшем коридоре. Поэтому лично я убежден, что открытие огня, силы пара, электричества, атомной энергии — это не случайное познание, а движение по методу последовательных приближений, подсказанное природой в определенный отрезок времени. Это вехи, отмечающие пройденный человеческий путь. Как и наша дискуссия, впрочем. Десять лет назад мы не могли бы так разговаривать, господин Дицман. Это тоже веха.

— Капитализм, по вашей теории, тоже роковое познание? Или, как вы сказали, приоткрывшаяся дверца?

— Да. С привкусом горечи.

— А социализм?

— Познание с ожиданием радости. Освобождение из плена страха. Познание истинной свободы.

— Ожидание радости? Предположим так. Но в вашей теории, господин Никитин, есть некий фатализм, а фатализм ничего общего не имеет с марксизмом. Вы ведь марксист, и вы верите в пролетарскую революцию и в диктатуру пролетариата. Разве это не является для вас главной истиной?

— Никакого фатализма. Я уточняю, господин Дицман. Социализм — это постижение наивысшей свободы человеком.

— Но свобода одного всегда ограничена свободой другого. Наивысшей свободы быть не может. Не так ли?

— Так. Это нравственное ограничение, которое рождает уважение человека к человеку.

— Я очень хотел бы услышать ваш ответ на предыдущий вопрос относительно главной истины. Где она — в политике или вне политики?

— Уважаемый господин Дицман! Вы с непонятной настойчивостью задаете моему коллеге один и тот же вопрос, никак уж не касающийся литературы. Создается впечатление, что вы хотите не прояснить суть дела в нашем споре, а поймать оппонента на неточном слове, и это, с позволения сказать, вызывает мою недоуменную реплику!

— Как вы ошибаетесь, господин Самсонов, я не имею отношения к прессе Шпрингера!.. Господа, благодарю вас за аплодисменты, они, надо полагать, в большей степени относятся к заявлению господина Самсонова, который в чем-то не доверяет мне!

— Полагаю, что аплодисменты адресованы именно вашему остроумию, господин председатель, а я не хочу выхватывать из ваших рук заслуженную в поте лица славу! Но я повторяю — мы уводим дискуссию в сторону!..

— Итак, господин Никитин, ваш серьезный коллега своей репликой снимает мой трудный вопрос?

— Почему же?.. Ваш вопрос достаточно прост, хотя в нем и есть определенный оттенок, что и подметил мой коллега. Впрочем, это не меняет сути. Я верю в революцию и диктатуру пролетариата, потому что новая общественная формация — познание человечеством самого себя.

— Но по вашей теории это все же не главная истина?

— Главная истина впереди.

— Коммунизм?

— И коммунизм. Но и за этой высокой формой познания путь к истине не обрывается.

— Таким образом, как я понимаю, господин Никитин, вы хотите сказать, что смысл жизни в том, чтобы всю жизнь искать и познавать смысл жизни? Скажите, если мой вопрос, судя по реплике господина Самсонова, не прозвучит провокационно, — в чем смысл вашей жизни, лично вашей жизни? Вы ведь сказали, что никто не знает всей правды.

— Кажется, в ковбойских фильмах, чтобы попасть в цель, надо в течение трех секунд выхватить кольт и выстрелить. Вы выхватили кольт и выстрелили в меня первым, господин Дицман. Чтобы сделать ответный выстрел, потребовалось бы много времени.

— Загадочно... Опять я задал провокационный вопрос?

— Да что вы! Ни в коей мере. Просто ответ на ваш вопрос потребовал бы гораздо больше трех секунд. Для этого нужно было бы пересказать содержание всех моих книг. Так вот, смысл моей жизни — в этом.

— Я читал два ваших романа, господин Никитин, и смотрел два ваших фильма. Они недавно шли в Западной Германии. В них много трагического, грустного...

— Добавляю: и радостного, если быть точным.

— И тем не менее вы больше пессимист, чем оптимист. В ваших книгах нет умиления.

— Вы чересчур категоричны насчет пессимизма. Вы не правы, я оптимист. Мне все время кажется, что ключ от истины лежит в ящике моего письменного стола. Писание романа — это терпение и мучительный путь к цели. И все тогда наполнено смыслом. До следующей книги.

— Нонсенс, господин Никитин. Нонсенс! С одной стороны, вы утверждаете, что не знаете всей правды. С другой стороны, ваша литература призвана учить людей, вдохновлять их — в этом задача метода социалистического реализма. Таким образом, ваши романы — это прорыв из оков социалистического реализма. Не так ли? Недаром догматические советские критики ругали вас!..

— Бывало и это, господин Дицман, однако я не польщен вашим экспрессивным заявлением. Так как вы заговорили о методе, то отвечу следующее: я безраздельно поклоняюсь одному богу — реализму. То есть — я за смысловое искусство. Что значит писать по методу? Как это писать по методу? Неужели вы считаете, что перед тем, как сесть за письменный стол, писатель говорит себе: я напишу этот роман таким-то методом? По-видимому, в первую очередь он думает, что́ сказать и как сказать. И труд, труд, труд. Если это не так, то поясните, каким образом вы представляете работу советского писателя? Приказы по телефону из Кремля? Или хмурый милиционер за плечом, читающий и корректирующий каждую строку? Любопытно, как вы это представляете?

— Я знаю: ваша литература должна воспевать советского человека и советское общество. У вас постоянно говорят об этом.

— Петь, воспевать — эти термины относятся к вокальному искусству, и тут я совершенно некомпетентен. Что касается грубой прозы, то она исследует и познает характер отдельного человека и характер народа в целом. А всякое исследование — серьезный процесс, и он не

имеет ничего общего с бодрой музыкой, которую передают в минуты физзарядки по утрам.

— И вы можете критиковать свое правительство? Например, высокого министра?

— Это дело фельетонистов.

— Благодарю вас, господин Никитин, за ответ. И — последний вопрос, хотя я утомил вас. Вопрос чисто личный. Испытываете ли вы прежнюю ненависть к немцам как к нации, которая воевала против России? Надеюсь, вы не находите в таком вопросе провокационного смысла?

— Нет, не нахожу. Я не испытываю ненависти к немецкой нации, как вы сказали, потому что всякий национализм — последнее прибежище подлеца. Народ никогда не виноват. Но наши взаимоотношения не раз замутнялись кровью. И я все время помню, что в последней четырехлетней войне Россия потеряла двадцать миллионов, а Германия — тринадцать миллионов человек. Это страшные, невиданные в истории потери.

— В шестом веке, господин Никитин, от легочной чумы погибло сто миллионов человек.

— В вашей фразе есть оттенок успокоительного сравнения. Однако те люди шестого века погибли не оттого, что стреляли друг в друга.

— Иные западные теоретики войны, в общем, умные люди, утверждают, что пролитая кровь — это смазочный материал истории, что это закономерность и необходимость, так как вся история — кровь. Утверждают, что последняя война смазала шестеренки ржавеющей германской машины.

— В данном случае вы имеете в виду неореваншистов?

— Не только.

— Так или иначе — спросите этих, «в общем, умных людей»: хотят ли они сами быть смазочным материалом истории?

— Ха-ха! Благодарю вас!.. Итак, дамы и господа, разрешите от всех вас пожать руку господину Никитину за искренние и нестереотипные ответы, которые — что я отмечаю с удовольствием — ломают решетку неприязни и отчужденности между интеллигентами наших стран. Я отмечаю приятную атмосферу дискуссии и благодарю вас, господин Никитин, хотя во многом я не согласен с вами. Но ваша мысль о том, что вы не знаете всей правды,— прекрасная мысль. Вы не знаете всей правды о капита-

лизме, мы не знаем всей правды о вашем коммунизме! Не так ли?

— Как раз в заключение, господин Дицман, вы упростили мою мысль.

— О нет, нет, я все отлично понимаю, господин Никитин, все нюансы, и чистосердечно благодарю вас. И вас, господа, за долгое и терпеливое внимание! До свидания, господа!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мелькая остроносыми ботинками, господин Дицман, в распахнутом плаще, веселый, возбужденный, последним сбежал по лестнице дискуссионного клуба, быстро оторвался от группы людей, задержавших его у выхода, легкой, танцующей походкой довольного собой человека подошел к Никитину, тесно окруженному подле машины молодыми людьми, по всей видимости, жаждущими получить автограф русского писателя. Ему с разных сторон совали отпечатанные программки дискуссии, протягивали через головы купленные на этом вечере его книги, тыкали в руки какие-то листочки бумаги, а он машинально, вроде бы бессознательно, вскользь отвечал на вопросы, черкал свою фамилию, несколько раздерганный перебивающими друг друга голосами и вместе с тем готовый рассмеяться, видел, как Лота Титтель, изогнув тонкий стан под прозрачным плащиком, по-крестьянски уперев кулачок в бок, кричала на растерянного бородатого журналиста, державшего блокнотик перед грудью:

— Ваша «Бильд» — дерьмо! И ваши вопросы — дерьмо! И ваш Шпрингер — дерьмо! Вы всегда пишете то, что взбредет в вашу свинячью голову! Ваша газета написала обо мне, что я сплю голая среди кошек! Откуда вы это взяли? Я ненавижу кошек! Вы слышали ответы господина Никитина — и пишите то, что слышали! Пусть знают присутствующие здесь господа, что ваша газета не годится даже на пипифакс! Вот что я вам скажу!

— Прелестная госпожа Лота устроила скандал журналистам! —воскликнул Дицман.— Отличный заголовок в завтрашних газетах!

Пожилые немцы, столпившиеся вокруг своих машин, с почтительной серьезностью, с любопытством оборачивались к знаменитой Лоте Титтель, которая под молниями блицев, воинственно подбоченясь, грубовато отчитывала замолкшего журналиста; и здесь же, в толпе, добродушно почесывал лысину, посмеивался рассыпчатым

смешком господин Вебер, поглядывая на жену маленькими влюбленными глазками, а госпожа Герберт, уже торопливо открыв ключиком дверцу «мерседеса», почти нежно улыбнулась Никитину. «Господа, вам пора отпустить русского писателя»,— и ласково повела его, потянула к машине со словами:

— Пока Лота воюет с бульварной прессой, нам надо сесть. Где ваш друг? Господин Самсонов! — окликнула она, все так же улыбаясь.— Вы поедете в моей машине или с господином Вебером?

— Я прошу извинения,— отозвался господин Вебер и, наклоняя гладкую лысину, приложился к руке госпожи Герберт, затем потискал руку Никитина.— Мне нужно прийти в себя от вашей большой говорильни. Вы обрушили на меня кучу умных слов, я должен их переварить и отказываюсь от ужина. Но Лота — я уверен! — поедет с вами. Не в ее натуре быстро успокаиваться, нет, нет! Господин Самсонов, господин Дицман, я с вами тоже прощаюсь...

Наконец, когда после некоторой суеты расселись в машине, а Лота Титтель, озаряемая на тротуаре вспышками фотоаппаратов, победно закончила, вероятно, не первую битву с представителями прессы и, шелестя кожурой плаща, обдав запахом духов, втиснулась между толстым Самсоновым и Никитиным на заднем сиденье, господин Дицман захлопнул за ней дверцу, не без притворной любезности помахал журналистам, проворно сел на переднее сиденье возле госпожи Герберт и засмеялся облегченно:

— Господа, мы вырвались из плена Шпрингера благодаря самоотверженности нашей прелестной Лоты и теперь будем наслаждаться завоеванной свободой! Я думаю, что нам стоит с поднебесных высот спуститься на землю и взглянуть на истину с материальной стороны. Нам следует восстановить затрату мозговой энергии. Во-первых, в каком ресторане вы хотите поужинать?

— Знаток всех ресторанов Гамбурга — господин Дицман,— ответила весело госпожа Герберт, натягивая перчатки.— Наши гости не могут знать всей правды о ресторанах, которые известны вам. Вы командуйте, я буду вести машину, у вас нет возражений?

— Сидеть в тихом семейном буржуазном ресторане и видеть сонные довольные рожи — брр! — как это уныло! Я хочу в шумные места. Чтоб было что посмотреть,— вмешалась капризно Лота Титтель.— Иначе после дискус-

сии у нас лопнут головы! Поехали, господа! Мне хочется выпить, и как следует, вот что я вам скажу.

Госпожа Герберт начала осторожно выводить машину со стоянки в сторону сверкающей огнями центральной улицы за темным, без фонарей, парком.

— Стриптиз? — полувопросительно обернулся Дицман, живо блеснув узкими наркотическими глазами.— Но там нечего есть. Вино, оранжад, кока-кола, минеральная вода — и по горло женских поз. Этим сыт не будешь.

— В районе Сан-Паули — ресторан «Валенсия», это что-то забавное, и там хорошо кормят,— сказала Лота Титтель. — В полуподвальчике...

— Жрецы среднего пола? А, это представляет некоторый интерес.— Господин Дицман взглянул на часы.— У них уже начался сбор, но...

— Нет, нет, это, пожалуй, слишком...— запротестовала госпожа Герберт,— только не это. Что-нибудь другое. Господин Никитин и господин Самсонов, что хотели бы вы?

— Несмотря ни на что, они обязаны посетить особые места Гамбурга. Такого они никогда не увидят в скромной, как монастырь, России! — виолончельным голосом проговорила Лота Титтель и, вся шелестящая плащиком, съежилась, смеясь, нестеснительно просунула ладошки под локти Никитина и Самсонова, прижалась к ним.— Вы не протестуете, господа русские писатели? Насколько я знаю, у вас нет ни стриптиза, ни кабачков этих самых жрецов, ни порнофильмов, не правда ли?

— Вы правы, госпожа Титтель. Нет ни того, ни другого, ни третьего,— ответил Никитин шутливо.— В этом нам вас не догнать. Ресторан выбирайте вы. Я готов на любой. Как ты, Платон?

Самсонов, не проронивший ни слова после дискуссии, замкнуто глядя сквозь стекло на огни вечерних витрин, хмыкнул и проговорил с мрачноватой вежливостью:

— А что-нибудь попроще, понормальнее у вас есть? Ну, скажем, обычный ресторан, где обедают и ужинают ну, к примеру, простые немцы... обыкновенные немцы? Хотел бы поглядеть на них, господа интеллектуалы, может, хоть так познаем кое-какую правду. Я — за такой ресторан, если хотите знать мое мнение.

— О! О! О! — трижды воскликнул Дицман, мгновенно оживляясь, и поднял обе руки.— Я сдаюсь! Начинается социалистический реализм! Рабочий класс, прибавочная стоимость, производительные силы и производствен-

ные отношения! Отвечаю на ваш мрачный политический и, так сказать, провокационный вопрос, господин Самсонов. В Западной Германии не хватает рабочей силы, и здесь нет безработицы, поэтому нищие не роются в мусорных ящиках в поисках еды. Контрастов, как говорят и пишут у вас, вы не увидите. А вам они очень интересны? Они вас вдохновляют?

Самсонов фыркнул губами.

— Стало быть, у вас рай земной?

— Германия — и маленький ад, и маленький рай, а вашим любимым простым немцам, получающим хорошие марки, господин Самсонов, по вечерам нет ни до чего дела, кроме жратвы и телевизора! — решительно вступила в разговор Лота Титтель.— Сидят себе у телевизоров и глазами жуют мещанские программы, которыми их угощает мой толстяк, умеющий делать деньги не хуже какого-нибудь янки!

Она упругой своей фигуркой заворочалась между Никитиным и Самсоновым, подперла кулачком подбородок, подалась вперед и вмиг изобразила накрашенным, удлиненным лицом дремотно-отупелое выражение по-бычьи жующего человека, сказала сонно:

— Вот что такое сейчас дурацкий телевизор для немца. Когда жуешь ртом и глазами, думать невозможно. Красиво, господин Никитин?

— Прекрасно изобразили,— ответил Никитин.— И хорошо сказали. Значит — жевательная резинка для глаз? Так надо понимать?

— Хорошего тут мало,— твердо по-русски проговорил Самсонов, словно бы между прочим отвечая и Никитину, затем, выжав насильственную улыбку, спросил Лоту Титтель: — Вы понимаете всю пагубность одурачивания телевизором и не хотите внушить своему мужу, чтобы он изменил программу, сделал ее насыщенной смыслом?

— Я не хочу, чтобы мой муж разорился,— сказала со смехом Лота Титтель.— Нравится вам или не нравится, а в нашем обществе командуют деньги.

— Тогда, простите меня, госпожа Титтель, ваша уважаемая западная интеллигенция разъедена конформизмом. Слова, всё слова. Одни слова. Конформизм, прикрытый словами. И сотрясение воздуха!

— Платон, дорогой, не забывай, что ты гость, и не торопись поносить хозяев,— тоже как бы между прочим сказал по-русски Никитин, покоробленный невоздержанной категоричностью Самсонова, которая мешала и сер-

дила его на дискуссии, как и это вот заключение о конформизме, будто познанном им раз и навсегда. И, силясь перебороть неутихающее раздражение против Самсонова, он подумал: «После вчерашнего разговора мы еще помним колкости, сказанные друг другу, и оба, конечно, не правы».

— Вы — очень серьезный и, должно быть, очень счастливый человек, господин Самсонов,— сказал Дицман выразительно; ирония в его голосе кольнула Никитина: похоже было — Дицман уяснил смысл русской фразы и объединялся с ним.

— Иногда убежденность,— проговорил Никитин,— мы воспринимаем как прямолинейность. И это часто говорит в пользу того, кто убежден, и о слабости того, кто в «да» всегда видит обратное — «нет»...

— Господа, прекращаем спор, будем считать, что мы нашли, потеряли и вновь нашли истину! — примирительно воскликнул Дицман.— А истина наша такова: интеллигенция всех стран, объединяйтесь!

— Я согласна с господином Никитиным. Западной интеллигенции не хватает твердой точки зрения,— сказала мягко госпожа Герберт и рукой в перчатке легонько поправила панорамное зеркальце у переднего стекла, радужно облитого подвижным неоном реклам.

«Да, вот она сидит, мы едем в одной машине в какой-то ресторан,— это Эмма, это она... госпожа Герберт. А был когда-то Кёнигсдорф, и был май, и солнце, и мы были молоды, и ничто нас не сдерживало, даже война. И неужели тогда, в молодости, можно было вообразить, что мы встретимся в Гамбурге другими людьми... совсем другими, прожившими целую жизнь? Все это непостижимо, но это так...»

И он время от времени замечал, что она краем глаза взглядывала в панорамное зеркальце, то и дело вспыхивающее под близким светом фар задних машин, но эти белые вспышки мешали Никитину встретить ее взгляд, и он видел, как пробегали по ее щеке, по волосам, по уголку поднятого на секунду глаза блики уличных огней, видел обтянутые черной кожей ее руки на руле — и где-то в глубине сознания мучительно томила мысль о чем-то только что понятом и оборванном, неспокойном и незавершенном, что случилось с ним в далеком мире, в молодом полузабытом сне войны. В то же время каким-то шестым чувством Никитин угадывал, что госпожа Герберт ни на минуту не забывала тот разговор в первый

вечер, как не забывал его и он и, вспоминая о ее виноватой сдержанности тогда, ласковой мягкости взгляда, с улыбкой обращенного ему в глаза, он сейчас испытывал болезненно разжимающееся, тоскливое и горькое любопытство: в том разговоре не хватало смелости спросить, замужем ли она, счастлива ли, есть ли у нее дети.

«Это немыслимо,— подумал Никитин,— она сидит здесь, в машине, и я рядом с ней, а все прежнее осталось только в памяти».

— Господа, если сегодня я ваш гид, то наш план таков...— раздался впереди живой голос Дицмана.— Идея созрела в процессе движения. Мы идем в музыкальный ночной кабачок «Веселая сова». Но подъезда туда нет. Поэтому машину оставим на стоянке и дойдем пешком. По дороге я заведу мужчин в одну знаменитую улочку, где много весьма любопытного и пикантного, что есть только в Гамбурге. Приличным дамам вход туда, к сожалению, запрещен. Вот вам, господа, пример ограничения свободы! Итак, через десять минут мы встретимся у «Веселой совы». Очаровательные дамы, у вас нет возражений?

— Какое неравноправие! —Лота Титтель сделала капризную гримасу и откинулась на сиденье.— Не похитят ли нас по дороге к кабачку иностранные моряки? И встретимся ли мы после этой улицы через десять минут? Это очень опасное для мужчин место.

— Мы будем ждать вас,— сказала госпожа Герберт и, поворачивая машину из хлынувшего навстречу сумасшедшего неистовства, хаоса огней к стоянке, опять мельком посмотрела в зеркальце,— и тут Никитину почему-то померещилось, что он ощутил, как сблизилось и разъединилось бесконечным пространством время, отдалив на целую жизнь лучшие годы его и ее молодости.

«Мог ли я, молодой, наивный, решительный, подумать в те невероятные дни после Берлина, что через бездну двух с половиной десятилетий она, та милая Эмма, будет сидеть за рулем машины, говорить вот эти вежливые слова, искать моего взгляда в зеркальце, а я буду искать в себе то, что беспощадно стиралось временем?»

Позади главная улица Сан-Паули пылала огнями баров, ночных клубов, огромными вывесками кинотеатров, с буйным безумием веселья бежали в беззвездном небе над крышами огненные конвейеры, вращались раскален-

ные туманности, горизонтально и вкось скакали над металлическими заторами машин, пульсировали пунктиры реклам, смешанные извержения неона обнаженным светом изливались на тротуары, везде кишевшие черными толпами, а за углом центральной улицы, куда от стоянки повел их Дицман, было захолустно, полутемно, гулко звучали шаги прохожих, тускловато горели редкие фонари. Потом кинулась в глаза отдельная, очень яркая лампочка сбоку железных ворот, в проем которых входили мужчины, возникая из темноты, и здесь, возле ворот, Дицман с загадочным лукавством понюхал незажженную сигарету, объяснил, снизив голос:

— За воротами — улица женщин, их квартиры. Одна особенность этого места: женщина не имеет права первая пригласить вас к себе, как обычная проститутка, право выбора только за мужчиной. Вы увидите — они сидят, как в витрине. Церемония следующая: если вам понравится девочка, вы должны постучать в окно и договориться о цене и о всем другом...

— Пожалуй, вы думаете, господин Дицман,— заговорил Самсонов, вынул носовой платок и так трубно высморкался, что запрыгали очки, побагровел лоб.— Пожалуй, вы думаете, что для нас какой-либо особый интерес представляет гамбургская проститутка? — договорил он сердито, обтирая крупный свой нос.— Для какой цели еще это?

— Что? Я крайне удивлен! Не воспитывались же вы в Ватикане! — вскричал Дицман и засмеялся.— Вы же — мужчина! К тому же реалист. Вы не хотите познать капиталистический мир вблизи?

— «Женщинам и юношам до восемнадцати лет вход воспрещен»,— вслух прочитал Никитин объявление, подсвеченное сверху лампочкой, и добавил: — Заинтриговали, господин Дицман. Это любопытно. Я не возражаю. Даже наоборот — очень хочу посмотреть на капиталистический мир вблизи.

Он сказал это Дицману почти легкомысленно, при этом даже подмигнул Самсонову, но тот, замученно глянув на него (как прошлой ночью в гостинице), молча завел руки за спину, оттопырив живот под широким плащом, лицо стало брезгливо-надутым, смешным от этой брезгливости, и Дицман вздернул плечи, сверкнув хорошими зубами.

— Вы чем-то встревожены, господин Самсонов? Страдает ваша нравственность?

— Должен вам сказать, что я не испытываю большого восторга, господин Дицман!

— Платоша, перестань,— сказал по-русски Никитин,— умоляю тебя, не надувайся. В самом деле, что ты хочешь доказать?

— Об этом я тебе расскажу в гостинице, если ты способен еще что-нибудь воспринимать. Если еще способен...

— Способен, способен... Пошли.

Эти железные ворота с незаметным входом сбоку заграждали узкую улицу, скупо освещенную неяркими фонарями, но, против ожидания, многолюдную, заполненную мужчинами, их негромкими голосами, смехом, шарканьем подошв,— группами и в одиночку неторопливо шли они по тротуарам двумя встречными потоками, поминутно останавливались, как перед витринами магазинов, заглядывая в притемненные окна. А всюду на первом этаже были раздернуты занавески, и была оголенно видна внутренность маленьких комнат, обставленных недорогой мебелью; свечи горели на комодах, опрятно белеющих кружевными салфеточками, цветные подушки прибранно лежали под валиками диванов, дешевые репродукции, скорбные деревянные распятия темнели на голых стенах, и в первый момент представилось — за окнами в разнообразных позах были расставлены манекены женщин. Без выражения лиц женщины смотрели на улицу, сквозь текущую мимо толпу мужчин, иные сидели, приняв вид безжизненной монашеской скромности, невинно сложив ладони меж обтянутых телесными чулками колен, обнаженных мини-юбкой, иные полулежали в креслах, независимо закинув ногу на ногу и чуть покачивая поблескивающим сапожком. Они шевелились, эти манекены, поводили густо подкрашенными глазами, закуривали, подносили с ленивой небрежностью сигареты к чернеющему рту; задумчиво поправляли, доставая зеркальце, дешевые клипсы на мочках ушей, глянцевитым ноготком мизинца проводили по стрелочкам бровей. И особенно заметна была одна, белокуренькая, с бледным худым лицом подростка: она, вся стройно напрягаясь в кресле против окна, грызла яблоко, по-школьному опустив ресницы, стеснительно жевала; нежная и гибкая, как у балерины, шея ее была непорочно юна, маленькие округлости неразвитой груди едва выступали под белой нейлоновой кофточкой. Она вдруг замерла, перестала грызть яблоко, как бы испуганная, застигнутая врасплох, когда высокий седоватый мужчина, грузный,

одетый в серое клетчатое пальто, придвинулся с тротуара, постучал пальцем по стеклу. Проститутка детской рукой приоткрыла половинку окна, и он серьезно, деловито заговорил с ней. Она неслышно ответила, ясно глядя в его желтое морщинистое лицо, улыбаясь застенчивой улыбкой девочки из интеллигентной семьи, но мужчина отрицательно мотнул головой, громко сказал: «Nein!» — и, не удовлетворенный ответом, отошел к другому окну. Он, видимо, выбирал предмет любви, соответствующий своей цене и своему вкусу, требовал от нее согласиться на что-то, и по несогласному короткому «Nein» Никитин понял, что она не уступила ему, а он не уступил ей.

«Кто этот расчетливый немец? — подумал зачем-то Никитин.— Что он требовал от нее? Женат ли он? Холост? И часто ли ходит сюда?»

Седоватый немец исчез в толпе, а мужчины всё шли мимо окон, не видя, не замечая друг друга, казалось, в молчаливом отталкивающем разъединении самцов при поиске доступных каждому самок, преувеличенно рассеянно скользили взглядом по фигурам женщин за стеклами, и Никитину, как в первый день на Реепербане, стало как-то неудобно и трудно смотреть на эти похожие и непохожие женские лица в витринах, на их манекенные позы, на их черно накрашенные губы, на розовые ноготки холеных пальцев, зажимающих сигареты, на очень плоские или пышные бедра, на эти сильные ноги, крепко обхваченные модными сапожками по икрам, выставленными напоказ толпам мужчин на тротуарах. Однако в позах женщин чувствовалась словно бы одна и та же ложная игра, принятая всеми, попытка прикрыть грубую откровенность профессии. Нет, они не предлагали себя, не зазывали назойливо в свои комнаты, они внешне бесстрастным равнодушием отвечали на изучающее внимание проходивших мужчин, выражая недоступную спокойную холодность, в которой не было и намека на то, что здесь можно купить и бесстыдный опыт, и голос, распаляющий страсть, и заученное умение натренированного и приготовленного тела, изображающего механизм любви соответственно наклонностям, привычкам и желанию купившего его после другого или до другого...

— Господин Никитин, прошу вас сюда, обратите внимание...

И Никитин, отчетливо услышав рядом беглый стук по стеклу, увидел в двух шагах впереди Дицмана: тот оста-

новился подле окна и, жадно нюхая незажженную сигарету, смотрел на смуглую, выделяющуюся маленькой черной, гладко причесанной головой проститутку, похожую на молоденькую испанку, одиноко и скромно сидевшую под распятием в кресле близ сиреневого торшера. На ее утонченном оливковом лице темнели угольные брови, темнели синими тенями на щеках неестественно длинные ресницы, два пальца молитвенно застыли у золотистого крестика на груди. Дицман громче постучал ногтем. И испанка, вроде просыпаясь постепенно, подняла глаза, лихорадочно блестящие неприступным монашеским фанатизмом, а он, оценивая ее быстрым взглядом, жестом показал, чтобы она повернулась в профиль. Она покорно подчинилась, слегка выпрямила шею и испытывающе глянула на него своим южным ожигающим взором, раздвигая ярко-малиновые губы улыбкой. Дицман подумал, притворно-разочарованно покачал головой, и проститутка стоически поджала рот, медленно смежила наклеенные ресницы.

— Какая прелестная девочка,— зашептал Дицман.— Как она артистически играет целомудрие. Рафаэлевская Мадонна! Вы когда-нибудь видели такую красивую католичку?

— Признаться, господин Дицман, мне что-то стало не очень по себе в этом универсальном женском магазине,— сказал Никитин.— Все ясно. Наверное, не стоит больше задерживаться. Пора уходить. Тем более нас ждут.

— Разумеется, разумеется. Сейчас мы выйдем отсюда в следующие ворота... Но где наш серьезный господин Самсонов? Его еще не соблазнили гамбургские гетеры? Ах вот он где, теперь я вижу его! Что его заинтересовало? Кажется, неразлучные подружки? А, это представляет кое-какой интерес!

Самсонов, в надвинутом на лоб берете, каменно заложив руки за спину, стоял на другой стороне улочки позади группы каких-то христоподобно длинноволосых молодых людей неопрятного вида; трое из них были облачены в лохматые, до щиколоток шубы; все они взбудораженно теснились на тротуаре, нетрезво хохоча, понукающе советовали что-то двум проституткам, видным в окне,— беленькой, с кукольным личиком, и черноволосой, с сильным торсом борца, которые сидели, обнявшись, щека к щеке, невозмутимые, исполненные равнодушия, глядя куда-то поверх толпы юнцов, возбужденно кричавших им: «Фрау лесбос, браво, лесбос!..»

— Платон! — позвал Никитин и, увидев его набрякшее багровое лицо, сказал: — Мы уходим. Пошли.

— Должен вам сказать,— ядовито заговорил Самсонов, разрезав массивным утюгом своего плотного живота текущий мимо окон поток мужчин и подходя к Дицману,—что у вас действительно успешно совершена сексуальная революция. Не хватает одного — сексуальной контрреволюции. Почему? Да потому, что мы дискутируем с вами о смысле жизни, о прогрессе, о человеческой личности,— да это же болтовня по сравнению с этим, так сказать, революционным переворотом!

Дицман тонко улыбнулся, раскланиваясь.

— Должен вам сказать, господин Самсонов, что некоторые немцы, поклонники нацизма, заявляют следующее: будь жив Гитлер, он пообрезал бы всем длинноволосым космы, запретил бы читать Кафку, подавил бы сексуальную революцию, уничтожил бы эти секс-центры и установил бы в покорной стране добропорядочную нравственность. Вы, таким образом, хотите объединиться с реваншистами? Во взрыве секса никто пока не знает всей правды. Пока — нет.

— Не объединяйте, прошу вас, меня с реваншистами! — проговорил Самсонов, выкатывая белки за стеклами очков.— А что касается «всей правды», о которой говорил господин Никитин, то не знаю, как чувствует себя мой коллега, но еще минута — и меня затошнит от этого мерзостного рынка похоти.

— Я завидую вашей похвальной чистоте, господин Самсонов! — засмеялся Дицман.— Вы либо толстовец, либо святой, но злой святой!

«Зачем он то и дело показывает зубы? — подумал Никитин и нахмурился.— Он как будто хочет поссориться не с Дицманом, а со мной, и как будто хочет самоутвердиться в чем-то, доказать что-то мне. Глупо, вдвойне глупо, и совсем уж некстати!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В этом кабачке, до отказа переполненном, шумном и дымном, по-видимому, хорошо знали Дицмана — приятный, скромного вида мальчик-официант провел их к зарезервированному столику в углу, уже приветливо накрытому чистейшей скатертью, расставил бокалы и рюмки, принял заказ и, обрадованный, заскользил прочь, в

обход толчеи танцующих молодых людей, в розоватых слоях сигаретного дыма. Вокруг на столиках горели свечи, покачиваясь от хаотичного топота, бешеного круговорота пар посреди залика, от оглушительно звенящих ритмов джаза, от смеха, говора, и было душно, жарко, подвальный воздух был сперт, нагрет дыханием, движением тел, потных лиц, мельканием длинных волос, взмахами рук, хлопаньем ладош, вилянием бедер, взлетом ног под куполами коротких юбочек.

«Кажется, мы здесь не очень отдохнем, в этой «Веселой сове»,— подумал Никитин, все же любопытно оглядывая кирпичные стены кабачка, сплошь изрисованные мелом, исчерканные надписями, завешанные разнообразными старинными часами без циферблатов и стрелок, старомодными женскими зонтиками и мужскими шляпами, поломанными остовами велосипедов, торчащих спицами колес, исковерканными автомобильными рулями меж стертых кругов резиновых покрышек; потом различил поблизости от стола, в нише, запыленную донельзя, изуродованную пишущую машинку, заставленную по краям пустыми бутылками, справа — потускневший, весь в паутине портрет Бетховена над тоже обезображенными, вывороченными клавишами пианино — и не без удивления перед собранной тут коллекцией хлама спросил Дицмана:

— Что же здесь — стиль или какие-то причуды? Догадываюсь, но все-таки?

— На это может ответить только сам хозяин кабачка,— ответил Дицман превесело и скосился на Самсонова.— А как вы находите это место после той улицы, которая вам так не понравилась?

— Разве не понравилась? Господина Самсонова не смогли соблазнить прелестные гамбургские девочки? — воскликнула Лота Титтель, и брови ее взметнулись в игре осудительного удивления.— Никак не расшевелили красотки? В таком случае на вас надо было натравить змееобразную женщину-вамп с острым бюстом и испепеляющим взором — ф-ф-ф! Смотрите на меня!..

И она точно начала заколдовывать его, помертвела зрачками, вытянула острые коготки с выражением преувеличенной страсти, изображая хищное положение кошки, нацеленной броситься из засады, но Самсонов, не поддерживая этой ее игры и особенно сейчас телесно прочный за столом, насмешливо-невозмутимый, обвел очками сгущенную толпу танцующих, ответил:

— Напрасный труд. Никогда в жизни я не покупал любовь женщины. Упаси бог испытать подобное унижение.

Лота Титтель сплела тонкие пальцы у подбородка, зашептала полусерьезно:

— Бог мой, вы — сама невинность, господин Самсонов. Вы будете жить две жизни. Вы вознесетесь в небо, у вас вырастут белые ангельские крылья. При виде вас мне хочется молиться: о боже, спаси мою грешную душу, прости мне все грехи, все пороки, всех мужчин, все вина, все сигареты. Вот какое влияние русского востока вы оказываете. Брошу петь, курить, пить, уеду к вам в Россию, уйду в какой-нибудь бедный сибирский монастырь!

— Благодарю вас,— снисходительно сказал Самсонов.— Примут ли? Не дорого ли придется заплатить за индульгенцию?

Госпожа Герберт, все время молчавшая, прикуривая от пламени свечи сигарету, внимательно, лучась глазами, посмотрела на Никитина — он одновременно потянулся сигаретой к огню — и тотчас улыбнулась ему смущенной и радостной улыбкой. Он, мимолетно ощутив этот вопросительный взгляд, тоже улыбнулся ей невольно. В глазах ее ясно отразились огоньки свечей, и почему-то они показались теперь не синими, а прозрачно-черными, переливающимися тревожно-ласковым влажным блеском,— и Никитин, внезапно задохнувшись от толчка в сердце, подумал, что она в этот миг подумала о том, о чем должен был бы помнить и он, что и дискуссия, и нескончаемые разговоры, и поездка в машине, когда она искала его лицо в зеркальце,— весь сегодняшний вечер, наверное, ничего не значил для нее, прошел в затянувшемся полусне, в ожидании чего-то, может быть, вот этой своей и его улыбки, будто ждала последней секунды, как тогда ночью в мансарде, где горела свеча на столе, светлела майская ночь за окном, а она, обреченная, смаргивая и задерживая слезы, выводила на листе бумаги русские буквы, зная, что это — последнее.

«Странно,— подумал Никитин с туманом в голове,— она сейчас взглянула на меня так, будто откуда-то издали напомнила вот одним этим взглядом, что мы прощались тогда и оба не надеялись ни на что, но вот все же случилось необъяснимое, маловероятное... Нет, оказывается, я ничего не забыл. Или мне кажется, что я ничего не забыл, и я только внушаю себе, что помню ее лицо, брови, губы в ту ночь... Нет, я помню, как дрожали ее

губы, как они были мягки, солоноваты, смочены слезами... как она не хотела уходить... как она готова была упасть на пол вместе со мной... как пахли ее волосы сладковатым туалетным мылом. Так что же это? Эмма — и госпожа Герберт? Госпожа Герберт — и Эмма? Осталось ли в ней что-нибудь от того, прошлого? И остался ли во мне тот давний и небезгрешно решительный лейтенант Никитин? Да немыслимо, немыслимо все!..»

«Эмма... неужели вы помните?» — хотел сказать Никитин негромко, но голос его смяло, стиснуло колючими нажимами спазмы, и он со смехом, откашлявшись, проговорил тоном светской воспитанности:

— Фрау Герберт, простите, я несколько охрип, виновата дискуссия, поэтому мне надо бы помолчать... Простите...— Он продолжал, подбирая фразу, которая прозвучала бы, должна бы прозучать вполне непринужденно, вполне естественно в данной обстановке: — Вы довольны дискуссией?

— Очень,— ответила она, глаза ее засветились пристальнее, ярче, засияли безобманной тихой молодой мягкостью, и он опять подумал, что она ждала иного вопроса и поняла его короткую заминку после того, как оба они, на минуту освобожденные от чего-то и соединенные чем-то, улыбнулись друг другу, прикуривая от свечи одновременно.

«Вы, вероятно, хотели со мной поговорить,— сказали ее глаза.— Но почему вас что-то сдерживает? Разве так важно то, что вас сдерживает? Вы должны поверить мне — я с вами искренна, я вас не обманываю. Я помню, как все было. И я не жалею о том, что было. Вы понимаете меня?»

«Да, я хотел бы поговорить,— ответил он, глазами осторожно прикасаясь к теплому и лучистому свету в ее зрачках.— Я тоже помню, хоть это немыслимо, и кажется, что все было в другой жизни. Милый мой солдат Ушатиков стоял за дверью, а мы в последний раз при огоньке свечи писали на листке русские и немецкие слова, в которых были отчаяние, страх и такая юная неожиданная влюбленность, какая могла быть лишь тогда. Что же между нами тогда произошло? Солнечное весеннее утро, запах яблонь, стук в дверь, подносик с чашечкой кофе, заспанное, с виноватой улыбкой лицо, халатик, вспухлые искусанные губы, влажные волосы... Ты пом-

нишь, как в то первое утро пришла ко мне в мансарду?..»

«Да, я помню, помню,— согласно говорили ее глаза.— И мне хорошо смотреть на вас и на свечи и вспоминать то, что можете вспоминать и вы...»

— Господин Никитин, прошу попробовать, отличное баденское вино! Оно чем-то напоминает русское шампанское. На ваш-ше здоровь-е!..

— Спасибо, господин Дицман. Но точнее по-русски будет так: ваше здоровье!

С преодолением он заставил себя переключиться на обычный лад, стряхнуть эту пелену, грустную и сладкую дрему, это наваждение тайного придумывания того, чего могло не быть за выражением пристально синеющих глаз госпожи Герберт. Он огляделся. По-прежнему, не умолкая, неистово отбивал апокалипсические ритмы джаз, колебались жаркими венчиками свечи на столах, в розоватой мути сигаретного дыма перемещались, пульсировали фигуры танцующих; приятно-вежливый мальчик-официант бесшумно возникал, наклоняясь из полумрака, и, обмотав бутылку крахмальной салфеткой, аккуратно разливал в бокалы красное густое вино; Самсонов, со скрещенными на груди руками, чрезмерно серьезно смотрел в сторону соседнего столика, где бородатый парень в курточке (цветной шарф обмотан вокруг шеи, прямые волосы спадают на плечи) бесцеремонно целовал в край рта худенькую, обмякшую до сонной истомы девицу, сидевшую сбоку молодого негра в грязно-сером свитере, который не обращал на них внимания, ел жирные макароны, ловко орудуя вилкой, и между глотками пива этой же вилкой под звуки джаза выбивал по краю стола синкопы; Лота Титтель раздумчиво покусывала жемчужными зубами длинный янтарный мундштук; гибкими пальцами, по-видимому, согревая вино, поглаживала стекло бокала, ее густо-черные веерообразные ресницы равномерно взмахивали то на Дицмана, то на Самсонова (это красивое, пугающее резковатой мимикой и яркой косметикой лицо, мнилось, неспособно было ни при каких обстоятельствах смутиться); и Дицман, высоко подняв бокал, говорил с живостью:

— Здесь, в кабачке «Веселая сова», не произносят политических тостов, он вне времени, здесь надо пить, есть, веселиться, танцевать и не думать о серьезных вещах. Пьем, ваш-ше здоровье!

— А я вот что вам скажу без политики,— вставила

Лота Титтель.— Интеллигенция всех стран, объединяйтесь! И никакого больше выхода нет, вот что верно, так верно!

— Интеллигенция — это не класс, госпожа Титтель,— заметил тоном насмешки Самсонов.— На какой позиции объединяться? На основе ревизионизма? Конформизма? На чем?

Она возразила:

— Наплевать на основы! Я — за интеллектуалов, даже за сумасшедших, они дают идеи, вот и все. И Христос был интеллектуалом, вот что я вам скажу!

— Ваше здоровье, госпожа Герберт,— сказал Никитин и, вдруг неудержимо подчиняясь начатому внутреннему разговору с ней, добавил без слов, одной лишь улыбкой в глазах: «Давайте сейчас выпьем за то, что мы встретились,— хоть почему-то от этого и грустно, но все равно, за это».

— Ваше здоровье, господин Никитин,— сказала она тихим голосом, и мягко искрящаяся длительная ответная улыбка, понятая им ясно, прошла в глубине ее глаз, тоже договорила без слов: «Давайте за то, что мы с вами помним, что было нашей молодостью. Я не хочу отказываться от того, что было».

— Появился мой отец, господин Дицман. Вы спрашивали о нем,— проговорил мальчик-официант, поставил бутылку на стол, и что-то нарушилось в его приятном лице, оно стало строже, бледнее.— Отец подойдет к вам...

— О, хозяин ресторана — веселый Алекс,— сказал Дицман Никитину.— Феномен Алекс, вы его сейчас увидите!

В это же время из красной полутьмы зала, из-за толпы танцующих вынесся маленький, толстый круглый человек с подносом на руке, вытянутой над совершенно лысой головой; стремительные его глазки излучали молнии счастья, доброты, жизнерадостности, подбадривали, подмаргивали кому-то справа и слева, посверкивали в пространство веселой отчаинкой; на нем был прекрасный черный костюм, черная бабочка, снежной белизны нейлоновая сорочка; он крикнул что-то тонким хриплым голосом под гром джаза, какую-то, видимо, остроту музыкантам на эстраде,— вокруг за столиками пьяно засмеялись; затем порывистым разбегом легко вскочил на стул и, виртуозно крутя над головой поднос, уставленный бутылкой и рюмками, горловым натужным голосом запел,

передразнивая певца, неистово завилял бедрами, изображая и пародируя телодвижения твиста, сейчас же вызвав во всем зальчике рев восторга, после чего кулаком ударил себя в грудь, закашлялся, спрыгнул со стула и с энергией человека, спешащего за отошедшим поездом, подбежал к столику Дицмана, умиленно и счастливо крича:

— Господин Дицман! Госпожа Титтель! Я вас от всего сердца приветствую в своей уютной, злачной и отвратительной дыре! Добрый вечер, господа, добрый вечер! Побывав в моем кабаке, вы все, все крикнете потом: «Да здравствует «Веселая сова»!» Госпожа Титтель, наша прекрасная Титтель, я вас, как всегда, с вашего позволения расцелую...

— Целуй, Алекс.

Она подставила губы, и господин Алекс поцеловал ее как-то по-клоунски смачно, звонко, таращась радостным изумлением, смеясь, моргая, кивая, и забегал, засуетился подле столика, начал мгновенно артистически протирать и расставлять новые рюмки. При этом он, не замолкая, говорил о погоде, о последней пластинке Лоты Титтель, об ее несравненном таланте, о бесподобных качествах чистой русской водки, принесенной им из холодильника специально для уважаемых русских гостей, потом сообщил даже, что со времен войны знает русский язык, с ужасающими гримасами краснощекого восторженного лица немедленно и безобразно доказал это, исковеркав несколько фраз: «Давай, давай... как дела, сажа бела», «на чужой рот не разевай каравай». Но когда он на секунду замолкал, весь добродушный, эдакий неунывающий дядюшка,— нечто незащищенное проступало в нем, и вид его напоминал чем-то смешного, уставшего мальчика, возбужденного всем этим шумом, музыкой, танцами, смехом, говором, неестественным ресторанным весельем, которое он обязан был ежеминутно поддерживать здесь. И покуда господин Алекс священнодейственно разливал из ледяной бутылки в мизерные рюмки водку женщинам, говорил, изображал жестами изумление, ужас, восторг, Никитин не без интереса смотрел на него, думая: «Вот таким оживленным он бывает каждый вечер? Откуда эта невероятная энергия? Жесты, улыбки, ужимки... Сколько ему лет? Под пятьдесят?»

— Господин русский писатель, я вижу по вашим глазам — вы обещаете задать мне какой-то вопрос? Простите, но задам вопрос я, как хозяин этого кабачка. Вам

приходилось в Гамбурге бывать в таких заведениях, где руками человека уничтожена цивилизация?

Господин Алекс, расплываясь радушным умилением, наполнил мастерским движением его рюмку, и маленькие, поощряющие к общению и шутке глаза этого живого толстяка доброжелательно заглянули в лицо Никитина, как несколько секунд назад заглядывали в лицо Дицмана и госпожи Титтель.

Никитин только засмеялся в ответ.

— Нет, в таком кабачке вы не бывали,— продолжал господин Алекс, уже забежав за спину Самсонова и наполняя его рюмку.— Здесь уничтожено время, здесь ничто не должно напоминать вам о том, что там, наверху, есть ужасная действительность.— Он пальцем показал вверх.— Здесь островок, отъединенный от безумного мира, здесь нет вонючей политики, мерзкой зависти, гнусного национализма! Здесь никто не распнет Христа, потому что вместо ржавых гвоздей я могу предложить только музыку, смех и вино! Вместо злобы я предлагаю улыбки. Когда люди много улыбаются, они становятся добрыми. Если бы люди старели только от смеха и улыбок, это было бы всеобщим счастьем! Не так ли? Сова — мудрость. Веселая сова — это веселая мудрость! Поэтому ко мне заходят и люди искусства! Но русские у меня впервые, и я от чистого сердца рад предоставить им свой кабачок! Веселитесь у меня! Радуйтесь! Смейтесь!..

— Может быть, я ошибаюсь, но вы... или бывший журналист, или бывший актер, господин Алекс,— сказал Никитин.— Я недалек от истины?

Господин Алекс закатил глаза, выражая испуг человека, потрясенного нежданным недоразумением.

— Нет, нет и нет! Я лишь клоун в своем ресторанчике. Я всю жизнь клоун. Журналист не любит людей и лжет, простите, господин Дицман, я имею в виду мрачных разбойников пера. А я клоун... Да, люби людей. Всех. И счастливых, и несчастных. И даже врагов. Всех люби. Сейчас не война...

— Евангелие от Матфея,— сказал Никитин.

— Я не читал Евангелие, прости меня бог, господин писатель!

— И даже врагов? — спросил Самсонов, сапнув носом, и заерзал, поправил очки.

— Всех! Иначе люди превратятся в машины, пожирающие друг друга. Кто будет тогда рожать детей? Кто будет продолжать человеческий род?

— Хм, весьма любопытно,— сказал Самсонов.

— Я клоун, да,— задребезжал квохтающим, хриплым смешком господин Алекс и топнул короткими ножками, выставил локти фертом, сделал комичные неуклюжие па, вызвав смех за соседними столиками.— Вот видите? Я хочу, чтобы у людей было настроение. Я не хочу грабить, лгать. Сейчас нет нацизма и нет войны. Я каждый вечер клоун здесь. Каждую ночь. Все смеются, и мне хорошо, как хорошо клоуну, у которого чиста совесть... Я стираю, я полощу свою совесть в смехе. Мне не нужно современного стирального порошка «ОМО»! Русские господа уже знакомы с моим прекрасным сыном?

И тут молчаливый, услужливый мальчик-официант, неслышно раскладывавший закуски на столе, поднял тщательно причесанную голову, и Никитину стало видно при свете свечей — капли пота бисеринками покрывали его ровно-белый лоб. Он сказал сдержанным голосом уважения и боли:

— Нет, папа, ты не клоун...

Господин Алекс всплеснул маленькими руками.

— Вы слышали, что говорит мой единственный, мой любимый сын? Он не хочет, чтобы я был клоуном. А я каждый вечер клоун, каждую ночь. А мой сын, студент, будущий адвокат, хороший сын, не хочет. В первый раз, когда мой сын пришел сюда помогать мне, он был потрясен, он чуть не плакал. У меня тоже разрывалось сердце. Он отвел меня за бар, погладил по щеке: «Папа,— говорит,— я не хочу, чтобы ты был клоуном. Ты ведь не клоун». А я сам чуть не плачу от жалости к нему и говорю: «Все клоуны, все, кто у меня в ресторане, прекрасные люди, а жизнь — клоунада. Но мне здесь хорошо... Я клоун, как и все!»

— Папа, я прошу тебя...— шепотом прервал сын господина Алекса и тотчас, на ходу составляя на поднос пустые кружки, отошел к соседнему столику, где рядом с целующейся парой молодой красивый негр доедал макароны и, жуя, вилкой выстукивал синкопы; негр знаком позвал его.

— Он прекрасный сын, единственный мой сын! — вскричал господин Алекс, сияя младенчески пухлыми щеками.— Но ему только двадцать лет, и он не знает, что были Маутхаузен, Бухенвальд и Освенцим, как знаю я. Почему я говорю об этом? В Америке живет мой друг, богатый человек, глава поп-арта. Я ездил к нему

в прошлом году. Он пригласил меня в гости. Он живет в Нью-Йорке — большой роскошный дом, а везде окна сделаны как решетки в концлагере, полосатые костюмы, вместо постелей — нары. Он не может забыть. Он сидел в концлагере вместе со мной. А мы ничего не можем забыть. И всё забыли. Все! Поэтому лучше быть клоуном, мы разные клоуны, но мы — клоуны. Я не признаю, нет, не признаю никаких национальностей: нет ни немцев, ни евреев, ни русских, ни американцев — все братья! Все равны, я всех люблю! Я всех жалею в этом страшном мире, где политика заставляет людей убивать друг друга! Господин русский, вы хорошо знаете этот вкус, попробуйте, и вы еще раз придете в мой кабачок выпить настоящей водки! У меня нет обмана.

И господин Алекс, семеня, бегая вокруг стола, поднес налитую рюмку водки прямо к губам Никитина, и тот непроизвольно взял из его энергичной руки рюмку, попробовал, озадаченный и смущенный излишним вниманием, сказал:

— У вас полагается дегустировать или в «Веселой сове» особое уважение к русской водке?

— Неподдельная чистая русская водка! — тонко вскричал господин Алекс, воздев к потолку глаза с видом счастливого ужаса.— Здесь нет воды! Это «Столичная»! Вы вспомнили Россию? Я знаю, как тосковали по России русские в концлагере. Я рад, что в моем кабачке вы вспомните Родину! И вспомните такую хорошую русскую песню... «Кат-тюшу» — про хорошую девочку Катюш-шу, которая любила яблоки и груши. Господа, приятного аппетита, я вас всех целую, я вас всех люблю! Вы — приятные мои гости, а я — ваш клоун! Я вас люблю!..

Господин Алекс поцеловал кончики своих пальцев, потряс ими в воздухе, как бы распространив этот поцелуй, эту любовь на всех, и, напевая, виляя толстым задом под такты джаза, помчался куда-то в глубину зала, встречаемый смехом, приветственными возгласами за столиками.

— Очень любопытно,— сказал Никитин.

— После войны,— заметил Дицман, нюхая сигарету расширенными ноздрями,— он был так напуган, выйдя из концлагеря, что сделал пластическую операцию носа. Вы видели, какой у него правильный арийский нос? Сделал операцию, купил кабачок и стал клоуном. Он

хочет, чтобы его любили все! Забавно, не правда ли?.. Прелестная Лота, напрасно мы сидим, я приглашаю вас танцевать.

— А возможно, чтобы и мы пошли танцевать? — улыбаясь, сказала госпожа Герберт.— Это не слишком для нашего возраста? Играют что-то медленное, но не знаю что...

— А, все равно! Главное — принять решение,— ответил Никитин, и его будто подхватила горячая зыбь бездумного озорства, непонятного, насмешливого мальчишеского вызова самому себе.— Правда, госпожа Герберт, я не занимался этим тысячу лет. Иду на явный риск. На мировой срам. На мировой позор. Но почему бы нет? Ты не возражаешь, Платон, пострадать несколько минут в одиночестве?

Самсонов отхлебнул вино из бокала, пробормотал пасмурной ернической скороговоркой:

— Надеюсь увидеть твист, шейк и танец живота — все вместе. Валяйте на здоровье, господа, веселитесь, а я понаблюдаю.

После взрывов и грома синкопов все сразу стало тихим, старомодным, даже сонным, озаренным мерцанием свечей,— в красноватом полусумраке усталые пары передвигались, плыли среди замедленного течения музыки, иные, обнявшись, дремотно ходили по кругу, иные в изнеможении чуть раскачивались на одном месте, потные, лохматоволосые парни, расхристывая курточки на «молниях», поворачиваясь возле своих столиков, то и дело хватали с них коричневые бутылки кока-колы, пили большими глотками, вытирали рты, передавали бутылки друг другу, но продолжали топтаться, утомленно подрагивать телом, как будто не могли остановить однообразную вибрацию ног.

Войдя в лениво-кругообразное течение толпы, Никитин внутренне изумился своей необдуманной дерзкой смелости — пойти танцевать с госпожой Герберт в немыслимом ночном кабачке где-то в Гамбурге! — и, подтверждая это наивное безумство, сказал ей:

— Хоть убейте, не знаю, что за танец, но вы уж подчиняйтесь мне, чтобы избежать конфуза. Я постараюсь вспомнить, как это делалось тысячу лет назад.

Она ответила ему согласной улыбкой, легонько погладив его по плечу, и он, ощутив ее осторожное прикосновение и ее спину в разрешенном и дозволенном объятии, запах сладковато-горьких духов, опять ясно представил

то утро и прохладную влажность вымытых туалетным мылом волос, когда она с покорным отчаянием обняла его в первый раз: «Ах, герр лейтнант!..»

— Госпожа Герберт, я заметил, что вы молчали и о чем-то думали...— сказал Никитин, стараясь не видеть чистую седину в ее волосах, а силясь сравнить, сопоставить случайное, когда-то бывшее в их молодости благостное утро и вот этот прозрачно-синий, устремленный в его зрачки взгляд, в котором ему хотелось увидеть и ее и себя из неправдоподобно другой, чудилось, приснившейся жизни, где была райская тишина без войны, теплая трава, счастье светоносного весеннего воздуха.— Госпожа Герберт,— повторил Никитин шепотом, заглядывая в переливающиеся блеском влаги ее глаза.— Я помню... я многое помню, госпожа Герберт...— Он помолчал, перевел дыхание.—...Даже то, как вы учили меня произносить по-немецки «шметтерлинг». Было солнце, раннее утро, в окно влетела бабочка. Помните? Потом эта фраза: «Лерне дойч, лерне дойч...»

— Лерне дойч?..— шепотом выговорила госпожа Герберт.— Вы помните? О господи...

Ее пальцы повлажнели в его пальцах, ослабевшие колени стукнулись о его колени,— и это проявление какого-то невнятного страха и нескрытой радости пронзило Никитина зябким дуновением: неужели она до сих пор не забыла слова, которые они говорили тогда друг другу? Он сказал быстро:

— А вы помните, как я учил вас нескольким русским фразам?

Она засмеялась, приготовленно округлила губы и, разделяя слоги, выговорила по-русски:

— До сви-дань-я... н-не забы-вай мень-я.— И, сделав паузу, пожимая его руку влажными пальцами, прибавила: — Я льюблю т-тебь-я... Так? Так?

Никитин не ожидал, что она могла сказать эти слова, произнесенные им в ту майскую ночь, когда они поочередно писали на листе бумаги русские и немецкие фразы, веря и не веря, что должны надолго расстаться. Но, неизвестно почему, сейчас, все-таки пытаясь уйти от серьезного поворота в разговоре, он пошутил:

— Когда в университете я изучал немецкий язык и, конечно, заваливался не раз, то вспоминал вашу фразу: «Лерне дойч, лерне дойч». Оказали на меня влияние, вот видите как...

— Вы хорошо говорите по-немецки,— сказала она и,

явно колеблясь, спросила неуверенно: — Ваша жена... она кто по профессии?

— Она врач. А... ваш муж?

— Он умер в пятьдесят четвертом году. Мы прожили вместе четыре года.

— У вас есть дети?

— Одна дочь. Но она не живет в Гамбурге. Вышла замуж и уехала с мужем в Канаду.

— А ваш брат? Я смутно помню вашего брата. Кажется, его звали Курт? Где он?

— В Дюссельдорфе. Он известный адвокат. Имеет свою контору. Много дел, много работы. Перед вашим приездом я звонила ему, он очень хотел приехать в Гамбург, но не смог.

— Скажите, я хотел вчера подробно расспросить, каким образом именно вы пригласили меня на дискуссию? Как вы узнали? Неужели по фотографии?

— Я увидела вашу фотографию на книгах, которые издавались на Западе. Ваши романы проходили через мои магазины. Только после этого я их прочитала.

— И меня можно было узнать на фотографиях?

— Да. Я узнала.

— У вас лучше память, чем у меня. Слишком многое наслоилось в моей памяти после войны. Слишком много было всего. В общем — больше половины жизни прошло, хотя об этом нет времени подумать, к сожалению.

— Я сильно изменилась, господин Никитин? Вы меня не узнали... Я совсем другая? Не та Эмма, правда?

— И я не тот лейтенант Никитин, которому было море по колено.

— Нет, для женщины срок в двадцать шесть лет — целая жизнь. Вот это и есть правда, о которой вы говорили.

— Этот срок я чувствую тоже. Иногда по утрам, во время бритья, смотришь на себя в зеркало и с наивной самозащитой думаешь: виски седые, но еще до пятидесяти чуть-чуть не дошло. А в сущности-то главные годы — там, за зеркалом... Истина довольно банальная, хоть некоторые, дожив до шестидесяти, часто оспаривают ее. Но до шестидесяти дожить надо...

— Вы говорите «главные годы»? А я думаю, я уверена... Вы должны быть счастливым человеком, у вас семья, работа, вы известны... Разве у вас не все хорошо?

— Более благополучного человека, чем я, нет.

— Вы сказали в шутку или серьезно?

— Я хотел вас спросить... Скажите, вы всё понимали, что происходило тогда в вашем доме среди русских?

— Я боялась за Курта, за себя. Я знала, что вы меня спасли.

— Вам помог, если говорить о прошлом, не я, а лейтенант Княжко, помните того лейтенанта, который хорошо говорил по-немецки?

— А я знала, что вы меня спасли. Тот лейтенант был строг и очень серьезен, признаться, я боялась его, а вы...

— Таких, как лейтенант Княжко, я больше не встречал в жизни, мне его очень не хватает до сих пор. Но такие погибали, как правило. Это уж какая-то страшная была закономерность.

— А вы, слава богу, остались в живых.

— Мне повезло... Когда нет таких, как лейтенант Княжко, то нет и настоящих друзей, и вообще многое в мире тускнеет. Я его настолько не могу забыть, что до сих пор он мне снится. А утром чувствую такую горечь, что места себе не нахожу. Как после смерти своего сына. Простите. Мы говорили о Княжко, и я, кажется...

— У вас... умер сын? Когда?

— Четыре года назад. Тогда я едва не потерял и жену, единственного друга: у нее началась нервная болезнь. Подождите, мы говорили о Княжко, о том лейтенанте, моем военном друге. Вы его, конечно, помните...

— О, я не буду ничего спрашивать. Я понимаю, как ваша жена... и вы... Я понимаю, почему у вас бывают грустные глаза, да, я заметила, извините. Я не подумала, когда сказала, что вы должны быть счастливым человеком. Извините, пожалуйста, меня. Может быть, нам пора сесть, выпить вина? Мы долго танцуем. Я уже хочу выпить и очень хочу курить. Да, да, здесь душно... но мне как-то немного холодно...

— Вы нездоровы, госпожа Герберт? У вас действительно ледяные руки. Вы, вероятно, плохо себя чувствуете?

— Нет, нет, это тоже нервное. У женщин бывает такое нервное. Я просто, как вы сказали, вспомнила свои лучшие годы. Но их нельзя назвать годами. Это были дни... Какой-то детский мираж, какой-то сон... Господин Никитин, вы слушаете музыку? По-моему, сейчас танцуют твист или шейк. Мы мешаем молодым... Давайте лучше сядем, выпьем вина и покурим.

— А руки у вас не согрелись — ледяные...
— Выпью вина — и все пройдет. Я немного устала.
— Тогда давайте сядем.
— Простите, господин Никитин, ваш коллега господин Самсонов, несомненно, решительный человек, знает, что мы с вами были когда-то знакомы?
— Это не имеет значения. А что?
— И вы не хотели, чтобы он подробно знал?
— Я об этом не успел подумать.
— Благодарю вас. Пойдемте к столику.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Они вышли из убыстренного круговорота танцующих и подошли к своему столику; Дицман и Лота Титтель еще танцевали, Самсонов, скрестив на груди руки, сидел в одиночестве.

— Не показали вы ни твиста, ни свиста, ни шейка, ни бебейка... как это там по-современному называется,— сказал он.— Скромничали, не по моде скромничали...

— Господин Никитин, налейте, пожалуйста, мне вина,— попросила госпожа Герберт, торопливо доставая сигарету из пачки, а когда Никитин налил ей вина и она, словно утоляя жажду, отпила несколько глотков, ему явственно послышалось — зубы ее позванивали о край стекла. И Никитин опять спросил:

— Вы нездоровы, госпожа Герберт?

— Здесь, в подвале, как-то душно и сыро,— сказала она вскользь и, прикуривая, извинительно посмотрела на него поверх желтых венчиков свечей.— Простите, господин Никитин, это бывает со мной... Я устала немного. Этот джаз, шум, теснота... Господин Алекс был прав: да, да, клоунада...

— Одуреть можно,— подтвердил Самсонов.— С ума сойти... Вакханалия двадцатого века. Для этого веселья нужны крепкие нервы и кашу овсяную надобно есть.

Она беззвучными глотками допила вино, и Никитин снова подлил ей, замечая и знобкую дрожь, которую она не умела скрыть, и этот ее взгляд прямо в лицо ему, где боролись улыбка и нерешительное желание сказать что-то,— вероятно, присутствие Самсонова мешало ей сейчас.

— Я хотела бы, господин Никитин...

«Эмма, прежняя Эмма, глаза остались те же, всё —

в глазах»,— подумал Никитин, и нечто еще, тихое, мягкое, беззащитное, проступавшее в ее синеющем взгляде и особенно в голосе, совсем уже слабое, женское, внезапно тронуло его смутной нежностью к этой немолодой Эмме, в которой еще сохранилось, еще жило, не обманывало его прежнее, давнее, узнанное. Но не было ли все это — лишь результатом воображения, растревоженного воспоминаниями военной молодости: ведь внешне Эмма изменилась так, что он не узнал ее...

— Я хотела бы... извиниться перед господином Самсоновым,— продолжала госпожа Герберт виноватым голосом.— Мне необходимо быть дома через полчаса. Но я могла бы вас обоих подвезти на машине до отеля, если вы устали. Думаю, что господин Дицман и госпожа Титтель будут здесь веселиться долго. Они любят этот кабачок Алекса... Можно уйти по-английски,— прибавила она.— Не прощаясь. Это входит у нас в моду.

— Госпожа Герберт! Я ваш союзник! — не в меру горячо поддержал ее Самсонов.— Больше всего на свете мечтаю добраться до отеля, подняться на лифте, открыть дверь номера и нырнуть в постель...

— Конечно, конечно,— задумчиво сказал Никитин, почти догадываясь, почему заспешила она, и поглядел на толпу танцующих.— Но так или иначе — надо проститься.

Вновь заторопился ритм несмолкавшей музыки, вновь взорвался в убыстренной неистовости ритм танца — озаренные свечами пары соединялись, отталкивались, расходились, сходились, как бы разговаривали извивами ног, движениями тел,— мелькали потные молодые лица, мотающиеся волосы, изогнутые шеи, снующие локти, тряслись, вихляли обтянутые джинсами бедра, хлестали по коленам юбочки,— и Никитин наконец нашел в хаосе тел тоненькую, по-змеиному гибкую фигурку Лоты Титтель — быстрыми и легкими наклонами она вызывала Дицмана на что-то, смеялась, показывала на свою грудь, на свои плечи, а он с замкнутым, углубленным выражением, сверкая узконосыми ботинками, ударял каблуком о каблук и делал механически рубящие жесты ладонями, будто бежал на месте. И стремительно носился по зальчику, трагически-радостно вытаращив глаза, господин Алекс, хозяин кабачка, маленький, толстый, розовенький, комично кричал в громе музыки какие-то остроты и танцующим, и музыкантам, и тем, кто сидел за столиками, расплываясь в дыму белыми овалами лиц, и всюду громко хохотали при каждом появлении его, при каждой

его выкрикнутой для всех остроте: вечер здесь был, как видно, в самом разгаре.

Никитин подождал, когда Дицман приблизил бег на месте к крайним столикам, подал ему знак, нарисовав в воздухе пальцами шаги, и тот в ответ изобразил бровями удивление, затем прекратил бег, сказал что-то покачивающей узкими плечами Лоте, взял ее под руку — и они немедля подошли. Лота в изнеможении опустилась на стул с возгласом: «Это отличная гимнастика!» — извлекла из сумочки зеркальце, уголком платочка обтерла под глазами, сказала возбужденно:

— Твист и шейк, господин Никитин, говорят сейчас,— профилактика от рака. Но вот что: если я заболею этой страшной болезнью, то поеду умирать к своим полякам!

— Не приведи бог, как говорится, но в этом страшном случае можно поехать и в Россию: представьте, у нас неплохие врачи,— сказал Самсонов полусерьезно и сейчас же скептически воззрился на запыхавшегося Дицмана.— Твист, надо полагать, еще рождает и прекрасные мысли о смысле человеческого существования? И вы, интеллектуал, так часто думаете ногами? Помогает?

— Хотите меня в чем-то упрекнуть? За что? Я нравственно пал? Убил непорочного младенца? Не слишком ли вы строги ко мне, господин Самсонов. Я очень не хотел бы, чтобы вы относились ко мне предвзято.

«Черт его дери, непризнанного апостола эдакого,— неожиданно для себя внутренне вскипел Никитин и даже сцепил зубы от злости.— Что его надирает со своей ядовитостью лезть во все?» И Никитин проговорил, опережая готовый некстати начаться спор между ними:

— К большому сожалению, нам пора в гостиницу. Согласен с вами — в этом ресторанчике есть что-то интересное, господин Дицман. Благодарю вас за гостеприимство.

— Клоунада, господин Никитин, клоунада,— вставил по-русски Самсонов с едким нажимом.— Говори, говори... о благочестивый отец...

— Прошу вас, господин Дицман, и вас, госпожа Титтель, не проявлять лишней заботы и не провожать нас. Вы и так сделали для нас много,— весело договорил Никитин, пропустив мимо внимания слова Самсонова.— Госпожа Герберт уже любезно согласилась нас подвезти. Вам нет смысла прерывать вечер... Я просто умоляю вас, господа! Без чопорных обязательств и официальности. Хорошо?

Он встал.

— Разумеется, мы еще повеселимся,— подтвердила Лота Титтель, смыкая и размыкая мохнатые ресницы.— Но вот что я вам скажу, господин Никитин, насчет дискуссии,— в некоторых вещах вы здорово потрепали холку господину Дицману. И он в этом мне признался. В некоторых вещах. До свидания. Поцелуйте мне руку. В Польше целуют женщинам руки. Говорят, и у вас в России... В зажравшейся Германии это не всегда делают. Я послезавтра уезжаю в Кельн, но до отъезда хочу с вами еще увидеться.

— Благодарю вас, госпожа Титтель. Мне было приятно в вашем обществе.

Никитин поцеловал ей руку, невесомую, длинную, с перламутровыми пикообразными ноготками (она, задорно прикусив губу, уколола его ноготками в ладонь), пожал руку Дицману, вскочившему почтительно; живая, подвижная улыбка его разгоряченного танцами лица выражала дружелюбие,— при этом он щелкнул каблуками и нашел нужным пошутить, как позволено шутить между давними знакомыми:

— А между тем, господин Никитин, и здесь, в кабачке господина Алекса, вы не решились познать до конца истину, как и на той улице с девочками...

— Я подумаю об этом,— тоже отшутился Никитин.— До утра подумаю. У меня есть время.

Подымаясь из-за стола следом за госпожой Герберт, Самсонов простился вежливо-сухим кивком человека, не допускающего фамильярностей, и, подчеркивая сдержанную вежливость, молча подал ей плащ, висевший на спинке стула, а когда они вышли из неумолчного грохота джаза, шума, криков, смеха, из теплого ритуального мерцания свечей в сыром подвальчике на плохо освещенную улицу, осенний воздух был промозгло влажен, ветер под тусклыми фонарями волочил по тротуару обрывки затоптанных листков, цветные фотографии обнаженных девиц в черных чулках и с вызывающе пышными грудями — остатки реклам, занесенных сюда ночными сквозняками Сан-Паули.

— Признаться, я устала от шума и музыки у господина Алекса,— говорила госпожа Герберт Никитину; он сидел справа, вполоборота к ней и Самсонову, сопевшему в темноте на заднем сиденье.— Я была там первый раз,

потому что люблю тихие рестораны, где можно отдохнуть от общего сумасшествия.

Шел первый час ночи, и после бессонного, сверкающего огнями Реепербана, уже несколько обезлюдевшего, уже реже чернеющего толпами перед неоновыми вывесками ночных кабаре, перед барами, где уже давно взбивались на льду коктейли, стриптизами, где раздевались на сценах девицы, демонстрируя позы, варианты и вариации любви, заученно улыбаясь в полумрак накуренных залов, проступающих многоглазыми лицами; кинотеатрами, где крутились за пять марок ленты шведских фильмов все о том же, после буйно и неестественно веселящегося в этот поздний час Реепербана — огненной пустыни человеческой плоти, с охрипшими возле дверей зазывалами, с одинокими проститутками около афишных будок на углах,— центральные улицы Гамбурга, заставленные до утра машинами вдоль тротуаров, показались холодными, безжизненными, погруженными в темноту, несмотря на разлитый по тротуарам белый свет витрин закрытых магазинов, мимо которых, обнявшись, брели запоздалые парочки.

— Я немножко оглушена,— продолжала госпожа Герберт мягким голосом.— Я хотела, чтобы мы посидели в более тихом месте, где хотя бы слышно друг друга... Если вы не против, господа, я завезу вас в очень тихий домашний ресторанчик выпить по чашечке кофе. И прийти в себя от шума. Надеюсь, вы не против, господа?

«Странно,— подумал Никитин.— Она ведь схитрила, нашла предлог, чтобы уехать от слишком шумного господина Алекса. Ей не хочется домой, как мне не хочется в гостиницу. Странное ощущение — точно меня тянет, толкает что-то угадывать в ней...»

— Я еще способен пить кофе и, пожалуй, изучать ночную жизнь капиталистического Гамбурга, невзирая ни на что,— сказал Никитин и взглянул на Самсонова, нервно и широко зевающего в снятый берет.— Ты как, Платон? За?

— Пас-с,— выдохнул, оборвав зевок, Самсонов.— Никаких тихих ресторанов, хочу спать. Сыт ночной жизнью по горло. В отель, в отель. На сегодня нам хватит, благодарим вас.

Последняя фраза — «на сегодня нам хватит, благодарим вас» — несла в себе ответ за двоих, смысл спокойного благоразумия, утоленного любопытства, и госпожа

Герберт не возразила, не осмеляясь настаивать, только рукой в перчатке потерла запотевшее стекло, по которому косматыми кругами расплывались, скользили ночные огни затихших улиц, пробегали световой паутинкой по ее лицу. Никитин сказал:

— Мы сделаем так. По принципу не Самсонова, а Соломонова решения. Завезем пресыщенного русского писателя в гостиницу, а сами поедем пить кофе в тихий ресторанчик. Я принимаю ваше предложение, госпожа Герберт.

— Мальчишество,— недовольно заговорил по-русски Самсонов.—Бессмыслица. Не понимаю твои разгульные замашки. Зачем? Остановись в конце концов. Госпожа Герберт,— обратился он к ней по-немецки.— Прошу вас как женщину отменить ваше гостеприимное предложение, иначе завтра господин Никитин сляжет с сердечным приступом... Запасы его здоровья я знаю. Ему спать надо. Валидол и снотворное принимать, а не по кабачкам шататься.

Она поправила зеркальце, ловя в нем отражение Самсонова, и, опять не возразив ему, несмело сказала Никитину:

— Это займет у нас не больше часа. Но если вам нельзя, если господин Самсонов...

— Господин Самсонов — человек железной воли, степенный, аскетический, пророк строгого режима, кроме того, с младенчества терпеть не может кофе,— сказал Никитин.— Поэтому мы простимся с ним возле гостиницы, как бы это ни было для нас морально тяжело.

Самсонов незамедлительно загудел русской скороговоркой:

— Пал ниц от твоей остроты, долго приходил в себя, вспоминая, на каком свете я нахожусь... Мое дело — напомнить ему, госпожа Герберт,— добавил он по-немецки.— Выводы делает он сам. С присущей ему опрометчивостью.

— Сделал. Обливаясь слезами. Не заставляй меня захлебываться рыданиями. Мы приближаемся к гостинице. Ты не заснешь от сожалений при мысли о кофе.

— Один вывод я уже слышал сегодня,— притворно зевнул Самсонов, елозя затылком по спинке сиденья.— Как там? Человечество... ах, да, да... не знает всей правды. Я потрясен, госпожа Герберт, неизмеримой глубиной заявления моего коллеги. Я поумнел на десять лет. Не могу прийти в себя, потрясен, ошарашен этой философской формулой. А вы? Согласны вы с ним?

Она ответила тихо:
— Господин Никитин прав. Никто не знает...
— Ах, никто? А где же непреложные истины? Значит, до сих пор все человечество бродило и бродит в тумане? Слепцы? Ищут и не находят? Тыкаются носами в разные углы, как щенята?
— За исключением одного человека, Платоша,— сказал полусерьезно Никитин.— Но дискуссия окончена... Мы подъезжаем, дорогой оппонент. Гостиница закрыта. Швейцар спит. Позвони. Дай ему марку. Поблагодари. Тебе откроют. И даже подымут на лифте. Пока этой истины достаточно, чтобы добраться до уютного номера.
Они свернули с центральной улицы за угол и подъехали к отелю, благопристойно спящему, погасшему окнами на всех этажах, и в вестибюле за его стеклянными стенами были по-ночному потушены бра, слабо светил матовый плафон над стойкой с ящичками для ключей, и вестибюль без портье и в особенности безлюдные тротуары, темные машины у подъезда напомнили Никитину о позднем времени, об усталости, о том, что прошли еще короткие и бесконечные сутки его жизни. Но спать ему не хотелось, он не смог бы заснуть сейчас в номере, один в пуховом ковчеге постели, подчиняясь покойному обыденному здравомыслию,— он знал это по прошлой ночи. Тишина и ожидание бессонницы в необжитом номере пугали его навязчивым беспокойством одиночества.
— Прошу об одном: вернешься — позвони,— забормотал мрачно Самсонов.— Ну смотри, философ, смотри! Все кончается, и наступает похмелье. Прощайте, господа!..
Он натянул на взлохмаченные волосы берет, ожесточенно кряхтя, вытащил свое тяжелое тело из машины, вперевалку пошел к подъезду закрытого отеля; здесь немного постоял, нашарил кнопку звонка, и вскоре за стеклом двери появился силуэт разбуженного портье; Никитин сказал:
— Все в порядке. Можно ехать.
— Господи,— проговорила госпожа Герберт, роясь в сумочке.— Как хорошо, что вы приехали в Гамбург!.. Как я рада, что вы здесь, в Гамбурге. Не знаю, рады ли вы, но я рада... Хотите? Давайте две минуты посидим вот так и покурим.
Она вынула сигареты, он зажег спичку. Она прикурила и, прикуривая, благодарно поглядела сбоку размягченными, теплыми, как летняя озерная синева, глазами,—

и он снова увидел вблизи те, прежние, пропускающие до глубины глаза Эммы, сохранившие, мнилось, солнечный отблеск юности, радостное мгновение утра, что осталось в его памяти свежей и яркой зеленью лужайки перед домом, «студебеккерами» под соснами, росистым запахом яблонь, буйно цветущих в садах майского Кёнигсдорфа, старинным брусчатником площади вокруг кирхи, залитой утренним солнцем, солдатами, уютно покуривавшими на еще прохладных плитах... Странно — всё и напоминали, и выражали ее глаза, даже движение бровей, когда время от времени она чуть дольше, чем позволяло их настоящее положение, вглядывалась в него. Но еще страннее было то, что он чувствовал, как что-то сдерживало и необоримо тянуло угадывать изменения ее лица, шевеление губ, произносящих обязательные и необязательные слова, будто тайно смотрел через светлую щелочку назад, в туман пространства и внутрь себя, томительно наслаждаясь грустным возвращением в некий счастливый, отмеченный жизнью срок, когда он и Княжко шли по тротуару мимо железной ограды под нависшей над головой сиренью.

— Вы бывали в Риме, господин Никитин?

— Да.

— И конечно, любили гулять по площади Навона?

— Да. Это прекрасное место.

Она затолкала в пепельницу недокуренную сигарету, не глядя на него, улыбаясь загадочно.

— Сейчас у меня такое же настроение, как на той прелестной площади, где всегда тихо в солнечный день. Немного грустно, весело и немного тревожно. Потому что не там живешь. А... вы? — Она повернулась к нему.— А вы... Что вы чувствуете? Простите, я уже осмелела и спрашиваю у вас о том, на что, может быть, не имею права.

— Спрашивайте... Мне сейчас тоже почему-то грустновато,— ответил Никитин.— Спрашивайте.

Она помолчала, разгладила на пальцах кожаные перчатки.

— Вам грустно? Здесь? В Гамбурге? Потому что вспомнили Рим? Или Москву?

— Нет, грустновато... потому...— Никитин попробовал найти нарочито неточное по ощущению слово, а оно, это ощущение, останавливающей угрозой мерцало в нем, и ответ его мог показаться ей опасно откровенным, чересчур искренним, и он с задержкой договорил: — Потому

что грустновато.— Он засмеялся.— Грустновато мне бывает всегда глубокой ночью в чужих городах. Все спят, и город кажется пустым, мертвым, как брошенные последними людьми поселения на другой планете. Вот отчего...

— Господи, зачем они все спят? Какие жалкие, экономные люди, эти немцы! Они экономят марки и в своих снах! — Она тоже засмеялась, показала взглядом на темные окна в угрюмом провале улицы.— Как можно так терять время? Мы едем с вами в Рим. Мы богаты. У нас автомобиль. Мы можем кутить всю ночь. Сколько хотим. А к утру вернемся из Рима в Гамбург, который будет уже просыпаться, и не так будет грустно.

Он не понял:

— В Рим? Каким образом?

— О, этот ресторанчик называется «Навона». Рим в Гамбурге. Или вы хотите куда-нибудь в Сан-Паули? В кабаре? Посмотреть на красивых молодых женщин?

— Нет, давайте-ка в Рим.

— Я ваш шофер на всю ночь и домчу вас со скоростью... со скоростью американских вестернов. Вы любите вестерны?

— Не очень.

— Все равно.

Она наклонилась, тихонько сделала какое-то усилие ногами, и ему послышалось: внятно стукнула о педали одна снятая туфля, потом другая; она толчком ноги быстро задвинула их под сиденье, и он спросил, удивленный:

— Вам не холодно будет в чулках?

— Так лучше ощущаешь скорость. Я так делаю иногда ночью.

Маленький ресторан «Навона», куда они приехали, был действительно по-домашнему тихим, полупустым — прохладно белели крахмальные скатерти на столиках, отделенных друг от друга деревянными барьерами, спокойно и неярко горели настольные лампы под голубыми абажурчиками, выступали в тени акварели и фотографии Рима на обтянутых цветочной материей стенах, и где-то в таинственной глубине зала еле разборчиво, успокоительно струилась в тепле, шуршала музыка (она была, и будто ее не было), точно осторожно пойманная из другого, благодатного мира давней старины,— здесь все было

чисто, размеренно, приятно, здесь не разговаривали в полный голос,— и весь этот уют ресторанчика, с его наглухо зашторенными окнами, нагретой тишиной, нарушаемой лишь дремотным ручейком журчащей музыки, вообразился Никитину островком успокоения, умиленной мечты о милом прошлом, таком покойном, добром, порядочном среди современного ночного Гамбурга, бурного хаоса Реепербана, который ни часу не спал, болезненно неистовствовал, веселился в двух кварталах отсюда.

— Вы не возражаете, господин Никитин, если мы возьмем коньяку и кофе? Меня все-таки немножко знобит,— сказала госпожа Герберт после того, как они сели за столик и юная девушка в передничке непорочной белизны походкой застенчивой горничной подошла к ним, распространяя на обоих приветливым взором лучи доброты.— Наверно, сегодня мы можем выпить еще немножко?

Он ответил, замечая про себя нечто новое, смелое, появившееся в ней:

— Как вы потом поведете машину? Найдете руль?

— О, это не проблема! — Она улыбнулась и потом, когда принесли коньяк и кофе, густой, горячий, в фарфоровых чашечках, сказала, задумчиво разворачивая хрустящую обертку на плиточках сахара: — Что бы ни было злого на земле, господин Никитин, богу нужно было, чтобы вы приехали в Гамбург. Я представляла вас другим... да, другим, и боялась, что вы сделаете вид, будто ничего не помните. Тогда мы были так молоды... да, тогда были лучшие годы, как вы сказали, которые у нас за зеркалом... Ведь я не та восемнадцатилетняя Эмма, я— «госпожа Герберт», я постарела на двадцать шесть лет. Я стала теперь думать об этом. Все чаще стала думать: а что же было главное в моей жизни?

— Давайте выпьем за лучшие годы,— сказал Никитин. И вдруг заговорил с полувеселой, полугрустной откровенностью: — С некоторых пор я тоже все чаще думаю об этом. Уже оглядываешься назад — а что, что там было? Так ли жил, как хотел, как представлял, когда вернулся после войны? Многое оказалось не так. Очень уж много было ошибок и глупостей, о чем стыдно вспомнить. Но в то же время— плохое забылось и забывается, и остались студенческие годы, женитьба, рождение сына, первый успех, первая поездка за границу в пятьдесят восьмом году. Все первое... Поэтому прошлая жизнь кажется и чрезвычайно краткой, и чрезвычай-

но длинной — иные годы выступают смутно, как в тумане.

— А война? — вполголоса напомнила она и попросила виновато: — Только без политики, если вам будет удобно... если так можно объяснить...

— Война без политики? — повторил Никитин.— Это невозможно. То есть я понимаю, что вы хотите спросить. Я ненавижу войну, но мне порой до тоски не хватает людей, с которыми я встречался на войне, всех — плохих и хороших. Всех, кого я знал. Почему так — ответить не совсем просто. Наверно, потому, что мы, плохие или хорошие, очень нужны были друг другу. Мы были как братья в одной семье, что-то в этом роде. Вот господин Алекс сегодня сказал: люби друзей и врагов.— Никитин помолчал в раздумье.— У меня нет этого христианского чувства, но война кончилась, прошло много лет, и я почувствовал, что людей лучше тех я потом не встречал. Это ностальгия поколения. Понимаете? Мне все время нужен был такой друг, как лейтенант Княжко. До сих пор нужен. И такого, как Княжко, нет. А наше поколение выбили. Почти всех. Наверное, особенно поэтому я их люблю и не могу забыть. Даже, кажется, и того сержанта Меженина... Вы должны помнить его... тот, который застал вас тогда в мансарде...

Она подняла брови, слушая его пристально.

— Вы их любите? Даже того сержанта? Как я помню, вы в него стреляли, и вас арестовали... арестовали в тот день?

— Он был искренен в своей ревности ко мне,— ответил Никитин.— Знаете его судьбу? Он досадно погиб после войны. Одиннадцатого мая. В Австрии. Кто-то в лесу обстрелял машину. В машине ехали четверо, а погиб он один. Это можно было предположить еще в Кёнигсдорфе во время последнего боя... Он был уже приговорен тогда. Страшно звучит, но это так. В конце войны он слишком хотел выжить. Когда сообщили, что он погиб, мне долго было не по себе. В его смерти было что-то роковое, и я как будто был причастен к этому.

— Я хочу еще выпить. Я сегодня совершенно не пьянею,— сказала она и жестом подозвала к столу девушку в передничке.— Прошу вас, фрейлейн, двойной коньяк.

— Да, госпожа Герберт. Одну минуту.

Между тем ресторанчик постепенно наполнялся ночными посетителями, появлялись за столиками одинокие

пожилые женщины, солидные пары, приехавшие сюда на чашку кофе, на поздний ужин, по-видимому, после кино или кабаре, голубели в дымках сигарет абажурчики ламп, шелестели меню, слегка позванивали расставляемые приборы, приглушенно плыла как бы дальней стороной музыка, и все так же было несуетливо, размеренно уютно, будто задернутые на окнах занавеси, обитые материей стены, увешанные солнечными акварелями, цветными фотографиями Рима, прочно охраняли этот нерушимый, вне времени, домашний ковчег, это убежище тишины и душевного успокоения. И Никитину пришла мысль, что госпожа Герберт выбрала и полюбила уголок отдохновения «на Навоне» (самой тихой римской площади), которая присутствовала здесь на фотографиях, но, вероятно, знала, что своим выбором обманывает себя, желая обмана, и вся ее жизнь представилась ему несоответствием куда-то несущего, бездумного удовольствия, скорости (скинула туфли и, не притормаживая, мчала машину по заснувшему Гамбургу) и какого-то несбыточного ожидания воображаемого, ушедшего навсегда старинного покоя, где все твердо стоит на незыблемых местах. «Вот я уже придумываю ее жизнь,— подумал он, с сомнением развязывая тайный узелочек, мучимый любопытством к тому, о чем она не говорила.— Жизнь Эммы, которая стала госпожой Герберт,— нет, тут я могу ошибиться, нафантазировать небылицы».

— Я хотел бы,— сказал он и подождал, пока отойдет девушка в передничке, аккуратно поставившая перед ними рюмки, наполненные коньяком,— я хотел бы, чтобы вы позволили мне задать вам несколько вопросов... в обмен на любой вопрос, который вы зададите мне.

— Я согласна на обмен, если только смогу.

Он спросил:

— Как вы жили после войны? Я хорошо помню, что ваш брат и вы хотели уйти в Гамбург. Он ушел без вас, вы остались... А потом? Вы нашли брата?

Она посмотрела долгим взглядом внимания и отвела глаза, а когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности.

— Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы. И нашла брата, застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване и совсем не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир и сжег его в камине, стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнат,

кричать, что придут русские и его расстреляют. Это было ужасно. Через месяц он выздоровел.

— Ваш брат показался мне болезненным и нервным парнем,— сказал Никитин, туманно вспоминая не черты его лица, а что-то сутулое, длинное, серое, одетое в широкий, не по росту, мундир, нелепо висевший на узких плечах.— Но бог с ним, с вашим братом... Ну а вы как потом? Учились в университете?

— Курт на два года младше меня,— продолжала она, неловко, поспешно оправдывая мальчишескую неполноценность брата, запомнившуюся Никитину.— Нет, я не закончила университет, надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж. Только...— Она грустно улыбнулась уголками губ.— Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на десять лет, умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной... мне надо было устраивать жизнь. Три больших книжных магазина, большая квартира, две машины — я стала богатой женщиной. Лучшее было — рождение дочери. Это было самое лучшее после войны. Самое лучшее... Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер, дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь, совсем незаметно... Сейчас вспомнила: в вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь. И ищет ответ, и не находит. Так у вас написано?

Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения от ее слов и насильно ровного ритма голоса и, испытывая необъяснимо острую потребность узнать главное в чужой, неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности:

— И все-таки, вы были когда-нибудь счастливы? Понимаю, конечно, когда человек задумывается, счастлив ли он, то он уже несчастлив...— Он внезапно рассердился на себя за не-дозволенное приличием любопытство и добавил: — Простите, я не хотел задавать этот неделикатный и сложный вопрос!.. Это, простите, отчаянная глу-

пость! — И в воздухе поставил пальцем крест.— Зачеркните красным карандашом мой вопрос. Пожалуйста!

Она опустила глаза, проговорила:

— Почему? Вопрос простой. Ответ сложный. Я помню, вы просили меня быть откровенной. И мы должны быть сейчас откровенными. Потому что мы не говорим о политике. О, как я ненавижу политику, которая так надоела и так мешает людям, мешает тысячи лет! — Она притронулась к рюмке с коньяком, медленно поводила донышком по скатерти, но тотчас, мигом решившись, заговорила принужденно-весело, тоном вызывающего задора: — Все было когда-то давно. Когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая Золушка. Веснушчатая дурнушка. И когда совсем быстро, в несколько дней прошла там война. И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров, и действительно сначала она пережила ужас — там... в мансарде. А потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмме читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон,— когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но... представим себе, что мы и сейчас в Риме! И у нас нет никаких забот и никаких вопросов... Хорошо?

Она засмеялась, беспечно-наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки, он же видел: по горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения,— и вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще-пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, не забытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен и ее неожиданной искренностью, и ее обороняющимся смехом, и этой судорогой горла.

Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего наваждения, какое бывает только в юности,— до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости

и было прочнее, счастливее, чем прожитое в поздние годы? И ему недоставало отчаяния поверить — неужели в ней, госпоже Герберт, сорокачетырехлетней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя восемнадцатилетняя Эмма? И тот русский лейтенант, «мальчик-рыцарь», «бабочка из России», был он сам, теперь сорокасемилетний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысяч разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой «фронтовой» любви, оглушившей его тогда...

— Госпожа Герберт! — проговорил он.— Госпожа Герберт...

И замолчал.

В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью, а она, покачивая коньяк в рюмке, все смотрела и ждала с проказливо беспечным видом, словно бы между прочим, необязательно напомнила ему минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Только глаза не выдерживали фальшивой игры, искорки смеха гасли в них, и она, силясь уже притупить что-то, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила:

— Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, многое было таким наивным, таким... немножечко романтичным, смешным, не правда ли?

Он ответил:

— Смешным? Нет. Смешного было мало. Наоборот.

Она поправилась, удерживаясь на легком тоне:

— Сейчас кажется смешным. Мы надеялись, что нам не смогут помешать, и мы скоро увидимся. Мы просто забыли про войну. И я верила... Только в молодости можно так верить.

— Вы правы. Только в молодости,— сказал он.— Вы правы.

Она растерянно потрогала ладонью висок.

— И вы... вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это стало тогда возможным?

Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни, но жизни такой ушедшей, ни в чем не повторимой по горячей, молодой и бездумной реши-

мости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось, всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял: понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина.

— Тогда — да,— наконец ответил он, преодолевая мучительное неудобство.— Я верил, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было «потом».

— Вы вспоминали меня?

— Да. Хотя меня уже несла другая жизнь.

— Господи! — сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры, потухло, поблекло, осунулось, и, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах...— Господи! — повторила она, стискивая на коленях пальцы.— Я ждала... Я думала, что вы приедете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны. Господи, молилась я, пусть снова будет война, пусть снова стреляют, пусть меня насилуют, но только чтобы вернулся русский лейтенант... чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург со своими пушками, сказал бы: «Эмма, я люблю тебя», и я ответила бы: «Я умираю без тебя...» Я представляла, как это будет. Не правда ли, какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка!.. Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятное. У нас должно быть прекрасное настроение. Не правда ли, господин Никитин?

Она постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить глаза по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура, но попытка эта была нерешительной, и она с усилием поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, договорила негромко:

— Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите...

Мешая ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди, где-то возле сердца тоскливой

болью поворачивалась режущим острием при виде ее неловкой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве вернуться в сохраненное прошлое,— и, не ожидая этого предела откровенности в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, целую прожитую вечность, так же, как и она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения, на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи,— и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожее годосчисление, несоприкасающиеся светлые и черные дни, и тоже чем-то несхожие страдания, беды, любовь и свои собственные, подчиняющие людей закономерности. И он, Никитин, жил данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. «Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в предопределенность своей судьбы? Я часто вспоминал ее в сорок пятом году, а в сорок шестом уже был таким же, как сотни других лейтенантов, и весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие... А у нее все было иначе? И время затормозилось?»

— Госпожа Герберт,— проговорил Никитин, дыханием превозмогая остренькое покалывание воткнутой в грудь пружинки.— В сорок пятом году я верил, что все изменится после войны, что весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником. В сорок шестом и сорок девятом я этого уже не думал. Потом началась «холодная война» — и все окончательно раскололось...

«Я совсем не то говорю, я не могу лгать ей,— подумал он.— Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что я ей могу сказать? То, что двадцать шесть

лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности? Что невозможное нельзя было сделать действительным?»

Он сказал вполголоса:

— Лейтенанту Никитину было тогда все чересчур ясно. И, как я помню, он почти не умел лгать, и ему казалось, что все зависело от его смелости и честности. И все же он был мальчик, не знал, что такое жизнь, которая была гораздо сильнее его.

Она — как на холодном ветерке — ознобно поежила плечами, потом отклонила голову, и в притворном полусмехе блеснули маленькими зеркальцами ее отлично сохранившиеся зубы

— Я опьянела, господин Никитин, у меня кружится голова. Поэтому наговорила вам много глупых слов. Никакого Рима у нас не получилось, я нагнала на вас тоску, простите меня! Из Рима мы сейчас опять поедем в Гамбург, где под своими перинами давно спят добропорядочные немцы. И представьте, они так спокойно и великолепно храпят на пуховых подушках, как будто на свете наступил рай — хр-хр!.. Целый миллион храпящих немцев! Не правда ли, смешно!

С тем же притворным оживлением она подложила руку под щеку, изображая сладкий сон добропорядочных немцев, а он понял, что она изо всех сил обороняла свою обнаженную перед ним искренность, чисто по-женски стараясь прекратить этим полусмехом трудный для них обоих разговор,— и, поняв ее, он необлегченно, еще душевно не перестроенный, вступил в эту предложенную ею, как вынужденное спасение, игру.

— Вам не сложно будет вести машину в Гамбург из Рима? У вас не строгие таможенники?

— О нет! — воскликнула она, продолжая игру.— Мне только стоит сесть за руль, снять туфли, и... промчимся через таможню на страх полиции! Я ничего не боюсь.

— Вы мужественная женщина...

И она на мгновение не смогла справиться с собой, брови ее выгнулись страдальчески-удивленно.

— Я? Мужественная? Какая ошибка!.. Я одинока, господин Никитин. И мне нечего терять, кроме квартиры, «мерседеса» и трех книжных магазинов. Но...— Она сделала фальшиво-испуганное лицо.— Но я не хочу никаких революций и не хочу терять ни магазинов, ни

«мерседеса». Это уже трусость, а не мужество, не правда ли?

— Может быть,— проговорил он.

Она сказала чрезмерно торопливо:

— Последний тост, господин Никитин. Я хочу выпить за вас и вашу жену. Я знаю, что вы ее любите. Вы о ней ничего не говорили, значит, вы ее любите.

— За вас, госпожа Герберт,— проговорил он и тут же в неловкой заминке от невольной этой двусмысленности, хмурясь, исправил ошибку: — Я пью за вас, госпожа Герберт.

А она с умной чуткостью уловила словесную двусмысленность и улыбнулась ему:

— О, к сожалению, я не ваша жена. Выпьем за вашу настоящую жену, которую вы любите. И которая вас любит. И чокнемся, как у вас в России. Где-то я читала, господин Никитин, что в старые времена люди чокались, чтобы вино выплеснулось из одного кубка в другой. Для чего? Для того, чтобы показать — в нем нет яда. В моем кубке нет яда, господин Никитин. И не нужно, чтобы нам было грустно. Не так ли?

— Ваше здоровье, госпожа Герберт.

— Благодарю вас. Я постараюсь жить очень долго, и ездить в Рим, и пить коньяк, и читать умные книги, и весело смотреть на свои морщинки в зеркало.

Однако уже в машине она, по-видимому, не выдержала долгого напряжения трудной игры, села к рулю, включила мотор, замедленно стянула туфли и, начав надевать перчатки, резко сдернула их и, будто согревая кисти в зажатых коленях, наклонилась вперед, замерла так, глядя на ночную улицу, из конца в конец продутую осенним промозглым ветром, без единого прохожего, мертвенно отсвечивающую пустым асфальтом под синеватыми фонарями, сказала шепотом:

— Как холодно, господи...

— Зачем вы сняли туфли? — укоризненно проговорил он.— Наденьте. Ведь можно ехать и на средней скорости.

— Мне почему-то часто бывает холодно, господин Никитин,— ответила она, вся вздрагивая, и глаза ее увеличились мольбой и страхом, выделились неестественным блеском на белом лице.— Меня не согревает даже коньяк.— И после паузы она опять не в полный голос сказала, будто самой себе: — Господи, мне так иногда бывает холодно!..

— Госпожа Герберт... Эмма,— выговорил он, захлестнутый жалостью, не зная, что ответить ей, чувствуя, как воткнутая железными краями пружинка в груди, распрямляясь, подрезает и сбивает дыхание, и неожиданно двумя руками взял ее руки, ледяные, тонкие, в странной какой-то детской легкости покорно подавшиеся к нему руки Эммы, и подышал на них, стал тереть их с осторожной нежностью в своих ладонях, потерянно успокаивая ее ненатурально бодрой, решительной скороговоркой: — Сейчас все будет в порядке. И вы сможете держать руль как настоящий мужчина. Как герой из вестерна. Сейчас все будет отлично. Мы с вами возвращаемся из Рима. Но вы еще вернетесь в Рим.

Он успокаивал ее неудобно, совершенно бессмысленно, сознавая это бессмысленное и единственное, что мог сделать, а она, повернув голову в сторону, робко клонясь к нему, кусая губы, глядела на огни улицы, и светлая, точно отблеск фонарей, полоска ползла по ее щеке.

— Простите меня...

Она всхлипнула, и он вдруг услышал ее совсем уж слабый, задавленно прозвучавший шепот, как тогда, в ту майскую звездную ночь, когда она пришла к нему, арестованному Гранатуровым, в мансарду:

— Вади-им...— И, выпростав легонькие дрожащие пальцы, опуская голову, очень быстро стала надевать перчатки, потом перчаткой мазнула по щекам.— Я не плачу, нет. Некрасиво и смешно, когда плачет немолодая женщина. Мы поедем сейчас... Я буду вести машину как герой из вестерна. Не правда ли, я мужественная женщина? Я ведь немка, потомок викингов! Господи...

И она через заволакивающие слезы прямо посмотрела на него.

— Господи, у меня нет сил,— снова прошептала она отчаянно,— пусть несчастья, пусть катастрофа, но пусть будет то, пусть повторится то... Это безумие, безумие, но я ничего не могу поделать, простите меня!..

Мертвея от ее слов, он молчал, и замолчала она, откинувшись затылком на спинку сиденья с закрытыми глазами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Туго и однотонно гудели реактивные моторы, самолет уже три четверти часа вместе с этим гулом нес свое железное тело среди небесного холода на высоте девяти

тысяч метров, оставив внизу и позади светящийся угольками аэропорт Гамбурга,— и после законченного ужина, что на подносиках разнесли в начале полета мило-предупредительные стюардессы, после раздачи пледов, шелеста газетами и журналами был приглушен верхний свет в жемчужных плафонах, откинуты спинки кресел, задернуты гофрированные шторки иллюминаторов, и стало как бы пустынно, сонно в теплом затихшем салоне с дремлющими пассажирами, успокоенными красным вином и минеральной водой, шерстяными пледами, вибрирующей мощностью современных двигателей, надежным гулом обещающих всем благополучный полет и благополучное приземление.

Горячая и жестокая боль возле сердца не давала расслабиться, заснуть Никитину, ему не помогла таблетка валидола, не сняла боли — он знал, что это было последствием четырехдневного напряжения, сверх меры выпитого коньяка, крепкого кофе, неполного сна, усталости, ночного разговора с Самсоновым, неприятного, резкого, почти оттолкнувшего их друг от друга. Разговор этот был неприятен еще и потому, что Самсонов точно бы в несдерживаемом порыве обвинения хотел громкой, выявляющей их отношения ссоры, хотел ядовито уколоть, унизить, ударить липкими, осудительными словами, и оставался в памяти его озлобленный, мечущийся по номеру взгляд, его закованный металлом голос: «Так что может быть общего у тебя и господина Дицмана, ответь!»

В аэропорту они перебросились несколькими фразами, не примирившими их, в самолете же вновь произошел вздорный разговор, и потом, ужиная, молчали. Поужинав, Самсонов раздраженно полистал иллюстрированный журнальчик, пощелкал глянцевитыми страницами, сунул его в кармашек спинки, скрестил на груди руки и, завалив назад голову, казалось, задремал, сердито сморщась.

Огромная осенняя луна до огненной багровости раскаленным шаром, подробно видимая отчетливыми светотенями, стояла недвижно за иллюминатором в черной пустоте бесконечного холода, и Никитин не мог оторваться от нее. Она тянула его к себе — магическая и близкая, яркая,— в ее ледяном блеске, в ее приближенной величине и недосягаемости мерещилось ему что-то тайное, врачующее, успокаивающее боль в сердце, от которой он боялся пошевелиться.

Металлическая плоскость крыла висела над глубиной

высоты, и там, внизу, серебристо-голубоватая, лежала пустыня облаков, покрывавших ночную землю, и, не пробиваясь к земле, весь лунный спокойно-яростный свет неживым бликом сверкал на плоскости самолета над провалом глубины, лился в иллюминатор, в его толстые двойные стекла. И порой Никитину мнилось, что этот лунный свет просачивался сквозь густо-фиолетовую воду, что он не летит на девятикилометровой высоте, а скользит на подводной лодке под океанскими толщами воды, сжатый ими. Ему стало душно.

Он включил вентилятор над головой — ворвалась струя воздуха.

Теперь все давно осталось позади и внизу, скрытое этими безжизненно осиянными ноябрьской луной облаками. Там, далеко внизу, было прощание, обед, взаимно благодарственные тосты во время обеда с господином Вебером и господином Дицманом, приехавшими в отель за полтора часа до отъезда в аэропорт, снятые шляпы, улыбки, рукопожатия около машины, нагруженной чемоданами, затем несколько томительное ожидание рейса в ресторане аэропорта, большом, шумном, пахнущем синтетикой и духами, снова кофе, коньяк, заказанные Лотой Титтель, и молчание, синие тени усталости под глазами госпожи Герберт, напряженно курившей сигарету за сигаретой, и внезапная на пятнадцать минут задержка самолета по причине непогоды, вызвавшая вдруг тревожную радость на бледном ее лице, и слова Никитина, полушутливые вроде бы, о том, как прекрасно было бы поспать здесь, в уютном ресторане при аэропорте, прямо на чемоданах, но после этого — объявление рейса, движение пассажиров за столиками, на креслах, на диванах, и облегчение оттого, что все кончилось наконец-то,— объявлена посадка, завершающие секунды которой особенно мучительно помнил он сейчас.

Допив кофе, не выказывая последнее волнение, они пошли к выходу, где перед стеклянной дверью, приготавливая посадочные талоны, выстраивалась очередь солидных деловых людей с портфелями, и здесь начали прощаться. Он, по-прежнему говоря что-то дружеское, шутливое Лоте Титтель, первой протянул ей руку, однако она, смеясь, возразила: «Не так, не так! Я женщина, хоть и артистка! Уж если я приеду в Москву, то вы узнаете обо мне по большому шуму, который я наделаю»,— и обняла, звучно, крепко поцеловала в губы его, потом Самсонова, а когда он, подавляя смущение, повернул-

ся к госпоже Герберт — увидел разъятые до пронизывающей синевы, будто подставленные ужасу ее глаза. Она с глухим вскриком кинулась к нему, уткнув голову ему в плечо, шепча так страшно, так обреченно, что огненным ожогом ударило по сердцу, и он задохнулся от вскрикивающего ее шепота:

— Вади-им! Вади-и-им!..

Он, растерянный, не ожидавший этого, неловко поцеловал ее куда-то в висок и со стыдом, не совладав с мигом растерянности, оглянулся, уже пройдя мимо контроля. Она, вся тонкая, вытянувшаяся, в коротком плащике, заметном полуоткинутым капюшоном, постаревшая и прежняя Эмма, еще видна была за стеклянной стеной вместе с Лотой Титтель, энергично махавшей перчаткой, и белое ее лицо, ровно подсвеченное неоном, выражало отчаяние, беспомощность, физическое страдание, как тогда ночью, много лет назад, когда они прощались.

Он помахал им обеим издали в последний раз, излишне весело улыбаясь, и, еще слыша переворачивающий душу ее шепот: «Вадим! Вадим!» — пошел в заторопившейся толпе к самолету по бетону очень ветреного аэродрома: рвало портфели из рук, загибало края шляп.

Потом, в самолете, Самсонов, устраиваясь в своем кресле, шумно возясь, вытянул на колени пристяжные ремни и подозрительно воззрился на Никитина, удивленно фыркнул губами:

— Ничего себе прощание, поразительно! Да, с госпожой Герберт ты прощался, как с женой или любовницей! Что с ней? Что с тобой? Объятия, крики, поцелуи при всем честном народе! Значит, выходит, ты ночевал у нее вчера?

— Бесконечные идиотские вопросы ты задаешь, черт тебя возьми! — ответил резко Никитин, отворачиваясь к иллюминатору.— Ты ошалел в Германии, дорогой Платоша, и это я должен тебе сказать совершенно откровенно!

— Кто из нас ошалел — еще о-огромный вопрос! — вспылил Самсонов.— Может быть, совсем наоборот? Совсем! Кажется, не я, а один мой знакомый напорол немцам мистической ерунды, чем вызвал неслыханный восторг и взаимопонимание! И не один ли мой известный коллега в конце концов потерял голову с некой, так сказать, госпожой Герберт? Так кто же ошалел?

— Кстати,— сказал Никитин, усмехнувшись,— нам

стоило вместе съездить в Германию, чтобы до конца выяснить отношения. Может быть, они и были невыявленной трагедией. Я не жалею. Так проще и яснее.

— В общем, да! — Самсонов повел по салону иконным взором мученика, сложил на животе руки, наставительно проговорил: — Пройдет время, ты вспомнишь все — и будешь мне благодарен за то, что я вытащил тебя из этой клоаки. Дорогой мой, тебя бурно осыпали гонораром, вокруг тебя сюсюкали, вертелись всякие господа Дицманы, и какая-то непонятная, мягко говоря, госпожа с «мерседесом», которая таскала тебя по ночным кабакам,— не догадываешься, что стояло за этим?

— Я чуть-чуть поездил по Западу, дорогой мой,— сказал Никитин, ответно выделяя это насмешливо-снисходительное «дорогой мой»,— и бывал в разных обстоятельствах, Платоша. Но то, что ты держался надутым индюком, будто все знаешь о людях и мире,— смешно и глупо, как перец в чае! Напролом пёр с бонапартовской фанаберией, как будто тебя окружали одни кретины!

— Я занимал свою позицию, дорогой мой! И совесть моя чиста, представь! Абсолютно чиста!

— Так вот, прошу — займи и сейчас абсолютную позицию по отношению ко мне: помолчи до Москвы. Едва ли мы поймем друг друга.

Сцепленные на животе толстые пальцы Самсонова стиснулись, затем большие пальцы совершили заводящие обороты, один вокруг другого, он выговаривал со злостью:

— Надо полагать, ты считаешь меня патентованным идиотом! Благодарю! Если хочешь, я тебя спасал от всей гнусной возни, от тины, которая тебя засасывала, а ты уже земли под собой не чуял!..

— Спасал? От кого?

— От дицманов! От этой немки! Неужели думаешь, она пригласила тебя на дискуссию из лирических чувств, чтобы только сентиментально посмотреть на тебя, мило повздыхать о каком-то вашем с ней прошлом? Поулыбаться тебе? Попить с тобой коньяк? А нет ли здесь другого — не нажимал ли, прости уж меня, на твою прелестную госпожу Герберт с определенной целью этот субчик Дицман? Ты хорошо знаешь, кто он?..

— Прими, пожалуйста, мое предложение,— холодно прервал, не дослушав его, Никитин,— помолчим до Москвы. Я устал. Очень устал. И у меня нет желания соучаствовать в твоих домыслах, даже если бы ты был

Шерлоком Холмсом, Мегрэ и майором Прониным, вместе взятыми.

— Великолепно, помолчим. И еще раз благодарю тебя за выясненную правду наших отношений. Нашей выявленной трагедии. Твои искренние чувства ко мне вызывают слезу умиления.

— Крокодилово умиление. Так надо было закончить, Платон.

— Охо-хо, Вадим, охо-хо. Не узнаю я тебя, не узнаю.

«Искренность отношений? — думал Никитин, уже отдаленный от Самсонова тягостным молчанием, напоминавшим холодом чернеющую трещину во льду.— Искренность, которая убивает все. Он хочет под прикрытием искренности поставить меня в какое-то слабое унизительное положение, в чем-то даже обвинить меня. Что отдалило нас? Почему я злюсь на него? Неужели здесь, за границей, он никак не мог сдержать то, что отвратительно проявилось тогда в «Праге»? К чему он ревновал? Его раздражало внимание ко мне? Ревновал к тому, что госпожа Герберт общалась со мной? За что же, за что? Его искренность, в сущности, похожа на ненависть ко мне. Но странно — я ничего дурного не делал ему никогда. Да отчего же это мне так плохо? Бесконечное курение, коньяк, ночи без сна...»

Свежая струйка ветерка, ворвавшаяся в маленькое отверстие вентилятора из лунного пространства ночного неба, холодила ему голову, но боль возле сердца не утихала, охватывала грудь тихой щемящей горечью, близкой к тоске, какая бывала в минуты приступов, и тоска, и усталость, и вчерашняя бессонница, и ощущение неудовлетворенности собой, и неприязнь к Самсонову, и растерянно-жалкое бледное лицо госпожи Герберт, внезапный ее в последнюю секунду вскрик: «Вадим! Вадим!», вскрик прежней Эммы, и этот свой поцелуй, торопливый, неловкий,— все было в болезненных перебоях сердца, и, чтобы забыться, отвлечься от беспокоящей его боли, он стал заставлять себя думать о том благостном моменте, когда самолет, пойдя на посадку, мягко ударится колесами о бетон аэродрома в Шереметьеве и, страшно ревя моторами на холостом ходу, покатится по земле мимо сигнальных огоньков посадочных полос; потом — пахучий и родной ветерок на аэродроме, ни с чем не сравнимая тишина, родная речь, проверка паспортов, ожидание багажа и затем погрузка в такси, обшарпанное, дребезжащее, и

скромные огни московских улиц с неяркими витринами, лица прохожих, очереди на троллейбусных остановках, фигуры миллиционеров-регулировщиков на площадях, и разговор с шофером после выкуренной иностранной сигареты, любопытствующим, как *там* живут, и, наконец, милый, как всегда, на том же месте, старый и добрый знакомец-дом, исцарапанный лифт, запах подъезда, двойной, заученный звонок в дверь на девятом этаже, свет в передней и сияющее радостью лицо жены: «Вадим, наконец-то!» — и ее родственные губы, прильнувшие к его губам, еще, кажется, липким, сладким от посадочных карамелек. Она никогда не провожала и не встречала его в аэропорту — так было заведено им и ею с первой его поездки, и оттого бывал неожидан и радостен приезд...

«Только не торопиться,— подумал Никитин, так явственно испытав несколько секунд счастливого приезда, что услышал звук голоса жены, увидел ее и себя в чистоте своего кабинета, чем-то нового (какой-нибудь лампочкой, статуэткой, купленной в его отсутствие), с кипой газет, бандеролями, стопкой писем на журнальном столике, аккуратно для него сложенной, с листком бумаги поверх писем, где записаны фамилии тех, кому он был нужен, кто звонил, спрашивал его и ждал.— Нет, я не должен думать о доме. Иначе время будет тянуться невыносимо. Я слишком соскучился по жене, по своему кабинету, поэтому — не думать. Когда сяду в такси, когда выедем из аэропорта на шоссе — только тогда... Несколько дней. Я возвращаюсь раньше срока... Но почему мне кажется, что я не был дома целую вечность? Почему это я чувствую сейчас? Будто где-то далеко, вне дома, вся жизнь прошла. Когда мы вылетели в Германию, какая-то фраза вертелась у меня в голове. Какая же фраза? Ему, моему герою, снился сон, в детстве. Он, обессиленный или раненный, лежит на кирпичах на заднем дворе. Она наклоняется над ним, кладет его голову к себе на колени. Он был влюблен в ту девочку. Они жили в одном дворе.

Но фраза, фраза... какая фраза? Я забыл ее. Не надо вспоминать, не надо напрягаться. Она придет сама. Если придет... Впрочем, может, она и не нужна. Сейчас — никаких фраз. Я устал от фраз. Какой был жалкий и страшный этот крик: «Вадим, Вадим!..» И как уткнулась она головой мне в грудь. А я молчал, слов не было, бормотал что-то нелепо. И нелепо поцеловал ее... Она держалась в ресторане, но потом этот крик. Крик отчаяния. Она будто просила меня о чем-то. Рим, Рим... Почему

она так любит Рим? Площадь Навона... Когда я был в Риме? В позапрошлом году. Была тоже дискуссия — о чем? Кажется, я был там неделю. Почему она так любит Рим? — думал он под однообразный рев моторов, глядя на луну, на ее бегущее по крылу излучение немого пустынного света в немой беспредельности ночи, вызывающего все то же неразрешенное чувство незаконченности, тоскливой оторванности от чего-то, что томило его и оставалось непонятым им.— Почему именно Рим, а не Париж?»

И он заставил себя представить Рим и вдруг увидел, почувствовал его так осязаемо, так детально, что поразился своему ясному ощущению этого города, казалось, забытого им. Было тогда жаркое солнце, апрель, и были древние пинии, кокосовые пальмы, напоминающие нечто совсем курортное, южное, и были знойно слепящие стеклом улицы, белизна домов, тенты над балконами, гофрированные шторки на окнах, и громада-скала полуразрушенного Колизея, вечное великолепие собора святого Петра с его границей таинственного Ватикана и огромной площадью, заставленной блистающими, как сама цивилизация, автомобилями, автобусами туристов разных национальностей и, как возвращение на много веков назад, кабриолетами; горький запах бензина, перемешанный со все-таки приятным здесь запахом лошадиного пота и навоза, что нестеснительно убирали на площади лопаточками загорелолицые веселые кучера, зазывающие туристов; монахини в черных и белых одеяниях, заметные бледными худыми лицами, подъезжающие на мотоциклах с истовым спокойствием опытных таксистов; неопределенного пола хиппи с ниспадающими ниже лопаток гривами волос, с немытыми шеями, бренчащие на гитарах у солнечных ступеней площади Испании, целующиеся парочки на широких парапетах; толпы туристов возле фонтана Треви, всегда обдающего прохладой, где в прозрачной зеленоватой воде серебристо посверкивают брошенные монеты на дне; уютно тихая площадь Навона, этот римский Монмартр, с голубями, садящимися на мольберты художников, продающих картины и этюды, вокруг которых дети гоняют по брусчатке фубольный мяч, разрисованный шахматными квадратами; и продавец многоцветных воздушных шаров, и кем-то упущенный синий шар, одиноко уплывающий в золотистое закатное небо над этой благо-

словенной площадью какого-то сладостного и далекого умиротворения; торговая улица Корсо, забитая машинами, сияющая витринами универсальных и роскошных маленьких магазинов, толпы на тротуарах, мелькание черных, космического вида очков, коротких штанишек, телесных колготок, обтягивающих ноги женщин, видных сквозь распахнутые легкие пальто; столики кафе под полосатыми тентами; хозяева на лестничках, по утрам промывающие стекла своих ресторанчиков; и в этом же Риме — Аппиева дорога, наполовину каменная, наполовину асфальтовая, слышавшая когда-то поступь деревянных сандалий Сципионовых легионов, разрушенные придорожные здания, остатки каменных оград, ворот, отдельные глыбы-камни, вросшие в древнюю землю былого римского величия, и рядом, сбоку дороги, на зеленой траве, в тени пиний остановившиеся «фиаты», белые детские коляски, молодые красивые женщины и мужчины, одетые по-пляжному, в позах воскресного отдыха сидящие на раскладных стульчиках; и неумолчный центр — грохот трамваев, стреляющий треск мотоциклов, сумасшедший хаос почти нерегулируемого движения, какого нет даже в Париже, туманец в воздухе от выхлопных газов, вереницы неподвижных машин вдоль тротуара, и среди этого узкого коридора — неразрывный, затормаживающий, толчками и стремительно катящийся, нетерпеливо гудящий поток других машин, в которых куда-то едут, спешат, смеются, разговаривают, молчат, целуются во время остановок незнакомые юные и пожилые люди, подобно муравьям в растревоженном муравейнике, придумавшим средство передвижения по своим муравьиным артериям, мчатся, точно по заданной немыслимой программе, по замкнутому кругу, что не имеет ни начала, ни конца,— и весь этот невероятный город тогда весной мельтешил, сверкал, гремел, ослеплял, оглушал, и лишь иногда попадавшийся в стороне знак древности овеивал на секунду, как прохлада, как намек на спокойствие.

«Почему она любила Рим? Она говорила, что в Риме у нее бывало прекрасное настроение? На площади Навона, где сохранился островок тишины среди сущего ада?»

А ему было неуютно в этом городе, чересчур шумном, чересчур переполненном туристами, он жил, один русский, в пансионе близ площади Испании, с крохотным домашним лифтом, подымающим и опускающим за три лиры, в комнате на южной стороне, подчеркнуто старин-

ной, заставленной бархатными креслами, с просторным балконом-солярием, затененным растениями от солнца, и большим зонтом, под которым он, всегда разбуженный по раннему утру бешеным треском мотоциклов, завтракал,— ледяное масло из холодильника, похрустывающие белые булочки, фруктовый джем, ароматный на утреннем воздухе кофе, не остывающий в металлическом кофейничке,— завтракал, кормил голубей и смотрел на окна какого-то учреждения напротив, где что-то делали, сидели за столами, печатали на машинках, смотрел на дальние купола соборов, на силуэты Рима, дрожащие в жаркой уже синеве, а внизу, невидимое под балконом, давно грохотало, кипело стадом машин ущелье еще прохладной улицы,— и до того, как спуститься вниз, он заранее испытывал тесноту толпы, вонь бесконечного на дне ущелья выхлопного марева, знойное мерцание автомобильных стекол, круговорот площадей, неестественность механического и людского вращения; там, на горячих под солнцем каменных улицах, невозможно было закурить: в горло удушающе лезла гарь бензиновых газов; нечем было дышать, воротничок свежей сорочки через полчаса потно прилипал к шее (к вечеру он был уже темным, приходилось менять рубашку), давил, раздражал галстук; припекало голову, быстро притуплялось внимание от апокалипсической жары, гула, блеска, многолюдности, и возникало утомление, хотелось пить холодное пиво, сидеть где-нибудь в жидкой тени, утратив любопытство к красотам Вечного города, и мысли ползли ленивые, равнодушные, ровные: «Зачем? В чем смысл этого сверкающего, безумного муравейника? Есть ли этому мера и где остановка? А куда дальше?»

Даже перенаселенный Нью-Йорк (он был там зимой, три года назад) со своей хвастливой небоскребной роскошью, бронзой и мрамором «центров», биржи, электроэнергией Бродвея, ошеломляющего неистовостью рекламного веселья, даже Париж со своей туристской суетой и автомобильными скоплениями не подавляли его так, как подавлял хаотичностью прокаленный солнцем Вечный город.

«Почему она любила Рим? Она говорила, что ей легко там...»

И тогда — в те дни, проведенные в Риме, он тосковал не по Москве, не по ее мягким летним вечерам с первыми огнями фонарей, уходящими в поздний земляничный закат в проеме улицы, не по зимним утрам с хрусталь-

ными конусами нанесенных метелью новых сугробов, а совсем по другому, что стало мучить его несколько лет назад, после поездки в места, где он родился и жил до пяти лет,— места, куда его потянуло вдруг и куда с пересадками на разные самолеты лететь надо было дольше, чем до Америки.

И, бреясь утром в пансионе перед большим зеркалом, отражавшим белые выключатели, стерильный глянец фаянсовых раковин, никелевых крючочков, или лежа в ванне под ветерком из открытого окна, он, глядя на зыбкое дрожание зайчиков по чистоте кафельных стен, не без волнения ловил в памяти солнечный сентябрьский сибирский день...

Тогда внизу извивалась, долго блестела плесами Тунгуска, прорезая буро-желтое нескончаемое пространство тайги, и солнце, проходя по озерам, вспыхивало в них и в изгибах реки, направляя вверх световые пучки перемещающихся зеркал, как будто оттуда, с земли, нацеливали ослепительные зайчики в окна двенадцатиместного потрескивающего, как примус, самолета, который часто делал крутые виражи, ложился резко на крыло так, что, чудилось, пассажиры, разом замирая, накренивались, как над пропастью, над этими зеркальными внизу петлями Тунгуски, над этими блещущими озерами, подобными стеклянным полянам в тайге. А потом, когда наконец сели «на десять минут перекура» (так сказал летчик), поразила несказанная тишина, легчайшее дуновение сладкого полевого воздуха, приносившего запах сена (стога виднелись на краю травянистого аэродрома), близкое и сонное сияние реки, тихие домики над водой,— было во всем что-то деревенское, покойное, забытое, пришедшее из детства, из хрупкого мира давних снов.

Его потрясла, его оглушила и эта воздухообильная первобытная тишина, и умилило первое ощущение поселка его детства, что мерещился ему не раз летним ароматом теплой травы на улочках и сахарным снегом до окон в декабрьские утра,— поселок, где он родился, воображался ему раньше почти городком на берегу Тунгуски, но теперь, наяву, предстал очень маленькой, уютной, грустной чем-то деревней, устланной дощатыми настилами вдоль домов, прижатой тайгой к реке. Но особенно — и не только в Риме — вспоминалась одна ночь, когда, познакомясь с молоденьким студентом из Иркутска, приехавшим сюда к родственникам, они в сопровождении Матвея Лукича, семидесятилетнего старика, знавшего

отца Никитина в годы его работы здесь учителем, пошли километров на десять в тайгу за глухарем и, умаявшись до крайнего изнеможения на глухих болотцах, наломавшись по кочкам марей, заночевали в сумерках на берегу Умотки, притока Тунгуски, речушки узкой, извилистой, текущей под пихтами меж желтых густых трав, среди глубинной и невозмутимой тишины осенней тайги, изредка лишь нарушаемой писком синиц.

Он очнулся глубокой ночью, весь озябнув, на лапнике елей, наваленном на корнях деревьев, и сразу увидел над собой сквозь ветви пихт такое черное, огромное звездное небо, такие по-предзимнему яркие, высокие, крупные созвездия, горевшие чистым ледяным огнем, что мгновенно еще больше замерз от их колючего неистового сверкания над тайгой. Рядом потрескивал костер, угасая, и он чувствовал запах холодной земли, горько-тепловатый запах дыма — и, не шевелясь, смотрел в небо, до озноба жестко пылавшее прямо в глаза сентябрьскими полями звезд, издававшими свой звук беспредельности. Он лежал на спине, смотрел на них неотрывно и медленно плыл в мировом покое, как околдованный счастливым бессмертием, игровой тайной вселенной, сокровенно приоткрывшей ему ворота недосягаемой вечности. Потом донеслись с неба другие, едва уловимые звуки, странные звуки земной жизни, живого страдания, несвойственного неистребимой спокойной красоте вечности.

Где-то там, в расчищенных ветром высотах, кричали на перелете гуси — уже устойчивые заморозки, и, видимо, выпавший снег на северных озерах Якутии гнали их на юг, и Никитин вдруг ощутил арктически страшный поднебесный холод, освещенную звездами темноту, ее пустынность, в которой тянулись из последних сил невидимые с земли усталые стаи гусей, ощутил, какой ничтожно маленькой, слабой каплей огонька мелькнул под ними и затерялся в непроглядном океане ночи одинокий костерок, и позавидовал их необоримому инстинкту, преодолевающему ужас мрака и бесконечности.

Затем он представил, что где-то очень далеко отсюда, за тысячи километров от тлеющей искорки костра, от этой песчинки тепла, посреди неохватимой черноты пространства, была цивилизация, с электрическим раем улиц, паровым отоплением уютных квартир, с чистотой удобных постелей, с кафельными ваннами, душистым мылом, брит-

венными приборами, скоростными лифтами, настольной лампой, любимыми книгами, подумал, что скоро он вернется туда,— и, замерзая, улыбаясь, вздрагивая в сумраке холода, почувствовал себя неограниченно и радостно свободным человеком оттого, что имеет право на возвращение, но вот лежит возле костра, на берегу затерянной под звездами Умотки, занесенный любопытством к родившим его на свет местам на самый край земли. Что это было? Непередаваемое наслаждение минутами реальности, соединившей его с извечным миром тайны, красоты и страдания, и возможностью вернуться в чистоту, устроенность городского комфорта, ставшего необходимостью?

...Матвей Лукич поднялся и начал возиться около костра, двигать лесины в огне, терпковато понесло дымком, затрещало сильнее, взметнулись искры, полетели красноватой пылью мимо темных лап елей к черному небу, заполненному повсюду накаленным сверканьем, и он услышал, как студент заворочался на лапнике, вздыхая, забормотал:

— Как хорошо-то, господи, как хорошо-то!..— И, садясь, спросил восторженно:— Неужели вы один на Амикан-дедушку ходили? И как же? Была удача вам?

— На мишу-то? — кашляя от дыма, сплевывая, ответил Матвей Лукич и снова подправил горевшие лесины в костре.— Ходил на зверя. Две пары кальсон, однако, и корзину для белья взять надо. На мишу-то.

Никитин лежал и слушал их голоса.

— Вы шутите? Это так опасно? — сказал студент.

— Мишу нельзя просто взять. Промахнулся или ранил его — он тя достанет. Пуля жиганет его насквозь, обожжет нутро, а он — живой. Если в голову стрелил, пуля отскочит, как от железа, иль соскользнет. Черепок-то у него — бетон. А раненый — свирепеет — и тут нагонит; скорость у него — курьерский поезд. Под левую лопатку его брать надо. И с собаками. Без собак не ходи. Два друга не надо за одну собаку. Собака тут — вернее двух друзей.

— А если он... Так ведь за дерево спрятаться можно.

— Можно, да не нужно.— Матвей Лукич засмеялся, продолжая ворошить оживавший костер.— Раком попятился за дерево иль бросился наубег — он тя одной лапой из-за дерева загребет — и скальпу снимет. Когда первый раз ты стрелил и не завалил Амика, стой и не пяться, хоть ноги ходуном, хоть обделался. Он сразу ви-

дит: страх в тебе — и бурей на тебя попрет, потому мщение в нем, как ни в каком другом звере.

— А собаки?.. Вы сказали, Матвей Лукич, они берлогу находят?

— Берлог по порошке находят. Порошка выпала, тогда видно, как пар над берлог идет. Сентябрь месяц зверь жир набирает, ягоду и орехи жрет, берлог готовит и к зиме в заду пробку делает. Для того сначала воду пьет и глину ест. Желудок чистит. А после, как жир нагуляет, пробку из глины внутрях делает. Чтоб никакая мурашка-букарашка в желудок не залезла, когда спит зверь.

— Как удивительно это!

— А собаки берлог нашли — и начинают облаивать. Надо тут, как облаивать начали, стяжок готовить и прутик.

— Зачем? Какой стяжок?

— Стяжок, говорю. Ну вот в костре лесину видишь? Такой толщины в обхват... А прутик — как раз в обхват кружки. Стяжок сготовил — и суй его в дверь берлог, где зверь. Он оттуль и появляется. Стяжок в аккуратности сувать надо. А то зверь имат его.

— Как «имат»?

— Потянет к себе.

— А потом как же?

— Он оттуль ревет, а ты прутик суй за стяжком. Дверь берлог завалил, а зверь в завал лезет. Как тебе левую лопатку открыл — сразу стрели. Навскид. Ранил — тут и смерть твоя на тебя бегет. Да вот собаки. Вылез он, а тут они за штаны его держать должны. За штаны рвать то есь. Двух другов не надо, дай собаку одну. Без собаки на зверя не ходи.

Студент немного помолчал, обдумывая что-то, после спросил с той же наивностью молодого восторга:

— Вы вечером сказали — следы медведя и лося здесь видели?

— Верно. Был он здесь,— подтвердил степенно Матвей Лукич.— За сохатым миша ходил. Караулил. Задрать хотел. Он сохатину любит. На три недели мяса сохатого ему хватает. Поест — остаток в земле закапывает. Чтобы попортилось, протухло немного, чтобы жрать сладко было. Ушел отсель медведь, след старый, а сохатый тут есть — лежбищ много, трава смята. И на берегу тальник обкусывал, верхние веточки. Бегает тут сохатый. Гон у них, однако.

— Что значит гон? — удивился студент.

— Самку ищет. Женщину то есть... Ну, парень, чай пить будем? Не зазяб на холоду-то? — сказал Матвей Лукич, прилаживая закопченный чайник на огне.— Чай ночью — друг.

Подправленный костер разгорался под деревьями, обдавая жаром, все крепче потрескивая, пощелкивая полыхающими лесинами. Никитин не вмешивался в разговор, слушал с тайным наслаждением, а они истово пили из кружек согретый чай, сидели подле огня, взвивалась, сыпалась оранжевая метелица искр во тьму, окружавшую их непроницаемой стеной ночи, за которой внизу, под обрывом, должна была течь тихая и прозрачная Умотка (днем видно было, как колебались, струились водоросли на ее чистом дне), а дальше от берега — тайга, марь, какие-то заросшие осокой озера, медведи, сохатые; по краю близкого берега мерцали, порхали световые отблески, а перед стеной тьмы, дышащей студеным холодком земли, лежали две лайки, смотревшие умными, спокойными желтыми глазами на огонь. Собаки, положив морды на вытянутые лапы, лежали как бы на границе света костра и сплошной темноты, охраняя этот огонь среди тайги и звезд.

И в то мгновение будто ничего не было более прекрасного, вечного, истинного, чем глухая ночь, искры в дыму, летящие к созвездиям, крик гусей в пустынности неба, лайки, смотревшие умными глазами, и бормотание студента у костра:

— Как хорошо-то, господи, как хорошо...

Когда он проснулся второй раз, сильно похолодало, костер, осторожно постреливая угольками, дымно горел; Матвей Лукич и студент спали. Совсем низкие созвездия передвинулись всем своим чуть потускнелым строем, ушли за нависшие, теперь различимые в сером воздухе вершины елей, только крупные звезды в зените были еще пронзительно ярки, сквозили белым предутренним огнем меж ветвей. За костром по мокрой траве шевелился липкий сырой туман.

Вдруг разом вскочили обе лайки, каменно застыли, глядя в чащу, и тут же по какому-то сигналу быстро вскочил Матвей Лукич в распахнутом ватнике, взял прислоненный к стволу пихты карабин, сделал шагов десять по бугру берега, поднял голову. Никитин тоже всмотрелся, не сразу увидел — по верхним ветвям наполовину закутанной туманом ели игриво бегала коричнево-пале-

вая белка, затем на самой макушке мелькнул ее золотистый хвост, дрогнул и исчез. Матвей Лукич неторопливо вскинул карабин, кратко прицелясь, выстрелил. «Промахнулся»,— подумал Никитин со звоном в ушах. Но что-то темное, тонкое, соскальзывая сверху, качая ветви, упало на корневища в кусты. Немного погодя Матвей Лукич подошел к костру, держа за задние ноги убитую белку, дал понюхать ее одной из лаек, слизнуть кровь. А вторая собака, по-видимому, молодая еще, которой он не дал понюхать добычу, выгнув остроносую свою морду, все-таки слизнула кровь с морды старой собаки. Лайки успокоились, вновь легли. Матвей Лукич сел на поваленную березу, вынул складной нож (вчера он резал им хлеб), положил убитую белку на колени — из пробитой головы ее кровь капала на землю,— сделал надрезы в концах лапок и легко, похоже — чулок вывернул, снял шкурку, повесил ее на березу пушистым хвостом вниз. На коленях его лежала розоватая маленькая тушка, словно тельце умерщвленного младенца с подогнутыми коленями, с кровавой головкой — все было как страшная казнь, и Никитина передернуло даже.

— Убили? Самка или самец? — спросил спросонок всполошенный выстрелом студент, догадываясь, что случилось.

— Мужик.

Матвей Лукич подошел к собакам и положил перед вскочившей старой лайкой это розоватое беспомощное тельце только что умерщвленного, недавно прекрасного младенца. Лайка понюхала и взяла в зубы окровавленную голову — послышался хруст. Она ела без жадности, точно выказывая при этом ленивую осторожную брезгливость, а молодая лайка покосилась на равномерный звук хруста и тотчас равнодушно отвернулась, вероятно, понимая, что добыча не ее. Вскоре хруст прекратился. Облизываясь, собака спокойно посмотрела на Матвея Лукича, мотнула хвостом, клубком свернулась близ костра. И сейчас же вскочила молодая лайка, повернулась мордой к чаще, забеленной туманцем, и вытянулась вся, навострила уши. Старая приоткрыла желтые умные глаза, но продолжала лежать клубком. Матвей Лукич опять взял карабин, сказал негромко:

— Еще, однако, бегает. Солнца ждет. Играет перед солнцем белка.

И двинулся в чащу, бесшумно обходя палые сухие лиственницы.

Через минуту раздался выстрел — и вторично вернулся он к костру, неся за задние лапы убитую белку, серовато-дымчатый, обмоченный росой, пушистый хвост волочился по траве. На этот раз он дал понюхать ее молодой лайке, а старая нехотя поднялась, зевнула и равнодушно отошла в сторону.

Матвей Лукич, сидя на поваленной березе, долго чего-то ждал, слегка поглаживая спину умерщвленного зверька грубой ладонью.

— Вздрагивает еще, живая,— сказал он точно бы виновато и лишь некоторое время спустя освежевал ее, повесил шкурку рядом с первой.

— Тоже мужик? — спросил изумленный студент, невольно подделываясь под говор Матвея Лукича.— Ну и стреляете вы!

— Не, женщина. Муж и жена, однако.

Матвей Лукич встал и, свистнув, бросил тушку белки молодой лайке. Та задвигала острым носом, тщательно обнюхала изуродованное красное тельце, но есть не стала; Матвей Лукич сказал:

— Молодая еще. Сутки перед тайгой не кормил, а не ест.

И положил белку перед старой лайкой, которая медленно, издавая разгрызающими челюстями тот же осторожный, брезгливый хруст, сожрала ее.

Вокруг было мокрое осеннее утро, и ранний туман тянулся мимо кустов на берегу Умотки, над светлеющей студеной водой, дымился тихим колебанием белых волокон в сырой чаще, безмолвной, обрызганной мутным багровым золотом по вершинам пихт, по стволу поваленной березы, где висели вывернутые шкурки двух погубленных, веселых, двух добрых зверьков, ожидающих в игре солнце...

«Почему я так ясно помню это? Почему тогда в Риме я вспоминал ночь в тайге, а в тайге вспоминал Москву? Пытался найти истину, но ощутил только момент истины? Я ощущал тогда завораживающую ночь, костер, холод, простоту человеческой жизни под звездным небом, и все же что-то не удовлетворяло меня. Искал полноту смысла действительности в своем восторге, в восторге студента, в перелетном крике гусей, в тех красавицах белках (муж и жена), которых убил Матвей Лукич? Он убил и нарушил равновесие прекрасного мира, как если бы убил ту ночь, студеный запах воды, костер, погасил

звезды, сжег тайгу — великую и хрупкую целесообразность земли. Мог ли я подумать так в годы войны?

Да, тот миг, когда он стрелял в белок, был мгновением какого-то смысла жизни. Миг, но не весь смысл жизни. А где весь? Под тем сверкающим небом в тайге? Почему же меня тянуло в Москву, к ее удобству, к электрическому свету, к чистому белью, к горячей ванне, а ведь та ночь была — сущее наслаждение. На миг? На несколько часов?

Что ж, нигде нет полных ответов, и нет прочных для всех, исчерпывающих истин. Ей нравился Рим, а меня он угнетал, утомлял... В чем же был смысл встречи с Эммой? И смысл мучительных для нее и для меня разговоров? Да о чем это я? Сколько времени мы летим? Почему так болит сердце? Валидол... принять вторую таблетку валидола. Не хватало — прилететь и слечь с приступом...»

Никитин ртом сделал короткий вдох, морщаясь, потер грудь вокруг сердца, а оно сдваивало торопящие удары в болезненных перебоях.

Гудели моторы ровным гулом, салон спал, успокоенный звуком двигателей, сонным синеватым светом ночных плафонов, и рядом, слева, переплетя руки на груди, завалив назад голову, дремал Самсонов, и страдальчески-сердитым выражением застыло мясистое его лицо. И, доставая таблетку валидола, Никитин подумал впервые, что по спящему лицу Самсонова можно, пожалуй, угадать, каким он был в детстве,— толстым мальчиком, надутым, коротконогим, сердитым по причине нанесенных одноклассниками обид...

«То, что произошло между нами,— бессмысленно,— возникло в голове Никитина.— Бессмысленно, хотя вряд ли наши отношения останутся прежними. Неужели я не смогу перебороть себя, простить? Странно — мы знакомы много лет... Если бы твердо знать, что важно в нашей жизни и что не важно. Важен был Рим? И та ночь и то утро в тайге? И важен был Гамбург? И встреча с Эммой? И ссора с Самсоновым? После войны в двадцать один год все было главным. И вместе с тем все было и не главным — вся жизнь впереди, суть жизни — в самой жизни, и она мчала в счастливое неизвестное «потом» с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений, и не нужно было задумываться, что важно и что маловаж-

но в мелькнувших днях, месяцах и годах. «Потом» наступило: окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние пять лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой... Что же случилось? Осознание того, что «потом» уже было? Постижение своих лет?

Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим, Вадим!..» Значит, она продолжала любить меня двадцать шесть лет — и в ожидании, в неосуществимой надежде был смысл ее жизни? А я искал суть в постоянной неудовлетворенности, задавал себе вопросы о двоякости истин (а как раньше сияли они простыми и четкими символами!..), о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось, лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию — и быстро остывала ненависть, и охватывала жалость ко всем — к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене, лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее, была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына?»

Это случилось через два месяца после похорон, они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который, мерещилось, жил еще в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками убивая механическую работу сознания.

Раз, возвращаясь в двенадцатом часу ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подыматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку, против воли замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его... И, вздрогнув, внезапно почти физически ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся — позади по-ночному глухо чернела без единого огня, без звука темнота, нигде не было ни движения, ни человека.

Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце

Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням? Или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда?

Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий...

Он всю ночь не мог заснуть, при зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемки сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына: когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг возле друга, но мимо, все мимо живых, никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого — по иной синусоиде времени.

И, вспоминая эти слова, он зажмуривался, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины — неуловимый взгляд в спину,— и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле, уже без сына два месяца, а он там, один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запа-

хом легких льняных волосиков, ушедший в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь: губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски-восторженных...

«Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины?»

На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную, свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена чуточку заспанная, с подвязанными сзади волосами, молча готовила завтрак (она мало говорила после случившегося несчастья), поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал: «Доброе утро...» — задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха: «Ты плохо спал? Опять? Что, что у тебя?» Она спросила:

— Как ты себя чувствуешь?

— Все в порядке,— ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшивя, и, чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад, апрельский, уже тепло меж сквозной молодой зелени осиянный солнцем, ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладкомедовые кольца звуков — фю-и-ить,— будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила, прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом.

Она догадалась:

— Вадим, ты обманываешь меня? Я заходила в кабинет. Ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал.

— Да,— проговорил он, хмурясь,— никак не могу... Может быть, нам уехать куда-нибудь месяца на три? Бросить все к черту — и уехать...

Она наливала ему кофе и, не долив, как-то обессиленно уронила кофейник на подставку, опустилась на соломенный стул и, отворачивая лицо, заплакала:

— Боже мой, боже мой, с ним ушло все.

— Лида,— сказал он,— нам надо держаться... обоим.

— Да, да, нам надо держаться,— говорила она, прикладывая салфетку к носу.— Но — как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться. После его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь... Я умоляю тебя не курить. Или поменьше курить... Ты стал седеть, у тебя стали совсем седые виски.

— Со мной все будет в порядке,— повторил он.— В моем возрасте седеют многие.

Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько:

— Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло мы с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?

— Лида,— сказал он,— чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет.

Она согласилась, закивала:

— Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим. И машину сегодня поведу я.

Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга. И только километрах в пяти от Москвы, в последней деревне, куда вплотную, белея из-за липового парка, подступали прямоугольными башнями новые окраины города, она, непонятно почему, остановила машину вблизи железной ограды, через которую видны были раскрытые двери маленькой работающей здесь

церкви, огоньки мерцающих в сумрачной ее глубине свечей, серые старушечьи затянутые платками головы на паперти, и сказала тоном виноватой решенности:

— Прости, Вадим, я зайду. Я давно хотела сюда зайти.

— Зачем? — спросил он, охолонутый мыслью о состоянии какого-то сумасшествия, подчинившего и его и ее, и тут же договорил глухо: — Хорошо, я подожду. Хорошо, иди.

— Я не верю в бога, Вадим, но я хочу зайти, прости, пожалуйста,— проговорила она и взяла сумочку с сиденья.— Так нужно, я поставлю свечку... нашему мальчику.

Он ждал ее более получаса, терпеливо сидя в нагретой солнцем машине, слушая отдаленными раскатами, подземным речитативом гулко завывающий голос священника под таинственными сводами церкви, тепло расцвеченной свечами, где должна была загореться и свечка Игорю, и духота горячего железа на солнцепеке, наплывы в этой жаре великолепия неземного голоса сдавливали сердце — оно спотыкалось, замирая в пустоте, и не хватало воздуха, нечем было дышать. Он достал валидол и, посасывая его мятный лекарственный холодок, увидел, как она вышла, опустив бледное лицо, на ходу раскрыв сумочку, начала торопливо раздавать монеты, несколько смущенно вкладывать их в ковшиком протянутые покорные старческие ладони — и после, садясь к рулю, сказала ему, глянув заплаканными глазами:

— Прости, милый, я заставила тебя ждать. Я не смогла быстро...— И заговорила в грустной задумчивости: — Как это возвышенно звучит: «Церковь Христова, церковь во Христе, церковь во имя Христа», или вот: «Эта беспокойная грешная земля», «блаженной памяти Петр», жаль, что никогда не учила церковнославянский язык. Какие высокие и печальные древние слова!

Но она, видимо, говорила не совсем то, о чем думала в церкви, а он догадывался, что́ она, не веруя, хотела почувствовать там, подавленная испытанием, которое жестоко, неожиданно и беспощадно послала им судьба. Он молчал. Она же, чуть клоня голову, долго возилась с сумочкой, застегивала и расстегивала ее на коленях, словно бы не могла сосредоточиться, не могла понять, зачем и куда им нужно было ехать в машине. И, выпустив наконец сумочку и еще не включив мотор, она

опять посмотрела на него растерянным, возвращающимся из запредельного небытия взглядом,— глаза дрогнули, резко расширились, пропуская внутрь настигшую муку.

— Вадим, у тебя болит? Не проходит? — И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках.— Ну зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай... Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня!..

— Лида, я просто плохо спал ночь,— сказал он, до хрипоты теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, исступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства.

«Она, Лида, хотела взять мою боль. А я... Я хотел взять другую боль — боль Эммы. И тоже в машине поцеловал ей руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие, это трудно понять разумом. Но может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас? Вина перед чужой болью? Я впервые почувствовал это очень давно... Была весна в дачном немецком городке, и было ясное утро, и был конец войны во всем, когда погиб Княжко.

Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти — как познать? Значит, найти невозможное, крайнее... исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит — и временной радости преодоления. Да, да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс — и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так, может быть, смерть — высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль... Чья мысль? Не все ли равно... Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше, дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять счастье — и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив?

Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшие мгновения своей жизни. Детство? Молодость? Но война, война... Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно — теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого, и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому — защитная реакция? Неужели прошлое — это тоска по тому, чего нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паро́м среди полуденной райски теплой реки, запах дегтя, лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати, и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем? Да, был тот берег... Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно: именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезает бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно... Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после сорока лет... какое наслаждение в самой этой мысли... Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал, надо было нитроглицерин... Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик: «Вадим, Вадим!» Или это мы с Лидой в машине... отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб: «Отдай мне свою боль...» — и от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным... как летнее утреннее сено... Где я? Где я?..»

С трудом очнувшись, он различил однотонный пониженный гул моторов, увидел в пригашенном свете салона спинку откинутого впереди кресла, слева — спящего, скрестившего руки на животе Самсонова и, потирая сердце, наклонился к иллюминатору. Где-то посреди высот, уйдя назад, светила луна, и в голубовато-фиолетовой мути над невидимой землей висело, неслось хищно ис-

кривленное гигантское крыло самолета, крыло современного птеродактиля, фантастической летучей мыши, пожирающей пространство. Самолет сигналил, на плоскости вспыхивал и гас розовый отблеск, и по стеклу иллюминатора, как импульсы по экрану осциллографа, стремительно скользили линии, оставляя тонкий горизонтальный след — наверное, это были мельчайшие капли конденсированного холода.

«Смысл существования человечества, будущее человечества знаете в чем? — почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад.— Смысл — в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом — вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка: если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение — в будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси».

«Зачем человеку вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный...»

И, закрывая глаза, он представил, как, должно быть, холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли, в безмерной пустыне одиночества, в высотах непробиваемой зловещей тьмы, представил будто навсегда потерянную там, внизу, пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми, и еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым, земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее,— и радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего.

И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету, потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный, ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивало (эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал), был город, утонувший во вьюжных сумерках, и снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков, и где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей, и лейтенант Княжко, зеленоглазый, лег-

кий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним, Никитиным, сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки, и была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллее Трептов-парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди...

Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, к которому была вытянута из плоскости нога шасси, самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу, и он успел подумать:

«Неужели здесь? Неужели?»

И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов, от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что́ случилось, затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая охрипшим после сна голосом:

— Вадим, Вадим! Ты — что?..

«Кто это звал меня так недавно? — отдаленно мелькнуло в сознании Никитина.— Жена? Эмма? Где? Когда? Это все прошлое? Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда? А как же Лида? Как же она?..»

И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде, плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.

1970—1974

СОДЕРЖАНИЕ

Бондарев Ю. В.

Б81 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 4. Берег: Роман.— М.: Худож. лит., 1985.— 400 с.

Роман «Берег» — одно из наиболее значительных произведений писателя, отмеченное Государственной премией СССР. Его содержание и композиция многоплановы: здесь отражены как события минувшей войны, так и наша современность, взятые в их тесной взаимозависимости. Автора занимают сложные социально-философские проблемы, связанные с трудными исканиями личностью своего «берега», который символизирует самую суть нравственной жизни человека.

Б $\frac{4702010200\text{-}129}{028(01)\text{-}85}$ подписное **ББК 84Р7 Р2**

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ

Собрание сочинений

в шести томах

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор В. Борисова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры Н. Усольцева, С. Колганова

ИБ № 3949

Сдано в набор 16.07.84. Подписано к печати 11.01.85. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 23,73. Печать высокая. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1755. Заказ № 239. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.

1 р. 80 к.